Мария Грация

СИЛЬЯТО



ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

КАЛИГУЛА



Калигула

Мария Грация Сильято

Аннотация
Калигула
ПРОЛОГ
I. CASTRA STATIVA. НА БЕРЕГАХ РЕЙНА
  РЕКА
  ГЛАДИЙ И КАЛИГА
  РЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА
  НОВЕРКА
  ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ ЧАШИ
II. ПРОВИНЦИЯ АЗИЯ. ПРОВИНЦИЯ ЕГИПЕТ
  РИМ
  ЗМЕЯ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ
  МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
  ОСТРОВ
  НОВАЯ ПОЛИТИКА
  ПОЕЗДКА В ЕГИПЕТ
  ИСИДА, ЧЬЁ ИМЯ КАК ДУНОВЕНИЕ ВЕТРА
  ДВОРЦЫ НА ВОДЕ
  ЦЕНА ЕГИПЕТСКОГО ЗЕРНА
  ЯД БЕЗ ПРОТИВОЯДИЯ
III. РИМ
  ВЫСАДКА

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ КАЛЬПУРНИЯ ПИЗОНА
ИСТОРИЯ ЮЛИИ
LEX JULIA DE PUDICITIA
ДНЕВНИК ДРУЗА
ПЕЩЕРА СПЕРЛОНГА И КАРЬЕРА ЭЛИЯ СЕЯНА
ГРОЗДЬ ВИНОГРАДА
СЫН ГРАКХА. И НОВЫЙ CASTRUM PRAETORIUM
КОНЕЦ КРЕМУЦИЯ КОРДА И ГАЯ СИАНЯ
ТАЙНЫ КАПРИ
ПРОРОЧЕСТВО
МАТЬ ГАЯ
ОПЕКА НОВЕРКИ
ИМПЕРАТОРСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
РУКОПИСИ
FORMA IMPERII
ГРЕЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
СТАРШИЙ БРАТ
ЗИМА
ДОМ АНТОНИИ
ДОМ ПОЗАДИ САДА
СТАТУЯ ИЗ РОЗОВОГО КВАРЦА
ШИФРОВАННОЕ ПИСЬМО
ЧЕЛОВЕК ИЗ АЛЬБЫ ФУЦЕНЦИИ
IV. ОСТРОВ КАПРИ
ВИЛЛА ЮПИТЕРА
СКАЛА ТИБЕРИЯ

ПРИТВОРСТВО
МАТЬ
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ
ЧЕТЫРНАДЦАТИЛЕТНЯЯ ЮНИЯ КЛАВДИЛЛА
ТАЙНЫЕ КОМНАТЫ
ПЬЯНСТВО ИРОДА
ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ АВГУСТА
ЭННИЯ
РАБОТА СЕРТОРИЯ МАКРОНА
МИЗЕНЫ
V. IMPERIUM NOVUM. НОВАЯ ИМПЕРИЯ
ВИЛЛА В МИЗЕНАХ
ВЫБОРЫ
ADLOCUTIO COHORTIUM
ОСТРОВ ПАНДАТАРИЯ
MENSIS JULIUS
ГОДОВЩИНЫ
ИМПЕРАТОРСКИЙ ВОЛЬНООТПУЩЕННИК
МОДЫ
ИМПЕРАТОРСКАЯ ТРИБУНА В БОЛЬШОМ ЦИРКЕ
ДОМ ГАЯ
ВОСТОЧНЫЕ ПРЕДЕЛЫ
ОЗЕРО НЕМОРЕНСИС
ИМПЕРАТОРСКИЕ КОРАБЛИ
VI. ТАЙНАЯ КОМНАТА
ЛИХОРАДКА

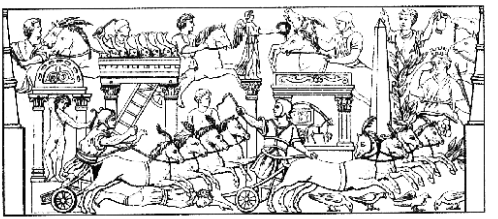
ПРИГЛАШЕНИЕ В ПАЛАТИНСКИЙ ДВОРЕЦ
ZOTHECULA
ДРУЗИЛЛА
ИМПЕРАТОРСКОЕ ЛОЖЕ
ЗАМУРОВАННАЯ КОМНАТА
ОРАТОРЫ
МИЛОНИЯ
РИТУАЛ ИСИДЫ
ГОНЕЦ, УПАВШИЙ В ПРОПАСТЬ
МУСКУЛЫ (ОСАДНЫЕ МАШИНЫ)
НОЧИ В ВАТИКАНСКИХ САДАХ
ЦЕЛЛА, ОДЕТАЯ ЗОЛОТОМ
VII. ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ ДЕНЬ ЯНВАРЯ В ЗАЛЕ ИСИДЫ
ТОНКОЕ ИСКУССТВО ДЕЗИНФОРМАЦИИ
НОЧИ ПОСЛЕДНЕЙ ЗИМЫ
DAMNATIO MEMORIAE
БОГАТСТВО КАЛЛИСТА
ЖРЕЦ ИЗ ХРАМА ИСИДЫ В ЮНИТ-ТЕНТОРЕ
ЯНВАРСКОЕ УТРО
ЗАЛ ИСИДЫ
ИСКУССТВО НАВОДИТЬ ПОРЯДОК
ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

Аннотация

Одна из самых загадочных личностей в мировой истории — римский император Гай Цезарь Германии по прозвищу Калигула. Кто он — безумец или хитрец, тиран или жертва, самозванец или единственный законный наследник великого Августа? Мальчик, родившийся в военном лагере, рано осиротел и возмужал в неволе. Все его близкие и родные были убиты по приказу императора Тиберия. Когда же он сам стал императором, он познал интриги и коварство сенаторов, предательство и жадность преторианцев, непонимание народа. Утешением молодого императора остаются лишь любовь и мечты...

Калигула

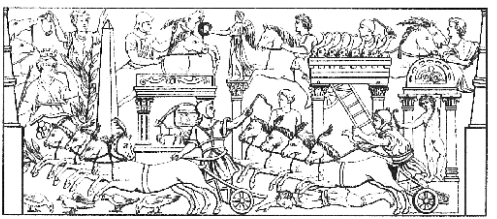
MARIA GRAZIA SILIATO



CALIGULA

MONDADORI
2005

МАРИЯ ГРАЦИЯ СИЛЬЯТО

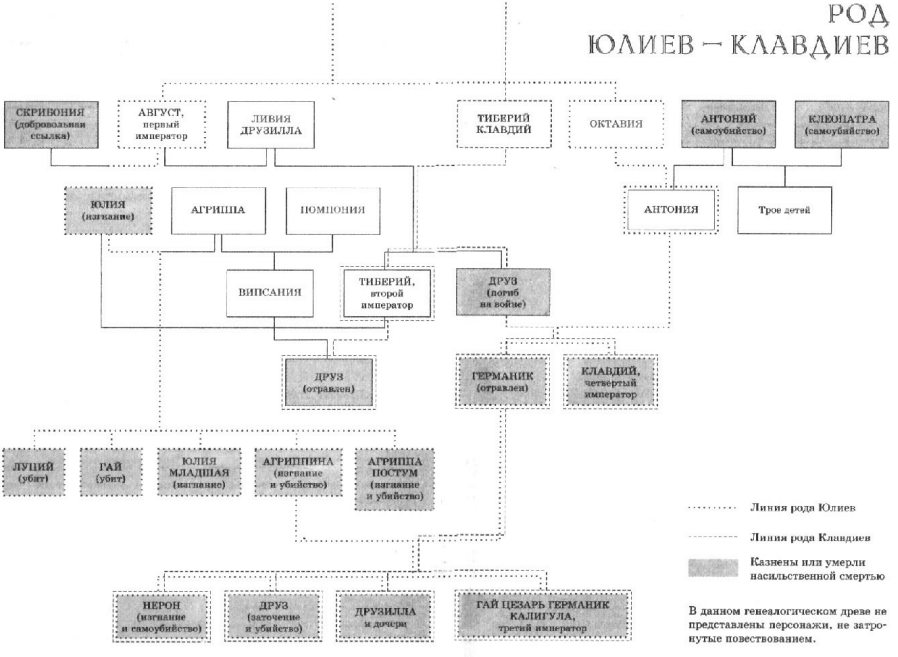


КАЛИГУЛА

Москва
Эксмо
Санкт-Петербург
Домино
2008



РОД ЮЛИЕВ — КЛАВДИЕВ



В данном генеалогическом древе не представлены персонажи, не затронутые повествованием.

ПРОЛОГ



24 января

Молодой император вышел из зала Исиды и вошёл в криптопортик — крытую галерею.

Пустое торжественное помещение мягко освещалось бронзовыми канделябрами. С удив-

лением, внезапно переросшим в тревогу, император обнаружил, что остался один. Он поискал взглядом Каллиста — александрийского грека, который всего мгновение назад услужливо семенил рядом, — но, обернувшись, увидел в глубине галереи вместо Каллиста мощную фигуру верного Кассия Хереи, командира преторианских когорт, следовавшего за ним.

Успокоившись, император снова двинулся вперёд. Его мучило сожаление, что пришлось велеть Милонии[1] остаться, и он ещё не знал, что эта мысль окажется его последним воспоминанием о нормальной жизни. Он снова бросил взгляд через плечо. Но Херея по-прежнему был один. «Куда же делись остальные?» — опять забеспокоился император.

Херея быстро приближался. Император заметил торопливость в шагах воина, и вдруг его озарило: столько удачно раскрытых заговоров, а смерть гнездится дома. Не успеешь обернуться, как удар в спину, леденящая боль, потеря равновесия, прекращение дыхания. В голове молнией сверкнуло воспоминание. «Клинок в лёгкие — и

---

[1] Примечания: 1

Автор называет жену Калигулы Милонией, хотя в литературе она чаще фигурирует как Цезония. Её имя было Милония Цезония. — *Здесь и далее примечания переводчика.*

всё: удар, холод, никакой боли...» — говорил отец много лет назад, в Сирии.

Да, так оно и есть. Император обернулся — там стоял Херея. И с высоты своего огромного роста поднимал руку с ножом, чтобы нанести безжалостный удар. Император знал, что Херея обладает чудовищной физической силой, и именно благодаря этому качеству поставил его во главе преторианских когорт. Херея с размаху опустил руку, и молодой император быстро отклонился. Но, к своему удивлению, не сумел издать ни звука. Херея снова занёс руку для удара, император отскочил назад и попытался закричать: «Что ты делаешь?» — но даже не понял, удалось ли ему это. Мелькнула мысль, что Херея — неповоротливая громадина, а сам он молод и проворен и нужно лишь выбежать из криптопортика в атрий.

Император сделал ещё одну попытку закричать, но тщетно — он ожидал предательства со стороны кого угодно, но только не Хереи. Он с силой оттолкнул противника к стене, так что второй удар пришёлся в пустоту. Нож разрезал воздух. Император бросился к выходу, и из атрия наконец-то навстречу ему выскочил офицер. Но нет, он бежал не на помощь. Офицер был во-

оружён и обнажил клинок. А на императоре не было доспехов, и он растерянно смотрел на двоих нападающих, которые были уже совсем рядом. И снова в голове вспыхнуло воспоминание. «Не доверяй тому, кого видишь каждый день, — говорил перед смертью отец. — Сам не знаешь, как часто, желая добра, сеешь ненависть к себе».

Двое сближались, а он был между ними. Они двигались осторожно, а возможно, с жуткой уверенностью, что он попался, — так действуют охотники, обложив медведя в Тевтобургском лесу. Холод, пронзивший спину, взорвался и обжёг лёгкие, к горлу подступила кровь. Херея знал, куда бить, он только этим и занимался в своей жизни. Чувствуя кровь во рту, жжение и боль, молодой император хватал ртом воздух. Он понимал: кровь, перекрывшая дыхание, несёт смерть.

Второй нападающий, безжалостный Юлий Лупа[2], сжимал в руке оружие и скалился. Император взглянул в его лицо: так, должно быть, затравленный медведь или кабан смотрит в лицо пришедшего добить жертву охотника. Что за улыбка! В широком рту видны все кривые зубы, а глаза говорят: «Тебе конец».

---

[2] Примечания: 2
Светоний пишет, что вторым из убийц был Корнелий Сабин.

Вкус горячей крови становился сильнее, и император попытался отодвинуть заслоняющего проход Лупа. Свет впереди, и никого, ни звука. Ему удалось продвинуться к атрию, но нож Юлия Лупа вошёл горизонтально, предательски, не как на войне, а как в драке, глубоко в живот. Император покачнулся и теперь ощутил жжение... Сзади Херея — Херея, с которым он каждый день шутил, — со зверской силой нанёс ещё один удар, отчего колени жертвы подогнулись, и Гай Цезарь, третий император Рима, повалился на пол, харкая кровью.

Он упал ничком на чудесные узорчатые плиты. О мрамор ударилось кольцо с печаткой в виде глаза бога Гора, принадлежавшее раньше какому-то древнему фараону. Император уже ничего не видел, но таинственный механизм памяти воскресил совет отца: «Последняя защита — притвориться мёртвым». Он замер, но продолжал по-настоящему умирать. Его больше не трогали.

Внезапно кровь переполнила рот и горло и хлынула на пол. Император задохнулся, он больше ничего не слышал. Рот снова медленно заполнялся кровью, и, вместо того чтобы вдохнуть, умирающий вдруг закашлялся, извергая на пол поток горячей массы.

Пока сила его ума уходила, на поверхность, угасая, выплыла единственная мысль: «Многое я ещё не успел сделать...»

Убийцы неумолимо смотрели на него. Херея деловито произнёс:

— Он готов. Пошли отсюда.

До сих пор никто так и не появился.

— Я люблю тебя! — вдруг раздался крик Милонии, и её голос громко разнёсся по атрию.

Женщина стремительно подбежала и упала на колени возле неподвижного тела. Она обняла его и, увидев кровь, схватилась за голову.

— Я всегда тебя любила, даже когда ты меня не видел, слышишь?.. Я уйду с тобой.

Она гладила его по голове, стараясь заглянуть в лицо. И всё, что ещё оставалось от него в теле, лежащем на полу, каким-то образом ощутило это.

Херея замер, растерянно глядя на это зрелище, потом велел Лупу быстро зарезать женщину, в которой видел лишь жену убитого императора. Она получила удар в спину, но словно и не заметила, а продолжала говорить и ласкать своего любимого, так что руки её покрылись кровью.

— Я люблю тебя и буду любить даже через шесть тысяч лет...

И что-то в нём услышало её. Впервые эти слова

были произнесены на священном корабле, стоявшем на якоре посреди небольшого лесного озера. Херея заорал, что она спятила, и велел:

— Да заткни же её!

Юлий Луп нагнулся над женщиной, схватил левой рукой спутанные волосы и, со всей силы потянув, запрокинул ей голову и обнажил горло. И когда из глубины последнего вздоха она снова простонала: «Я люблю тебя», он хладнокровно, по самую рукоять, вонзил сику — короткий кинжал убийцы — под левое ухо, а потом молниеносно провёл острым, как бритва, клинком до правого. Голос перешёл в бульканье, хлынула кровь. Кинжал ткнулся в кость нижней челюсти под ухом, и Луп лёгким, почти изящным движением вытащил окровавленный клинок, одновременно сильной левой рукой швырнув труп на пол.

Убийцы смотрели на последнее подрагивание рук, полуоткрытые губы, закатившиеся глаза, на кровь, растекавшуюся огромной лужей по блестящему мрамору.

— Пошли, пошли, — поторопил Херея. — Идёт народ, пошли.

Они убежали. На пол уже вытекло столько крови, что дергающиеся в агонии руки императора погрузились в лужу. Пока он лежал так,

ничком, перед его расширенными зрачками на мгновение возник последний зримый образ: к нему в неистовом беге приближалось множество людей, и он узнал тяжёлые доспехи своих солдат, неподкупную германскую стражу.

«Вы опоздали», — подумалось ему.

Впервые за двадцать девять лет жизни он понял, что больше ничего не боится. И телесные чувства покинули его.

I
CASTRA STATIVA
НА БЕРЕГАХ РЕЙНА



РЕКА

Castra stativa[3], эти оплоты римских легионов на дальнем пределе империи, на самом севере изведанного мира, представляли собой суровые городки, построенные специально для войны. Военные инженеры обнесли каждый такой городок-крепость — каструм — крепкой стеной, установили на эскарпах баллисты и катапульты, а снаружи вырыли ров и возвели сторожевые башни.

В хмурый зимний день в годы правления Тиберия мальчик по имени Гай Цезарь карабкался по длинной деревянной лестнице на квадратную башню, возвышавшуюся над западным углом крепости. За рвом со спокойной мощью огромная река несла стального цвета воды, а за ней, на дальнем берегу, раскинулись бескрайние леса.

«Величественное зрелище», — говаривал отец мальчика. А им был молодой, но грозный дукс Германии. Он командовал самым мощным сосредоточением войск, охранявших границы империи от Британии до Евфрата, этой неодоли-

---

[3] Примечания: 3
Постоянный лагерь *(лат.).*

мой машиной для завоеваний, насчитывавшей восемь испытанных в боях легионов. Но в грандиозном претории[4] в центре каструма, который, согласно имперской философии, зримо олицетворял мощь Рима, молодой дукс держался замкнуто, составляя удивительный контраст с прекрасной женой и непоседливым сынишкой.

Сейчас этот малыш, свободу которого, как тюрьма, ограничивал парапет башни, выглядел разочарованным. На юге сквозь низкие тучи пробивались слабые отблески солнца, а вдали вырисовывалась Августа Треверорум — столица Галлии Белгики, основанный Римом город, которому спустя века дадут название Трир. Но возможно, там и не было никакого города; из-за отдалённого расположения военного лагеря эти смутные дымки можно было принять всего лишь за место привала на бесконечной военной дороге. А на севере, за рекой, не существовало ничего, кроме бескрайних лесов.

— Смотри, — с одышкой проговорил пожилой декурион, младший командир, следовавший за мальчиком, по мере сил выполняя строжайший приказ не отходить от него ни на шаг. — Ты мо-

[4] Примечания: 4

Преторий — палатка полководца в военном лагере, а также площадка вокруг неё.

жешь бродить по этим лесам много дней и не наткнёшься ни на один город. Там нет ни форумов, ни храмов, ни терм, ни мощёных дорог, разве что лесные деревни. И местные люди нас боятся, потому что мы в отличие от них умеем строить крепости вроде этой.

Мальчик спросил, насколько велики земли за рекой, и декурион, скромный командир десятка солдат, проведший всю жизнь на краю империи, ответил, словно цитируя закон, что этого не знает никто.

Эти бескрайние равнины месяцами покрыты снегом, а при потеплении утопают в грязи; летом ночи здесь короче, чем в Риме, а зимой, наоборот, солнце с трудом поднимается над горизонтом и заходит в тучи. Лошади вязнут в болотах, попадают в лесные завалы...

Мальчик смотрел с башни. До самого горизонта двигалась лишь плотная и мощная масса реки, которую латинские географы называли Рейном.

— Эти воды бегут на запад на сотни миль, — говорил декурион, — и нам тоже скакать не знаю сколько недель, прежде чем увидим устье. Известно лишь, что по пути встретятся, одна за другой, более пятидесяти крепостей, охраняющих границу. И под конец ты увидишь, как

река впадает в вечно бушующее под ледяными ветрами море.

Но на том, дальнем, берегу легионы никогда не устанавливали своё господство. И в заключение декурион высказал мудрость этой войны:

— Боги провели по этой реке черту. Это limes Germanicus — Германский рубеж.

Он задумчиво оперся о парапет.

— В этой реке скрывается дух некоего бога. Но это бог неистового народа, живущего на том берегу. Никогда мы не сталкивались с более грозными бойцами. Они действительно не похожи на греков или сирийцев, которые после первой же атаки открывают ворота и рассыпают перед тобой цветы.

Мальчик посмотрел на ледяную мощь этих вод и, обернувшись, спросил:

— А откуда они текут?

— Чтобы подняться к их истокам, — проговорил декурион, растревоженный воспоминанием, — нужно скакать столько же недель, и путь туда ещё тяжелее, чем к устью. Река рождается в высочайших, вечно заснеженных горах внутренней Реции. На их вершины не рискуют подниматься даже медведи, и видны только орлы в йебе, олени на утёсах, да слышен непрерывный писк сурков,

копошащихся в заледеневшей земле.

— Ты сказал, что река рождается. Как это? — спросил мальчик.

Декурион рассказал, что много лет назад легионы стали воевать в этих горах с народами, называвшими себя реты и винделики.

— Там, где рождается река, никогда не тают снега, эти скалы сделаны изо льда. Но из-под него бегут струйки лазурной воды и стекаются в ручеёк. Потом, внизу, в него впадают талые воды, и ручей становится всё больше и больше. Это и есть рождение бога Рейна.

— Ты его видел?

— Видел и перепрыгнул одним махом.

Там, наверху, бог Рейн был тонким, как юноша, но по мере того, как бежал меж камней, его голос становился всё сильнее и ручей превращался в поток, клокочущий в лесах и оврагах. И скоро его уже было не перейти вброд: возмужав, бог превратился в реку. Постепенно бог Рейн пробил в горах ущелье. А непредусмотрительные люди прорубили в этих скалах, совсем рядом с рекой, узкий проход — единственный, что ведёт из внутренней Реции на юг Альп.

Река текла вниз по руслу, но путники знали, что во время дождя или оттепели она может вдруг

выйти из берегов и затопить дорогу.

И в самом деле, однажды после сильных дождей конный отряд выстроился в колонну для подъёма, и тут всадники увидели, как Рейн, пенясь, всё выше и выше хлещет по скалам. Потом кто-то крикнул, что вода выходит из берегов, поглощая дорогу позади всадников. Они бросились вперёд, к проходу, но Рейн раздулся ещё больше, поглотил землю под копытами их коней и засосал в себя арьергард.

— И мы, забравшиеся выше, видели, как внизу в поднявшейся по грудь воде люди и кони, не в силах удержаться на ногах, кувыркаются, поглощённые водоворотами. Мы спаслись лишь трое; два дня и две ночи мы продержались, уцепившись за скалы наверху.

Потом река утихомирилась, и утонувших людей и коней, истерзанных камнями, вынесло в долину.

После этого рассказа мальчик в молчании проследовал за своим телохранителем в преторий. Наступили дни спокойного безделья, когда люди чинили оружие, ухаживали за лошадьми, тренировались. Неискоренимое германское восстание, казалось, было подавлено. Неукротимый Арминий после разгрома вымазал себе лицо кровью

из своих же ран, чтобы преследователи не опознали его. Многие соплеменники его бросили, другие предали, а его молодая жена попала в руки римлян. Она была беременна, но не предалась слезам, а хранила молчание и стояла, гордо выпрямившись, сцепив руки, ни о чём не прося и не отвечая на обращения. У неё было красивое имя — Туснельда. Дезертиры говорили, что Арминий сходил с ума от тревоги, зная, что жена попала в плен к римлянам. И могущественнейший дукс Германии тоже чувствовал неловкость.

— Не знаю, что бы я стал делать, если бы со мной случилось подобное, — признавался он друзьям.

Но безжалостный император Тиберий велел отправить жену Арминия подальше от мужа, чтобы у того не осталось никакой надежды освободить её. Германии неосторожно посетовал близким друзьям, что его воротит от всего этого. Он не знал, что его слова дошли до ушей Тиберия.

Судьбе было угодно, чтобы декурион и мальчик подошли к преторию как раз в тот момент, когда усталый чрезвычайный посланец из далёкого-далёкого Рима слезал с покрытого грязью по самую грудь коня, оставив позади такой же усталый и весь в грязи эскорт.

Всадник в тяжёлом, набухшем от воды вощё-

ном плаще — лацерне — соскочил на землю и, окоченевшими руками передав поводья конюху, потребовал немедленно отвести его к дуксу Германику. Нежданного посланника, не успевшего даже смыть грязь, быстро провели к командующему, и мальчик мельком увидел с порога, как отец взглянул на прибывшего и тихо о чём-то спросил, а тот, повернувшись спиной к входу, так же тихо ответил. Но тут стражник решительно закрыл дверь.

Мальчику показалось, что посланник оставался в комнате отца очень долго. Когда он вышел, то всё ещё был в промокшем плаще, но казалось, что никому до этого нет дела. Выходя, он шепнул стоявшему у двери офицеру стражи:

— Помнишь Семпрония Гракха, сосланного на остров Керкину в Африканском море?

— Ещё бы, — кивнул тот.

И посланник объявил:

— Его тоже зарезали.

Малыш уловил слово «зарезали», и хотя в каструме близкая или далёкая смерть была частью неумолимой повседневности, он увидел, как яростно отреагировал офицер:

— Это уже невыносимо! Не щадят никого. Как он умер?

— Как скотина, — огрызнулся посланник, потом огляделся и со злобой вполголоса проговорил: — И невинную Юлию там, в Регии, тоже довели до смерти, как нищенку.

С плаща на землю капала вода.

Офицер тоже огляделся и, сопровождая посланника к выходу, с возмущением спросил:

— А что говорят в Риме?

— Ничего, — отрезал посланник и ушёл; его тошнило при воспоминании о всеобщем малодушии.

Мальчик понял, что на той заброшенной скале в Африканском море, а также в том далёком городе, видимо, происходят дела посерьёзнее, чем какое-то нападение на границу банд германцев — ангривариев или херусков.

Офицер вернулся назад, но оставил дверь командующего приоткрытой — возможно, из-за пагубного пристрастия, которое столь часто упоминают древние авторы. Благодаря этому малыш заметил, как его молодая и прекрасная мать выбежала из внутренней комнаты, схватила за спиной у дукса Германика послание и в нетерпении прочла несколько строк, прежде чем муж успел остановить её.

И тут впервые мальчик увидел, как его мать

плачет, и замер: она крепко прижала к лицу руки и, едва не задыхаясь, пыталась сдержать рыдания. Офицер стражи, вопреки всяким уставам, тоже застыл, приникнув к щели. Женщина плакала тихо, а когда снова подняла своё прекрасное лицо, на нём не было боли, только злоба, отчаяние и ненависть.

— Она убила её, проклятая старуха, Новерка[5], — всхлипывала она. — Я, я... клянусь.

Германии быстро совладал с гневом. У него был единственный способ утихомирить жену: ничего не говоря, он крепко обнимал её. Она сопротивлялась, вся дрожа, но потом понемногу уступала и поддавалась, и всё кончалось любовными объятиями. И на этот раз он прижал её к себе, но она поддалась не сразу. Малыш услышал тихий голос отца, который шептал ей на ухо, словно целуя:

— Наберись терпения, держись. У тебя будет время...

Она понемногу успокаивалась.

— Осуши слёзы, — сказал Германик и пальцем вытер слезу у неё на щеке. — Никто не должен говорить, будто ты плакала.

Жена ответила осипшим голосом:

---

[5] Примечания: 5
Мачеха *(лат..).*

— Мне было запрещено видеться с ней семнадцать лет. И она умерла в одиночестве.

Она освободилась от объятий и привела в порядок волосы. Тут малыш вошёл и тревожно спросил, что случилось. Но отец ответил, что ничего и что его ждёт Залевк, греческий наставник, образованнейший и терпеливый раб, который, пытаясь учить ребёнка, весь день ходил за подопечным. Несмотря на мягкость дукса Германика, никто во всём войске не мог спорить с ним, когда он отдавал приказ. Малыш беспрекословно повиновался, и стражник закрыл дверь.

Но ребёнок обманул беднягу Залевка и в тревоге и растерянности пошёл один на площадь. Увидев остановившегося в кругу военных посланника, мальчик приблизился и успел расслышать чей-то голос:

— Одно убийство за другим...

Заметив сына дукса, они замолкли, и он продолжил путь, скрывая свои чувства, но эти слова запали ему в душу. Ища утешения, он выбрал уединённую дорожку к конюшням, где стояли его любимые лошади. Его быстрый Инцитат[6], резвая лошадка галльской породы со шкурой

---

[6] Примечания: 6
Резвый, быстроногий *(лат.)*.

цвета мёда и лёгкой статью, издалека узнал мальчика, заржал и зафыркал в нетерпении, чтобы его выпустили. Но конюхи задержали коня у закрытых дверей, потому что снова собирался дождь, и малыш только обнял его, прижавшись лбом к гриве. Существовала какая-то ужасная тайна, и все сговорились молчать. Видимо, коню каким-то образом передалось это непонятное беспокойство, потому что по его лоснящейся шкуре пробежала дрожь.

Как и ожидалось, пошёл дождь, потом возникла небольшая суета при проводах посланника. Дороги меж бараками опустели: то ли из-за дождя, то ли из-за чего-то ещё, кто знает, но все люди собрались внутри. Малыш сделал вывод, что грядёт какая-то опасность, как в тот раз, когда подкрались херуски и в темноте напали на часовых.

Он направился к южному углу каструма, откуда доносились мерные удары кузнечного молота по раскалённым клинкам. Мальчик вошёл в жаркую от огня кузницу, навострив уши, и потому успел услышать — это стало для него потрясением, — что Юлия, умершая «как нищенка» в отдалённом Регии, отчего его мать и пришла в столь непонятное отчаяние, «в действительности-то заслуживала императорских почестей».

Злобным голосом говорил военный трибун Гай Силий, командовавший в эти дни одним легионом. Сидя рядом с кузнецом-оружейником, он уставился на свой обоюдоострый великолепный парадный меч.

— Один лишь сенатор из шестисот встал и сказал, что единственную дочь Августа лишениями довели до смерти от медленного истощения, в изгнании, ославленную, презираемую всеми. Остальные пятьсот девяносто девять промолчали.

Произнеся эти слова, трибун увидел маленького сына Германика, но не приглушил голоса.

— Императорских почестей, — повторил он намеренно, чтобы было понятнее.

Кузнец поворачивал над огнём клинок, аккуратно постукивал по нему молотком, погружал в холодную воду, снова нагревал — и не произносил ни слова.

— Однако и здесь все молчат, потому что и здесь повинуются Тиберию.

Сквозь удары молота пробился голос ребёнка:

— В чём повинуются?

— Иди сюда, — решительно подозвал его Силий. — Пора тебе узнать, — сказал он, словно малыш, не зная чего-то, подвергался несправедливости.

Мальчик затаил дыхание в ожидании, и даже оружейник замедлил свои движения. Силий сказал:

— Знаешь, кто была эта Юлия, умершая таким образом? Мать твоей матери.

Мальчик замер. Никогда при нём не говорили о старших родственниках, и у него сложилось впечатление, что все они умерли неизвестно когда. Трибун разрушил это предположение, чтобы история стала понятнее, и заключил, твёрдо и чётко выговаривая слова:

— И знаешь, почему она заслуживала императорских почестей? Потому что была единственной дочерью божественного Августа. А вместо этого её на столько лет отправили в ссылку. И в конце концов Тиберий уморил её.

Мальчик быстро соображал. Он со страхом снова услышал голос матери: «Семнадцать лет...» Встревоженный до дрожи в коленях, он бросился на скамью рядом с трибуном и прошептал:

— Я видел, как моя мать плакала... Только никому не говори, — попросил он, схватив Силия за руку.

Трибун Силий сердито покачал головой.

— У твоей матери Агриппины немало причин плакать. Ты знаешь, что у неё были три брата?

Малыш вскочил на ноги.

— Это неправда, мне никогда об этом не говорили, у неё нет... Но ты сказал «были»? Как это — «были»?

Тут вмешался молчавший до сих пор оружейник, перестав поворачивать клинок над огнём:

— Трое братьев твоей матери были единственными наследниками Августа, надеждой империи. Они, а не Тиберий.

Кузнецы и прочие рабочие в глубине кузницы, услышав это, насторожились.

Малыш всхлипнул.

— Не смейтесь надо мной...

Он ощутил за всем этим какую-то угрозу, да и действительно прошло слишком мало времени, чтобы переварить эту историю, к тому же поведанную столь суровым образом. По здравом соображении отец просил хранить о ней молчание, поэтому Силий, опомнившись, отвёл мальчика вглубь кузницы и, чтобы отвлечь, показал ему изящный кинжал — короткую сику для неожиданного нападения из засады.

— Смотри, держать надо вот так...

Он протянул мальчику кинжал, предложил сжать рукоять, и тот осознанно вцепился в оружие, неожиданно почувствовав безопасность.

Трибун разжал его пальцы, взял кинжал и, подозвав солдата, изобразил нападение.

— А потом двигайся так, ему за спину, видишь? Быстро положи левую руку на рот и держи, а правой вонзи клинок вот сюда, в шею, где бьётся вена.

Солдат, притворившись раненным, повалился на пол, смешно брыкаясь, и малыш рассмеялся, забыв про слёзы. Потом солдат прикинулся мёртвым, и трибун объяснил:

— Если хочешь убедиться, что враг действительно умер, приложи палец сюда, — и заставил мальчика нажать на яремную вену упавшего. — Чувствуешь, как бьётся? Когда перестанет — значит, жизнь ушла. А теперь я покажу тебе другой верный удар, и опять со спины.

Солдат встал.

— Обхвати его сзади левой рукой, и он, чтобы освободиться, разведёт руки, а ты — только быстро! — воткни клинок поглубже под мышку, вот так.

Мальчишка зачарованно смотрел. Трибун Гай Силий снова посерьёзнел и резко проговорил:

— Ты видел, как пользуются сикой. Этого вполне достаточно, чтобы понять, как смерть троих братьев твоей матери принесла власть

Тиберию.

Ребёнок смотрел на него не отрываясь. Его слёзы совсем высохли, и вместе с этим закончилось его детство. Трибун предостерёг его:

— Об этом тоже не рассказывай.

Мальчик промолчал. Ему подумалось, что больше не нужно никого спрашивать, почему плакала его мать.

ГЛАДИЙ И КАЛИГА

На следующий день оружейный мастер объявил, что изготовил мальчугану по руке маленький гладий — короткий и широкий меч, который при рукопашной схватке разит и остриём, и лезвием, — и научил его ударам, обманным манёврам и защите.

Это казалось игрой. Но он пока не мог сказать мальчику, что в этих играх таится подготовка к настоящей войне, и не против иноземных врагов. Потому что вот уже два века Рим был расколот на партию оптиматов — богатой знати, землевладельцев, поддерживавших Тиберия, и партию популяров — партию низших классов, крестьян, ремесленников, городского плебса. Из этих последних произрастали культурные и семейные корни его отца, любимого всеми дукса Германика. Эти люди боролись против крупного землевладения, против тяжёлых налогов, против ограничений в избирательном праве, активном и пассивном, против невозможности рождённому плебеем избираться в консулы, против жестокого разграбления покорённых стран. Среди популяров было много заметных имён: Гракхи,

Гай Марий, Публий Секстий, жизнелюбивый и неудачливый Марк Антоний и, наконец, три молодых сына Юлии. И почти все они умерли насильственной смертью.

Мастер пока не мог сказать мальчугану, что власти, а возможно, и самой жизни его отца грозит всё возрастающая опасность. Но Руф, самый сильный воин в Рейнских легионах, метнувший дротик со смертоносным наконечником в огромное дерево так, что никакими силами его было не вытащить и вековой ствол пришлось срубить, — Руф научил мальчика обращаться с этим оружием. Научил, как напрягать спину, как упираться ступней, коленом, бедром, как привести в действие грозную силу, скрытую в плечах и мускулах руки, чтобы железо вылетало прямо, со свистом, и втыкалось в цель, не отклонившись ни на полпальца, именно туда, куда наметил глаз.

— Копьё, попавшее точно в цель, избавит тебя от первого врага: так побеждают первым броском при игре в кости, — напористо объяснял Руф, поплёвывая на ладонь, чтобы повторить бросок.

— Учись сейчас, — побуждали Гая Цезаря командиры, увлечённые этим зрелищем, — и тебе будет легче в жизни.

С медлительной грацией сменяли друг дру-

га атаки, уклоны, отражения ударов, и глаза мальчугана усваивали движения руки, плеча, рывок запястья, перемещение колена и ступни, напряжение, момент отрыва и решающий молниеносный бросок. В будущем каждому молодому римскому аристократу надлежало набраться опыта в легионах, на суровой воинской службе. Позже им предстояло командовать гарнизонами на протяжённых границах и, в качестве высочайшей чести, командовать легионом в боевых действиях. Но тот, за чьим обучением мы наблюдаем, был не такой, как все.

Рядом с кузницей протянулись конюшни. Мальчуган пролез меж лошадей туда, откуда его было бы трудно вытащить. Но в этот день его отыскали быстро. Командир лёгкой конницы сделал ступеньку из согнутой правой руки, и мальчик забрался на неё. Его научили, как с места вскочить на спину коня и тут же, не коснувшись поводьев, рукой и пятками пустить его в галоп, как делали варвары-скифы, лучшие наездники в мире.

— Нужно мгновенно обуздать коня и опрокинуть всех, прежде чем тебя увидят, — сказал конник.

Начальник оружейников тщательно снял с

мальчика мерку и изготовил легчайшую лорику — панцирь, на котором по заказу мастера-оружейника местный художник изобразил символическую историю про мальчика, спасённого дельфином. Мастер-оружейник был эстетом военного дела, любил изящество ударов, роскошь парадных доспехов с насечкой и чеканкой, блестящую конскую сбрую, золотых орлов, высоко поднятых знаменосцем, порывистый грохот катафрактов (тяжёлой конницы), сигналы горна, звуки рога и трубы. Он также сделал мальчику боевой шлем-кассис из тонких пластин. И кузнец, стоявший у горна, разогревая и соединяя части, объяснил, что ни в каком другом войске ещё никогда не придумывали таких хитроумных, устойчивых к ударам доспехов: округлый, подбитый кожей римский шлем полностью покрывал череп, не оставляя смертельно опасных зон, куда могли бы проникнуть вражеские удары, он низко опускался на лоб до самых бровей, а две широкие полосы прикрывали виски и челюсти, соединяясь под подбородком, но оставляя открытыми уши. Заднюю часть шеи прикрывали пластины на шарнирах, чтобы не мешать движениям, — это было чудо анатомии и техники, спасшее бесконечное число жизней.

А чтобы было понятнее, кузнец сказал, что самые страшные враги находятся не за Рейном:

— Самые-то опасные приходят издалека. Предательские удары наносятся из Рима.

Засунув свой тяжёлый левый кулак в маленький шлем, а в правую руку взяв меч, кузнец изобразил удары по черепу, по вискам, по лбу, по затылку — клинок звенел о железо, но кулак, защищённый раковиной шлема, оставался неуязвимым. Мальчуган воспринимал всё это как некое таинство и не обратил внимания на неожиданное молчаливое одобрение отца. Только через много лет, предавшись воспоминаниям, он поймёт суровые причины, приведшие к изготовлению этих игрушек.

— Ты родился здесь, детёныш льва, — говорили ему легионеры.

«Infans in castris genitus», — напишет один великий историк, потому что малыш, обречённый на скандальную и грязную славу, родился в каструме, под знаком Девы, в последний день августа, и воспитывался среди легионов, «in contubernio legionum eductus»[7].

Наконец сапожник снял верёвочкой мерку с

---

[7] Примечания: 7

«Дитя, рождённое в крепости... воспитанное в шатрах легионов» *(лат.).*

его крохотных ножек, и через три дня примерок и тайных подгонок мальчик вышел из мастерской в завязанных на икрах знаменитых практичных спартанских калигах, какие носили римские легионеры.

Мастер отобрал самую мягкую и самую тонкую кожу, смазанную жиром, но обувь оказалась слишком жёсткой. Он обещал, что на следующий день будет лучше. При ходьбе кожа скрипела, а гвозди в подошве цеплялись за землю, и мальчик убедился, что после прыжка не скользит, а застывает как вкопанный, подобно легионерам, когда они соскакивают на вражескую стену.

Гай Цезарь направился наверх по Чертополоху — центральной улице каструма; вокруг толпились улыбающиеся легионеры, а сзади на расстоянии следовал сапожник. Так мальчик проковылял к преторию. На порог вышел отец, молодой дукс. И поскольку каждый человек двигается между невидимыми нитями, натянутыми ему судьбой, — как сказал поэт, часто цитируемый греческим наставником, ум которого был набит древними авторами, — в этой забаве скучающих солдат историки прочтут начало роковых событий.

Среди своих смеющихся солдат отец поднял

сына всем на обозрение, пощупал маленькие сапожки, чтобы оценить работу, и объявил, что для легионеров, сражавшихся с германцем Арминием, сапожник никогда не делал калиг, которые сравнились бы с этими.

— Он будет наказан, — сквозь смех выговорил полководец, — поскольку доказал, что умеет работать намного лучше, чем делает это обычно.

Мальчуган тоже смеялся, дрыгая ногами в воздухе. И хотя его звали Гай Цезарь — это было историческое семейное имя, в древнем латинском произношении звучавшее как «кесарь» (такое имя носил победитель галлов и германцев Юлий Цезарь), — в шуме толпы ясно прозвучал голос какого-то солдата:

— Он поступил на службу в легион. Объявляю, что мы будем звать его Калигула.

РЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА

С того дня, когда для войска он стал приёмным сыном Калигулой, то есть «сапожком», легионеры и командиры занялись, каждый по-своему, его весьма своеобразным образованием.

Так он открыл за дальним углом каструма квартал бараков. Там было полно женщин, не похожих на рабынь и служанок матери, которые передвигались только за оградой претория и чьи волосы были убраны в причёску, а руки белы. В отличие от них эти женщины входили и выходили из бараков полураздетые, с распущенными волосами, босые, они громко смеялись, умывались на улице, и казалось, что все солдаты их хорошо знают, потому что приходили сюда гурьбой и вместе с женщинами заходили внутрь.

Он наблюдал за ними сквозь щели забора, пока одна из этих женщин, молодая белокурая крестьянка, не обнаружила его и не взяла с улыбкой за руку.

— Эй, что смотришь? — проговорила она грубым голосом, с жёстким акцентом и придыханием. — Вижу, скоро придёт и твоё время.

Легионеры рассмеялись, а она небрежным

движением распахнула одежду, обнажив грудь. Грудь её не была похожа ни на маленькие твёрдые груди мраморных богинь, ни на те, что мальчик мог мельком увидеть в строгом доме своей матери. Перед ним была белая плотная масса с тонкими голубыми жилками и большим коричневым соском. Женщина взяла его руку и положила себе на грудь.

Это было незабываемо. Его маленькой ручке было не обхватить её и не покрыть, и потому он лишь дотронулся до неё, а затем ласково погладил: грудь была очень нежная и огромная. Женщина перестала смеяться и как-то странно посмотрела на него. Он продолжал ласкать её грудь, а женщина смотрела, приоткрыв губы, её сосок затвердел и упёрся в маленькую ручку, и мальчик сжал его, затаив дыхание.

Женщина резко отпрянула, прикрыла грудь и посмотрела на него блестящими глазами. Он в смятении ушёл от бараков, а когда отошёл на достаточное расстояние, спросил, откуда берутся эти женщины.

— Это лучшая из причин, что ведёт нас на войну, — с грубой усмешкой ответил один из младших командиров.

Девушки приходили из завоёванных земель

— из Галлии, Белгики, Нижней Германии, из Реции. Некоторые были рабынями, другие убегали из своих деревень и шатались вокруг мест, где легионеры рубили дрова.

— Дикие кобылы, которых нужно объездить, — пояснил один младший командир. Он осёкся, задумавшись, до какой степени стоит распространяться с сыном дукса, но потом решил, что пришла пора, и продолжил: — Они как местные лошади, которых мы запрягаем в крестьянские телеги. Пускаются вскачь и сбрасывают тебя на землю...

И мальчик снова пришёл туда, едва ускользнув от Залевка, своего бедного наставника-грека. Ретская женщина заметила его издали и крикнула:

— А, вот и ты! Показалось любопытно, да?

Он не знал, что ответить, а она рассмеялась и позвала его внутрь.

— Хочешь увидеть то, чего ты, сын нашего красавца командующего, никогда не видел?

Она казалась доброжелательной и весёлой, не внушала страха и с улыбкой пятилась в барак, бескрайний и грандиозный. Мальчик сделал два шага внутрь, а она опустила занавеску у него за спиной и пошла впереди. На ходу она сбросила с широких белых плеч лёгкую тунику, и та упала

на землю. Женщина перешагнула через неё, в полумраке обернулась, голая, и со смехом протянула к нему руки.

НОВЕРКА

В те дни мальчик услышал от военных командиров, что в далёком варварском городе, называвшемся Томы, один человек, поэт, в последние годы ставший знаменитым, умер «после восьми лет безжалостной ссылки». Молодой командир проговорил с сожалением:

— Он писал самые прекрасные стихи о любви, какие я только слышал.

— Где это — Томы? — спросил мальчик.

— В далёкой-далёкой провинции, проклятой и самой опасной в империи, на Эвксинском море, — взволнованно ответил офицер, — на море с чёрными водами. Оттуда он каждый год писал Тиберию и слёзно просил у него разрешения вернуться в Рим.

И опрометчиво добавил:

— Он был также другом твоего отца.

Наверное, это была небезопасная беседа, потому что никто её не поддержал. Но мальчик, как только представилась возможность, спросил дожидавшегося его бедного Залевка, почему тот никогда не рассказывал про этого поэта и почему поэт, если он был такой великий, умер в ссылке

и одиночестве и как его звали.

— Овидий, — ответил Залевк на последний вопрос и поспешно добавил, что больше ничего не знает.

Следующий зимний день был дождливым, и мальчик без дела шатался по каструму. Когда тучи разошлись, обнаружилось, что легионеры не хотят играть с ним. Собравшись в кучки, они о чём-то тихо переговаривались и порой оглядывались на него, но ни один из них не позвал его из темноты казармы: «Калигула!», чтобы тот, в шутку рассердившись и топая сандалиями по земле, закричал: «Я тебе не отвечу, это не моё имя!»

Мальчик подождал, не донесётся ли откуда-нибудь голос, чтобы он мог пойти туда и поймать огромного легионера, который поддастся ему и, упав на землю, покатится по траве.

Но никто так и не позвал его. Разочарованный мальчик отправился к конюшням. Конюх, закончив чистить скребницей его любимого Инцитата, повернулся и неожиданно сурово проговорил:

— Видел? И на этот раз Новерка взяла верх.

Он говорил о чём-то неизвестном, но мальчик вздрогнул: Новерка, то есть мачеха, была той таинственной женщиной, из-за которой в гневе плакала его мать. Кузнец, осматривавший копы-

то пугливой лошади, поднял голову.

— Пятьдесят лет она пряталась, позволяя своему сыну делать что угодно.

— А кто её сын? — спросил мальчик.

Все посмотрели на него неуверенно и даже с замешательством, и кузнец опасливо произнёс, будто нечто непристойное, самое страшное имя в мире:

— Тиберий.

Император.

Остальные молчали. Мальчик ощутил унижение оттого, что единственный в каструме он не знал этого. И не стал больше ничего спрашивать. Один из конюхов, словно в утешение, объяснил, что Поверка очень стара.

— Ей уже исполнилось девяносто лет, и Новеркой называл её ещё мой отец.

Тут возник Залевк, он протолкался к мальчику и скорее утащил его прочь, а там отчитал на своём чарующем аттическом греческом, которого в каструме никто не понимал:

— Нехорошо, что ты, сын дукса, якшаешься с конюхами и слушаешь, как они судачат о твоей семье.

Раб по имени Залевк, наверное, видел под другими небесами не такие суровые дни; каждое

утро он тоскливо смотрел на тёмные тучи и мелкий дождик, который бесшумно насыщал влагой землю и лес, словно подготавливая наступление раннего зимнего вечера. С высоты своей утончённой культуры грек ужасался, что мальчик с такой лёгкостью перенимает жаргон легионеров. Но Залевк видел, что с такой же лёгкостью Гай Цезарь усваивает и греческий, а в четыре с половиной года он уже умел читать.

— Малыш особо отмечен богами, — с гордостью рассказывал учитель. — Он задаёт вопросы, слишком взрослые для своего возраста. Если его не убедишь, он настаивает на своём. Ищет общества взрослых. Читает быстрее меня. Каждое утро выдаёт новые слова, как по-латыни, так и по-гречески. Не ошибается в глаголах. У него прекрасная, очень хорошо организованная память. Он вечно что-то замышляет...

Следовавший за греком против своей воли мальчик с растрёпанными каштановыми волосами спросил, почему он прервал разговор о старой Новерке.

Печальный раб понял, что придётся ответить:

— Твой отец и твоя мать не хотят губить твоё счастье этой древней историей. — И в замешательстве процитировал какого-то афинского

философа, жившего три столетия назад: — «Цена спокойствия — молчание». Прошу, обещай мне, что больше не будешь спрашивать.

Этот разговор, обрывочный и пугающий, был хуже молчания, и мальчик поспешно заверил учителя:

— Не спрошу ни у кого.

Но его беспокойство нарастало.

— А почему они упомянули императора?

Залевк понимал, что из этой головы не изъять неуёмного любопытства, и всё же, принуждённый к глухому молчанию своим положением раба, не ответил и ускорил шаги, так как увидел, что на дороге к каструму собираются беспорядочные группы легионеров, и похоже, что постоянная железная дисциплина уже ни для кого ничего не значит. Он понимал, что в этих мощных легионах может быстро вспыхнуть бунт, как пожар от брошенного в солому факела. Такое уже случалось в правление Августа и особенно часто при Тиберии, ненавистном в качестве полководца и ещё больше — императора.

Но мальчик остановился как вкопанный и спросил, почему Тиберий получил власть вместо братьев его матери.

— Если не хочешь, чтобы я болтался у конюшен

и мне все рассказали конюхи, расскажи сам.

Учёнейший раб — никто не знал точно ни его истории, ни несчастья, обрушившегося на него и приведшего к нынешнему состоянию, — свернул в глухую улочку и осторожно начал говорить:

— Однажды божественный Август повстречал женщину, которую, как ты слышал, эти конюхи называют Новеркой. На самом деле её звали Ливия.

— Когда это было?

— Полагаю, с тех пор прошло шестьдесят лет.

Дистанция безграничная для ребёнка, и мальчик недоверчиво замолк, а грек поспешно продолжил, чтобы избежать вопросов:

— Когда Август её повстречал, ей было семнадцать, она была замужем и имела ребёнка. Вот этим ребёнком и был Тиберий.

— А почему её называют Новерка? — сгорая от любопытства, спросил мальчик.

Они остановились на углу, и Залевк бросил взгляд на беспокойные перемещения солдат по Чертополоху.

— Новерка — значит мачеха, потому что у Августа была дочь, Юлия.

Он уклонился от уточнения: «Единственный родной ребёнок». А мальчик сразу же спросил:

— Та, которую сослали в Регий и которая умерла как нищенка?

В отчаянии от такого допроса учитель сдался:

— Да, она, мать твоей матери. — И, стараясь спасти ситуацию, быстро добавил: — Но она не всегда жила там, сначала она была на Пандатарии.

Мальчика взволновало это название, которого он никогда раньше не слышал, и он спросил, что такое Пандатария.

Залевк начал объяснять:

— Один остров, — но прервался, потому что вокруг претория раздались громкие и злобные голоса.

Он попытался снова направиться туда, но мальчик остановил его.

— Я хочу знать вот что: когда Тиберий сделался императором, три брата моей матери были уже мертвы?

Учитель устало выговорил, словно измученный пыткой:

— Двое старших — да. А третий был ещё маленький, примерно как ты теперь.

Он снова двинулся вперёд.

— Отчего они умерли?

— Вдали от Рима шла многолетняя война, — сказал Залевк. Ему никак не удавалось при-

думать ответ, поэтому он обошёл эту историю и заключил: — Когда же умер и Август, сенаторы избрали Тиберия.

— А где был мой отец?

— Здесь, он сражался с этими варварами, которые вечно восстают.

Учитель воспользовался случаем, чтобы прочесть короткую лекцию:

— Прав был Посидоний Арамейский: barbari immanes[8].

С дороги доносились всё более громкие и возбуждённые голоса.

— Но ты не сказал мне, что случилось с последним братом моей матери.

— Не знаю, — соврал Залевк. — Он жил далеко.

Мальчик отстал от него и направился на площадь. Вопреки обычаю здесь беспорядочными кучками, сбившись ближе к середине, толпились солдаты. Командир преторианских когорт, телохранителей дукса, преградил ему путь и с неодобрительным жестом вернул его чересчур снисходительному учителю.

— Дукс Германии заперся во внутренних покоях с командирами легионов, — тихо пояснил он.

---

[8] Примечания: 8
Ужасные варвары *(лат.)*.

Со всех концов каструма подходили другие командиры и в волнении собирались на площади.

— Его вызывают в Рим! — злобно крикнул кто-то, и мальчик тут же спросил:

— Кого вызывают в Рим?

Ему не ответили, но догадка вызвала тревогу. В самом деле, через второго неожиданного посланника из Рима пришло известие, что победоносного и всеми любимого Германика лишили командования. Среди солдат, командиров, трибунов начал зреть мятеж. Но вышел трибун Гай Силий, и командиры на площади прекратили дискуссии, поскольку его появление всегда объявляло о прибытии Германика. Это знал и мальчик. Действительно, вскоре появился молодой дукс в окружении других трибунов. Он увидел беспорядочное сборище и ничего не сказал, но улыбка сошла с его лица.

Германии умел находить общий язык со своими подчинёнными, в каком бы низком звании или должности они ни были, какой бы утончённой культурой либо, напротив, неотёсанностью ни славились. Ему были в высшей степени свойственны человечность и непосредственность.

«Civile ingenium, mira comitas»[9], — кратко, но с сожалением напишет столь мало склонный к похвалам историк, как Корнелий Тацит. Но для других, в Риме, эти качества явились поводом к тревоге и неугасимой ненависти.

Как только Германии вышел, хор злых голосов зазвучал с удвоенной силой:

— Тиберий боится тебя... Он тебя ненавидит, потому что ты победил там, где он проиграл... Он хочет отнять у тебя легионы...

Возникла толчея, давка усиливалась. В прошлом многих пугали подобные голоса и взгляды, коллективная сила такой мощной военной машины, сознающей свою силу. Чуть позади, вдоль Чертополоха, выстраивались выходившие из казарм солдаты и даже кузнецы и маркитанты, даже колоны — рабы, приставленные к обозам. Их собиралось всё больше, они заполнили всю улицу. Даже самые строгие декурионы и центурионы не вмешивались в это, и было заметно их грозное единодушие.

Германии; молчал, так как гневные крики этих людей выражали правду.

— Ты командуешь самыми сильными легиона-

---

[9] Примечания: 9

«Гражданская благонамеренность, редкостная обходительность» *(лат.).*

ми в империи, — ревела толпа, — и не можешь позволить вот так отнять их у тебя!

В первом ряду стояли трибуны грозных легионов: тринадцатого, двадцать второго, одиннадцатого.

— Мы поставили на колени тысячи германцев, так неужели не сможем напугать шестьсот престарелых сенаторов?

Над другими возвысился суровый голос одного из трибунов:

— Пусть императора изберут люди, рискующие жизнью для защиты границ, а не нежащиеся в термах сенаторы!

Слово «император» возникло как молния из чёрных туч, и крики поднялись ещё громче. Ранее, в век гражданских войн, уже было однажды, что эти легионы, размещённые вдоль дороги, построенной Римом для завоевания северных земель, с пугающей скоростью направились обратно на юг, чтобы привести к власти избранного ими человека. Послышался чей-то голос из толпы:

— В Риме мы к тебе присоединимся. Как в своё время пошли за Юлием Цезарем. Рубикон всё ещё на прежнем месте...

Эта знаменитая речушка к югу от Равенны была

границей, которую закон запрещал пересекать войсковым легионам, движущимся по направлению к Риму. Пересечение этой границы означало мятеж против Республики. Но Юлий Цезарь её перешёл и захватил власть.

Мальчик Гай затесался в толпу, проскользнув меж локтей командиров. Учитель пытался удержать его, но один из трибунов прорычал:

— Эй, отстань от него! Пусть сам учится.

Толпа кричала:

— Вспомни, как Тиберий выхватил власть из рук Новерки!

Хор голосов громко выкрикивал оскорбления, которые маленький Гай узнал, присутствуя при страстных спорах между солдатами, но теперь эти слова казались потрясающими, поскольку целили в мать императора.

Действительно, шли разговоры о восстании, и мальчик затрепетал от охвативших его чувств, когда один старый трибун в панцире, тяжёлом от медалей, полученных в десяти кампаниях, крикнул Германику:

— Когда Тиберий украл у тебя власть, ты был здесь и не мог ответить!

После яростной борьбы между популярами, хотевшими избрать Германика, и оптиматами,

которые делали ставку на Тиберия, сенат в конце концов склонился на сторону последних.

— Но твоё время пришло сегодня, сейчас!

Тут Гай увидел, как его отец поднял правую руку с раскрытой ладонью, и это был незабываемый жест: так дукс всегда выражал своё решение говорить, то есть отдавать приказы, поскольку дукс никогда не говорил иначе. Все, от трибунов самого высокого ранга до простых солдат, в общем порыве быстро прекратили шуметь и замерли, приготовившись слушать.

Мальчик услышал, как дорогой для него голос отца низверг чаяния солдат с несвойственной ему холодностью.

— В те дни... — сказал дукс и сделал паузу. — В те дни у Рима не было правителя, вы это знаете.

Он снова помолчал, чтобы каждое его слово проникло в головы его солдат.

— Но сегодня Римом правит Тиберий, избранный сенатом.

Солдаты молчали. Мальчик видел, как изменялось выражение их лиц. Никто не шевелился.

— До последнего часа моего командования здесь я никому не позволю повторять подобные речи. Мы никогда не пойдём с оружием на Рим.

Молчание продолжалось. Власть мужественно-

го, ясного, справедливого Германика над своими солдатами была почти гипнотической. Мальчик лишь услышал, как стоявший рядом трибун шёпотом выругался сквозь зубы.

Позже историки напишут, что командиры восьми рейнских легионов все вместе предложили идти на Рим. И кто знает, какой враждебный бог коварно вдохновил Германика отказаться. Потому что в этот день Германик, сам того не зная, сделал выбор — укоротил свою жизнь. Никто из легионеров не понял причины этой полной, самоубийственной покорности Тиберию. Никто не представлял, что сильный дукс Германик испытывал непреодолимое, до тошноты, отвращение к войне.

ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ ЧАШИ

Над горными долинами стали собираться тучи. Пришло время уезжать в Рим. Гай понуро отправился в конюшни и в последний раз ласково погладил по гриве Инцитата. Потом перед оружейной кузницей увидел Гая Силия, трибуна, который когда-то показывал ему, как обращаться с сикой — кинжалом для засад, и подошёл к нему.

На этот раз Силий держал в руках не оружие — вместо этого его пальцы сжимали чудесную серебряную чашу.

— Посмотри, — проговорил он, протягивая её Гаю.

Серебро было тонкой работы, с чеканкой и едва заметной позолотой.

— Греческая работа, — сказал Силий. — История Илиады.

В его устах это казалось шуткой.

Но на чаше в самом деле была изображена история царя Приама, который на коленях целовал руку Ахиллу, убийце его сына, чтобы получить мёртвое тело. И виднелось древнее, но отчётливое клеймо автора. «Chirisoposepoiese», — быстро

прочёл Гай. А на краю местный ремесленник выгравировал имя трибуна, «Силий», и работал над второй чашей.

— Твой отец не хочет, чтобы эти края порождали новые войны, — сказал Силий. — Серебряные чаши должны отправиться к моему далёкому другу, далеко за Германский рубеж, на реку у великого северного моря.

— Завтра мы уезжаем, — сказал Гай.

И поскольку Силий был одним из самых близких к отцу людей, а его жена Сосия, жившая в претории, была близкой подругой матери, мальчик доверчиво понизил голос и взмолился:

— Пожалуйста... Нужно кое о чём спросить.

Трибун, бывалый и безжалостный воин, с удивлением посмотрел на него, испытывая противоречивые чувства. Глаза мальчика были нежны и тревожны, голос обезоруживал. Он обладал одним из множества изысканных даров богов — способностью непосредственно и иррационально вызывать к себе симпатию. Трибун жестом отпустил солдат.

Гай снова заговорил:

— Моя мать плакала, и ты знаешь, что она скрывала это, чтобы никто не видел. Почему мой отец сказал ей лишь: «Имей терпение, возьми

себя в руки» ? И почему никто не захотел со мной говорить, словно я ничего не могу понять?

Даже в обычном разговоре, выражая свои чувства, мальчик соблюдал синтаксис и правильно употреблял время и наклонение каждого глагола. Он поднял голову с шапкой каштановых волос, чуть вьющихся на лбу.

— Никто не узнает, что мы об этом говорили, — пообещал он и стал ждать ответа.

Трибун вздохнул, как с ним бывало за мгновение до атаки, и сказал:

— Ты уезжаешь в Рим. И теперь я должен поведать одну историю, которую до сих пор мне не разрешали тебе рассказывать. Ты знаешь, что Юлия, единственная дочь божественного Августа, мать твоей матери, имела от Марка Агриппы, великого флотоводца, ещё и трёх сыновей.

— Знаю, ты сам мне это сказал, — ответил Гай, расправив плечи; он здорово вырос за последние недели. — Другие никогда не хотят говорить со мной об этом.

— Двое старших были сильные, мужественные, и мы все возлагали на них большие надежды, — прямо заявил трибун. — Но их обоих послали в очень отдалённые от Рима провинции. И вместо обоих в Рим вернулся только прах.

— Кто решил отправить их так далеко, одного за другим? — спросил Гай со спокойствием взрослого мужчины.

Силий умолчал, что Ливия, Новерка, уже подчинила своей воле престарелого Августа. «Nam senem Augustum devinxerat adeo, — напишет об этом Корнелий Тацит с презрением историка и сделает вывод: — Novercae dolus abstulit» — «Их убило коварство Новерки».

— Луция послали в легионы в Тарраконской Испании. Он едва доехал до устья Родана — там его поджидали, чтобы умертвить. Говорят о какой-то странной болезни, которую никто не смог объяснить.

— Скажи мне, сколько ему было лет? — прервал трибуна Гай.

— Чуть не хватало до девятнадцати. Вскоре после этого другого брата — его звали, как тебя, Гай — послали в охваченную восстанием Армению. Там он попал в засаду, его ранили. Никто не мог к нему прорваться. Он, конечно, понимал, что его хотят убить, поскольку написал Августу, что хотел бы бросить всё и удалиться в какой-нибудь город в Сирии. Возможно, он надеялся на жалость Новерки. Но письмо пришло уже после его смерти. Ему было тогда двадцать три года. На его

похоронах всё население Рима и все солдаты легионов кричали о злодейском убийстве, кричали, что Новерка убрала первое и второе препятствия на пути к императорской власти для своего сына Тиберия. И они говорили правду: через три месяца Август усыновил Тиберия, распахнув для него двери к власти.

Гай никак это не прокомментировал, только спросил:

— А моя мать?

— Она в те дни была ещё девочкой. У неё оставался третий брат, последний мужской представитель рода Августа, но ему ещё не исполнилось и шестнадцати лет. К тому же его упрекали во вспыльчивости, агрессивности, чванстве своей силой. И Новерке удалось сослать его на остров Планазию, как угрозу действующей власти. А он мог бы стать прекрасным военным.

— Где это — Планазия? — спросил Гай.

— Это маленький островок в Тирренском море.

— Залевк и про это мне не сказал, — пробормотал Гай.

— Не вини его. Он не мог сказать большего, он же раб. А я могу и должен сказать тебе кое-что ещё. Пока Август доживал свои последние дни, один человек, бывший проконсулом в Азии,

Фабий из рода Максимов, железный человек, нашёл в себе мужество раскрыть эту преступную интригу. И вот Август вырвался из-под контроля Новерки и вместе с Фабием высадился на Планазии, где томился в заключении бедный юноша. Он был красив и силён, и старый Август подумал при встрече, что тому двадцать лет. Юноша был в отчаянии от этого несправедливого заточения.

Как говорят историки, дед и внук обнялись и вместе погоревали (хотя непонятно, о чём так единодушно могли горевать автор этого наказания и его жертва).

Силий продолжал:

— Даже Фабий, повидавший не знаю сколько войн, был тронут и поделился своими чувствами с женой. Но жена его дружила с Новеркой и, попав под влияние её чар, не смогла удержать язык за зубами. Через два дня на Фабия напали в глухом переулке и убили. Мне говорили, что удар был нанесён опытной рукой — один из тех ударов, которым я учил тебя. Мне известно, что у жаркого погребального костра вдова пришла в отчаяние и кричала, что это она его убила, рассказав о том, о чём следовало молчать. Ты должен знать также, что Фабий был большим другом твоего отца. И что за него никто не отомстил.

Гай молчал. Идея неотмщённого убийства впервые вошла в его жизнь. И он холодно спросил, словно вёл следствие:

— А что Август?

Трибуна Гая Силия смутила твёрдость этого вопроса.

— Он был уже болен. И бедный юноша остался на Планазии.

— Живой, — заметил Гай.

— Да, живой. Но он был последним законным соперником Тиберия. И Тиберий, как только получил власть, послал одного центуриона убить его. На юношу предательски напали, он защищался, но против него одного было трое мужчин.

Эта кровавая сцена запала Гаю в душу. И Силий не узнал, сколько ночных снов подростка будут прерываться тревожной дрожью.

— Когда известие о его смерти пришло сюда, твою мать никто не видел три дня, — сказал трибун.

— Я не помню... — пробормотал Гай.

— Ты был маленький.

Это первое преступление нового императора («primum facinus novi principatus», — напишет Тацит с отвращением) показало его ледяную жестокость и необычайную скрытность, которые

будут держать в страхе весь Рим.

— Но когда центурион доложил Тиберию, что задание выполнено, и, чтобы набить себе цену, сказал, что убить юношу было непросто, Тиберий на глазах у шестисот сенаторов заявил, что не давал никакого приказа. Возможно, сказал он, это был тайный приказ Августа, который тот отдал перед смертью. Тиберий изобразил возмущение и приказал поскорее предать центуриона суду. Говоря так, он держал в руке маленький кинжал, символ власти над жизнью и смертью, и поигрывал им. Мы здесь, узнав, что власть попала в руки Тиберию, хотели пойти на Рим. Но и тогда нас удержал твой отец.

Гай молчал.

— Помни, — прервал молчание трибун, — что кровь тех юношей бежит и в твоих жилах. Пока что.

— Понял, — сказал Гай со спокойствием, которое Гаю Силию из-за малых лет собеседника показалось ужасающе неестественным, так что он пожалел о сказанном.

Но тут беседа закончилась, так как Гай повернулся к конюшням и сказал трибуну совсем другим голосом:

— Рекомендую тебе моего Инцитата. Не знаю,

почему отец не разрешает взять его в Рим.

Любимый Инцитат, видимо, понимал, что его юный наездник расстаётся с ним, и тоже испытывал глубокую печаль, следя за мальчиком влажным взором.

— У Инцитата лёгкие копыта и сухожилия, — сказал Силий. — Долгое путешествие не для него. Ты бы это заметил по прибытии. Это прекрасный конь для парадов, и здесь он будет шествовать во главе других.

— Я приду попрощаться с ним завтра перед отъездом.

— Не возвращайся, — посоветовал Силий. — Пусть начнёт забывать тебя.

— Животные не забывают. Напиши мне, пожалуйста.

Трибун Силий пообещал. Оба не могли вообразить, при каких страшных обстоятельствах встретятся в Риме.

Когда Гай направился к преторию, Силий внезапно чисто инстинктивно предостерёг его, словно на войне, в засаде:

— Завтра ты отправляешься в Рим. Но ты должен научиться быть осторожным, детёныш льва.

II
ПРОВИНЦИЯ АЗИЯ. ПРОВИНЦИЯ ЕГИПЕТ



РИМ

И вот уже там, за лесами и горами, был Рим, которого Гай никогда не видел. Раньше его молодому уму, возбуждённому заклинаниями грека-учителя, представлялось, как после долгого путешествия по холмам и долинам впереди, словно белое облако, появится мраморный город, широко раскинувшийся на семи холмах на берегу светлой реки. Но потом его таинственное семейство — о котором он практически ничего не знал — превратилось в клубок призраков, а Рим стал озером тревоги, над которым, как грозовое небо, нависала имперская мощь.

На каждой остановке стихийно собравшиеся массы народа громко приветствовали его отца Германика — дукса, несправедливо смещённого Тиберием.

— Козни Новерки... — ворчали некоторые.

Но всё же большинство ликовало:

— Ты вернулся к нам!

Среди всеобщего энтузиазма всё громче звучали слова, не столько выражавшие радость, сколько призывавшие к восстанию. Перекрывая остальные, в уши мальчика проник чей-то голос:

«Защити нас!» — и он с любовью и обожанием увидел в отце сверхчеловеческие возможности.

Командир эскорта наклонился в седле и тихо проговорил:

— Видишь, прийти в Рим с легионами было бы детской забавой, — и в его словах слышалось сожаление, злость и затаённая в душе озабоченность.

Гай слушал и молчал. Ехать верхом ему было нетрудно, но он не хотел называть этого сильного жеребца с тяжёлыми копытами именем своего теперь уже далёкого жеребчика. Однако он быстро привык к неутомимому ритму, с которым поднимался и опускался широкий круп, и всю дорогу скакал верхом, как и отец.

Подъехав к последнему привалу перед столицей, они увидели, что навстречу им движется огромная возбуждённая толпа друзей, сторонников, патрициев, всадников, сенаторов, родственных семей, военных и несколько сотен совершенно незнакомых людей.

— Будь с нами хотя бы один из оставленных там легионов, — пробормотал командир эскорта, — мы бы пошли прямо на Палатин.

Он обратился к Гаю:

— Смотри и помни: это день, посланный нам

богами.

Гай увидел свою прекрасную мать, с улыбкой обнимавшую счастливых людей в толпе, и его пленили горящие глаза, звук радостных голосов и смеха, потому что он уже несколько месяцев не видел, чтобы кто-то смеялся. А потом все бросились обнимать его, Калигулу, рождённого в каструме на Рейне, скакавшего на коне как варвар, чудесно говорившего на аттическом греческом, но запинавшегося на латыни. И пока все его ласкали, а один старый сенатор с нежностью проговорил: «Кровь Августа вернулась в Рим», — один трибун пробился сквозь толчею и сказал ему:

— Посмотри на Рим — ты же никогда его не видел.

Мальчик оглянулся — там, за светлой рекой, действительно был Рим, властный и великолепный, белый от мрамора, как облако. А трибун говорил:

— Этот город Тиберий украл у твоего отца.

Мальчик смотрел, широко распахнув ясные глаза. И тут его стиснули в объятиях два его старших брата, остававшиеся эти годы в Риме, «чтобы получить настоящее образование», как говорил Залевк. Ему не удалось даже поговорить с ними,

потому что старший, рослый юноша, посадил его на плечи, как малыша, и со смехом побежал. Для Гая это было необычайное чувство — телесное признание наряду с полным радостным доверием и взрывом силы. И он тоже рассмеялся в унисон со своим большим братом, обхватив его за шею, и все оборачивались, чтобы на них посмотреть.

— Ты обратил внимание, как в Риме говорят по-латыни? — спросил его неумолимый Залевк.

И в самом деле, латынь, на которой говорили образованные патриции, магистраты и ораторы, сильно отличалась от жаргона, который мальчик слышал на улочках каструма; манера говорить, неожиданные цитаты из выдающихся поэтов казались Гаю непонятными. Зато Залевка порадовало, как всех изумили непринуждённость и изящество, с какими мальчик изъяснялся по-гречески.

— Совершенное двуязычие, — с задумчивой симпатией заметил могущественный и богатейший сенатор Юний Силан.

И никто не мог представить себе, что судьба обрушит на них в ближайшие годы.

Возбуждение толпы на берегах Тибра всё возрастало, пока она не смяла эскорт и сама не стала кортежем.

— Все эти люди собрались лишь потому, что Германик вернулся из поездки, — с неприязнью заметил сенатор Анний Виниций, вождь оптиматов.

Назвать «поездкой» суровые годы войны, к которой Германика принудили в надежде, что его убьют, было так цинично, что сторонники Виниция на деланно рассмеялись.

Тем временем прославленное семейство с мудрой медлительностью расчищало себе путь в толпе, постоянно приветствуя встречающих, и так продвигалось к пышной пригородной резиденции на Ватиканском холме. Бывшая собственность Августа пустовала. Её открыли в дни свадьбы Юлии и флотоводца Агриппы, и всё здесь свидетельствовало о строительном искусстве, вкусе и роскоши. К реке спускались знаменитые сады, а залы украшали изысканные яркие фрески с изображением славных событий в истории семьи.

Этот шумный приём вызвал у императора Тиберия серьёзное раздражение. Из-за его опасений многочисленные шпионы поднялись в его дворец на вершине Палатинского холма, чтобы доложить о настроениях народа. Императорский дом — как камень на могиле — был построен на

месте разрушенного дома Марка Антония, надежды популяров и любовника Клеопатры, буйного мятежника, покончившего с собой. В одинокий дом Тиберия, столь внушительный и массивный, что конструкции дожили до нынешних дней, допускали не многих избранных. Своих ядовито усердных шпионов Тиберий свысока слушал в тишине, недостижимый в своём могуществе, — с непроницаемым лицом и плотно сжатыми губами, как на своих изображениях. Однако его как будто и не занимала шумная героическая аура, окружавшая Германика и его жену Агриппину, любимую внучку божественного Августа. Он никак не проявил своих чувств, ни одобрения, ни раздражения, когда сенаторы единодушно (популяры — с энтузиазмом, оптиматы — чтобы успокоить смуту в городе) постановили устроить Германику триумф за его победы над хаттами, херусками, ангривариями и многими другими народами, населявшими земли за Рейном.

После суровой изоляции в каструме Гай Цезарь увидел неожиданную перемену в своём молодом отце, который надел блестящие одежды, придуманные Римом для своих победителей, — торжественное ритуальное облачение, выражавшее всю взрывную мощь империи.

Триумфатор надевал «пальмовую» тунику с вышитыми по краям золочёными листьями пальмы, поверх неё надевалась пурпурная, расшитая золотыми пальмами тога picta; на голову ему водружали венец, свитый из золотых лавровых листьев, а в руке он держал тяжёлый скипетр из слоновой кости. Таким образом преображённый, полководец восходил на золотую колесницу, запряжённую четвёркой белых коней, чтобы совершить ритуальное действо, и это картинное, волшебное шествие змеёй обвивалось вокруг пупа Рима. Меж двух шумных и плотных стен толпы квадрига — которая через две тысячи лет неожиданно возродится в кинематографе — объезжала древнюю Ромулову стену, сердце первоначального Рима, Бычий форум, Велабр[10], Большой цирк и наконец поднималась к Триумфальным воротам, а оттуда по усыпанной цветами Священной дороге спускалась к Капитолию.

Но это был не просто парад — он представлял собой воображаемый рассказ о войне, единственно возможный в дотелевизионную эпоху. Сначала на телегах и носилках появлялись трофеи, драгоценности, добыча, то есть в сконцентрированном

[10] Примечания: 10

Название двух площадей и улиц в Древнем Риме, где были сосредоточены продовольственные лавки.

виде полезная сторона войны. Потом толпа выносила высоко поднятые огромные расписные щиты, иллюстрирующие, как афиши, завоёванные города, сражения, осады, вероломных врагов и необычайные подвиги римлян — образы мужественной и героической войны.

А потом следовали безжалостно закованные в цепи (порой даже в золотые, для пущего издевательства), наряженные в роскошные одежды побеждённые монархи и полководцы со своими жёнами, сыновьями, придворными — образ разрушительной мощи Рима. Когда появлялись пленники, толпа уже отдавала себе отчёт, что разворачивается пред ней, и её переполняли гордость и ненависть. И это, конечно, был образ отмщения, так как многим из этих знаменитых пленников предстояло умереть ещё до окончания триумфа или навек сгинуть в тюрьме.

Среди пленников и добычи Тиберий поместил и жену побеждённого Арминия Туснельду, которая попала в руки римлян, несмотря на отчаянные попытки германского вождя спасти её. И Туснельда с ясными глазами неутомимо шагала, гордо обратившись мыслями к далёким краям. Гай её не видел, но представлял её в движущемся перед ним бесконечном кортеже. Но тут до него донес-

лись слова отца — пока друзья веселились рядом, Германик прошептал, обняв сына за плечи:

— Тиберий отравил мне этот триумф.

Было отвратительно ехать на парадной квадриге, зная, что совсем рядом под оскорбления толпы идёт эта женщина, закованная в цепи.

Но тут вперёд вышли жрецы со святынями, римскими и вражескими, — образ небесного покровительства над Римом, — за ними двинулись увитые цветами белые быки, которых предстояло принести в жертву перед Юпитером Капитолийским. И это было символом замысловатой и глубокой тесной связи между религией и политикой. Традиция, которой суждено возродиться через века в новых верованиях.

Наконец появлялся сам vir triumphalis, герой триумфа, в устрашающем окружении: его высокомерные командиры, орлы, знамёна, музыка, легионеры в сияющих парадных доспехах, великолепная лёгкая конница и тяжеловооружённые катафракты, воины и кони, закованные в железо, а также ауксиларии — вспомогательные войска союзников из дальних земель, от Нумидии до Парфии, Германии и Иберии. Окружённый облаками пыли и криками кортеж не спеша демонстрировал высокомерному Риму его же

величие. И устрашал врагов.

Однако в этот день легионы, оставленные на Рейне, были мало представлены в триумфе Германика. «Тиберий побоялся ввести их в Рим», — говорили люди. Смешавшись с толпой, один бледный учёный по имени Кремуций Корд (тогда ещё не началось преследование, которое его убьёт) видел этот день своими глазами — глазами историка — и написал, что, несмотря на малочисленность войска и отсутствие Тиберия, Германик получил самый горячий приём, какого Рим не устраивал ни одному победителю. Но он задался вопросом: «А чему мы в действительности радуемся? Победам над далёкими и по большей части незнакомыми народами? Или надеждам на новое будущее?»

Рядом с ним остановился ещё один друг Германика, жизнерадостный и энергичный всадник Татий Сабин, который, слушая его, в глубине души был тронут.

— Я верю, что всё действительно может измениться, — пробормотал он и чуть не прослезился, увидев, как Германик поставил своего младшего сына на ось триумфальной квадриги, одетого в великолепный панцирь и знаменитые калиги, сшитые как копия взрослых.

Мальчика опьяняли эмоции, сверху он махал толпе рукой, посылал воздушные поцелуи, смеялся, и толпа в общем порыве полюбила его, а несколько ветеранов в толчее выкрикнули его ласковое прозвище:

— Калигула!

Но другие с ледяной злобой бормотали, что Германик хочет поднять плебс, снова вселить дух в поверженных популяров и театрально предложить римлянам для власти свою династию.

— Тиберий ему этого не простит...

Но Тиберий по-прежнему ничем не выдавал своих чувств. И историк Кремуций Корд испытывал мрачные подозрения насчёт этого отстранённого молчания. «Тиберий не может забыть, что в жилах Германика течёт кровь Марка Антония». И действительно, трагическая семья Германика вела род от нелепого и несчастного брака, который много лет назад устроил Август — следуя неумолимым государственным интересам — между своей послушной сестрой Октавией и упирающимся Марком Антонием, уже отдавшим своё сердце Клеопатре. Брак быстро распался, и между парой осталась только враждебность. И юные сироты.

На вершине Капитолия друзья Германика на-

шли время показать ему шестидесятилетнего человека, коренастого и хмурого, в парадной сенаторской тоге с почётной пурпурной каймой, который, стоя в окружении приспешников и клиентов, недружелюбно наблюдал за ними издали. Гаю объяснили, что этого человека зовут Гней Кальпурний Пизон, и тон, которым произнесли это имя, внушил мальчику смутную тревогу и неясную мысль о коварстве и могуществе.

Этот человек действительно родился в великой и гордой до высокомерия семье, в роду, который много лет назад оказал огромное влияние на избрание Тиберия. Теперь его последователи с сарказмом шептались:

— В Рим вернулся претендент...

Сенатор демонстративно не наклонил голову в знак приветствия, а только рассмеялся. И даже издалека было видно его презрение.

Согласно древним верованиям, боги в такой день собирают в сердце Рима всех, кому вскоре предстоит встретиться в безжалостной борьбе. И только боги, которые играют судьбами людей, знают, что мало кто спасётся. Но не ведающие будущего люди ещё до конца мая запечатлели память об этом триумфе на мраморной доске

римской славы и в капитолийских списках[11], замурованных на Римском Форуме.

На следующий вечер историк Кремуций Корд встретился в портике на форуме Августа — самой новой и великолепной римской площади — со своим другом Татием Сабином и признался ему:

— Германику нужно быть настороже. Тиберий не простит ему победы там, где сам он потерпел поражение.

О том же самом кричали трибуны и солдаты на Рейне. Несколько лет назад действительно один легион был перебит до последнего человека в Тевтобургском лесу, ставшем для Рима символом невосполнимых потерь[12].

— Тиберию, — вспоминал Кремуций Корд, — не удалось не то что спасти их, но даже похоронить убитых. А теперь по Риму ходят рассказы, как Германик на том же месте разгромил Арминия и отвоевал Тевтобург. Говорят, что мёртвые пролежали там шесть лет на земле не похороненные, с оружием и значками, и было видно, что мно-

---

[11] Примечания: 11

Капитолийские списки — хроники выдающихся событий в Древнем Риме.

[12] Примечания: 12

Видимо, имеется в виду уничтожение в Тевтобургском лесу трёх легионов Квинтилия Вара в 9 г. н. э. (ещё при жизни Августа).

гим хладнокровно перерезали горло. Говорят, что Германик собственноручно возложил этих несчастных на погребальный костёр. И поднял честь Рима из грязи, где Тиберий бросил её гнить. И я с утра пошёл послушать эти рассказы, потому что должен их записать.

Бледный Кремуций говорил, как писал, и вокруг него стал собираться народ. Но, удалившись вместе с Татием Сабином, он пробормотал:

— Я понял, почему Тиберий молчит. И мне страшно. Совершенно ясно, — объяснил историк, — что Германик — дукс, одним жестом поднимавший или сдерживавший восемь возмущённых легионов, владыка войны и мира, перед которым побеждённые падали на колени, — лишён власти. Без единого слова, не нанеся ни одного удара, Тиберий убрал от себя всех, кто когда-нибудь мог бы быть избран в императоры.

Он говорил так, будто уже писал свою книгу.

Татия Сабина, широкую душу и оптимиста, не склонного к рефлексии, раздражала задумчивая бледность Кремуция.

— Весь Рим у ног Германика. Ему стоит поднять руку и...

Но печальный Кремуций перебил:

— Его руки пусты.

Над Римом нависала иная власть — сенат, коллегия жрецов, консулы и над всеми ними недосягаемый Тиберий, император. Германик же был просто римским патрицием, одним из многих, — молодым, очень красивым, благородным, знаменитым и любимым, но некоторые смотрели на него с подозрением и злобой за старые обиды. А главное, у него не было должности, дни его проходили праздно. И наконец, императора окружал грозный эскорт преторианцев — солдат, охранявших Рим и державших город в кулаке.

Кремуций заключил:

— Мысль Тиберия подобна змее в траве. Идёшь и не знаешь...

ЗМЕЯ В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ

— Сенаторы спорят и приходят к мнению, что у Тиберия нет ни к кому ненависти, — сообщил Германик своим близким, возвратившись из курии.

Но никаких верных сведений не было, лишь туман беспокойства. Лицо императора, неизменно хмурое и непроницаемое — «угрюмое», как написал кто-то, — за которым неизвестно что скрывается, вызывало неуверенность даже у самых опытных в заговорах и интригах сенаторов.

— А ещё хуже, когда он говорит, очень мало и двусмысленно.

Родственники слушали, и никто не высказывал своих мыслей. Молодой Гай смотрел на них. На сад опустился тёплый римский вечер, удлинив тени от деревьев.

Тиберий действительно физически ощущал близость Германика, и, чтобы распалить нетерпимость императора, шпионы каждый день докладывали ему о передвижениях и контактах дукса.

Шестидесятилетний Кальпурний Пизон, его могущественный избиратель, имевший редкую привилегию говорить с императором с глазу на

глаз, сказал Тиберию:

— На Рейне, во главе легионов, Германик представлял собой отдалённую угрозу; здесь же он — соперник, сидящий на ступенях Палатинского дворца.

И действительно многие этой горькой римской весной видели в Германике неодолимого претендента, чья скорая победа неотвратима. В него верили.

— Вспомним, — сказал Кремуций, — что ещё живы сыновья и внуки тех трёхсот сенаторов и всадников, соучастников вспыльчивого Марка Антония, которые после капитуляции были зарезаны в Перузии.

А тем, кто шептал, что, возможно, он переусердствовал в чистках, Август ласково объяснял: «Нужно умиротворить тень Юлия Цезаря».

Вскоре вокруг Германика, как реки при таянии снегов, собрались обиженные и мятежники. А его враги начали двусмысленно нашёптывать:

— Германик затевает что-то новое. Он нарушает согласие среди оптиматов и популяров.

Так называемое согласие в рядах — виртуозная концепция, созданная Цицероном, — в действительности было принудительной мумификацией жёстких существующих условий. После массовых

убийств, процессов, проскрипций, ссылок сенат находился под безжалостным господством оптиматов, крупных собственников и аристократов. И тщетно популяры противились социальному и экономическому неравенству, парализующим аграрным законам, неизбежности аренды, концентрации богатств, собранных последними победами, — историки грядущих времён назовут это «пассивной революцией».

В те дни Гай обнаружил, что грубовато-ласковые прозвища, данные ему в каструме — «Калигула» и «детёныш льва», — прижились и в Риме. Так его звали простолюдины, а встречные женщины старались приласкать.

— Это не мальчик, — озабоченно заметил Залевк, находя свою опеку всё более затруднительной, — это символ.

И вот однажды в ту чарующую весну столь редко говоривший Тиберий вдруг объявил собравшимся в курии сенаторам, что ситуация на восточном побережье mare nostrum — Нашего моря, как называли тогда Средиземное, — стала тревожно неспокойной.

— Мы отнеслись к этому без внимания, — заявил он, и казалось, что сейчас прозвучат имена виновных.

Весь зал окаменел в испуганном молчании. А император сказал:

— В наших провинциях, в вассальных государствах на границе с Парфией, замышляют мятеж, а может быть, и войну.

Упоминание о местных властителях, непокорённом враге вызывало в мыслях смятение (как Ирак нынешних дней). Но самые сообразительные среди оптиматов догадались, что это зловещее вступление таит в себе какой-то план, и вскоре убедились, что они не лишены проницательности и их предположение, к сожалению, оказалось верным. Кто-то — раньше никогда и не думавший об этих странах — развернул блестящую критику против самоуспокоенности, в которой сенаторы пребывали годами.

Тиберий, которому такие слова шли на пользу, отечески одобрил подобное рвение, но признался:

— Боюсь, я слишком стар, чтобы отправиться туда...

Не все в курии поняли из этих неясных слов намёк Тиберия на то, что огромная популярность Германика делает рискованным дальнейшее его пребывание в Риме. Тогда поднялся сенатор Кальпурний Пизон, личный приближённый

Тиберия и вдобавок женатый на женщине по имени Планцина, рождённой во влиятельном сенаторском семействе.

«Она на редкость жестока», — говорили о ней, но весь Рим знал также, что она водит дружбу с матерью Тиберия Новеркой и ежедневно к ней заходит. Кальпурний Пизон решился выразить чувства своих коллег:

— Тиберий в расцвете сил, и мы возносим молитвы богам, чтобы так продолжалось долгие годы. Но его присутствие необходимо в Риме, мы трепещем при мысли о риске, которому он подвергся бы на Востоке.

Здесь даже до самых невнимательных из популяров дошло, что дело ведётся к уже принятому решению, и никто не рискнул вмешаться. Тиберий действительно поблагодарил сенаторов за заботу и предложил:

— Человек, который восстановит порядок на Востоке, — тот, кто победил хаттов, ангривариев и херусков. Это Германик.

Рекомендация Тиберия означала чуть ли не больше, чем декрет. Империй (то есть власть) над восточными провинциями казался большим доверием и давал большие полномочия, чтобы успокоить конфликты и возмущения,

принудить к согласию царьков и вождей, плохо контролируемых двусмысленными договорами вассальной зависимости, укрепить важные границы на Евфрате и в набатейских пустынях. Но это назначение несло в себе и большой риск. Простодушным популярам такая перспектива показалась лестной для их идола, в то время как оптиматы, по противоположным соображениям, увидели в ней прямо-таки избавление. И предложение отправить Германика на Восток было быстро и радостно одобрено.

Глубокую тревогу Германика, вызванную этим неожиданным назначением, затопили массой поздравлений. И он решил взять с собой нескольких преданных офицеров, юристов и чиновников, знакомых с теми краями, а также свою любимую Агриппину и, впервые, всех трёх сыновей. Из этих троих громче всех выражал свою радость младший — Гай, родившийся на северных границах империи и никогда не плававший по морю.

МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Отплыв из порта Брундизий, они попали в шторм. В борт корабля били тяжёлые волны. Ветер гнал флотилию к пустынным берегам Македонии и Эпира, мимо множества островов, пока однажды вечером, измученные тяжёлым плаванием, люди не увидели, что за высоким мысом открывается глубокая бухта со спокойными водами. Один из моряков сказал Гаю, что эта выступающая из мглы бухта называется Акций и пятьдесят лет назад здесь состоялось великое сражение между Августом и Марком Антонием за власть над империей.

Кто-то прошептал:

— Сама судьба дула нам в паруса, чтобы пригнать в этот порт.

И никто не заметил, что мальчик побледнел и замер, глядя на бухту.

Германик тоже задумчиво посмотрел туда и сказал с горькой усмешкой над самим собой:

— С той ли стороны или с другой, в моих жилах течёт вражеская кровь, — и рассмеялся.

Его сын Гай вздрогнул от леденящей тревоги, и никто не откликнулся на этот смех. В гнету-

щем молчании Германик попросил капитана флотилии показать точное место знаменитого сражения.

Капитан выразительно махнул рукой в самый дальний угол бухты.

— Марк Антоний укрыл свои корабли там... — И с сожалением прокомментировал: — Он избрал отчаянно рискованную стратегию: собрать оставшихся людей, погрузить их на свои немногие корабли и через море перенести войну в Италию.

Он не пояснил, что такой выбор был сделан после бессонных ночей, безудержного пьянства и мучительных тревог ясновидящей Клеопатры, а только сказал:

— Флот Августа поймал их в ловушку у выхода из бухты. Был второй день сентября. Моряки Августа разъярились, так как месяцами не получали жалованья, и хитрый Август объявил, что корабли Клеопатры везут сокровища. Но самого Августа на борту не было: за него сражались его флотоводцы. Я слышал, что он стоял вон там, на холме, где за несколько веков до того возвели небольшой храм Аполлона.

— Где? — спросил Гай.

Но над холмом сгустился морской туман.

— Ещё увидишь, — пообещал ему капитан. — Август, завернувшись в плащ из белой шерсти, стоял и смотрел, пока не рассеялись последние корабли Марка Антония. Однако в тумане, — усмехнулся он, — Марку Антонию и Клеопатре удалось вывезти сокровища — гору золота, больше двадцати тысяч талантов. И Август был вне себя.

Молодой Гай заметил, что сердце капитана на стороне побеждённого, а не победителей.

— После победы Август всех удивил, объявив, что Аполлон из того храма неизвестно почему помог ему победить. И возвёл ему жертвенник. На самом-то деле это был памятник самому себе.

При этих словах ветер отогнал туман и открыл на холме белеющее мрамором священное здание.

На первой террасе были вбиты массивные ростры (бронзовые тараны с тремя рогами, которые пропарывали киль вражеского корабля) от тридцати шести таранных кораблей, потерянных Марком Антонием. Они были расплющены и разломаны, их сокрушающая ударная мощь не избежала поражения. На второй террасе было высечено из мрамора шествие богов, несущих триумфальную бронзовую статую Августа.

А над всем этим, окружённый портиком, стоял алтарь бога, давшего Августу власть над империей.

— Август понимал, что если привлечёшь на свою сторону какого-нибудь бога, то удвоишь страх врагов, — прокомментировал капитан.

На другом же берегу бухты раскинулось усыпанное камнями плоскогорье. Капитан торжественно указал на него:

— Перед сражением Марк Антоний встал лагерем вон там.

Тем временем корабли бросили якоря в бухте, и капитан объявил остановку для починки снастей.

— Хочу подняться на плоскогорье, — заявил Германик и быстро направился туда, чтобы успеть до захода солнца.

Два его старших сына пошли в портовые улочки. Гай же, осторожно шагая и глядя по сторонам, последовал за отцом туда, где виднелись остатки того наспех поставленного лагеря, камни, разбросанные по траве доски и брёвна.

Из-за этой давней проклятой войны Германик втайне очень страдал, и когда его сын Гай осмелился тихо сказать: «Я ничего не знаю об этой части нашей семьи», — он против обыкновения

быстро и резко обернулся и ответил:

— Твоя семья — это я и твоя мать. Все остальные принадлежат истории.

И дверь этой беседы захлопнулась.

К вечеру прибыла депеша из Брундизия от Татия Сабина — с бурным негодованием он сообщал Германику, что Тиберий назначил своего верного Кальпурния Пизона префектом провинции Сирия. «Тебе нужно остерегаться, — писал Сабин, — за твоей с виду триумфальной миссией исподтишка поручено надзирать непримиримому врагу».

В памяти молодого Гая всплыл образ сенатора, который в день триумфа издали смотрел на отца и смеялся, а его мать Агриппина тревожно прошипела:

— Это идея Новерки.

Её красивое лицо исказилось от злобы.

— Кальпурний привезёт с собой в Сирию и свою жену Планцину, — предрекла она.

Агриппине с ужасом представилось, какие инструкции дала Новерка этой своей верной и неразборчивой в средствах сообщнице; она снова увидела своих братьев, посланных в Иберию и Армению со славными миссиями, где они и умерли, совсем ещё молодые, при таинствен-

ных обстоятельствах. Мысли Германика ещё не дошли до этого, но жена порывисто встала, посмотрела ему в лицо и, обняв, прошептала с отчаянной прямотой:

— Это западня... Новерка, она всегда устраивает такие дела вдали от Рима…

Трибун Кретик, верный адъютант Германика, с тревогой посмотрел на него, и разговор замер.

Через несколько месяцев многие римляне — и многие видные историки будущего — согласятся с суждением Агриппины. Но в этот вечер её слова показались всего лишь криком парализующего страха.

Гай, слушавший разговор, пока оба его старших брата играли в отдалении, затаив дыхание, спросил отца:

— Какие дела она устраивает?

Отец поворошил его слегка вьющиеся волосы, такие лёгкие и блестящие. Однако, не зная, что сказать, солгал самому себе:

— Не думаю, что Кальпурний будет представлять опасность.

Но на его красивом загорелом лице отражалось беспокойство, и вдруг изменившимся голосом он сказал военачальникам:

— У нас есть средства, чтобы защитить себя:

четыре легиона на восточных границах и три в Египте, да два флота — Classis Pontica и Augusta Alexandrina[13].

Адъютант Кретик, улыбаясь плотно сжатыми губами, одобрительно посмотрел на него, и другие молча согласились. Германик снова погладил по голове своего младшего сына.

— Чего ты боишься?

Эти слова, казалось бы, должны были успокоить мальчика, но прозвучали сурово и мрачно, как предвестие гражданской войны.

Германик ушёл посидеть в саду и велел подать вина обеспокоенным друзьям; с моря несло вечерней свежестью.

— Опасность, — пробормотал он, — исходит от тех, кого считаешь друзьями, кто приходит в твой дом каждый день...

Гай продолжал смотреть на него. Детская вера во всемогущество отца постепенно растворялась. Возможно, всё-таки существовало что-то, с чем его всемогущий отец ничего не мог поделать.

— На Востоке был царь, — проговорил Германик, — которого враги пытались убить, но он упал на землю и притворился мёртвым. Заговор-

---

[13] Примечания: 13

Понтийский (Черноморский) флот и флот Августа в Александрии *(лат.)*.

щики скрылись, а потом прибежала стража, и он отомстил врагам, всем до последнего.

«Почему он так говорит?» — подумал Гай и спросил:

— Как его звали?

— Не помню... — вынужден был ответить отец.

Он осушил кубок и медленно поставил его, как человек, тщетно пытающийся напиться, чтобы скрыться от несчастья. Гай оставался там и смотрел, не отрывая глаз, на пустой кубок. Германик вдруг поднял голову.

— В конечном счёте, каждый должен желать себе судьбы Юлия Цезаря. Не ожидаешь и потому не защищаешься. Тот, кто тебя убьёт, умеет владеть оружием и знает, что не должен оплошать, поэтому быстро нанесёт верный удар. Одно мгновение, разящий клинок, леденящий холод, и никакой боли...

Он усмехнулся.

Его сын Гай смотрел на отца не дыша, так как знал от Залевка, что эти слова произнёс за ужином у своего друга Марка Лепида Юлий Цезарь накануне смерти.

ОСТРОВ

Проехав по суше через Грецию и выполнив миссию на берегу Геллеспонта, римляне поплыли вдоль азиатского берега на юг к Эгейскому морю, где увидели маленький гористый островок. Моряки, собравшись у борта, молча его рассматривали.

Островок имел неприступные берега, там росли густые лиственные леса и возвышалась высокая гора, одиноко маячившая над морем.

— Это Самофракия, — объявил капитан.

Они приблизились к острову с севера. Море колыхалось под порывистым ветром, зелёные волны, пенясь, бились о скалы.

— На Самофракии нет никаких войск, — говорил Залевк, — но никто не осмеливается нападать на неё.

По древней суровой традиции на острове поклонялись кабирам, богам, прибывшим из далёких земель. На беотийском диалекте слово «кабиры» означало «могущественные». Их священные имена всплывали из тьмы времён: Аксиокерс, Кадмил — имена богов, неизвестные на других греческих островах. Эти боги помогали в войне

и спасали от кораблекрушений, но они также представляли собой и тёмные силы, видевшие — а возможно, и направлявшие — будущее.

С гор сползали низкие тучи, и капитан заметил:

— Начинается прилив.

Но Германик велел подойти к острову:

— Хочу высадиться до темноты.

Залевк рассказал, что с этой горы во время осады Трои бог Посейдон гневно взирал на атаки греков. Потом указал на неприметное место на азиатском берегу:

— Троя находится вон там.

Капитан рассмеялся и с иронией заметил:

— У бога, видно, было действительно острое зрение, так как я ещё в юности поднимался на вершину горы, и наверняка даже орлы не разглядели бы оттуда поединка Ахилла с Гектором.

Но его моряки встревожились, так как он смеялся, говоря о богах.

Постепенно корабли приближались к чёрным циклопическим стенам необыкновенного древнего города Самофракии, где возвышалось массивное здание храма. Тем временем ветер усилился, и небо затянуло тучами. Гай не понимал, что может искать его отец на этом мрачном

острове посреди моря, он видел, что всю дорогу отца не покидают тревожные мысли о Риме.

Капитан настаивал, что волнение на море усиливается и приближаться к Самофракии становится опасно.

— Кабиры не хотят, чтобы мы сходили на берег, — шептались моряки.

Но Германик всё равно велел попытаться пристать. Ему хотелось подняться в святилище, погрузиться в таинства очищения, выполнить ритуалы поклонения могущественным богам, воскурить фимиам у ног Ники — знаменитой статуи крылатой Победы, которую преподнёс один восточный царь, Деметрий Полиоркет, в благодарность за какую-то свою победу. В действительности же настойчивость дукса была лишь слабым противоядием от тревоги.

Гай с беспокойством думал, что между этим одиноким островом на закате и судьбой отца не может быть никакой связи. Но ветер, поднявшийся после смеха капитана, неумолимо гнал их в сторону, на опасные скалы, и моряки с трудом ему противостояли. На какое-то время показалось, что под килями кораблей движется какая-то текучая сила. Людей беспокоила недобрая слава острова и приближающийся вечер. В тот день им

так и не удалось ступить на землю Самофракии.

Всю ночь корабли оставались во власти тёмного моря, бушующей стихии Посейдона, и люди не знали, куда во мраке несёт их Аквилон[14]. На рассвете вблизи показалась береговая линия, а потом, в тумане, заросшая сосняком гора.

— Гора Ида, — объявил Залевк.

Ветер успокоился, и по вздымавшемуся последними длинными волнами морю корабли направились к берегу. По заросшей дубами, кипарисами и тамарисками равнине текла река, в неё впадал журчащий по белым камешкам ручей.

— Симоэнт и Скамандр, — пояснил Залевк.

Гай, не двигаясь, смотрел на места, чьи названия придумал Гомер. Чуть подальше, под низкими облаками, с первыми короткими, как клинки, лучами солнца появилась протяжённая заброшенная стена. Залевк в волнении заключил:

— Вот это, на холме, и есть город, названный Троей.

По пустынной равнине перед стеной города, который когда-то осаждали в течение десяти лет, тянулось длинное-длинное стадо овец и брели

---

[14] Примечания: 14

В древнеримской мифологии бог северного ветра, то же, что древнегреческий Борей.

пастухи с ивовыми прутьями — никаких диких коней.

— Это была последняя война, — сказал Залевк, — в которую оказались вовлечены боги, вплоть до того, что они сражались между собой. Но после той бойни они оставили нас наедине с нашим безумием.

Люди высадились на берег и пошли к городу, где возвышался храм Афины, богини воинственной и жестокой, единственной истинной победительницы. С крыши на двух цепях свешивался тяжёлый блестящий щит. Миф гласил, что его держал Ахилл на своём последнем поединке. Жрецы рассказали — они говорили на экзотическом певучем греческом, — что, завоевав Трою, греки увидели, какие потери они понесли, и, чтобы обмануть силы, преследовавшие город злым роком, оракул предложил дать ему новое имя. Городу дали имя Илион и вновь освятили, принеся человеческие жертвы — девственниц и взрослых пленников.

— Это магическое заклание оказалось бесполезным. После этого город опустошался и предавался огню семь раз. И всегда его отстраивали вновь.

Атмосфера Илиона спустя столько столетий всё ещё была горестной и несчастной: для всех

рождённых этот город останется неумолимым символом войны. Германик сошёл туда, думая про себя, но не в силах сказать вслух, как ужасна военная слава. Он не отвечал сыновьям, заворожённым древней легендой, и взошёл на корабль в печали, не оборачиваясь. И наконец, сказал:

— Боги позволяют тебе узнать результат твоих дел, только когда они уже выполнены.

Взглянув на исчезающий вдали город, Германик вернулся к своим мыслям и заключил:

— Возможно, в землях, куда мы едем, мы сможем не пускать в ход легионы.

Они проплыли на юг вдоль изрезанного побережья провинции Азия и бросили якорь в порту знаменитого Эфеса. И тут все увидели, как бедный раб Залевк с уверенностью двинулся в город, хотя, казалось, не знал никого из местных жителей. Он вдруг спросил Германика:

— Хочешь пройти по улице, где, возможно, проходил Александр Македонский после победы на берегу Граника?

Тот сразу согласился, и грек повёл его к огромному храму на вершине холма, где поклонялись Артемиде, богине-девственнице, которая на голове держала лунный серп, а стопой давила змею. Пока кони медленным шагом поднимались

по дороге, Залевк рассказал, что в ночь, когда родился Александр, какой-то безумец сжёг этот храм и великий жрец Мегабиз предрёк великие перемены.

— Поэтому Александр поднялся сюда со своим войском и оставил много золота на восстановление храма. Ему явилась богиня и сказала, что он завоюет великие пространства и построит тринадцать городов, носящих его имя: один на Аравийском море, другой на Евфрате, а также в Бактрии, Гиркании и землях Парфии. Последний, где его похоронят, будет построен на Ниле. Но богиня не сказала, что до постройки этих городов и до его смерти осталось всего несколько лет.

Скептический до дерзости капитан рассмеялся:

— У каждого греческого города свой бог.

Задетый за живое Залевк, спросил Гая:

— Хочешь увидеть лицо Сократа?

Мальчик в восторге закричал, что хочет. Они спустились по склону холма к гармонично расположенной вилле, должно быть видевшей лучшие времена. Её владелец, грубый торговец тканями, удивлённый и польщённый посещением важных римлян, распахнул дверь древней библиотеки, и все увидели, что полки здесь заполнены не папи-

русными свитками, а кусками крашеной ткани, самого дорогого бутойского льна. Устыдившись, торговец отодвинул товары и открыл перегородку, за которой находилась фреска, изображавшая сидящего человека.

— Вот, — с трепетом выдохнул Залевк.

Человек на фреске сидел с неуклюжей небрежностью, завёрнутый в белую одежду, его короткие руки были обнажены, круглая голова повёрнута вбок, большие выпученные глаза как будто обращены к кому-то, задающему вопрос.

Залевк сказал:

— Построивший этот дом велел художнику воспроизвести здесь статую, которую на самом деле отлил из бронзы Лисипп, — это Сократ в ожидании смерти, разговаривающий с учениками после того, как выпил яд.

Когда Залевка спросили, откуда он узнал об этой фреске в частном доме далёкого города, грек ответил, что разговаривал с некоторыми путешественниками.

Потом корабли направились к извилистым берегам реки Меандр и прибыли в Милет, единственный в изведанном мире город, имевший четыре порта, где боги давали убежище от любого морского ветра. В Милете говорили на ионийском

греческом с его мягким акцентом.

Гай заметил это, и Залевк сказал:

— Иония — самое благодатное место в мире, и родившиеся здесь произносят слова так, как это делают боги.

Он рассказал, что восемь или девять веков назад, когда на Палатинском холме ещё стояли крытые соломой лачуги, из четырёх портов Милета отправлялись караваны судов в Египет. А на египетском побережье был греческий порт, называвшийся Навкратис. Таким образом, Милет был мостом между молодым рациональным греко-ионическим миросозерцанием и древними, таинственными знаниями Египта.

В Милете на верху Священной дороги один греческий архитектор замыслил самый грандиозный храм из всех когда-либо построенных во всём Средиземноморье — Дидимайон — и возвёл вокруг него лес из ста двадцати колонн.

— Перед алтарём вы увидите доспехи одного древнего властителя Египта, — предупредил Залевк, — они все из чистого золота, оправлены бирюзой и твердейшей яшмой. Он прислал их во исполнение обета после великой победы.

Милетская Священная дорога представляла собой длинный подъём меж двух рядов могил и

кенотафов, путники шли по ней, их тени удлинялись осенним солнцем, а наверху высились бесчисленные колонны Дидимайона. Некоторые из них уцелели, другие опрокинулись и разбились, третьи лежали ещё не обтёсанные, поскольку гигантский храм был страшно опустошён во время одной древней войны и восстановлен лишь частично и плохо — никому не удалось его завершить. И молодой Гай не смог увидеть золотых доспехов древнего фараона, так как их давно украли.

Несмотря на заброшенность, в храме осталась горстка жрецов, которые, закрывшись в глубокой целле, куда никто не мог проникнуть, изрекали знаменитые пророчества — оракулы.

— Путешественники с волнением являются к ним, — сказал Залевк, — потому что за много веков не было ни одного несбывшегося оракула.

И вдруг Германик решил выполнить в Милете то, чего непогода не позволила сделать в Самофракии, — узнать свою судьбу.

Молодой Гай шепнул Залевку:

— Но как же можно увидеть то, чего ещё нет?

Залевк обернулся, и на мгновение им как будто овладело лёгкое раздражение.

— Ты, человек, — проговорил он, — идёшь по

гладкой извилистой дороге на равнине и видишь всего на несколько шагов вперёд. А боги, как с вершины высочайшей горы, видят, куда ты придёшь, и знают цель твоего пути.

Гай промолчал: ответ звучал поэтично, но не избавлял от тревоги.

А Германик в наступающих сумерках настоял на выполнении долгих ритуалов вопрошания, пока его товарищи гадали, какие военные планы двигают им. Потом все спустились в крипту, чтобы вопросить судьбу. Ответом была двусмысленная и неясная фраза, которая встревоженной Агриппине и верным товарищам показалась предсказанием удачи. Кретик просто промолчал. А один историк через много лет встретит нескольких престарелых свидетелей этой поездки и напишет, что Германику тайно предсказали гибель.

НОВАЯ ПОЛИТИКА

После этого им сопутствовал благоприятный ветер, и они постарались побыстрее — уже наступала осень — добраться до порта Пиерийская Селевкия в Сирии. Здесь в море впадала великая сирийская река Оронт, тогда ещё судоходная вплоть до Антиохии, древней сирийской столицы. Там река разделялась на два рукава, омывавших остров Эпидафну, где цари-селевкиды построили себе палаты. Гай Цезарь вдруг снова погрузился в невообразимый мир.

Перед наделённым безграничной властью отцом представали персонажи в разноцветных экзотических одеждах, с живописной свитой, говорившие на непонятных языках. У них не было ничего общего с грубым варварством послов или пленников из германских племён, напиравших на северные границы империи. Здесь империя граничила с древнейшими городами, окружёнными стенами из огромных камней, с бесконечными пальмовыми рощами и тысячелетними кедрами, с бесплодными горами, увенчанными крепостями, с караванными путями через безграничные пустыни. Их названия

несли в себе историю замысловатых культур, зверских убийств, заговоров, завоеваний и предательств, династических распрей, яростных войн, побоищ, захватов заложников, коротких ненадёжных перемирий: Каппадокия, Коммагена, Армения, Понт, Осроена, Иудея; Парфия, Набатейская Аравия, Ассирия.

Теперь прибывшие из этих миров люди с недоверчивым выражением на усталых после долгого пути лицах осторожно поднимались по многочисленным ступеням во дворец представителя римской власти. За каждым из них следовала своя маленькая свита, и каждый нёс с собой тревожные, или боязливые, или мятежные настроения сотен тысяч человеческих существ. Это были монархи, государи, царьки, полководцы, враги — побеждённые или ещё воюющие, — вассалы, ненадёжные союзники. И Залевк, неизвестно откуда хорошо знавший все эти края, приготовился искать ответы на вопросы ненасытного Гая.

Внутренние залы несколько часов поглощали этих сомнительных персонажей. Но за дверьми из древнего кедра с запорами из тяжёлого кованого железа происходило нечто, на что посетители не надеялись, чего даже вообразить не могли.

— Такой встречи с Римом ещё не случалось,

— признавались они.

В первый раз империю представлял победоносный и грозный воин, который, кроме безжалостного наследия Августа, нёс в себе мифическое наследие Марка Антония, единственного римлянина, собиравшегося подкрепить римскую мощь культурой Востока.

То ли из-за разраставшейся вокруг имени Германика легенды, то ли из-за его отвращения к войне и его исключительной способности строить человеческие отношения посетители спускались по ступеням жаркими антиохийскими вечерами с взволнованным и даже радостным воодушевлением. И Залевк, учитель-раб, повторяя слова какого-то древнего философа, страстно шептал Гаю, что там, внутри, чистая сила слов, направленных к разуму, брала верх над разрушительной силой оружия, калечащей тело. Столетиями люди будут снова пытаться осуществить подобные мечты, каждый раз находя разные слова для их определения. И почти всегда будут терпеть неудачу. Но не оставят своих попыток.

По вечерам Германик и его приближённые отдыхали в выходящем на реку прохладном портике, попивая ароматное вино, которое длинным

путём привозили с холмов Эйн-Геди. Сирийские и египетские музыканты играли на своих инструментах — струнных, духовых и ударных, — и такая музыка была ещё неизвестна в Риме. Время от времени какой-нибудь молодой музыкант или девушка пропевали одну строфу с переменным ритмом. Гай страстно ожидал этого часа, он всё больше влюблялся в эту музыку, которая останется в нём на всю жизнь.

Но однажды ночью, как только последняя песня утонула в сладком дуновении ветерка, Германик проговорил, словно размышляя вслух:

— Я больше не хочу, чтобы меня заставляли выигрывать войны.

Подобных идей ещё не слышали из уст римских полководцев, и тон его был таков, что все оторвались от кубков и посмотрели на него.

— Август писал, что границы империи больше не будут расширяться. И я вижу, что тело империи и так слишком обширно, чтобы его удерживать в целости войсками...

Его сыну Гаю запал в душу этот образ. Германик продолжал:

— Между нами и gentes extemae — внешними народами — я не хочу больше нестабильных границ, потрясаемых восстаниями и удерживае-

мых вечно воюющими легионами. Я хочу иметь пояс из союзников. Хочу связать их интересы с нашими.

Трибун Кретик, его верный сподвижник, зачарованно смотрел на Германика: за кубками вина на столе рождалась неожиданная философия правления.

А наутро молодой Гай и усталый Залевк увидели, как во дворец в окружении вооружённого, нагло бряцающего значками конвоя нагрянул какой-то шестидесятилетний старик, высокий и надменный, очевидно наделённый властью. Он подошёл к лестнице, словно собираясь штурмовать её, а потом, не переводя дыхания, стал одолевать одну ступень за другой, несмотря на свой вес и возраст.

Чиновники зашептались в тревожном беспокойстве:

— Легат Сирии! — и кто-то шмыгнул прочь предупредить Германика.

Этот человек, ни на кого не глядя, проследовал мимо, и Гай снова вспомнил — с той же тревогой — сенатора, который в Риме в день триумфа не приветствовал его отца. И действительно, это был он, Кальпурний Пизон, ярый сторонник Тиберия, из порта Селевкия прибывший в Антиохию.

Один из офицеров поделился с Залевком:

— Он все дни принимал курьеров из Рима и тут же отсылал сообщения...

В безмятежной Антиохии снова, как змеи из-под камней, появились все те тревоги, что витали в каструме.

Но о долгой встрече с Кальпурнием Пизоном за закрытыми дверями Германик не произнёс ни слова. Единственным свидетелем её был верный Кретик, и он вышел из зала бледным. Только позже узнали, что Кальпурний привёз приказ Тиберия: Кретика повышали в должности и срочно вызывали в Рим. Германик оставался один.

ПОЕЗДКА В ЕГИПЕТ

В тот вечер во дворце в Эпидафне перед пустым местом Кретика Германик объявил своим немногочисленным друзьям:

— Я решил поехать в Египет.

Его выслушали, не понимая, к чему он ведёт. Таких слов от него ожидали менее всего, и кто-то из офицеров вполголоса заметил:

— Ни один сенатор или магистрат не может въезжать в Египет без позволения Тиберия.

Август фактически классифицировал все провинции империи в соответствии со своими тонкими и запутанными стратегическими, а особенно экономическими оценками. После очередного завоевания он придумал категорию августейших провинций, то есть подчинявшихся непосредственно императору, и от его имени там правили всемогущие префекты. Их по закону избирали из сословия всадников, они были обязаны императору всем, и, поскольку они находились всецело в его власти, их покорность была рабской.

Тщетны были слова популяров, что закрытие границы превратит Египет, самое большое и

могущественное из всех известных царств, в некую частную империю. Императорская власть здесь была безжалостна, с тяжёлыми налогами, конфискациями, насильственным призывом на службу. В имперскую казну потоком текли неисчислимые богатства. Море бороздили вереницы перегруженных кораблей, так как плодородные поля вдоль Нила превратились в житницу Рима.

Первым префектом в Египте стал свободный от условностей и зачастую скандальный эротический поэт по имени Корнелий Галл, выбранный из ограниченного круга интеллектуальных друзей Августа, среди которых числился сам Вергилий. Но, увидев в Египте такие огромные и такие доступные богатства, поэт открыл в себе неожиданные способности к насилию и грабежам. В конце концов он подавил мятежи в долине Нила с такой кровавой безрассудностью, что Август тайно отозвал его в Рим. А в Риме, чтобы избежать скандала, обещавшего стать шумным, префекту цинично предложили покончить с собой. После него злоупотребления, самоуправство и хищения приобрели более сдержанный характер, не вызывали активных протестов в обескровленной стране и больше не упоминались в истории.

Таким образом, въезд в Египет, в запретную область, представлял собой высочайший риск. Но Германик ничего не ответил на еле слышное замечание офицера. И все спрашивали себя, вызвано ли это мятежное решение только несогласием с варварским управлением, или же родился какой-то гораздо более серьёзный проект, а точнее говоря, бунт потомка Марка Антония, который в Александрии поставил на кон свою жизнь, мечтая об императорской власти. Но никто не осмелился заговорить.

И вдруг Германик объявил, что ввиду опасностей Агриппина и двое старших сыновей останутся в Антиохии. Услышав это, Агриппина мгновенно побледнела, как и Гай, однако ничего не возразила. Они разлучались в первый раз, но говорил глава династии, и его слова воспринимались как приказы к боевым действиям.

Германик объяснил:

— Мы поедем инкогнито, не уведомив эскорт, с небольшой свитой.

Гай, ещё не упомянутый сын, ждал, затаив дыхание, что взгляд отца остановится на нём. И дождался.

— Мы оденемся греками. И будем говорить по-гречески. Купец со своими слугами и сыном.

Кто-то с улыбкой кивнул.

— Греческий купец не вызовет подозрений, — подтвердил Германик, чувствуя согласие. — Возьмём с собой и Залевка, он и в самом деле грек.

После этого молодой Гай как мог проворнее нарядился в подходящую, элегантную одежду: вместо сапог обулся в лёгкие сандалии, а вместо торжественной тоги надел свободный паллий[15].

— Забудь латынь, — велел отец, — и говори только по-гречески. Латыни ты не знаешь.

Прибыв по морю в необъятную дельту Нила — который массой своей илистой воды на много миль вокруг изменил цвет Средиземного моря, — они вдоль побережья проплыли до Канопского устья[16] и в качестве греческих торговцев («нас интересуют ткани, алмазы, жемчуг и бирюза») высадились в Египте. Но Германик сторонился Александрии, резиденции префекта Августа с его двумя легионами, от которого было бы не скрыться. На плоскодонке они выплыли в ши-

---

[15] Примечания: 15

Греческий плащ, один из внешних признаков философа.

[16] Примечания: 16

То есть до устья Нила в том месте, где располагался город Каноп, ныне Абукир.

рокие объятия Нила, над которым возвышался знаменитый священный город Саис[17]. Лёгкий ветерок с моря надувал парус и помогал подниматься против течения.

Для Гая Египет был землёй гигантских сновидений, хотя Залевк со своей греческой культурой всегда говорил о нём с пренебрежительным превосходством. Но теперь всякий, кто смотрел вдоль этой мощной реки, видел лишь бесплодные, опустошённые набегами поля, вырубленные рощи, осыпавшиеся плотины, загнившие пруды. Тут и там бедные, безрассудно обобранные деревни, следы пожаров, заметённые песком руины, крестьяне со скудными стадами. Ежегодный разлив Нила наполнял бесчисленные рукава дельты, но в прорытых вглубь территории каналах зеленоватая вода текла еле-еле, и на берегу ходили по кругу привязанные ослы, поднимая лопасти водочерпалки с грязной жижей.

— Надолго здесь всё разбито, — пробормотал Германик.

Вот, стало быть, каким на самом деле было это египетское восстание, о котором в Риме говорили рассеянно и с безжалостным отвращением.

---

[17] Примечания: 17
Современный Са-эль-Хагар.

На многие мили не было видно ничего отрадного. Наконец к исходу дня где-то далеко-далеко меж песками и пальмами показалась каменная стела с позолоченной, сверкающей на солнце верхушкой. Потом среди песков стала вырисовываться мощная гранитная стена.

— Саис, — сказал проводник, указав на неё, и замолчал.

Он хотел показать храм, известный по всему Средиземноморью своей многотысячной библиотекой и овеянный эзотерическими легендами. Стена закрывала его как крепость. Чуть дальше смутно вырисовывались руины какого-то города, наверное бывшего когда-то огромным, но теперь поглощённого пустыней. По мере того как путники приближались, храм становился ещё больше, заполняя всё видимое пространство. С боку храма к спокойной реке спускалась широкая лестница, на верхних ступенях её виднелись следы последнего разлива, в углах скопился осевший песок. Вокруг здания ничто не шевелилось — ни единого животного, ни человека. Лодка причалила, и прибывшие стали подниматься по ступеням.

В храм можно было войти, только пройдя меж двух рядов высеченных из гранита внушительных крылатых зверей, сфинксов и львов. Вход

охраняли два громадных пилона, сложенных из циклопических камней, гладких и идеально пригнанных. Их размеры, насколько мог охватить взгляд, казались бескрайними, вызывая головокружение. На фасаде пилонов были высечены тысячи строго выстроенных знаков — стилизованных зверей, незнакомых чудесных фигур, таинственных рисунков. Они были глубоко врезаны в камень, чтобы противостоять тысячелетиям. Но проникнуть в их смысл было невозможно.

Германик положил руку на плечо сына и тихо проговорил по-гречески:

— Ты мог представить такое?

— Ничего не удаётся прочесть. Это даже унизительно, — ответил Гай.

После них тысячи людей выражали ту же мысль.

Вход в храм никто не охранял. Германик спросил проводника:

— В этой пустыне можно повстречать кого-нибудь, кто объяснил бы эти знаки?

Проводник, помедлив, словно касался опасной тайны, признался, что в самых удалённых помещениях храма — за первым, вторым и третьим дворами — всё ещё кое-кто живёт. В это время

на огромном заброшенном пространстве между двумя пилонами показался пожилой человек в простых белых льняных одеждах, с голыми плечами, в тяжёлом ожерелье и с выбритой головой.

— Жрец, — шепнул проводник. — Это последний, оставшийся в живых, и он один со своим молчаливым помощником надзирает за храмом.

И с искренней болью добавил, что «до войны с Римом» последователи этого культа исчислялись тысячами.

Тем временем жрец приближался мелкими шажками, спокойно глядя на пришельцев, безразличный к их иностранной внешности, словно давно их ожидал.

Германик поздоровался и обратился к нему по-гречески:

— Ты можешь объяснить мне, о чём говорят эти древнейшие надписи на камне?

Его вопрос был слишком нетерпеливым и прямым, и старик свободно ответил по-гречески, что может прочесть, перевести и объяснить эти надписи, потому что, как указывают его одежды, является жрецом. Но ничего не прочёл и не перевёл.

Солнце, уже низко опустившееся над пустыней,

отбрасывало тени на высеченные в камне знаки. Гай долго разочарованно смотрел на них и пробормотал Залевку:

— И ты тоже не можешь их прочесть?

Высокообразованный грек промолчал, а жрец сказал:

— Это великий священный язык. Он состоит не только из звуков, как греческий. У нас, как и у вас, двадцать четыре буквы, но для священного языка их не хватает, и тысячи лет назад мы добавили к ним ещё семь.

По торжественному тону казалось, что он знает эти семь букв, рождённых из демотического письма и сумевших через столетия сохраниться в алфавите, который мы теперь называем коптским.

— Но главное, — продолжал старик, — каждый объект, который ты видишь на земле, каждое действие, которое совершаешь, каждая мысль у тебя в голове представляются на священном языке неким образом. Потому что видимый и невидимый миры неразделимы.

До этого мгновения Гай твёрдо верил, что греческий язык, которым он владел с таким изяществом, является наилучшим на всей земле способом выражения мысли. Теперь же он уви-

дел, что даже отец замолк.

Жрец побеждённого и доведённого до нищеты народа ответил на их молчание сдержанной усталой улыбкой, без всякой вражды. В его коже цвета старой глины прямой свет прочертил морщины. Египтянин сказал, что этот храм в течение тысячелетий был одним из величайших в Верхнем и Нижнем Египте.

— Отсюда, где ты стоишь, чтобы добраться до хема — священной целлы, — сильному мужчине нужно сделать шестьсот шагов. Ты хочешь спросить, почему наши святилища так безграничны по сравнению с маленькими целлами ваших греческих храмов?

— Да, — импульсивно ответил Гай.

— Храм представляет собой путь твоей жизни. Посмотри, откуда ты пришёл сюда: твой первоначальный путь шёл с севера, где царят мрак и невежество, но по бокам стоят сфинксы и львы — символы божественной власти, которая оберегает тебя, ибо ты ищешь света знания. Чтобы попасть в храм, смотри, есть единственный проход, потому что единственной — и непростой — является дорога души. А отсюда ты войдёшь в хонт, первый укрытый стенами двор, где твоя душа должна отделиться от внешнего мира. Внутри

хонта — видишь, вон там? — откроется второй проход. Оттуда, когда будешь готов, ты войдёшь в оу-сех хо-теп — зал жертвоприношений, где душа освящает саму себя. И там ты найдёшь третий проход и войдёшь в святилище — сит уе-рит. Но туда приходят лишь очень немногие, и сейчас бесполезно говорить об этом. А в самой глубине возвышается гранитный хем, в полдень сверкающий светом знания, — это божественная целла, куда может войти только фар-хаоуи, или фараон, как говорите вы, греки, — с улыбкой сказал египтянин.

Но из прохода меж огромных пилонов с погребённым в песках фундаментом было видно, что первый двор заброшен и грязен, там и сям не хватает каменных плит — кто-то уже начал их снимать. В глубине открывался проход во второй двор, по бокам которого виднелись огромные статуи божеств или монархов, важно восседавших на каменных тронах.

— Статуи эфесских богов не будут им и по колено, — шепнул Гай.

Залевк посмотрел на него и ничего не ответил.

Следующий двор окружала колоннада, и он тоже был пуст.

В глубине виднелся третий проход. И там ма-

ячила высоченная стела из красного гранита с позолоченной верхушкой, сияние которой они видели издалека.

Жрец протянул руку — смуглая кожа обтягивала длинные тонкие кости пальцев — и, указав на стелу, спросил:

— Вы, греки, называете это обелиск, верно? То есть, если я правильно произношу, маленький обилос, что означает «маленькая пика».

Он улыбнулся, но эта улыбка среди морщин, возможно, скрывала снисходительное пренебрежение.

— Вы любите пошутить. Но не поняли главного. На священном языке это сооружение называется та-те-хен, «земля и небо», то есть ум человека, поднимающегося в поисках божества и освещающегося при встрече с ним.

Он использовал слова и синтаксические конструкции, напоминавшие древних писателей; его возвышенный греческий, видимо, происходил из чтения книг.

— Если поднимете высоко по этой реке, то встретите место, называемое горой Мёртвых. Там вы увидите две статуи одного древнего фар-хаоуи. Они так огромны, что человек может растянуться на одной их ладони. Эти священные статуи мы

называем мен-ноу. Так вот, вы, греки, спутали их с персонажем вашего Гомера по имени Мемнон. Я прочёл в ваших писаниях: вы называете эти статуи «Колоссы Мемнона». Но мы не знаем никого с таким именем.

В его словах и улыбке сквозило пренебрежение, и Германик прервал его:

— А кто твой бог?

— Что касается божеств, у них множество имён. Смотри: они высечены на этом граните семь тысяч раз.

Произнеся это необъятно огромное число, старик покачал головой:

— Греки спрашивают названия городов и имена чужих богов, а потом неправильно пишут их во множестве своих книг. Наш священный город называется Хайт-Ка-Птах, что означает «Дворец Духа», а греки услышали «Э-ги-птос» и даже написали, что так называется вся наша страна. А страна наша называется Та-нуит, Чёрная Земля, оплодотворённая нашей великой рекой. Мы также называем её Та-не-си, Любимая Земля. А римляне в отличие от греков не научились писать книги, но хотят познать богов других народов и добиться их милости, чтобы те даровали им победу.

Наверное, он с горечью вновь увидел дни той войны, но сказал правду: Рим помещал среди своих бесчисленных богов также божества побеждённых и порабощённых народов, и по древнему ритуалу, рождённому во время лютых войн у своих порогов, нужно было принесением обильных жертв убедить их, чтобы те бросили своих жалких подзащитных и заключили союз с могучими римскими войсками.

Жрец покачал головой:

— Это детские мысли.

Но он не знал, что это изобретение, напротив, было сделано хитрыми и циничными полководцами, чтобы воодушевить подчинённых, страшащихся таинственных чужих идолов. И ещё много веков полководцы разных верований в моменты наибольшей опасности объявляли, что божество сражается на их стороне и благословляет кровопролитие, в то время как их враги твердили то же самое.

— Ты сказал мне, что хочешь понять знаки, высеченные на этих камнях. Сначала ты должен узнать, что эти знаки дают людям власть передавать слова и числа на огромные расстояния, не видя и не слыша друг друга. Письменность — это дар человечеству от Великой Матери Исиды...

Мальчик спросил, кто такая эта богиня:

— Её имя — как дуновение ветра...

Жрец не ответил ему.

— И вы, греки, называете нашу письменность «jerogliphica», верно? — с лёгкой иронией проговорил он. — Иначе говоря, «священные письмена, высеченные на камне, письменность богов». В то время ещё не был изобретён священный папирус, который питается тёплым током нашей реки, а уж тем более нечистый пергамент, который делают из шкур мёртвых животных в холодных странах, где зимой не видно солнца. Наши жрецы начертили знаки, продиктованные Великой Матерью Исидой, на табличках из слоновой кости, и некоторые из них малы, как фаланга пальца. Потом вылепили глиняные вазы и на них тоже нанесли священные знаки, чтобы они не пропали. И спрятали это всё в священных подземельях Аб-ду, города-матери, который вы называете Абидос. И это, случилось в столь далёкие времена, что их невозможно даже представить. С тех пор солнце того дня, который римляне называют солстициум...

Германик отметил, что жрец произнёс латинское слово с нарочитой отчётливостью.

— ...самого долгого дня в году, осветило храм в

Аб-ду четыре тысячи двести пятьдесят раз.

Гай, выросший в суровых далёких лесах Рейна, в этот миг сказал себе: «И те северные страны, и этот храм в пустыне — Рим крепко держит их в своих руках».

Эта мысль была почти непосильна для его малых лет, и он никогда её не забудет. Мальчик спросил жреца, не видел ли он эти таблички и вазы.

— Возможно, я последний, кому довелось их увидеть, — тут же ответил старик, и его голос воспламенился гордостью от этой привилегии. — Мне было столько же лет, как Фебе сейчас, и я был так же любопытен. Я учился в храме Аб-ду, и меня любил великий жрец. С ним я спустился в подземелье по ступеням — их было сто пятьдесят, и они были очень крутые. Стояла ночь: днём нельзя стучать в царство мёртвых. Я увидел вазы и таблички из пожелтевшей слоновой кости со священными письменами.

Германик, чувствовавший себя будто в каком-то иррациональном мире, спросил, откуда известно, что этим письменам действительно четыре тысячи лет.

— В течение тысячелетий, — ответил жрец с едва уловимым раздражением, — храм в Аб-ду семь

раз перестраивался. Спустившись по ступеням, я увидел семь фундаментов, один под другим, глубже и глубже. Вам нужно знать, что никто из семи строителей Аб-ду не разрушал эту лестницу, все надстраивали её внутри новых стен и возводили новые ступени. И там высекали полоску с именем своего господина. Спустившись с самого верхнего, седьмого уровня через шестой и пятый и оказавшись на четвёртом, я увидел высеченное имя Хеопса и понял, что Аб-ду гораздо древнее, чем великое магическое здание с четырьмя фасадами и без входа — самое великое сооружение людей, которое вы, вечно шутливые греки, назвали «пирамида», то есть пирог, но его истинное название священно и возвышенно... Продолжая спускаться, я увидел, что фундаменты Хеопса опираются на фундамент храма, построенного в эпоху Тинитов, то есть две с половиной тысячи лет назад. А храм Тинитов, в свою очередь, опирался на ещё более древний, возведённый Нармером, который составлял второй уровень. И чтобы дойти оттуда до нынешних дней, нужно насчитать три тысячи триста лет. А в основании всего лежат остатки первоначального храма — там нельзя прочесть имён, поскольку он был построен ещё до того, как Великая Мать Исида

подарила нам письменность. Таблички из слоновой кости и вазы со священными письменами хранились в нём.

Германик ничего не сказал, но его молчание вызывалось другими мыслями: он думал, что Юлий Цезарь и Марк Антоний в своё время, наверное, испытали то же очарование, какое теперь испытывал он.

— Я хочу увидеть Аб-ду, — заявил он взволнованно.

Голос старого жреца изменился, и он сразу охладил пришедших:

— Когда Август высадился в Канопе, неся нам войну, наши жрецы замуровали двери и сто двадцать ступеней в Абду. А все те, кто знал тайну, погибли в побоище, устроенном Корнелием Галлом.

В его голосе слышалась невольная гордость этой победой.

— Если бы мне сегодня разрешили вернуться в Аб-ду, — продолжил старик, — я бы не смог ничего найти. Там прошла война, она разрушила здания и уничтожила пальмовые рощи, срыла плотины священных озёр, а потом ветер занёс песком развалины и тела убитых.

Его полные боли воспоминания каждым сло-

вом укоряли, и он неудержимо говорил о том, о чём, наверное, долго молчал. Тем временем солнце исчезло за западным берегом великой реки.

Жрец указал внутрь храма.

— Там, внутри, — сказал он, — впервые в человеческой жизни из волокон папируса, собранного на великой реке, были сделаны листы для письма. И на них мы собрали всё более древние истории. Чтобы прочесть их, приходили и многие из ваших — Пифагор, Евдокс, Геродот из Фурий. Там, внутри, один очень известный философ, ваш Аристокл Платон, открыл историю Атлантиды, острова, который в катаклизме, продолжавшемся одну ночь и один день за восемь тысяч лет до нас, погрузился в Великое Западное море. Некоторые говорят, что это сказка. Но даже ваш Диодор с Агириона говорит, что где-то в пустыне, возможно в Мавретании[18], существовало и исчезло большое озеро, называвшееся Тритоний: его засосали пески, когда море поглотило Атлантиду. Всё было собрано в этих стенах с бесконечной любовью, так как это была живая память обо всех людях, живших до нас, — заключил старик, но не пригласил иноземцев войти.

---

[18] Примечания: 18
Римская провинция на севере Африки.

Фантазия Германика разгорелась, словно взволнованная осознанием множества людей, живших до него.

— Скажи мне, существует ли ещё тот папирус, где говорится об Атлантиде? Скажи мне, можно ли его увидеть?

— Ты опоздал, грек. Эти папирусы были сожжены — не знаю, из-за бесчинств легионеров или по воле Августа. Не многие сохранились, и мне неизвестно, где они спрятаны. В нашей истории остаётся только то, что нам удалось высечь на камне, потому что этого нельзя разбить или сжечь. Но уже никто этого не понимает.

На пустыню быстро опустилась ночь, оставив пурпурную полоску на западном небосклоне. Тени фигур, высеченных на стене храма, расплылись.

— Помоги мне вникнуть в их значение, — попросил Германик, — пока совсем не стемнело и их можно прочесть.

— Если у тебя есть время, — заколебался жрец, — лекажу тебе кое-что. Не принимай наши символы зверей за множество богов, как делают греки. Зоркость сокола, безжалостность шакала, хитрость кошки, загадочность змеи, панцирь скарабея представляют собой лишь части божьего

могущества. Потому что божественное открывается частями. Оно внушает свою любовь через всё, от ястреба-стервятника, что пожирает трупы, до соловья, что поёт в ночи. Когда смотришь на животное, преклонись перед божьим гением, стоящим за этой формой. Преклонись перед божьим шедевром. И мы воспроизводим их, чтобы дать нашему слабому уму идею о бесконечности. И делаем это как для нас, живущих здесь, так и для того множества других, кто перешёл на противоположный берег. Потому что божество и здесь и там, оно вечно. И его сила держит вместе каждую вещь.

Германик ощутил, как внутри его, словно доставшиеся по наследству, зазвучали чувства, которые увлекли и погубили Марка Антония. И ласково, боясь отказа, предложил жрецу:

— Пойдёшь со мной и моим сыном? Будешь нашим проводником по этой стране?

Этот внезапный импульс оказал глубокое влияние на оставшиеся ему дни жизни.

После римского вторжения жрец видел в этом храме долгую тишину, полное одиночество, мысли, что приходили без звука голосов, и он помолчал, прежде чем заметить:

— Та-не-си огромна... — И в свою очередь спро-

сил: — Почему ты стремишься познакомиться с ней?

Германик, недавний дукс восьми легионов, не привык, чтобы его спрашивали. Единственные вопросы, обращённые к нему, могли касаться лишь более точного понимания его приказов для лучшего их исполнения. И потому он не ответил, а заявил:

— Я хочу подняться в верховья реки. И ищу проводника, который бы объяснял то, что увидят мои глаза, и говорил правду.

Его тон непроизвольно выразил приказ.

Жрец помедлил.

— Это долгий путь, — проговорил он и попытался объяснить: — Наша река, Йер-о, — величайшая из всех, текущих в изведанном мире. Вы, греки написали без всякой причины, что она называется Нейлос, а римляне скопировали и зовут его Нилус...

— Диодор с острова Агирион также написал, — вдруг вмешался робкий Залевк, произнеся первые слова с тех пор, как он ступил на эту землю, — что вашего древнейшего царя звали Нейлеус и что поэтому ваша река...

— Что ты понимаешь под выражением «древнейшего»? — улыбнулся жрец. — Четыре тысячи

лет мы высекаем на камнях имена наших фар-хаоуи, и я никогда не встречал имени Нейлеус.

Он задумался, ища образ, который отразил бы размеры реки, потом указал на воду, лениво текущую у ступеней храма и лоснящуюся зеленью, как заросли папируса на берегах; она казалась густой и тёплой, пахла влажной травой.

— Эта вода, прежде чем прийти сюда, текла более семи лун. Докуда ты хочешь добраться? Когда встретишь первый большой порог, знай, что Йеро, наша река, не прошла ещё и половины пути. Там начинается царство мероитов, чёрных владык, и река пересекает всю эту страну. А сколько их ещё за ней, до Лунных гор, не знает никто.

— Мне нужно крытое судно, построенное здесь и приспособленное к реке, с хорошими гребцами и парусами, — решил Германик, уже в совершенном нетерпении.

Он удержался от вопроса, где закончила свой путь та грандиозная navis cubiculata, ладья с каютами, золочёными парусами и гребцами-нубийцами, на которой вместе с юной Клеопатрой поднимался вверх по реке Юлий Цезарь и на которую много лет спустя с тридцатидевятилетней Клеопатрой взошёл Марк Антоний для славных и отчаянных кутежей в последние недели своей

жизни.

Жрец заметил, что греческое произношение иноземца стало твёрдым, и вспомнил голоса трибунов Августа, хвастáвшихся на александрийском молу, потом взглянул на затаившего дыхание Гая и подумал, что — при разрушенных библиотеках и опустошённых храмах — память может вверить себя только выжившим.

— Если ты действительно хочешь этого, — решился он, — я провожу тебя, докуда сможем добраться.

В маленьком кодексе — одной из тех удобных тетрадей, придуманных Юлием Цезарем, героем династии, о котором в семье говорили, что эта идея пришла ему в голову во время сурового зимнего перехода по Галлии, в Бибракте, где он начал писать свои семь книг «De bello Gallico», «Записок о галльской войне», — Гай записывал одно за другим названия городов и храмов, выходящих на великую реку. И как многие путешественники после него, пытался изобразить увиденное под сердитым взором кроткого Залевка, который теперь говорил совсем редко и только когда его спрашивали.

«Юнит-Тентор», — вывел Гай египетские слова латинскими буквами, а по-гречески написал:

«Дендера». А проплывая мимо острова далеко на юге, написал: «Фи-лак», «Филы».

ИСИДА, ЧЬЁ ИМЯ КАК ДУНОВЕНИЕ ВЕТРА

Только в конце поездки — возвращение по течению было много проще и быстрее, — там, где великая река, приближаясь к устью, растекалась на бесчисленные каналы дельты, когда жрец сказал, что дальше на севере возвышается Александрия, Германик спросил его:

— Ты можешь сказать мне, кто же в действительности та богиня, чьё имя, по словам моего сына, подобно дуновению ветра?

— Люди придумали для этого божества множество имён, — ответил жрец. — Великая Мать во Фригии, Паллада в Аттике, Афродита на Кипре, Прозерпина на Сицилии, Диана на Крите, Церера в Элевсине, Юнона, Беллона, Геката... Мы никому не запрещаем делать это. Если ты повстречал какое-либо проявление этого божества и дал ему имя любви, зачем же мне отказывать тебе в этом? Глупо идти на нас войной лишь потому, что мы говорим на другом языке.

Но что означает имя, «подобное дуновению ветра», произнесённое им в первый день и лишь

один раз, он не сказал.

Германика это раздосадовало, и жрец ответил с подозрительным смирением:

— Наши храмы пусты. Великий ритуал не повторяется уже много лет. Его может выполнять только фар-хаоуи, или фараон, как вы говорите, но Те-не-си, Любимая Земля, больше не имеет фараона. Для этого ритуала фар-хаоуи Скорпион, правивший ещё до всех династий, надевал магический головной убор в виде усечённого конуса, облегавшего лоб. Он отлит из Электра, сплава серебра и золота, который позволяет тебе постичь вечность. Этим сплавом покрыт и шпиль обелиска, как вы его называете. Но жрец, знающий его формулу, умер.

— Что это за ритуал? — вмешался Гай.

Даже теперь, в конце путешествия, жрец выдавал лишь крохи знаний посреди океана неведения. К старости он утратил всё, что было для него важно, и его мужественная ненависть очаровывала. Старик указал на воду реки, которая с каждым часом становилась всё выше и стремительнее:

— Ночь великого ритуала приходит, когда священное озеро наполняется водой.

— Откуда берётся вода среди этих песков?

— спросил Гай, уже имевший представление о грозном, холодном течении Рейна.

— Не от небесных дождей, как в твоих странах. Она вытекает из-под земли по краям озера, ночью, очень медленно. И в нужное утро ты видишь, что песок там, в глубине, потемнел. Жрец спускается туда и щупает его — он мокрый. Это означает, что всё в порядке: подъём реки, божественный водяной дар, близится. На следующую ночь вода просачивается и разливается. И ты видишь огромную лужу, которая блестит на солнце. Птицы тоже видят её, начинают кричать и опускаются на землю вокруг вновь возрождающегося озера. Иноземцы изумляются этим нашим священным озёрам, наполняющимся без единой капли воды с неба, среди песчаной пустыни. Они не видят, откуда берётся вода, не видят, откуда она исходит...

Жрец на мгновение замолк, словно задумавшись, потом проговорил:

— Чтобы объяснить тебе великий ритуал, нужно сначала рассказать о могиле, где спит родоначальник первой династии, великий Аха, проникший в двери магии. Вокруг него захоронены двадцать четыре священные ладьи длиной больше тридцати шагов, из плотно пригнанных

кедровых досок, сшитых верёвками, со скамьями для тридцати гребцов.

— Ты их видел? — спросил Гай.

— Их никто никогда не видел, — улыбнулся жрец.

Ему представилось, как его ответ запечатлеется в будущем.

— Они похоронены под горой песка. Я читал надписи. Эти корабли не плавали по морям. Они представляют собой путешествие человека с берега Материи на берег Духа. Потому что, слушай внимательно, в тебе заключены три силы. Первая — это энергия, что движет твоё тело, пока ты жив, — ба. Вторая — энергия твоего ума, ка, которая проникает повсюду, как солнечные лучи. А третья — анх, неуловимый и неуязвимый дух.

Германик со своим сыном уже привыкли к этой архаичной, торжественной, почерпнутой из книг греческой речи, усеянной редкими словами, пришедшими из глубины веков. И пока взмахи вёсел гнали лодку по течению к устью, жрец сказал:

— Ты спросил меня, как проходит великий ритуал. А я тебе отвечу, что он никогда не проходит. Великий ритуал — это символ того, чего не видят телесные глаза, того, что иногда может открыть только анх, дух. На закате процессия

выходит из храма и спускается в озеро. Все одеты в чистые белые льняные одежды. У мужчин выбриты головы — символ размышления. Девушки усыпают им путь цветами, несут колосья и благовония, потому что Исида — это обновляющаяся природа, цветение, и ей посвящён сикомор, не подверженное гниению дерево. Женщины идут в лёгких покрывалах на голове, в позолоченных сандалиях и ожерельях, потому что Исида — это разум, открывающий все искусства. Хоры юношей, кимвалы, серпообразные арфы, бронзовые, серебряные и золотые систры добавляют гармонию своих звуков и смешиваются с мощным действием священных благовоний. Потому что Исида — это золотая Владычица музыки, как говорят надписи в Юнит-Тенторе. И нужно знать, что среди сорока четырёх книг Знания две посвящены мелодиям великого ритуала. Наконец верховный жрец выносит золотой ковчег, и ты видишь свернувшуюся на крышке золотую кобру, потому что Исида — это знание, подавляющее хитрость. Но ковчег пуст, потому что содержит идею божества, не имеющего ни формы, ни лица, ни пределов. Процессия со светильниками и факелами подходит к кораблям. На Ме-се-кет поднимаются последователи культа; а на Ма-не-

джет, священный золотой корабль, не имеющий ни вёсел, ни паруса, а только огромный руль, поднимаются фар-хаоуи и жрецы. Фар-хаоуи берётся за руль и направляет нос судна к полной луне, что появляется из пустыни. Потому что Исида — это жизнь, возрождающаяся из смерти, она несёт на голове диск в виде луны, которая каждый месяц возвращается. И он открывает Золотые Ворота невидимого мира, где отдыхают умершие, которых ты так любил.

— Благодарю тебя за эту поездку, — шепнул Гай отцу.

Говоря так, он ещё не знал, насколько неизгладимо всё это запечатлеется в его будущем.

Германик ответил:

— У подножия Альбанских гор близ Рима есть маленькое круглое озерцо — говорят, что это жерло уснувшего вулкана. В это озеро тоже не впадает никакая река, но его воды никогда не убывают. Его называют lacus Nemorensis — «лесное озеро»[19]. Мы побываем там, — пообещал он.

Но вдруг ему вспомнился позолоченный корабль, который, по словам некоторых возмущённых сенаторов, видели на Ниле в мятежные

---

[19] Примечания: 19

Это озеро больше известно под названием Неми.

дни Марка Антония и Клеопатры, и он осторожно спросил жреца:

— Тебе не довелось принять участие в этом ритуале?

Тот ответил утвердительно.

— Но с тех пор прошло много времени. Последний раз он выполнялся в Саисе.

Германик видел, что в этом ответе кроются невысказанные мысли, и понял, что можно проявить настойчивость:

— Знаешь, кто выполнял его в последний раз?

— Ты хочешь знать его имя. У меня нет причин скрывать его. Он и его женщина были последними царями. Мне запала в память та славная ночь, потому что оба они умерли.

Старик повернулся к мальчику:

— Твой отец хочет знать имя. Вместе с Клеопатрой, царицей Египта, был один римлянин, которому Рим казался тюрьмой, — Марк Антоний.

Охваченный волнением Германик не сумел скрыть своих чувств.

— Ты видел его вблизи?

— Теперь только я один ношу перед мысленным взором ту ночь. Римлянин был сильный человек, и он много сражался в своей жизни. Он

был высокого роста, как ты, и немного похож на тебя, хотя ты и грек, как сам говоришь. Но когда я его видел, он был старше и не такой терпеливый, как ты. Я получил почётное право подняться на корабль последователей Ме-се-кет, я был на вёслах, совсем рядом, когда римлянин взялся за руль священного корабля Ма-не-джет, который мы толкали. Я видел его руку, сильную руку, которая сжимала вместе с рычагом руля прекраснейшую руку царицы, её тонкие пальцы. Как сейчас помню их соединённые руки.

— Ты говорил с ними?

— Нет, я не мог. Я был слишком молод, почти как твой сын, и все ступени посвящения были для меня ещё впереди. Я слышал его голос, громкий голос, который бы услышали воины в сражении, но в ту ночь он звучал тихо. Его война была проиграна, и по морю приближался Август. Наши наставники учат внимательно слушать голоса, и голос Марка Антония, когда он читал молитву, был голосом очень усталого человека. Но он бежал не от страха. Как истинно сильного воина, после стольких лет сражений его тошнило от войны. Я видел их обоих, как сейчас вижу тебя и твоего сына, — его и царицу с соединёнными руками, его рука лежала на её руке, как я уже

сказал, и направляла золочёный нос корабля к той точке горизонта, где белел ореол луны. Они смотрели туда, и ничто не могло их оторвать. Их тела касались друг друга сквозь священные льняные одежды. И все мы думали, что даже смерть не сможет разлучить их. По сути дела, они вместе шли к смерти и, наверное, уже решили... И меня печалит, что нынче многое оболгали. Август хотел всё знать и послал в страну своих спекуляторов[20].

Старик произнёс это латинское слово со злобой, но точно и отчётливо: он хорошо знал латынь и воспользовался случаем употребить свои знания.

— Многие говорили разное, и Августу сказали то, что он хотел услышать. А возможно, он сам опорочил память умерших, увидев, что не сможет отправить их в Рим в цепях. И написал, что ритуал чествования Великой Матери был просто непристойным праздником, чередой кутежей. А на самом деле этот ритуал существовал четыре тысячи лет, и никто не позволял себе его нарушить.

Грек Залевк слушал с недоверием, не покидав-

---

[20] Примечания: 20
Speculator *(лат.)* — лазутчик, шпион.

шим его всю дорогу. Он шепнул Гаю:

— Возможно, этот человек был мистагогом, которого вводили в мистерии, как случилось с Геродотом. Но это опасно.

Однако мальчик взял свой кодекс и попросил жреца:

— Прошу тебя, повтори мне точно названия священных кораблей.

Старик произнёс их по слогам, глядя на склонённую голову мальчика, записавшего непривычные слуху слова.

— А что было потом? — спросил Гай с занесённым Каламусом[21], в то время как Залевк терпеливо держал чернильницу с блестящими египетскими чернилами.

— Прозвучала великая радостная молитва, которую заложили в наши души тысячи лет назад. Но её нельзя разглашать.

— А потом?

Жрец ответил, что потом ничего не было.

— Они не приносили в жертву животных на алтаре?

— Нет. Никогда. Ночной свет богини — это символ людей, умеющих жить в мире.

---

[21] Примечания: 21
Камышовое перо.

Гай вырос среди войн, где люди безжалостно делились на верных друзей и предателей-врагов, и он видел, как они сознательно несли и принимали смерть. Животные же принимали смерть с чистым страхом, ничего не понимая. На них было невыносимо смотреть во время шумных имперских культовых ритуалов. Маленькому, мать закрывала ему лицо плащом, потому что его тошнило.

Животные чуяли запах убийства. «Убийство пахнет», — говорил Германик. Этот невыносимый, но опьяняющий смрад легиона, когда, командуя центурионами, наступаешь на врага, под солнцем, ничего не говоря, а только слыша грозный металлический лязг доспехов и стук мечей по щитам. Ужасный, непокорный запах закованных в цепи пленных германцев, сбившихся кучами на земле и глядящих на тебя — римского полководца — с молчаливой и страшной ненавистью.

Запах убийства, запах крови, текущей из вен на землю, пугал животных. В детстве Гай навидался этого. Одним из самых утомительных упражнений неотразимой римской конницы было приучение коней с полной невозмутимостью воспринимать запах крови и, что ещё хуже, запах

крови, разлагающейся на солнце.

В приближающейся смерти животные воспринимали только этот запах и своих лютых богов смерти — людей. Они смотрели на тебя вечно кроткими глазами. Даже тигр смотрел неподвижными, безнадёжно кроткими зрачками, когда Гай в Августе Треверорум подошёл к его клетке.

Этого тигра привезли из Сарматии, и в отличие от рыжих индийских тигров у него была густая-густая, почти белая шерсть. Несколько недель он ехал в погруженной на телегу клетке по бесконечным равнинам мимо огромных рек и наконец прибыл в Августу Треверорум для грандиозных кровавых игр в амфитеатре.

Гай, ещё маленький, просунул руку меж прутьев, но ему не удалось дотронуться до зверя. Тот в своём углу отчаянно заворчал, глядя на человечьего детёныша, а когда мальчик шепнул ему, что он очень красивый, тигр начал медленно и лениво поднимать своё мощное тело на лапы, на которых когти сильно отросли в неволе. Мальчик с трепетом ждал, когда тигр подойдёт, он хотел погладить его по морде. Зверь приближался с хриплым тоскливым ворчанием в горле. Гай уже собирался дотронуться до него, когда кто-то без шума и без единого слова схватил его сзади

за плечи и, рывком оторвав от земли, отбросил от клетки. Это был один из трибунов отца. Гай возмутился и заплакал от злости, пиная ногами сильную грудь трибуна. Об этом передали матери, и она рассмеялась. А среди легионеров родилась легенда, якобы сын дукса играл с тигром. Но огромный зверь остался там, в двух шагах от него, в своей клетке, и качался на ослабевших ногах, уставившись на мальчика золотистыми глазами. Гаю сказали, что на следующий день тигра выведут на арену амфитеатра.

ДВОРЦЫ НА ВОДЕ

По запутанным каналам дельты они приближались к великолепной Александрии — городу, в двух портах которого, восточном и западном, разделённых лишь узкой полоской земли, корабли могли найти защиту от любого ветра. Германик, руководствуясь осторожностью, сказал, что не хочет в первый день входить в городские стены. Впервые жрец улыбнулся ему и заявил:

— Зайдём в великий восточный порт по воде.

Пробравшись через путаницу маленьких каналов, они, как скромные купцы или рыбаки, вошли в широкую излучину восточного порта. И увидели, как по всей длине реки белеет непрерывная и величественная череда стен, зданий и колоннад, которыми Александрия славилась на всех морях. Населённый множеством разных народов с различными верованиями город — величайший базар в мире, как напишут знаменитые путешественники, — Александрия открывалась двумя величайшими портами, способными принять целые караваны судов: Канопским портом, повёрнутым на восток, к плодородной зелёной дельте реки, и Лунным портом, повёрнутым на

запад, к выжженным, раскалённым впадинам Ливийской пустыни.

Залевк, мысленно живший среди своих книг, сказал:

— Согласно Аристотелю, совершенный город не дол иметь больше десяти тысяч жителей. Даже Афины никогда не насчитывали больше ста тысяч. Но Александру, великому македонянину, во сне явился Гомер, старый и седой, прочёл эти два стиха из «Одиссеи»: «В неспокойном море на берегу Египта появился остров, называемый Фарос» — и сказал: «Иди, построй там город, и тебя будут помнить во все века».

Теперь же на острове, о котором три века назад мечтал Александр, возвышалась высочайшая башня. Её необъятное квадратное основание уступами сужалось кверху, и башня вздымалась до небес. Наверху горел вечный огонь и виднелось ограждение из бронзовых листов, усиливающее свет по замысловатому проекту Динократа Родосского: в любое время дня и года моряки видели маяк за много миль.

— Те двое, покончившие с собой, мечтали, что в этом городе соберутся вместе духи Афин, Рима, Иерусалима, Антиохии и Мемфиса, — сказал жрец.

Воды восточного порта были совершенно спокойны. Близ излучины древнего царского причала виднелось два маленьких островка, на которых возвышались строения, напоминавшие развалины в пустыне.

Старик сказал:

— После памятной ночи в Сайсе больше никто не видел того римлянина. — Он указал на первый островок. — Вон там стоял его дворец, названный Тимонием. В нём он закрылся до своего последнего дня.

Дворец, которому Марк Антоний дал имя философа-отшельника Тимона, связывала с землёй каменистая коса с дорожкой меж двух рядов гранитных колонн.

— Туда запрещено ступать, — предупредил жрец с неуловимой иронией много повидавших на своём веку стариков, — но ведь ты не римлянин.

Германик в нетерпении сошёл на сушу, его обуревали чувства, придававшие его движениям неуверенность. Ему потребовалось сделать более четырёхсот беспокойных шагов, чтобы добраться до конца дорожки с колоннами и приблизиться к дворцу.

— Он был построен так, чтобы противостоять

векам, — сказал жрец, — но от него осталось лишь столько, сколько соизволил оставить Август.

Дворец пустовал десятилетиями, его разграбили, и здесь остались следы старого пожара. Двери и окна были заколочены. Нигде никого не было видно, и войти не представлялось возможным.

Шум бескрайней Александрии тонул в воде. Кто знает, о чём в этой многодневной нереальной тиши были тревожные мысли (может быть, рассеянные, а может быть, впервые философские) Марка Антония, мечтавшего о мирном царствовании в Египте, но проигравшего и теперь лишь ожидавшего, когда его неумолимый враг решит добраться до него.

— Он покончил с собой в первый день августа. Я слышал, что рядом с его ложем нашли Книгу Мёртвых, которая объясняет путь души на другой берег. Он просил, чтобы её перевели на греческий, и ему сделали перевод. Говорили, что ему не удалось умереть быстро. В агонии он попросил отнести себя к своей царице и умер в её объятиях.

В скудной колючей траве вокруг заброшенного дворца валялись каменные обломки. Пришельцы медленно шли, и Германик смотрел в землю, как на холме Акция, потому что эти мраморные

осколки были остатками надписей и статуй. Вот показалась маленькая жёлтая скульптура — бог Тот, символ знания. Возможно, он составлял компанию хозяину этого дворца в последние дни.

— Ничего не трогай, — сказал Германик сыну.

Они оставили статую маленького божка на своём месте, по небольшому пустырю, бывшему когда-то садом, прошли вокруг дворца и вновь погрузились на лодку. Море сверкало. В глубине, среди камней и песка, виднелось что-то вроде гигантской головы статуи в головном уборе древних фар-хаоуи.

— Наверное, грандиозная статуя, — сказал мальчик.

Высеченная из гранита голова имела незрячие глаза, уставившиеся пред собой под водяным покровом. Однако у неё не было характерно удлинённых век и изогнутых губ, как у древних монархов; чья-то не столь давняя рука изваяла широкий лоб, густые волосы и бороду, тяжёлый чувственный рот, большие круглые глаза под густыми ресницами, мужественное выражение лица.

Германик пробормотал:

— Напоминает его...

Он мог судить, так как в доме его матери Ан-

тонии, римской дочери великого мятежника, оставался единственный, тайно сохранённый в Риме портрет Марка Антония.

Гай наклонился над водой, и гребцы опустили вёсла, чтобы задержаться на этом месте. Значит, это и был любимый вождь своего народа, сам любивший пошутить и похвастать, обожавший пиры и разгульные попойки с друзьями, вечно окружённый женщинами, щедрый, великодушный, мужественный до безрассудства? Это действительно мог быть он. Через сто лет его описывали таким, в том числе и Плутарх.

— Царский головной убор, — указал пальцем Гай.

Германик взволнованно ответил:

— Так положено. Он женился на царице Египта. И никто из них двоих не хотел, чтобы эта страна превратилась в то, чем стала сейчас.

От грандиозной статуи осталась лишь голова, скатившаяся под ударами дубины. Видимо, она лежала там, среди подводных камней, все эти годы.

Жрец направил лодку к узкой полоске древнего царского причала. В тихих водах догнивал киль какого-то лежащего на боку корабля, который, видимо, был раньше длинным и стройным; среди

водорослей торчали изящные уключины, обломок борта, прямой нос.

— Сейчас вода мутная. Но когда проясняется, то на дне видна огромная статуя Исиды, Великой Матери. Поверь мне, она высотой в пять человеческих ростов, я видел её.

На втором островке, чуть дальше, виднелись неопределённые развалины, утопавшие в зарослях кустов акации, которая свешивала в воду ветви и корни.

— Там был личный дворец Клео, нашей царицы, — сказал старый жрец. — Она была великой царицей с чарующим голосом и умела вести умные и возвышенные беседы. Кто видел её в те дни, говорил, что даже пылкий и непостоянный человек вроде Марка Антония был покорен ею на всю жизнь. Всё, что от неё осталось, — части её библиотеки. Мы насчитали свыше семисот тысяч папирусных свитков. Ум царицы был обширен. Она принимала всевозможные посольства и отвечала на их языке. Умела читать и писать на семи языках. И была ещё молода, когда её убили. Она не хотела соблазнять Августа, как о том написали победители. Она была царицей Египта и хотела спасти свою землю от мученичества, которое вскоре приняла сама.

Остров с разорённым дворцом был рядом, в нескольких взмахах вёсел.

— Как видишь, — сказал жрец, — Антоний не мог построить свои апартаменты вдали от неё.

— Давай причалим и зайдём во дворец, — попросил Гай.

— Нельзя, — ответил египтянин. — Уже более пяти десятилетий туда никто не заходит. Август запретил это под страхом смерти. Однажды один рыбак, услышавший про тамошние несметные богатства, причалил на своей лодке и сошёл по мосткам. Через мгновение с других лодок увидели, как он выскочил, словно спасаясь от чего-то, и казалось, что его ноги опутаны лианами. Он с криком прыгнул в лодку, но тут же упал навзничь и больше не кричал. Течение прибило лодку к берегу. Его тело отнесли в храм и увидели, что его ноги покрыты десятками укусов. Это были следы зубов священной кобры.

Жрец шёпотом посоветовал объехать остров, и моряки молча налегли на вёсла, не пытаясь причалить.

— Говорят, что комнаты царицы были вон там. Она и Антоний потребовали комнаты, в которых никто не любил до них, велели привезти девственные камни из пещер в пустыне.

Они обставили всё своими образами. Там должен был остаться памятник их любви, на века... Но этого не случилось. Когда оба умерли, Август вошёл в кабинет Антония и, поскольку никому не доверял, лично проверил все рукописи и свитки и нашёл его дневник. Антоний любил писать на легчайших листах папируса и, возможно, оставил записи в надежде, что кто-нибудь их спасёт. Но Август быстро прочёл их и тут же велел уничтожить. Потом приказал немедленно разбить вдребезги все статуи царицы и сбросить обломки в воды порта. Я видел эти дни. Видел, как богатейшие греческие купцы, командиры легионов, римские сенаторы, арабские моряки предлагали Августу огромные деньги за статуи обнажённой Клеопатры и слёзно умоляли не ломать их. Но Август, и только он один, устоял против её чар. Я слышал, что он прошёл по этим комнатам в сопровождении своих жрецов, знатоков этрусской магии. Царица велела изваять своё тело из серого базальта и диорита, известняка и гранита, чтобы от комнаты к комнате её нагота словно переодевалась в новую кожу. Я слышал, что в те залы вместе с Августом вошёл и флотоводец Агриппа, тот, что женился на его дочери Юлии и разгромил флот Марка Антония.

При упоминании этих имён, которые непроизвольно воскресили в памяти его происхождение по материнской линии, Гай вздрогнул. Жрец, взглянув на Германика, заявил, что Агриппа был человеком большого мужества.

— Однако я слышал, что он споткнулся о ковёр, когда в одном зале увидел стоящую бесстыдно, как Венера, статую из розового кварцита. Как настоящие предстали живые губы, грудь, живот уже мёртвой царицы.

Мальчика потянуло взглянуть на отца; тот молчал.

— Возможно, — продолжал жрец, — то лицо под водой, которое ты смог увидеть, так как море сегодня прозрачно, — всё, что осталось от величественной статуи Марка Антония. Говорят, что Август велел разломать её и утопить там. Но пьедестал остался у берега, и никто не стёр надпись. Статуя должна была стоять в личных покоях, потому что надпись гласит: «Несравненный любовник».

Германик шепнул сыну:

— Марк Антоний писал Августу: «Ты развлекался со всеми шлюхами Рима и посягал на честных жён. А я женился на царице».

— Когда всё было разорено, — продолжал жрец,

— римляне исполнили магические ритуалы, уложили в кучу мебель, подожгли и на руинах разбросали соль. Но один оракул предрёк, что однажды зимней ночью землетрясение пошатнёт скалы под городом, люди с криками выбегут на улицу, а морская волна, высокая, как уступ Фароса, налетит с шумом и грохотом, затопит восточный порт, смоет и остров Антиродос, и Тимоний, и дворцы, и царский причал, и прочие причалы. В конце концов, она отхлынет с плеском и водоворотами, оставив лишь покрытую грязью равнину. А в синем море останутся только фундаменты Фароса. Таково пророчество.

— Сохранилась ли хоть одна статуя царицы? — спросил Германик. — Хотя бы одна во всей Александрии? В Риме не осталось ни одной.

— Я слышал, — ответил жрец, — будто бы Август, раздосадованный тем, что не удастся провести Клеопатру в цепях перед римским народом, позвал знаменитого александрийского художника, знавшего красоту царицы и роскошь её дворца, и велел ему изобразить момент, когда она прижимает к обнажённой груди царскую кобру. Художник исполнил повеление, и я слышал, что он плакал, изображая это. Потом картину отослали в Рим.

— Её больше не существует, — опрометчиво проговорил Германик. — Я знаю, что после показа на своём триумфе Август её уничтожил. Сам я тоже, к сожалению, её не видел. Но сенаторы постановили уничтожить все воспоминания о Клеопатре и Марке Антонии, вынесли damnatio memoriae[22].

Его латинское произношение было чересчур чётким и благородным; жрец взглянул на него, и Германик, устав притворяться, сказал:

— В Риме не осталось ни одной мраморной статуи, ни одной картины с её изображением. Но потом я узнал, что некоторые втайне сохранили её статуи, хотя бы разбитые...

— Ты знаешь, что Август привёз в Рим рабов и троих маленьких сыновей, которых Клеопатра подарила Марку Антонию, — сказал жрец, и Германик молча кивнул.

Гай смотрел на них в замешательстве: он узнавал о моментах истории, которые от него всегда скрывали.

— Ты также знаешь то, что известно всем, — без всякой осмотрительности продолжал жрец. — Во время первого римского вторжения молодая

---

[22] Примечания: 22
Приговор памяти *(лат.)*.

царица подарила сына и Юлию Цезарю.

Гай, затаив дыхание, вцепился в руку Залевка и шепнул:

— Ты мне никогда не говорил.

А жрец продолжал излагать факты:

— И ты знаешь, что его назвали Птолемей Цезарь — в этом имени весь Египет видел договор о мире между двумя державами.

— Знаю, — ответил Германик.

И действительно, эта история была леденящей по своей безжалостности. Единственный сын Юлия Цезаря был для Августа невыносимой помехой и мог стать самым грозным из соперников.

Жрец упрямо продолжал:

— Пока легионы готовились захватить Александрию, юноше с немногими верными друзьями удалось сбежать к восточным портам, где он в отчаянии искал какой-нибудь корабль, который доставил бы его в Аравию. Но шпионы Августа оказались проворнее.

Гай смотрел на жреца, и его рука всё крепче сжимала локоть беззащитного Залевка. Мальчик возмущённо думал, с каким безжалостным единодушием все в его семье молчали о прошлом. Он также заметил, что это сообщество, называемое семьёй, было на самом деле двухголовым чудови-

щем, мифической гидрой, чьи головы семьдесят лет смертельно грызлись друг с другом.

Германик сказал:

— Я знал и про это... — и тут заметил замешательство сына.

Но жрец спросил его:

— Ты уверен, что знаешь всё? Того человека, которого умирающая царица попросила защитить её сына, звали Родион. Но он продал её сына Августу. Он лживо объявил, что Август хочет посадить его на египетский трон. Юноша боялся, ведь мать говорила ему о неимоверной жестокости Августа. Но предатель посоветовал поверить ему: «В тебе течёт кровь Клеопатры, да, но ты также и сын великого Юлия Цезаря. Великий Цезарь не оставил сыновей в Риме. А тебе никогда не приходило в голову, что Август — твой родственник?» Юноша с трепетом ответил, что Август никогда не проявлял сочувствия даже к Марку Антонию, такому же римлянину, как он сам. Но предатель ласково ответил: «Марк Антоний поднял войска против Рима, а ты ни в чём не виновен. Одно твоё имя объединяет судьбы Рима и Египта, это имя вдохновлено богами. Август тоже устал от войн и ждёт тебя, чтобы установить мир». Я слышал, что, говоря так, предатель держал под уздцы пре-

краснейшего арабского скакуна, которого юноша, убегая из Александрии, был вынужден оставить там. Погладив своего любимого коня, тот сдался и вскочил в седло. И поскакал в Александрию. Так Август в первый раз увидел этого юношу одного с ним роста и опасно похожего на него. Император решил, что это голова опасной змеи, и приказал немедленно её срубить. Мне говорили, что его мать Клеопатра в последние недели жизни хотела сделать его изображение из чёрного базальта.

Гай молчал, и Германик отвёл глаза под его взглядом. Он думал, что же это была за женщина, что за царица, которая покорила одного за другим двух таких людей, как Юлий Цезарь и Марк Антоний. Их души переменились, когда они ступили на корабль, что теперь гниёт вон там, полузатопленный, и начали подниматься по великой реке. На этой воде два этих воина, до тех пор несгибаемые в своей жестокости, избавились от своих лютых инстинктов, толкавших их на завоевания. Их мысли пошли по иному пути: союз, равноправное объединение двух держав. Оба имели сыновей от царицы Египта — сделали первый шаг к основанию династии, которая бы правила двуглавой империей, Римом и Александрией. Это были нереальные и, конечно же,

самоубийственные мечты.

Всё это теперь проснулось в голове Германика. Так, когда они входили в Александрию, переодетые греческими купцами, разговаривая по-гречески, он испытал неожиданное и непреодолимое негодование от открытия, что александрийская стена огораживает жуткое место. Жители знаменитого, высокоразвитого города были изнурены фискальными грабежами и лютым голодом, их поля были истощены. В страшной тишине под величественными портиками лежали сотнями крестьяне и жители городских окраин, уморённые недоеданием. Спрятавшись в тёмных углах, без голоса, без сил поднять руку, они молча умирали. Утром отряды вигилов[23] собирали ночные трупы и швыряли на телеги. Легионеры охраняли дороги, а флот грузовых кораблей, груженных зерном, из западного порта отправлялся в Путеолы, великий порт Рима.

---

[23] Примечания: 23
Страж, дозорный.

ЦЕНА ЕГИПЕТСКОГО ЗЕРНА

И вдруг Германик отбросил всякую осторожность и, движимый каким-то импульсом, лежащим за пределами логики, открыл свой ранг и имя. Он рискнул будущим, приказав городским магистратам открыть для народа Александрии бездонные хлебные закрома. И его молодой сын был тоже охвачен этим мятежным чувством.

— Мой господин, — сказал старый жрец, — ты не грек...

Население Александрии по пути шумно приветствовало Германика, местные власти в восторге выстроились вокруг и вручили ему тяжёлое золотое кольцо-печатку, принадлежавшее раньше одному древнему фараону; на одной стороне подвижной оправы был высечен священный скарабей, а на другой — глаз бога Гора.

Но praefectus Augustalis, представитель Тиберия, совсем не удивился неожиданному появлению Германика, как и не отреагировал на шумную раздачу зерна. И кое-кто из спутников Германика заранее испугался этого странного бездействия. Только по прошествии долгого времени стало известно, что спекуляторы, осведомители Гнея

Кальпурния Пизона, осторожно следили издали за этой запретной поездкой. И известие дошло до Тиберия: по морю из Александрии на берега Италии, а оттуда посредством оптических сигналов в Рим.

Бдительный ум Ливии («Всю свою жизнь, — говорили в Риме, — она не делала ничего другого, кроме как сидела в своём садике и думала») сразу же увидел в запретной поездке и шумной раздаче хлеба повод, чтобы сокрушить опасного соперника Тиберия. «Германик вынашивает план восстания, — почувствовала она, — это начало войны». И внушила сыну-императору, что такое нельзя оставить без последствий.

— Кто держит в руках египетскую пшеницу, у того в руках Рим.

Самые влиятельные из оптиматов согласились:

— Не нужно много войск, чтобы напасть на империю из Египта. Чтобы блокировать в Александрийском порту грузовые корабли, хватит двух десятков легионеров.

И Италия, лишённая египетского зерна, капитулирует без войны.

Кому-то вспомнилось, что в Германике течёт опасная кровь Марка Антония. Кто-то ещё крик-

нул:

— Он снова возрождает планы по перенесению столицы в Александрию!

Это обвинение было подобно землетрясению, способному выгнать на улицы всё население Рима, и оно уже стоило жизни Юлию Цезарю.

Тиберий не выступал публично. Но вместе с матерью радовался своей дальновидности, что заранее послал в Антиохию человека, который лучше любого другого мог поддержать жестокую игру, — именно Гнея Кальпурния Пизона. И из Рима в Антиохию, куда спешно возвращался Германик, вновь севший на корабль в Пелузии, отправилось безжалостное императорское послание.

Императоры династии Юлиев — Клавдиев осмотрительно оставят после себя только официальные документы и речи, напыщенные автобиографии, в некотором роде литературные произведения. Олимпиец Октавиан Август, например, кроме политических трудов сочинил лишь несколько литературных этюдов и порнографических стихов, которые строгие потомки поспешили уничтожить. Но сенсационным исключением останется тайный приказ убить Германика, собственноручно переданный Тибе-

рием сенатору Кальпурнию Пизону.

ЯД БЕЗ ПРОТИВОЯДИЯ

Когда Германик ступил на землю Антиохии, его душу переполняли новые впечатления и грандиозные замыслы. Но на следующее утро, в начале дня, обещавшего много восторгов, пока молодой Гай в атрии рассказывал старшим братьям об опьяняющем египетском путешествии, появился посланник с императорскими табличками. Разговоры и смех вдруг стихли. Посланник громко объявил о себе. В этот момент из своих палат вышел Германик, и посланник, с наглой публичностью посреди атрия протянув ему пакет, объявил: «По приказу императора». Гай заметил, что его военная суровость переходит в дерзость, и испытал неосознанный страх. Посланник подождал, пока документ будет принят, и удалился.

Чтобы распечатать пакет, Германик отправился к себе в комнату и закрыл дверь. Решив, что его авантюрные рассказы о поездке больше ничего не стоят, Гай замолк в ожидании, когда дверь откроется снова.

Германик, уединившийся в своих покоях, с изумлением и возрастающей тревогой прочёл строжайший официальный выговор за несанк-

ционированную поездку в Египет и самовольную раздачу зерна. Но письмо завершалось неожиданными словами прощения.

— Самые отеческие слова, которые Тиберию удавалось когда-либо продиктовать, — отметил Германик, кладя папирусный свиток, и его тревога усилилась ещё больше. — Этот человек ещё никого не прощал.

Тиберий хотел продемонстрировать, что ничто не ускользнуло от его осведомителей, но за великодушными фразами и императорским гневом словно висела какая-то туча. Германик сохранил письмо в тайне и не вышел из комнаты, как надеялся сын. Офицеры выразили Германику своё возмущение поведением его врага Кальпурния Пизона: в его отсутствие легат Сирии значительно превысил свои полномочия, он подорвал стратегию умиротворения с сопредельными мелкими царствами, отменил или оставил без внимания все распоряжения Германика и жестоко нарушал его гражданские отношения с населением.

Германик пригласил Кальпурния Пизона к себе, и тот вскоре явился.

— Я ожидал этой встречи несколько недель, — нагло заявил он в атрии.

Дверь с шумом захлопнулась у него за спиной. С первых же слов оба необратимо разругались; Германик изображал покорность приказам, Кальпурний Пизон высокомерно взял на себя право интерпретировать волю сената. Из закрытой комнаты доносились их громкие враждебные голоса, попеременно перебивавшие и перекрывавшие друг друга. Офицеров охватила тревога.

Дверь распахнулась, и Кальпурний Пизон, проходя через атрий, пригрозил:

— В Риме ещё есть император, к которому можно обратиться.

У него за спиной кто-то закрыл дверь к Германику. Офицеры ждали, собравшись в кружки и тихо совещаясь. Молодой Гай после ярких, опьяняющих дней в Египте погрузился в ужасную тревогу, которая сжимала желудок и затрудняла дыхание. Но неосведомлённость его старших братьев — «Что могут сделать нашему отцу? Здесь он главный. Кто может на него напасть среди всех этих войск?» — сбивала с толку и приглушала страх.

Залевк шёпотом посоветовал:

— Пошли отсюда.

Но мать Гая Агриппина, которая по возвращении мужа выглядела бледной и обеспокоенной,

как будто дворец в Эпидафне был тюрьмой, начала бродить за Германиком по комнатам и неотвязно следовала за ним в городе, неустанно следя за всеми, кто бы к нему ни приблизился, и всё это молча, кусая губы и даже заламывая руки, когда считала, что никто её не видит.

В те дни Германику было очень трудно демонстрировать уверенность в себе и спокойную веру в окружающих. Но Агриппине удалось подослать в резиденцию Кальпурния Пизона и его жены Планцины — грозной подруги Новерки — нескольких женщин, прикинувшихся торговками тканями и благовониями. И те вернулись встревоженными.

— В покоях Планцины, — доложили они, — свободно разгуливает одна женщина-сириянка по имени Мартина, мы узнали её...

— Искусная в порче, она готовит яды...

— Её все боятся...

— Её ничем не удивишь: она знакома со смертельными ядами в пище, напитках, мази на предметах, даже в благовониях.

Однажды, увидев в своём дворце в Эпидафне младшего сына, Германик подумал, что, кроме него, больше не с кем поговорить. И произнёс слова, которые Гай запомнил до последних мгно-

вений жизни. Он сказал:

— В условиях вроде нынешних опасность грозит не от тех, кто поджидает у края дороги и машет тебе издали. Для этого у нас тысячи легионеров, они растерзают напавшего, едва он шагнёт. Проблема в тех, кто рядом с тобой каждый день и свободно входит к тебе в комнату. Ты не знаешь и не помнишь, но кто-то из них когда-то нашёл причину ненавидеть тебя. И возможно, уже не один год ненавидит, улыбаясь тебе.

Мальчик смотрел на отца, не дыша, а тот продолжал:

— А потом знаешь, что случится? Один из твоих врагов, живущий далеко и мечтающий тебя погубить, но неспособный к тебе подобраться, узнает, что кто-то из твоих близких тебя ненавидит, а ещё лучше — в страшных долгах... И вот уже двери твоего дворца словно распахнулись, а никто не знает об этом...

Мальчик молчал. Потом шумно выдохнул, сделал глубокий вдох во всю диафрагму и спросил:

— Но как же мы узнаем, что здесь, среди нас, кто-то тебя ненавидит?

Отец был тронут и сдержал свои тревоги.

— Я сам не верю, что такой есть, — ответил он. — Никто в доме не может обвинить меня, что

я обращаюсь с ним несправедливо. Я бы хотел успокоить и твою мать.

Кальпурний Пизон снова уехал, объявив, что отправляется в Рим, а в царском дворце в Эпидафне Германик на следующий день пожаловался, сам удивляясь, что ему как-то нехорошо. Сбежались врачи и вскоре встревоженно обнаружили слабый жар и желудочные спазмы. Они осмотрели его ногти и заглянули под веки, понюхали его дыхание, ощупали живот, отрезали и подожгли прядь волос. И после всего этого молча переглянулись.

Агриппина сразу вспомнила сирийскую знахарку, скрывавшуюся в доме Планцины. Но на следующий день Германику стало лучше, два-три дня верили в его выздоровление, и весть об этом распространилась по городу. Потом снова стало хуже, на этот раз таинственная болезнь не поддавалась лечению — температура была низкой и непостоянной, свет вызывал боль, головные боли стали нестерпимыми, в моче появилась кровь. Через несколько дней руки его похудели и стали почти прозрачными, как у скелета, проявились суставы и сухожилия, на грудной клетке выступили ключицы и рёбра. Германику ещё не исполнилось и тридцати пяти, и в агонии он

осознанно шептал, что чувствует смерть от яда.

Агриппина, глаза которой впали от недосыпания, вызванного невыносимым отчаянием, страстно повторяла: «Мы спасём тебя!» А он поднял руку, пригладил выбившуюся из узла прядь её прекрасных прямых волос и прошептал:

— Я всегда видел тебя такой аккуратной, такой красивой...

Она убрала волосы за уши и сумела улыбнуться в ответ.

Тем временем в отдалённых комнатах врачи подтвердили преданным Германику близким свои самые горькие предположения:

— Какой-то редкий, очень медленно действующий яд.

Два старших сына были возмущены и не могли поверить; легкомыслие с трудом позволяло им осознавать реальность. Гай же, младший, в явной тревоге закрылся у себя в комнате: он понял, что необратимые события могут погубить самую благополучную жизнь.

Изнурённый спешным путешествием приехал старый знаменитый врач, живший при дворе Абгара Эдесского. Он зашёл к больному и, отозвав прочих врачей и друзей в сторону, объявил:

— Я уже сталкивался с этим ядом несколько

лет назад.

Сжигаемые тревогой, все сбились плотнее вокруг него: стало быть, это яд, несомненно яд. Эдесский врач, говоривший на священном языке урхэ, не оставил надежды:

— Это яд для убийства царей. Я видел его действие на одном государе, искавшем мира с Римом.

Он сказал, что тогда они выявили отравителя и, подвергнув его пыткам, узнали, что яд прибыл в Эдессу по тайным караванным тропам с далёких гор.

— Этот яд необычайно дорогой и даётся только в надёжные руки. В тот раз отравитель получил его от человека, скрывавшего своё лицо, в месте, куда его привезли с завязанными глазами, а потом отвезли обратно таким же образом за много миль.

— Но существует ли противоядие? Вы спросили его об этом? — с возрастающей тревогой звучали вопросы.

Юный Гай молча стоял у дверей.

— Это был мой первый вопрос, — ощущая неловкость, ответил знаменитый эдесский врач. — И отравитель, хотя и подвергнутый пытке, улыбнулся мне. Он сказал, что, попади хоть мель-

чайшая капля этой жидкости ему на руки, он мог бы спасти себе жизнь только в том случае, если бы тут же глубоко прижёг кожу в этом месте. Но больше он ничего не сказал, потому что, несмотря на надзор, его вскоре нашли мёртвым.

Гай не отходил от двери. Прочие столпились вокруг врача, их ужас питала двусмысленная смесь медицины и магии, рассказы о мифических ядовитых животных, о камнях, наделённых таинственной силой, зельях, травах и корнях человеческой формы, о грибах и покрытых слизью цветах, что распускаются по ночам. Гай с порога молча смотрел на отца, который лежал с закрытыми глазами и как будто спал.

— Я гибну, — прошептал он самому себе, сознавая, что стремительно надвигается на его жизнь, опустошая всё. — Я погиб.

В эти последние часы каждый врач снова стал предлагать какое-нибудь почти отчаянное средство. Пока Германик, несмотря на все самые странные противоядия, мучился в агонии, среди его друзей поднимался гнев. Бросились искать сирийскую отравительницу, но тщетно — она исчезла. Обыскали каждый угол дворца в Эпидафне, и тревожная фантазия повсюду находила следы ядов и порчи, закопанные в землю амулеты и

масляные, зловонные следы на кубках и амфорах с вином. И ещё кости, то ли человечьи, то ли животных, на которых, судя по оставленным таинственным бороздам, исполнялись магические ритуалы. Нашли имя Германика, выдавленное на свинцовой табличке с формулами зловещих заклинаний. Возникло подозрение, что во дворце какой-то предатель следит за его болезнью, чтобы сообщить дожидающемуся в нетерпении Кальпурнию Пизону, который действительно задержался на острове Кос, неподалёку от побережья Карии.

В агонии Германик нашёл в себе силы по секрету поговорить с верными и любимыми офицерами, и Гай видел, как они выходили из комнаты, рыдая от бессильного гнева и нервно сжимая в руках бесполезное оружие. Потом отец обнял двух старших сыновей, потрясённых и всё ещё не верящих происходящему; с потерянными лицами они не скрывали слёз, а он уже не нашёл в себе сил прошептать последние советы их неопытной юности и ещё глубже провалился в забытье.

«Кто знает, — думал Гай, свернувшийся калачиком в углу и не способный уснуть, — куда устремился его дух, его анх, о котором говорил

старый жрец из Саиса».

Он вздрогнул, когда раздался слабый голос, выражая какое-то веление, какую-то просьбу. Голос звал Гая. Мальчик не плакал, он никогда не плакал, а оставался рядом с отцом, день и ночь, молча взад-вперёд шагая по комнате.

Германик попытался снять золотое кольцо-печатку, которое ему подарили в Александрии в тот день, когда он открыл закрома, но оно само соскользнуло с исхудавшего пальца. Германик, словно поднимая камень, с трудом уронил его в ладонь сына, и тот сжал кольцо. Запёкшимися от неутолимой жажды губами умирающий прошептал:

— Мы много говорили с тобой...

Видя, что сын всё ещё так хрупок, спросил:

— Ты будешь помнить об этом?

— Я запомню всё, — ответил мальчик без слёз в голосе.

Он поцеловал отца, сильно и твёрдо, словно целовал кого-то уходящего в далёкий поход. На губах остался след солёного пота.

Последней Германик позвал Агриппину. Кто-то из свидетелей говорил потом, что он советовал ей умерить свою запальчивую и высокомерную жажду справедливости.

— Держись. У тебя будет время.

Он шептал, что куда хуже яда его боль от мысли, что он оставляет её с малолетними сыновьями в окружении врагов.

— Я была одна, с нашим сыном, даже на мосту через Рейн. Не бойся за нас, — ответила женщина, дрожа от усилий, чтобы не заплакать.

Стоял десятый день октября. Тело Германика вынесли на антиохийский форум, где положили на грандиозный погребальный костёр. Перед ритуальным сожжением его выставили без одежд, чтобы все могли видеть следы того медленно действующего яда, не имеющего противоядия.

Длинная процессия из постоянно сменявшихся людей молча двигалась вокруг погребального костра; в единодушном повороте головы все не отрывали глаз от тела этого мёртвого молодого мужчины, мощного и длинного скелета, еле прикрытого тонким слоем плоти. Пламя костра вспыхнуло, и на площади вдруг поднялся крик: люди выражали гнев, негодование и жалость, обвиняли Кальпурния Пизона в умышленном отравлении.

Нашли-таки и сирийскую отравительницу, ей не удалось далеко убежать. Её посадили в темницу, допросили, подвергли пыткам. Но она

молчала — видимо, проглотила какое-то таинственное снадобье и ничего не чувствовала. Агриппина, офицеры Германика и друзья решили, что в Риме нужно устроить громкий процесс об отравлении.

Население Антиохии, а вслед за тем и всей Сирии и соседних стран увидело, что недолгое время мира закончилось. Новые командиры легионов твёрдо взяли в руки общественный порядок. Один верный и быстрый гонец донёс Кальпурнию Пизону на остров Кос весть о смерти Германика. И такова была радость сенатора, а ещё более шумной была радость его жены, что они устроили публичные празднества.

Но потом один друг шёпотом посоветовал вспыльчивому и грубому сенатору вести себя умереннее:

— Кто действительно радуется этой смерти, тот, как Тиберий, напоказ выставляет большое горе. А его мать плачет ещё больше, чем он.

Агриппина послала вперёд быстрых гонцов и, подгоняемая силой своей израненной любви, среди зимы — в дни «закрытого моря», когда навигация прекращалась, — отправилась по морю из Антиохии в Рим.

III
РИМ



ВЫСАДКА

Январским днём вдали, на границе моря и огромного неба, полного белых облаков, замаячил апулийский берег. Немного погодя показались очертания Брундизия, самого большого порта империи на путях восточного Средиземноморья. Приблизившись к молу и входу в порт, корабли убрали паруса и продолжили своё печальное возвращение, медленно идя на вёслах.

В ясном зимнем воздухе караван судов заметили издалека, и всё население устремилось к морю. С борта увидели, что порт, песчаный берег, мол, набережная, городская стена, дома, крыши покрыты сплошной толпой, молча и неподвижно дожидавшейся их.

— Его любили, — без слёз прошептала мать Гая.

Корабль, вёзший семью убитого, первым вошёл в порт, двигаясь всё медленнее, вёсла еле касались воды. В этом ледяном молчании он завершил манёвр, в море опустились якоря? моряки отдали швартовы, а другие подхватили их на берегу. В тишине корабль совсем остановился и, немного покачавшись, прижался к причалу; в

тишине были установлены сходни.

— Выходи, — сказала Гаю мать.

Двух старших братьев, тех, что с неутраченной юношеской доверчивостью не верили в опасность, из осторожности послали в другой день, на другом корабле, в другой порт.

Агриппина со своим младшим сыном ступила на сходни, двумя руками — в этом все увидели любовное отчаяние — прижимая к себе свою ношу; и было понятно, что это урна с прахом Германика. Среди праха, говорила она, сердце осталось невредимым, его не тронуло пламя долгого погребального костра. И все единодушно признали, что это последнее и несомненное доказательство отравления.

С первых же шагов мальчик понял, какой шум может вызвать сочувствие и возмущение тысяч человек, когда, встречая их, толпа вдруг разразилась криками и рыданиями. Но после этой драматической высадки Агриппина и товарищи Германика заметили, что официальных встречающих нет ни на молу, ни в городе. Местные власти как будто растворились.

— Это постыдный приказ Тиберия, — заявили возмущённые трибуны и центурионы.

Агриппина проговорила без всякого выраже-

ния:

— Узурпатор надеется, что народ забудет злодейское убийство.

Но вместо этого подобная презренная тактика вызвала неуправляемые народные волнения. Пока колонна, начавшая сухопутный поход в Рим, двигалась по Аппиевой дороге в сопровождении двух когорт, слух о прибытии опередил их, и от этапа к этапу вокруг собирались всё большие толпы. Морозным вечером, на исходе дня, двигаясь меж заснеженных холмов, путники достигли Беневента — города, известного множеством таинственных легенд. И под древним ореховым деревом с волшебно светлой корой жрецы из одного маленького египетского храма, воздвигнутого в дни Юлия Цезаря, под музыку странных инструментов и в аромате всепроникающих благовоний дали приют праху Германика.

— Как в Саисе, — шепнул матери Гай.

На следующее утро Агриппина, приласкав сына, сказала:

— Этой ночью мне впервые удалось уснуть. Я действительно спала и верю, что мне снились сны, но ничего не запомнила, только свет.

На её губах после стольких недель проявилось какое-то движение, которое можно было счесть

улыбкой.

Гай испытал от этого огромное облегчение, словно вернулся в былые счастливые дни, и сказал себе: «Если смогу, в память об этой ночи когда-нибудь украшу храм Исиды, как те храмы древних фар-хаоуи».

Медленное и печальное путешествие превратилось в опьяняющую процессию, двигающуюся меж двумя стенами столпившихся людей: товарищей по оружию умершего молодого полководца, людей, некогда славивших его противостояние аристократам, ветеранов, чтящих память победителя Арминия, популяров и старых республиканцев, боявшихся усиления императорской власти, старых врагов Тиберия и Ливии, — и все единодушно кричали, что убийца — Кальпурний Пизон и что за ним стоит император.

Юный Гай погрузился в ощущение нереальности, заглушившее боль. Прибытие в Рим было пьянящим и в определённом смысле триумфальным. Как будто в городе не жил Тиберий, как будто здесь не спустили с цепи всех шпионов и преторианцев, огромные толпы, несравнимые с теми, что встречали живого Германика, высыпали на улицы, окружили приехавших и следовали за ними вдоль всего долгого пути до

построенного Августом грандиозного мавзолея. Гай, слишком молодой и несмышлёный для такого дня, мельком видел доспехи преторианцев, что сдерживали толпу, а за ними тысячи лиц, которые, узнав младшего сына, звали его и плакали. Устроив такую давку, что было трудно вздохнуть, они кричали Агриппине, что среди этой банды убийц она одна хранит честь родины. Громогласно призывали богов спасти жизнь ей и её сыновьям. В ярости вспоминали, что до смерти мужа она уже провожала в этот мавзолей убитых братьев. Проклинали не понёсших наказания отравителей и призывали к мести. Никто, кроме нескольких умудрённых опытом сенаторов, не предполагал, что эта горячая манифестация простонародья станет роковой.

Тем временем до дворца Тиберия на Палатине доносился шум огромной возмущённой толпы, готовой к бунту.

— Не знаю, сколь крепка верность преторианцев, — мрачно размышлял Тиберий.

И потому из семейства Цезарей и императорского двора никто на похоронах не появился. Тиберий с матерью послали сомнительных послов сказать толпе, что и они оба охвачены скорбью.

— Они там запёрлись наверху, потому что боятся Рима, — неосторожно выразила своё презрение Агриппина, но рядом больше не было Германика, чтобы успокоить её в своих объятиях.

С хитрым лицемерием Ливия не позволила Антонии, престарелой матери Германика, принять участие в похоронной процессии. Антония повиновалась. И кто-то прозорливо заметил:

— Ливия хочет, чтобы отсутствие убитой отчаянием матери и отсутствие императора казались вызванными одинаковой скорбью.

Многие настойчиво призывали Тиберия устроить торжественную церемонию упокоения праха Германика, но император отказался.

— Он сказал: нет. Никакой церемонии на Форуме, никаких поминок перед ростральной трибуной, — возмущались популяры. — Даже никаких почестей, которые оказывают любому безвестному патрицию.

Кто-то обратил внимание императора на необычную бедность этих похорон, и его ответ просочится в исторические книги:

— Недостойно римского характера предаваться стенаниям.

Лишь один сенатор при мертвенном молчании коллег с негодованием заметил:

— Рим уже не отличает малодушного хныканья от оплакивания героев.

Но народ не успокаивался. Среди криков и призывов построение в торжественную колонну, длительное стояние в давке, медленное продвижение с частыми остановками заняло всю вторую половину дня. Ранние январские сумерки застали людей, когда они ещё не увидели и бронзовых дверей мавзолея. Под ледяным зимним ветром все сообразили, что наступила ночь. И тут на всей площади, в садах и на берегах Тибра зажглись тысячи факелов, и от буйного раздуваемого ветром пламени небо вокруг мавзолея покраснело.

Август, мысливший себя в понятиях вечности, за сорок два года до смерти возвёл мавзолей своей славы. Он вдохновил архитекторов на торжественно одетый мрамором круглый курган, увенчанный деревьями и вечно зелёным кустарником, над которым возвышалась бы его божественная статуя высотой в сорок метров.

Но из его семейства многие вошли туда задолго до него, по большей части умерев насильственной смертью, и об их трагических жизнях возвещали короткие надписи на камне. И Августу пришлось пристроить к мавзолею этот высокий бронзовый портал: сначала для своего молодого

блестящего племянника Марцелла, потом для великого флотоводца Агриппы, победителя Марка Антония, а потом для праха этих сыновей Юлии, умерших при невыясненных обстоятельствах вдали от Рима. И теперь в этой скорбящей процессии толпа шепталась, а то и кричала, что Новерка не плачет. Как бы то ни было, внутри мавзолея эти мёртвые в своих выстроенных в ряд тяжёлых урнах будут во все века напоминать о великой семейной славе — как и о гнусных злодействах.

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ КАЛЬПУРНИЯ ПИЗОНА

Многие патриции предлагали отчеканить в честь Германика великолепный золотой Медальон и возвести триумфальные арки в Риме, Сирии и на берегах Рейна, но Тиберий воспротивился этому, сказав, что слава строится не из камня. И всё же на волне эмоций, прокатившейся по империи, многие города решили сделать это за свой счёт.

— Рим не сделал ничего, — сказала Агриппина. — Десятки же малых городов возвели памятники по велению сердца.

И это была правда.

— Тиберий полагает, что удушил всё, но он ошибается, — с неутихающей злобой проговорил Кретик. — Он удалил меня от Германика, когда захотел убить его, но теперь не заставит молчать.

В изысканной резиденции на Ватиканском холме Агриппина и её сторонники начали с одержимостью собирать свидетельства и доказательства злодейского отравления. Из Сирии, где легионы были в шаге от мятежа, свидетельства и

доказательства шли лавиной.

И однажды утром малолетний Гай, чьё отрочество проходило в этих жгучих тревогах, вошёл в библиотеку, где неделями вовсю работали юристы и дружественные сенаторы, и увидел, что перед столом с аккуратно разложенными документами стоит его мать, бледная как тень, и улыбается.

— Всё это, — сказала она, — будет завтра предъявлено сенаторам. И никто не сможет закрыть на это глаза.

Документы были вручены сенатскому суду, и разразился скандал. В бурных заседаниях, где дело порой доходило до физических стычек между оптиматами и популярами, Тиберий был вынужден согласиться начать процесс против Кальпурния Пизона и его жены Планцины.

— Но мы ещё не победили, — сказал Кретик, и неизвестно, какое предупреждение несли эти слова.

И действительно, на следующий день Нерон, импульсивный старший брат Гая, вернулся домой и, запыхавшись, объявил, что сирийка Мартина, предполагаемая отравительница, наконец была доставлена в Брундизий в цепях.

— Но вскоре её нашли мёртвой, без каких-либо

признаков болезни или насилия. А у неё в волосах обнаружили следы ядовитой мази.

Все уставились на него, разговоры прервались на полуслове.

— И теперь, — заявил Гай внезапно повзрослевшим голосом, — мы никогда не узнаем, кто подослал её к моему отцу.

Потом из Сирии, всё ещё свободный и разгневанный, но под градом обвинений, прибыл сенатор Кальпурний Пизон. Тиберий и Ливия прекрасно знали его убийственную неосмотрительность, и император поспешил в курию на пленарное заседание сената, чтобы наметить план процесса:

— Вы должны выяснить, препятствовал ли Кальпурний Пизон власти Германика в Сирии, или же Германик был нетерпим в своих отношениях с ним. Питал ли Кальпурний Пизон злобу к Германику, или же Германик злоупотреблял своей властью. Существовали ли конкретные подозрения насчёт применения яда, или же неосмотрительное выставление тела Германика на площади в Антиохии опасно воспламенило толпу.

Оптиматы втайне возликовали, популяры были ошеломлены и возмущены. В словах Тиберия

темы расследования были так виртуозно умножены и запутаны, что суд или комиссия могли бы работать годами и не прийти ни к какому заключению. Сенатор Сальведиен, потомок того Сальведиена, что погиб во время древнего мятежа, возмутился:

— Мы рискуем не понять, кто виноват: тот, кто налил яд, или тот, кто, не ведая этого, выпил его, — и напомнил коллегам, что сенаторы составляют независимый суд, которому по законам Республики никто не может диктовать.

Император посмотрел на него, и больше никто не посмел вмешаться. Тиберий покинул зал заседаний. Но он ничего не забыл, и всё это знали. А сенатору Кальпурнию Пизону, пока подготавливали процесс, великодушно разрешили остаться на свободе.

— Это знак, — прокомментировал, побледнев сильнее обычного, историк Кремуций Корд. — Теперь Кальпурний Пизон уверен, что Тиберий употребит всю свою власть для его спасения.

Кальпурний Пизон действительно имел основания чувствовать себя под защитой, но воспользовался ею плохо. Он обошёл галереи сената, не сдерживая вызывающего высокомерия и сжимая в руке маленький кодекс, карточку

с каким-то посланием. Мельком видевшие его шептались, что оно написано рукой Тиберия.

И кроткий Кремуций Корд с мудростью историка предсказал:

— Кальпурний Пизон думает, что спасся, скрываясь за более великим виновником. Но на самом деле он вынес себе приговор, потому что теперь Тиберию придётся заставить его молчать, да так, чтобы он не заговорил и через сто лет.

Забившаяся от холода в угол Агриппина слушала, сидя на подушках, и не могла унять дрожь.

Встревоженный Кретик сказал:

— Боюсь, что Кальпурнию удастся бежать — возможно, к какому-нибудь мелкому тирану у границ Сирии, в Декаполь или куда-нибудь в Парфию. С его-то деньгами!

— Не сбежит, — спокойно рассудил Кремуций. — Тиберий не может рисковать его разговорчивостью. Кальпурния Пизона уже не спасёт никакое богатство.

Действительно, к взволнованному сенатору прибыли несколько настойчивых императорских посланников, прервали его прогулки и убедили отдать тот таинственный документ, который «ослабляет власть единственного, кто может помочь». Сенатора клятвенно заверили,

что Тиберий уже придумал, как его спасти.

После двух драматических заседаний сенатского суда — где усугублялись тяжелейшие обвинения, слышались убийственные свидетельства и такие же гневные оправдания, а Тиберий не появлялся — вооружённый отряд неожиданно отконвоировал Кальпурния Пизона домой. За стенами собственного дома той же ночью в полной, ошеломляющей тишине он покончил с собой. Это обнаружилось утром, когда пришлось вышибать дверь в его комнату.

— Он пронзил себе горло одним ударом, — взволнованно прокомментировал Нерон.

Но Друз, второй брат, пояснил, чётко выговаривая слова:

— Говорят, он воспользовался мечом.

Нерон отвернулся, не поняв смысла этой реплики; Гай же сразу спросил:

— Меч, чтобы пронзить себе горло? Как же он его держал?

— Непонятно, — иронично согласился Друз.

— И этот меч нашли? — спросил Гай.

Друз улыбнулся.

— Да, говорят, он валялся на полу, но слишком далеко от тела.

Гай тоже улыбнулся.

— Какая ошибка... Никто из военных в жизни не поверит.

И Друз заключил:

— Говорят, один центурион, как только увидел там меч, подтолкнул его ногой поближе к трупу. Но клинок был в крови, и на полу осталась полоса...

Агриппина посмотрела на двоих своих младших сыновей, особенно на самого младшего, — они загадочно улыбались, в то время как старший всё понимал с запозданием.

— А Планцина? — спросил Гай.

Друз злобно рассмеялся:

— Планцина отдыхала в другой комнате и ничего не заметила. А послания Тиберия не нашли.

Через несколько часов весь Рим сошёлся во мнении, что это великодушное самоубийство защитило вдохновителя отравления. Тиберий перенёс унижение без единого слова, не дрогнув. Но после периода своего жуткого молчания — а он мог молчать по нескольку дней, погрузившись в не покидающую его тревогу, — император решил, что многие из ныне веселящихся скоро найдут причины для душераздирающих рыданий. И перешёптывания его больше не занимали, потому что процесс был объявлен завершённым.

Дез приговора теперь уже гарантированное молчание мертвеца позволило Ливии — в народе называемой Новеркой, но официально много лет носившей имя Августы — очистить свою подругу, овдовевшую Планцину, от всех обвинений. И действительно, Тиберий под давлением матери пришёл поддержать Планцину перед остолбеневшими сенаторами.

— Это невиданно, — говорили римляне, — чтобы близкий родственник жертвы с таким рвением защищал убийц.

Но нашлись тонкие аргументы, и в конце концов грозная Планцина была оправдана, ей даже удалось сохранить имущество.

Друз с ненавистью прокомментировал:

— Она заключила договор с убийцами над трупом Кальпурния Пизона.

ИСТОРИЯ ЮЛИИ

В исторической резиденции на Ватиканском холме, среди знаменитых садов на правом берегу реки, которую поэты называли Тибром, Агриппина кричала, что ей невыносимо жить рядом с молчаливым злодеем в императорском обличье, убийцей Германика — любимого мужа и отца. Невыносимо видеть, как Планцина плачет от радости в материнских объятиях Ливии; невыносимо видеть, как наглое семейство Пизонов ходит по Риму в славе восстановленной невинности.

Из дальних комнат малолетний Гай слышал её взволнованный голос, приглушённый подушками и перебиваемый жалостными увещеваниями служанок. Он молча шагал туда-сюда. Гай был ещё мальчик, но, походив вот так, он остановился и пообещал себе, что увидит день, когда припомнит этому семейству все свои несчастья.

«Выжить», — как-то сказал Германик. Продержаться до дня, когда судьба урежет власть врагов, хотя бы на час пережить их. Однако в резиденции в Ватиканских садах медленно и бесполезно текли месяцы и годы, а власть Тиберия оставалась всеподавляющей и неприступной. Агриппина

в приступах бессильной ярости изводила себя отчаянными воспоминаниями.

Учитель Залевк сказал мальчикам:

— Каждый раз, когда вы выходите за ворота, ваша мать не находит себе места от тревоги. Вы слишком беспокоите её.

Но Гай выходил не часто. Каждое утро он долго гулял в одиночестве по обширным садам, спускавшимся к реке. Он ласкал цветы и в отчаянии думал о своём отце. Он представлял, будто ощущает его как доносящееся откуда-то издалека дуновение. Казалось, что это дуновение приближается к нему, и он ждал его прикосновения, но потом всё исчезало в пустоте. А однажды утром, гуляя так, он увидел идущую по аллее мать. Она шла медленно, вытирая пальцами глаза, потом села в углу и закуталась в шерстяной плащ. Было видно, как дрожат её плечи.

Гай подошёл и сказал ей:

— Тебе холодно.

— Нет, — ответила она, вздрогнув, — сейчас выйдет солнце.

Тогда Гай сел рядом и вдруг сказал:

— Даже если я заткну уши руками, всё равно будет слышно, как люди непрестанно говорят о тебе и твоей матери Юлии и о проклятой Новерке,

которую мне так и не удалось увидеть хотя бы издали. Но когда замечают меня, сразу замолкают.

Судя по портретам, Агриппина была очень красива — обманчиво спокойной и мягкой красотой рода Юлиев, эта красота проявлялась и в Августе. Но в тот день Гай видел на лице матери лишь ожесточение и тревогу. И сказал:

— После всего случившегося больше не может быть тайн. Скажи мне, почему Юлия, единственная дочь Августа, твоя мама, была сослана на остров Пандатарию, а потом перевезена в Регий, чтобы там умереть? Я не могу понять этой жестокости.

— Пандатария — прекрасный остров, — неожиданно ответила Агриппина, и Гай замер. — У нас есть вилла на Пандатарии. Её построил наш отец Агриппа.

Но она не сказала, что много лет не может вернуться туда. Её красивое лицо осунулось, шея исхудала, под кожей пульсировали вены, но она всё же улыбнулась.

— Это маленький островок, очень зелёный, потому что там бьёт родник. Наш отец был великим моряком, и он нашёл защищённое место для причала, построил маленький порт. Мне там нравилось.

Гаю не хватало терпения, он чувствовал, что разговор ускользает от темы. Только через несколько лет он поймёт, что мать хотела избежать боли.

А она продолжала:

— Вилла стоит на вершине мыса, и к ней ведёт широкая лестница в форме двух крыльев — восточного и западного. Посредине наш отец построил нимфей[24]. Этот уголок укрыт от зимних ветров и полон цветов. На самом верху отец устроил террасу, откуда было видно всё Тирренское море, острова и побережье Лация. На восток и на запад спускались к морю два крытых прохода: наш отец предусмотрел, чтобы при любом ветре можно было спуститься к спокойной воде.

Гай не мог представить, какую тоску довольно скоро вызовет это описание. Агриппина погладила его по голове и убрала со лба непослушные волосы, которые снова упали. Он не откликнулся на ласку и отстранился.

— Скажи мне, пожалуйста, почему твоя мать Юлия умерла таким образом.

— Вот, — ответила Агриппина, — всё эта поездка в Египет, где я не могла за вами следить...

---

[24] Примечания: 24
Павильон с фонтаном.

Она вздохнула, и Гай догадался, какую боль причинили ей последние месяцы жизни Германика вдали от неё.

— В этой поездке ты много узнал о семье твоего отца. Но о предках с моей стороны, поскольку в тебе течёт кровь Августа, ты знаешь только то, что смогли и захотели рассказать тебе люди, которые сами не видели тех дней.

Она снова вздохнула, но время молчать и в самом деле прошло.

— Для начала нужно сказать, что Август, чтобы жениться на Новерке, послал своей жене Скрибонии письмо о разводе в тот самый день, когда она родила на свет Юлию, мою бедную мать. Такое бессердечие показалось отвратительным всему Риму. Август не любил свою единственную дочь, а сделал её инструментом для претворения в жизнь собственных планов. Едва ей исполнилось четырнадцать лет, он выдал её за своего племянника Марцелла, которого избрал наследником. Однако Марцелл умер через несколько месяцев, когда моей матери Юлии ещё не исполнилось пятнадцати. Август искал лишь верных союзников, потому что вся его жизнь протекала среди заговоров и заговорщиков: Авлон Мурена, образованнейший юрист, и Фанний Цепион, потомок

консулов, а вскоре Корнелий Цинна, чья семья состояла в союзе с Гаем Марием, и Валерий Соран, благородный самнит[25], — все были разоблачены и убиты. Август говорил, что чувствует себя одиноким тигром на скале, окружённой стаей псов. И вскоре выдал Юлию за своего вернейшего друга, человека, помогшего ему завоевать власть, — нашего отца. Флотоводцу Марку Випсанию Агриппе было за сорок, в прошлом у него были другие жёны и другие дети, и в те дни в Риме цинично говорили: «Август награждает своих сторонников жёнами, как будто дарит лошадей». Однако же эта холодная женитьба на власти обратилась, на удивление всем, счастливой и плодовитой семьёй. Но вскоре наш отец, как ты знаешь, умер во время одной войны. Август с тоской сказал, что потерял правую руку — «человека, выигравшего все мои сражения». Новерка же не плакала. Она убедила императора, что лишь один человек во всей империи может заменить великого Агриппу, и это оказался её сын Тиберий. Нужно было сделать Тиберия наследником власти, устранить других претендентов и поскорее женить его на Юлии. Но к смерти нашего отца мать была бере-

[25] Примечания: 25
Самниты — италийское племя в Средней Италии.

менна — шестой раз за девять лет. Никто никогда не прекословил Августу, но на этот раз она взбунтовалась. Многие слышали, как она кричала, что он безжалостно пользуется её жизнью и что не может выдать её — через несколько недель после траура и с новорождённым младенцем — за мрачного Тиберия, который, что ни говори, сын Новерки, второй и ненавистной жены её отца.

То, что Агриппина рассказала наконец, Гаю после вынужденного многолетнего молчания, в своё время было самой скандальной сплетней в Риме. И многие открыто смеялись, потому что Тиберий тоже неожиданно воспротивился этой свадьбе. Он, в общем-то, был уже женат и, к всеобщему удивлению, публично заявил, что счастлив в браке с женщиной мягкого характера, такой же простой, как он сам. И не собирается её бросать. В довершение всего в этой безумной родительской интриге его жена была дочерью покойного Агриппы от первого брака. Тиберий — его слова ходили по всему Риму — кричал: «Я должен развестись с дочерью Агриппы, чтобы жениться на его вдове?»

Но пока столица империи увлечённо наблюдала за этой необычной семейной сварой, Август торжественно провозгласил: «Я думаю о Риме,

живущем в столетиях, а не в считанные годы нашей жизни». Перед подобными фразами все реплики угасали.

Конечно, можно насчитать немного брачных церемоний, которые бы столь же напоминали похороны, как эта.

Агриппине, тогда ещё девочке, упрямый Тиберий стал отчимом, и она заключила:

— Я знаю, что он подчинился, проливая слёзы. И когда случайно снова видел женщину, которую пришлось оставить, отворачивался и втайне плакал.

Эта фраза почти дословно войдёт в книги историков.

Гай молчал, не в силах представить, что человек вроде Тиберия способен плакать. Но возможно, так оно и было. А абсурдный брак не мог продолжаться долго, и в конце концов Тиберий хлопнул дверью и удалился на далёкий остров Родос. В народе шептались, что Август увидел в этом политические интриги и стал звать его «Родосским изгнанником», а популяры заявили, что триумфальная карьера Тиберия закончена.

Но это были опрометчивые речи, поскольку в Палатинском дворце оставалась Новерка. Одно созерцание (если можно так выразиться) этого

безумного генеалогического дерева наводило на мысль, какие адские силы затеяли это роскошное и богатейшее императорское родство. И над всем возвышалась она — в то время жена Августа, мачеха, а потом свекровь Юлии, бабка Агриппины и двоих её убитых братьев, прабабка Гая, но главное, мать Тиберия, что легко перевесит всё остальное (и в большой степени так оно и вышло) — для того, чтобы с неутомимой преступной твёрдостью привести своего сына к императорской власти и удержать его там.

И, как единодушно напишут историки того времени, её ум, «подобный уму Улисса», с необыкновенным цинизмом двигался по лабиринту далеко идущих планов.

LEX JULIA DE PUDICITIA

— В то время наш дом был самым роскошным в Риме, — вспоминала Агриппина, но это было горькое воспоминание. — Моя мать Юлия и три моих прекраснейших брата, внуки Августа — я как будто вижу сейчас их троих! — были камнями преткновения на пути Тиберия. Они собирали здесь толпы друзей и семей, имевших древние связи с нашей, и вспоминали о совместной борьбе. Это были сыновья сенаторов и всадников, зарубленных безоружными в Перузии, разогнанные сторонники Марка Антония. Тут были Корнелий Сципион, потомок завоевателя Карфагена, Клавдий Аппий Пульхр, усыновлённый Марком Антонием, Семпроний Гракх, потомок плебейских трибунов, и Квинтий Сульпициан, консул... Не забывай эти имена, запиши их и спрячь.

— Не забуду, — спокойно заверил её Гай. — Я ничего не записываю и ничего не забываю. Я заметил, что, если повторять ряд имён и дат три раза в день через несколько часов, больше их не забудешь.

— Тем временем Новерка каждый день подли-

вала яду в душу Августа. Она говорила, что моя мать и мои братья расходуют безумные суммы, ведут беспорядочный образ жизни, якшаются с его врагами. Моя мать не могла защитить себя, поскольку даже не знала, в чём её обвиняют. Некоторые сенаторы пытались вмешаться, но Август ответил, что дочь и внуки — это бич его жизни. Тогда моя мать, так и не сумев поговорить с ним лично, написала ему в отчаянии, что Новерка хочет разбить его семью, чтобы привести к власти Тиберия. Ответа не последовало. Мать узнала, что письмо попало в руки Новерки и, когда Август отдыхал в их маленьком садике, жена ему сказала: «Вокруг твоей дочери собралось гнездо змей, они строят заговор, чтобы погубить Тиберия, единственного поистине преданного тебе человека». Август устало ответил, что не может ничего поделать: ведь вся империя узнает, что против него в сердце Рима, в его собственной семье, ополчилось множество врагов. Но Новерка сказала: «Прости мою настойчивость. Нет никакой необходимости винить их в заговоре. Чтобы тихо избавиться от них, у тебя есть сильное оружие. Оружие, которое ты же сам и создал: Lex Julia de pudicitia».

Август — при бесстрастном попустительстве

Новерки — всю свою жизнь погрязал в интригах, например, в долгих и бурных отношениях с женой своего дорогого друга Мецената. Однако, старея, он, как и многие знаменитые распутники, на склоне лет возвысившиеся до горьких раскаяний, решил оздоровить обычаи римлян и защитить экономическую и социальную сплочённость аристократических семей, драгоценного питомника полководцев и сенаторов.

Он придумал потрясающе строгий закон о частной нравственности и собственноручно набросал проект. Его юристы отточили текст, а сенаторы утвердили под рукоплескания моралистов и к страху прочих, которым тем не менее тоже пришлось дать своё согласие. Закон назвали Lex Julia de pudicitia et de coercendis adulteris[26].

Основным эффектом этого закона — теоретически рассчитанного на защиту целомудрия и удушение прелюбодейства — оказалось то, что виновные стали осторожнее в следовании старым привычками стало труднее скрывать скандалы и улаживать ссоры в домашних стенах. Закон, неспроста родившийся в изощрённом уме Августа, объявлял супружескую измену преступ-

[26] Примечания: 26

Юлианский закон о целомудрии и сдерживании прелюбодеяний *(лат.)*.

лением, относящимся к «публичным действиям». Всякий любитель совать нос в чужие дела теперь мог обратиться в суд, и судам вменялось в обязанность рассмотреть жалобу. Вскоре этот закон превратился в гибкое орудие шантажа, экономического и политического, с губительными последствиями, поскольку виновных обрекали на ссылку в малоприятные захолустья, а в особо скандальных случаях даже на смерть.

Агриппина сказала, что Август выслушал Новерку и никак не отреагировал.

— Но мы знаем, что она рассмеялась. «Все молчат, потому что она твоя дочь. Однако ты не можешь позволить в своей семье то, что справедливо запрещается в других семьях. И честные люди во всей империи восхитятся твоей суровой справедливостью». Август сказал, что хочет отдохнуть, и закрыл глаза. Моя мать не поверила в этот рассказ. Но вдруг Август письменной повесткой вызвал её к себе: она обвинялась в нарушении этого жуткого закона. Рядом с её именем стояли имена видных сенаторов — исключительно популяров, наших друзей. Речи Новерки в садике ещё не забылись, и на этот раз всех наполнил страх. Моя бедная мать поняла, что от этого преследования не убежишь, и отправилась

в императорский дворец. Больше я её не видела.

Впервые в своей недолгой жизни Гай испытал физическое ощущение того, что его обволакивает смертельная опасность.

Агриппина сказала, что во избежание риска и скандала на публичном процессе императорские юристы искусно выкрутились: они нашли старый, по меньшей мере пятивековой давности закон, разъяснявший «de patria potestate» [27] и предоставлявший отцу семейства власть над жизнью и смертью всех членов семьи. Таким образом, Август мог надлежащим образом судить свою дочь тайно, без свидетелей и защитников.

— О чём говорили Август и моя бедная мать на этом варварском суде, я так и не узнала.

Против других обвиняемых применили закон, который Август придумал, чтобы укрепить свою абсолютную власть, и который утвердило невнимательное, напуганное или потворствующее императору большинство: принцепс — то есть он сам — может арестовать, судить и приговорить за закрытыми дверями, без каких-либо гарантий и обжалований, всякого виновного в преступлении против «безопасности империи» и только

---

[27] Примечания: 27
Право отцовской власти *(лат.).*

потом известить об этом сенаторов. Подобные законы будут применяться в веках сотнями его последователей-диктаторов.

— После вынесения приговора Август огласил имена обвинённых на всю империю. И первым в списке был Юлий Антоний. Знаешь, кто это?

— Вы мне никогда ничего не говорили, — пробормотал Гай.

— Это был перворождённый сын Марка Антония. Этот сирота воспитывался у нас. Он очень любил своего отца и горел желанием отомстить за него.

— Представляю, — проговорил Гай.

От этой холодной лаконичности Агриппина ощутила тревогу.

— Юлий Антоний вскоре умер. Сказали, что покончил с собой. Но все шептались, что его убили. Второй жертвой стал Семпроний Гракх. Его семья уже более века пугала оптиматов.

Это семейство, очень любимое народом, пыталось раздробить завоёванные Римом необъятные территории на мелкие участки для земледелия, и то знаменитое и кровавое восстание было жестоко подавлено.

— Август сослал его на скалистый остров в Африканском море, где через семнадцать лет

его убили.

Гай в горячечном напряжении памяти вновь увидел прибывшего под дождём в каструм посланца, который весь в грязи слез с коня и, не сняв сочащегося водой плаща, объявил об убийстве безоружного заключённого на далёком острове. Тогда Гай в единственный раз услышал это имя, но оно запало в память. И он держал его про себя.

Агриппина с трудом выдерживала этот мучительный разговор, но не могла прервать его, видя, с каким безмолвным и не по возрасту пристальным вниманием сын слушает её.

— Мне в те дни было двенадцать лет. И когда мы задыхались от тревоги и стыда, многие в Риме смеялись.

Весь Рим рассказывал, как те мужчины и дочь Августа — помимо бесконечного, постыдного разврата дома — устроили коллективную оргию на Форуме, рядом с ростральной трибуной, историческим местом для официальных речей, прямо в священной ограде Марсия. Обвинение ошеломило сенаторов, и, пока популяры не знали что сказать, оптиматы, которым было на руку продемонстрировать возмущение, начали шумно возмущаться. Лишь один сенатор, старый и

мужественный, встал и проговорил: «Не понял». Некоторые сочли, что он жалуется на ослабевший с годами слух, но он объяснил: «Не понял, почему они, обвинённые в нарушении закона о целомудрии с дочерью Августа и, следовательно, заслужившие публичного процесса перед сенатским судом, были вместо этого тайно осуждены по закону о подрыве безопасности». Ему никто не ответил. Зато кто-то съязвил, что для людей, живущих на самых прекрасных виллах в империи, оргия в ограде Марсия должна была оказаться весьма неудобным предприятием. В этом священном, но очень тесном месте, кроме того, что там стояла огромная статуя, ещё росли три пышных, громоздких и столь же священных столетних растения: смоковница, виноградная лоза и олива.

— Я узнала от одного офицера, что моя мать, когда её отправили на Пандатарию, сказала: «Я никогда не забывала, что я дочь Августа. Зато мой отец забыл, что он Август».

Никак не прокомментировав эти слова, Гай спросил:

— И в Риме никто на это не отреагировал?

Единственный возмущённый крик на публике, что за этими лживыми обвинениями скрывается

борьба за власть, вырвался у первой — брошенной и преданной — жены Августа, матери Юлии Скрибонии.

— После того безжалостного развода её отшвырнули с пресыщенным высокомерием. Но теперь Скрибония взволновала весь Рим, заявив, что хочет отправиться в ссылку вместе со своей невинной дочерью. Она так и сделала и оставалась рядом с ней до смерти. Тогда и шестнадцатилетний сын Семпрония Гракха закричал, что его отец невиновен и что он тоже хочет отправиться с ним на остров. И люди сказали, что подобные жертвы обычно не приносятся тем, кто изменил семье. Народ Рима вышел на улицы с криками «свободу Юлии!», так что Августу пришлось послать преторианцев разогнать толпу. В конце концов, он был вынужден перевезти мою мать, пребывавшую в отчаянии на одиноком острове, на материк, в Регий. Но она не могла писать оттуда, мы не могли с ней видеться, получили всего несколько посланий на словах от некоторых надёжных друзей... Ей лишь сообщили, что все три её прекрасных сына, дети её любви к Агриппе, мои братья, были один за другим злодейски убиты.

Тем временем Август старел, Тиберий вернул-

ся в Рим и присоединился к нему на вилле на Эсквилинском холме, которую Августу оставил Цильний Меценат вместе с произведениями искусств и прекраснейшими садами.

— Он проводил время за чтением греческих философов и историков. Говорил, что питает глубокую любовь к изучению восточной астрологии. С Родоса ему привезли одного астролога-грека, некоего Фрасилла. Сторонники Тиберия шептались, что тот предсказывает ему власть. И теперь последними препятствиями стали моя сестра Юлия Младшая и её муж Эмилий Павел. К нему часто заходили братья, сыновья, друзья убитых или отправленных в ссылку. Это были магистраты, сенаторы, трибуны; они хотели бороться, так как понимали, что их уничтожат. И самым любимым из всех был Публий Овидий, поэт. Но однажды на них ни с того ни с сего обрушились скандальные обвинения, подобные тем, что уничтожили нашу мать. Овидия среди зимы сослали в Томы — в изнурительную поездку по морю и суше, и ссылка его убила. «Только женский ум мог воспользоваться такими средствами», — сказал Аврелий Котта в последний раз, когда мы его видели. А мою сестру облили грязью, и она подверглась тем же мучениям, что и мать. Её

мужа казнили. Кто-то набрался храбрости пошутить, что, видимо, он совершил прелюбодеяние со своей женой. Его имя было велено стереть со всех надписей и досок. Тот же старый неугомонный сенатор запротестовал: «Damnatio memoriae применимо только к преступлениям против Республики, а не к частным злоупотреблениям. Правду об этом процессе скрывают». Но в те годы многое было ещё впереди, его голос звучал тихо, и никто не придал значения его словам. Потом мы узнали, что по ночам многих сенаторов и магистратов отправляли в изгнание. А удивлённым римлянам рассказывали, что они уехали по собственной инициативе. Весь Рим смеялся над историей о сенаторах, которые сами себя наказали изгнанием. Но эту ложь придумали, чтобы никто не узнал, сколько было мятежников и сколь видное положение они занимали. Мою сестру, чтобы о ней больше не болтали, сослали подальше, на Тримерскую скалу в Адриатике. Она была беременна и там родила сына, мальчика, по крови потомка Августа, и его отняли у неё. Потом Тиберий украл императорскую власть и всем зверски отомстил. Он отнял у моей матери даже тот маленький доход, что ей оставил Август, запретил ей видеться с кем-либо и выходить из

жал кого дома, куда она была сослана. Его ненависть не ослабевала до тех пор, пока Юлию не нашли мёртвой.

Агриппина сжала руки и заломила их, так что побелели костяшки пальцев.

— Что касается моей сестры, я её больше никогда не видела; может быть, она и сейчас живёт где-то, оторванная от мира... И ничего не может поделать. Тиберий превратил эти острова в недосягаемые тюрьмы. Там можно только впасть в отчаяние, просыпаясь каждое утро с одной мыслью.

Снова её охватили слёзы и рыдания.

— Те дни было трудно выдержать. Я была очень молода и одинока. Но потом от всего этого меня спас твой отец. И мы никогда не разлучались. Только на время той вашей поездки в Египет. Теперь ты знаешь, почему в ту ночь в каструме ты видел меня плачущей.

Она встала и, дрожа, закуталась в шерстяной плащ.

— Эти преждевременные терзания не пойдут тебе на пользу, мой мальчик.

Гай тоже встал на ноги и сказал:

— Благодарю тебя, что рассказала.

Мать посмотрела на него, и он спросил:

— Как вы могли думать, что мне лучше ничего не знать?

Она покачала головой, а Гай проговорил:

— Из всего этого ясно, что после стольких злодейских убийств мы остались единственными противниками Тиберия и его последователей. И нас не помилуют.

Агриппина молчала. Мальчик посмотрел на неё долгим взглядом, выражения которого она не поняла, и сказал:

— Не знаю, насколько поняли опасность мои братья.

ДНЕВНИК ДРУЗА

На Ватиканском холме Агриппина в своей неугасающей скорби без слёз становилась вместе со своими тремя сыновьями символом и мифом.

— Их трое, как и её убитых братьев, — говорили люди. — Род Августа и Германика снова пускает ростки.

Эти три мужских потомка казались блестящей местью Судьбы. Они были так похожи между собой, что старший видел в младших себя в прошлые годы, а они видели в нём своё будущее.

— Когда братья так схожи между собой, — говорила старуха-кормилица, — это знак, что любовь отца и матери всегда оставалась горячей и крепкой, как в первый день.

Ни одной ссоры, ни одной подростковой стычки. Зато аура опасной ненависти, исходящей с Палатина, сжимала их вместе в физическую и душевную общность, так что они понимали друг друга по единому жесту или взгляду. Трое мальчиков, сильных и красивых, от драгоценного семени их погибшего отца и из щедрого лона красавицы матери.

— Самая красивая женщина Рима и самая силь-

ная в империи, — говорили они и все втроём сжимали её в объятиях, так что она задыхалась.

Месяц от месяца их объятия делались всё крепче, Друз и Гай становились всё старше и сильнее. В них вспыхивала гордость: «Мы втроём — будущие владыки мира, который у нас украли». И Агриппина замолкала в их объятиях, утроенных, обволакивающих, горячих, напоминавших нечто ушедшее вместе с Германиком.

Но она сама не замечала, как смерть отца неузнаваемо изменила её сыновей — до того, что жизнь маленьких сестрёнок оказалась совершенно отделённой от них.

Перворождённый Нерон, овеянный славой фамильного имени, создал вокруг себя разнородный круг из друзей, политических сторонников, множества искренних приверженцев и нескольких коварных карьеристов. Вокруг него образовалась партия потомков репрессированных и по большей части пропавших без вести популяров, которых многие теперь называли юлианами. Тиберию она казалась опаснее, чем того заслуживала, а старые друзья Германика возлагали на неё несбыточные надежды.

Второй, Друз, погрузился в меланхолическую подозрительность и на многие часы закрывался у

себя в комнате. Когда его спрашивали, что он там делает, он отвечал, что изучает великих юристов Республики, и с пылким нетерпением добавлял, что Рим и должен быть таковой.

Что же касается Гая, то тяжёлое знакомство с жуткой семейной историей, частично начавшееся в каструме, а затем усугубленное неуклюжими признаниями множества разных голосов, впрыснуло в него яростную энергию, стремление выжить и неугасимое, хотя и смутное, желание отомстить. Если при нём упоминали знатное семейство Кальпурния Пизона, он как будто не слышал.

«Он избегает меня, — думал учитель Залевк. — Его ум направился по какому-то неизвестному мне пути».

— Когда гуляешь в саду, ты сжимаешь кулаки, — сказала Гаю мать. — Почему?

Он рассмеялся, но про себя отметил, что это правда. На ходу он свободно размахивал руками, но так сжимал кулаки, что ногти впивались в ладони. И на левой оставались следы.

Теперь только одно чувство приносило ему утешение, и только в фантазиях, — чувство мести. Но пока этого никто не замечал. Его лицо было от природы нежным и благородным, улыбка

обезоруживала, молчание казалось грустным. Однако на самом деле его не покидала основная мысль — как среди множества лиц и имён выявить главных действующих лиц. Так проходили дни в поисках, исследованиях, слушаниях, размышлениях, и наконец, он обнаружил, что его брат Друз втайне пишет commentarius — нечто вроде дневника.

— Что ты заносишь в эти писания? — спросил Гай.

— Всё, что случилось за прошедший день, — с резкой иронией ответил брат, схватил кодекс и запер в своём шкафчике.

Тогда Гай, ничего не говоря, усилил внимание и выследил, что Друз каждое утро выкраивает полчаса, чтобы в уединении что-то писать. Брат писал медленно, задумываясь над каждой фразой, но почти никогда ничего не переписывал и не зачёркивал. И однажды, торопясь, забыл открытый кодекс на столе; на последних строчках ещё не высохли чернила.

В тиши библиотеки Гай склонился над кодексом и, осторожно его пролистав, увидел, что там записаны вовсе не маленькие личные события прошедшего дня. Там час за часом отслеживалась жуткая тайная история правления Тиберия.

Опасность этого дневника была очевидной. Разделённый на главы, он был полон тщательно записанными датами, восходящими к дням, когда Гай жил с отцом на Рейне, в защищённом уединении каструма. А Друз, ещё подростком, начал повествование фразой: «Чтобы память не исчезла...»

Гай прочёл один заголовок, вроде бы над рассказом или сказкой: «История Апулеи Варилии, нашей прекрасной родственницы, которая делала себе фантастические причёски, любила драгоценности и носила льняные одежды с египетскими вышивками...»

Но это была не сказка. «Однажды перед множеством друзей прекрасная Варилия сказала, что из-за пугливого молчания стариков молодые ничего не знают об истинной жизни Ливии, Новерки. И изъявила желание рассказать. Когда ныне восьмидесятилетняя Новерка, сокрушившая нашу семью, вошла в жизнь Августа, ей было всего семнадцать, но она уже побывала замужем и имела сына. Его звали Тиберием, и тогда никто не предрекал ему власти. Кроме прочего, она была беременна. Никто не брался назвать отца этого новорождённого. Это был оглушительный скандал, сказала Варилия, потому что первый

муж Новерки принадлежал к историческому роду Клавдиев и был решительным врагом Августа во время жестокой осады Перузии. Амнистия позволила ему вернуться в Рим, но было видно, что победители с трудом его выносят, и он остался не у дел и без денег. В таких условиях, когда Август собрался лишить его ещё и жены, он мог лишь ответить с традиционным высокомерием Клавдиев, что, мол, пусть забирает, а то сам он уже не знает, как от неё избавиться. И правильно сделал, сказала Варилия, потому что молоденькая Ливия была торопливо передана из слабых рук поверженного изгнанника в могучие руки повелителя Рима. И пока все смеялись, Варилия добавила, что Август, к счастью для себя и Ливии, в то время ещё не написал закон против прелюбодеяний. Напротив, он запросил официальное мнение самых авторитетных жрецов: законно ли это — поспешный развод беременной женщины, а затем такая же поспешная свадьба? И каков будет статус ещё не рождённого ребёнка, отца которого, как уже было сказано, никто не смел назвать? Обсудив между собой теологические вопросы, религиозные мудрецы дали осторожный и неоднозначный ответ, не удовлетворивший никого».

Гай быстро прочёл это и отметил, что его брат обладает невообразимым внутренним миром, едкой иронией и неосторожностью. Он огляделся в тишине.

«Подобные записи в этом доме грозят смертной казнью», — подумалось ему.

Он ушёл в глубину комнаты и продолжил читать в углу, поглядывая на вход.

«Варилия сказала, что законы не позволяют Августу признавать своим ребёнка, официально зачатого в доме мужа. К всеобщему облегчению, неудобный муж Клавдий вскоре умер».

И Друз приписал: «Рассказ Варилии кажется просто старой любовной интрижкой, поскольку с тех пор прошло шестьдесят лет. И тем не менее эта история представляет опасность, так как старуха, которую все зовут Новеркой, ещё жива, пребывает в добром здравии и приходится матерью императору. Бедняжка Варилия не знала, что среди смеявшихся над eel рассказом притворно смеялся и шпион Новерки. Она узнала об этом только вчера, когда её быстро потащили на процесс[5] об оскорблении императорского величия».

Дневник задрожал у Гая в руке.

«А поскольку суд по таким преступлениям находится в компетенции пленума сената, все

присутствовавшие на той злосчастной вечеринке пришли в ужас. Некоторые, чтобы о них не вспомнили, сбежали на пригородные виллы. Процесс был открытый, и Рим, как обычно, разделился на сторонников виновности и невиновности. Но в разгар заседания Тиберий величественно написал сенаторам, что Августа, его благородная мать, прощает Варилии эти пустые сплетни».

До сих пор Гай читал, тревожно стоя в углу и сжимая кодекс в руках, а теперь медленно сел.

«Процесс показался пустым. Но когда все направились к выходу, один с виду наивный свидетель заявил, что неосторожная прелюбодейка — не старая Ливия, а болтливая Варилия, и она преступила закон не шестьдесят лет назад, а теперь, с неким несчастным Манлием, молодым строителем из города Велитры, деревенским шутником, который делает красное вино на склонах горы Артемизий. Столь искусно подстроенный скандал вызвал негодование против Варилии у сторонников её виновности и заткнул рот остальным. И сенатский суд объявил, что нужно официально расследовать дело о прелюбодеянии. “У нас связаны руки”, — сказали сенаторы, занимая места в креслах с высокой спинкой.

Тиберий сообщил, что не в его власти прощать

преступления подобного сорта. И Варилия, которой угрожала смерть за разговоры о чужих прелюбодеяниях, несмотря на отчаянные отрицания, была приговорена к ссылке за собственное прелюбодейство. Этот скандал разбил её семью. Но, — заключил Друз, — полагаю, что её единственной истинной виной было родство с нами».

Гай медленно перевернул страницу. Она начиналась так:

«Хочу написать сегодня, чтобы память не пропала, о деле Скрибония Либона, двадцатидвухлетнего юноши. И для тех, кто прочтёт это через век или два, добавлю, что это внук Скрибонии, первой жены Августа, матери несчастной Юлии, что последовала за дочерью в изгнание. Так вот, несчастного юношу обвинили в заговоре против Республики. Процесс готовился шумно, но обвинение было анонимным, неубедительным и запутанным, юноша чуть не был оправдан. Тогда появились новые свидетели, которые заявили о магических ритуалах и ворожбе против императора. Вроде бы просто шутка, учитывая, сколько сирийских и халдейских предрассудков Тиберий таскал с собой в своих поездках. Обвинение представлялось глупым. Но оказалось грозным, так как магические ритуалы, очевидно, совершались

втайне. Где найти человека, который бы гарантировал, что Скрибоний никогда их не совершал? Этот юноша поплатился жизнью».

Дальше дневник был вымаран и снова начинался с даты шесть дней спустя.

«Суд над несчастным юношей был ужасным: вырванные под пыткой показания рабов, доносы ложных друзей, собрания испуганных сенаторов. Тиберий своим неумолимым присутствием в зале возбуждал такие страхи, что обвиняемый, несмотря на то что ходил от двери к двери, умоляя своих могущественных бывших друзей, так и не нашёл ни единого адвоката, который бы взялся его защищать. В страхе и отчаянии он перерезал себе горло в ночь перед вынесением приговора».

Гай положил кодекс. Власть, убившая его отца и никогда не виденных родственников, была чёрным зверем, притаившимся неизвестно в каком углу. Что толку быть молодым, невиновным, безоружным — важно лишь то, какая кровь течёт в твоих жилах.

«Я хочу жить, — протестующе подумал он. — Жить любой ценой, жить! Я не ваш». И заметил, что вонзил ногти в ладонь.

Вздохнув, Гай взял дневник и положил в шкафчик. И тут увидел спешащего к нему от двери

Друза.

— Если ищешь свой дневник, я положил его на место.

Друз не ответил и впервые обменялся с младшим братом вполне взрослым взглядом. Потом проговорил:

— Единственное, что меня пугает, — это что скажут о нас через двести — триста лет. Ведь историю пишут победители.

С этого дня, когда Друз писал, Гай мог подойти, молча устроиться у него за спиной и читать размеренно выходящие из-под каламуса слова. И лишь они вдвоём хранили свою тайну в тихой библиотеке, бывшей прибежищем Германика.

ПЕЩЕРА СПЕРЛОНГА И КАРЬЕРА ЭЛИЯ СЕЯНА

В те дни император Тиберий обнаружил в Нижнем Лации близ Фундия участок дикого берега, заросший низкорослым кустарником, спускавшимся к самому морю. Здесь был вход в глубокую дикую пещеру, которую современники совершенно справедливо называли spelunca[28], а местный диалект превратил в Сперлонгу.

Из стен пещеры сочились тонкие струйки холодной воды. К невидимому сверху месту вела единственная высеченная в склоне, хорошо просматриваемая дорога. «Только желающий скорой смерти может пройти по этому спуску», — говорили моряки. Невротическая подозрительность Тиберия действительно успокаивалась, когда за спиной не ощущалось пустоты, а только сплошная каменная стена. И там внутри он устроил тенистый и для того времени неприступный летний триклиний[29].

---

[28] Примечания: 28
Пещера, грот *(лат.).*

[29] Примечания: 29
Трапезную.

Он говорил себе, что в этом месте тысячи лет назад проплывал Улисс. В дали залива действительно виднелась волшебная гора чародейки Цирцеи.

Тиберий велел принести в пещеру скульптуру мифического Улисса — блестящий белый мрамор на фоне тёмной мокрой скалы. Но выбранный миф был одним из самых зловещих. В глубине, в нише, лежало огромное тело пьяного Полифема, и Улисс подкрадывался, чтобы ослепить его горящим поленом. В противоположном углу жрец Лаокоон и его молодые сыновья корчились в извивах морских змей. В центре вода, капавшая со скалы, питала холодный круглый бассейн, в котором возвышалась огромная мраморная группа — чудовище Сцилла. Скульптура, конечно же выбранная самим Тиберием, являлась как бы выражением его всё более активной неприязни к женщинам: на нежном лице Сциллы играла улыбка, но прекрасный женский торс книзу от талии расширялся, превращаясь в путаницу страшных щупальцев, обхватывающих моряков Улисса, чтобы растерзать.

В этой пещере смерть прошла на волосок от Тиберия, когда ему подавали обед. От каменного потолка отделился слой и обрушился градом

камней; все бросились прочь, некоторые споткнулись и упали, а уже отяжелевший император замешкался на месте. Но один офицер кинулся к нему, оттолкнул в угол и изогнулся над ним, сделав из собственных рук и спины живой навес.

В то мгновение, когда он уже считал, что умер, Тиберий запечатлел в памяти лицо военного трибуна Элия Сеяна. И в этот миг опасности Сеян заслужил доверие и влияние, поднялся по иерархической лестнице и занял рядом с императором место, которого никто не мог отнять. Но никто тогда не представлял, что на Рим надвигаются ужасающие годы.

ГРОЗДЬ ВИНОГРАДА

В ватиканской резиденции было тихое утро, молодой Гай играл с выводком павлинов в клетке — бегство от ужасного состояния души, в котором все пребывали. Залевк в страхе шепнул ему, что арестован Клуторий Приск — писатель с живым пером и старый друг Германика, быстро сочинивший на его убийство горестную и гневную поэму, которую потом тайно передавали из рук в руки.

Тиберий совсем упразднил в Риме древние комиции — свободные выборы магистратов, — и Клуторий с сарказмом сказал друзьям, проходя по Форуму: «Идите и смотрите: у римского народа отобрали голос. В месте для голосования теперь устраивают спектакли». К несчастью, это замечание вырвалось у него, когда рядом находился ненадёжный слушатель. На рассвете к Клуторию домой явились преторианцы и увели его.

— Смешное обвинение. Его оправдают, — самонадеянно отреагировал Нерон, старший брат.

Гая же охватила сильнейшая тревога, так как арестованный был близким другом Нерона и таким же горячим и неосторожным.

Агриппина, с мучительной ясностью увидев

все несчастья грядущих лет, заявила:

— Это первый процесс против нас.

Гай посмотрел на мать, которая заломила руки, как тогда в антиохийском дворце, увидел беспокойно переговаривающихся братьев и, вспомнив слова отца: «Молчи, когда нет необходимости говорить. Никогда не знаешь наверняка, к кому обращаешь свою речь...» — сказал:

— Войдём в дом, нас могут услышать.

На суде поэт Клуторий Приск встретил две неожиданности. Его обвинили в подкупе нескольких чиновников, и это была ложь, но ещё его обвинили, на этот раз заслуженно, в написании едкого пасквиля под названием «Смерть императора», хотя император в данный момент был жив и здоров. Как в жестокой надгробной речи, поэт ставил ему в вину не только политические преступления, но также и тайные извращения, о которых могли знать лишь очень немногие. Первый параграф начинался иронически: «При смерти Тиберия мы бы скорбели об утрате...» Он театрально декламировал свой пасквиль в кругу друзей.

Друз открыл дневник и начал новую страницу.

«В прежние годы преступление, называемое “покушение на величество римского народа”, то

есть вооружённый мятеж, заговор, сговор с врагом, каралось смертью, но теперь закон получил расширенное юридическое подкрепление. В качестве первого шага Август расширил его, чтобы тот защищал не столько государство, сколько самого императора. И никто не возмутился. Потом изощрённые юристы Тиберия зачислили в преступления, караемые смертью, не только покушения и заговоры, но также писания и даже разговоры, каким-либо образом бросающие тень на императорское “величество”. И этот закон стал идеальным инструментом, чтобы без хлопот устранить любого противника. Но он использовался не один. Тиберий прочёл нам великолепную лекцию по юриспруденции: дабы обвиняемый наверняка не ускользнул от кары, нужно объединить обвинение в нарушении закона о величестве с другим, скандальным, — во взяточничестве, прелюбодействе, чёрной магии. Если говорить только о заговоре, Рим может взбунтоваться, а если вменить в вину воровство, распутство или отравление, казнь никого не взволнует. Такова теория Тиберия».

Записывая это. Друз не предвидел, что в последующие века эта теория найдёт много циничных, хотя и не всегда умелых подражателей.

Собрались сенаторы, они раболепно сплотились во время судилища над бедным поэтом. Кто-то заметил, что римскому сенату, некогда принимавшему решения о войне с Карфагеном, Пирром, Митридатом, теперь не осталось ничего иного, кроме как заниматься подобными процессами. «Свобода слова отменена даже в стенах этого дома». Но всех уже окутал безличный страх.

Друз писал: «И потому все — кроме обвиняемого — спешили завершить суд. За один день они выслушали испуганные лжесвидетельства и огласили приговор. Ещё до захода солнца приговорённый был предан смерти».

Его краткие сочинения — полная любви «Скорбь о памяти Германика» и юмористический «Пасквиль по Тиберию», — подвергнутые одной и той же цензуре, были сожжены на площади на маленьком жадном костре. И этот пример тоже найдёт широкое подражание в будущем. Хотя кто-то предупреждал, что лучшая помощь в распространении идеи — это попытка её запретить.

После этого друзья потихоньку сократили визиты в резиденцию на берегу реки. Многие залы начали становиться слишком просторными, пустыми и незащищёнными, другие неделями не

открывались, так как у маленького ядра семейства не хватало духу войти туда. Прогулки в саду превратились в озирание на кусты, разговоры велись вполголоса. Тени казались коварными, тёмные часы — бесконечными. Стал невыносимым колеблющийся свет факелов, проход стражи. Не существовало такого места, где Тиберий позволил бы семье Германика найти покой.

Однажды утром импульсивный Нерон бесполезно ждал старого друга, сильного и верного Кретика, который в Сирии был близок с Германиком, но за это был молниеносно отозван Тиберием в Рим.

— Когда он приходит, — сказал Гай братьям, — я инстинктивно смотрю ему за спину, словно ожидая увидеть отца.

Кретик был суровым вдохновителем суда над Кальпурнием Пизоном, отравителем Германика.

— Его арестовали до наступления дня, — объявил Друз.

Донесённая с полицейским тактом ужасающая новость об аресте и суде ошеломила и сбила с толку обвиняемого, не дав времени вызвать свидетелей и подготовиться к защите. Пока Нерон сыпал проклятиями, Гай молча удалился в библиотеку. Он думал, что теперь, после ареста

Кретика, в их доме распахнулись все двери, не осталось никаких запоров и сторожей.

К нему подошёл Друз.

— Они применили теорему Тиберия, — сказал брат. — Неуважение к императорскому величеству объединено со взяточничеством, уж не знаю на какой должности.

Он взял свой кодекс и, начав писать, взглянул на Гая.

— Взяточничество, понимаешь? Для такого человека, как Кретик...

И вдруг решительно заявил:

— Я связываю своё будущее с защитой законов. Рим из века в век строил своё законодательство, определяя отношения между тобой и мной как между личностями, отношения между личностями и Республикой, а также между Республикой и народом. Сила Рима и его слава родились из этих слов. Потому что все знали, что римские законы крепче вавилонских стен. И ты должен уважать их, так как они уважают тебя. А тут... — Он снова склонился над листами. — Записывая эти строки, я знаю, что Кретика тем временем ведут в сенат.

Он положил каламус и встал.

— Вот увидишь. Закончим рассказ завтра.

Гай спустился через сады к реке. Вода шумела,

как Орбит у стен дворца в Эпидафне. Бедный Залевк следил за мальчиком издали, он чувствовал, что древняя культура стала бесполезным грузом, она была побеждена и агонизировала в жестоком мире, и грек не смел следовать за своим любимым Калигулой, если тот не звал.

Суд над Кретиком длился, по сути, один день: из-за солдатской славы обвиняемого его не посмели убить, а приговорили к изгнанию. Но с безжалостной подлостью выбрали для ссылки отдалённый остров в Эгейском море, бесплодную скалу почти без воды, — Гифрос в Кикладском архипелаге.

— Мы его больше не увидим, — сказала Агриппина.

Она крепко зажмурилась, покрасневшие веки горели: теперь она привыкла так плакать.

— С этого острова никто не возвращался живым.

И Друз записал: «К преступлениям привыкаешь, они уже не возмущают, становишься осмотрительным. Каждый боится за себя, глядя на других. Все наши друзья один за другим осуждены, и их страшной виной была преданность. Группа старых мужественных популяров ощипана, как виноградная гроздь: людей постепенно

повыдёргивали, как виноградины».

СЫН ГРАКХА И НОВЫЙ CASTRUM PRAETORIUM

Как раз в это время появился в Риме и пересекал форум Августа один сорокалетний человек в скромной одежде, с лицом, обожжённым жарким солнцем. Никто его не узнавал. Но тем же утром римляне уже стали показывать на него друг другу: это был сын Семпрония Гракха, сметённого давним процессом против Юлии. Тогда шестнадцатилетний юноша последовал за своим отцом на остров Керкину.

Взволнованная Агриппина сказала:

— Когда моя мать была сослана, мы, я и мои братья, остались здесь, в этом доме, как теперь. И вдруг появился сын Гракха — он был тогда твоих лет, Гай, — и сказал: «Я пришёл спасти вас». И спокойно заявил: «Я отправляюсь на остров вместе с отцом». Был шум на весь Рим, и в тот же день был принят новый закон, запрещающий кому-либо сопровождать осуждённого в изгнание или место ссылки.

Ходя по Риму после долгого молчаливого отсутствия, этот человек, не узнаваемый с первого

взгляда, вновь опасно оживлял память о том, как убили его отца.

— Я говорил с ним, — поведал Друз немногим оставшимся друзьям, — и он рассказал, как умер его отец. Неожиданно на остров прибыл чиновник, один из тех надёжных исполнителей преступлений, и с ним несколько подручных. Гракх сидел в одиночестве на скале у моря. Его сын, чтобы свести концы с концами, плёл ивовые корзины, как привык с семнадцати лет. Чиновник сказал Гракху, что Юлия умерла и в живых остался он один. Его сын отбросил корзину и прибежал, но чиновник уже читал приговор. Гракх попросил времени написать прощальное письмо жене Аллиарии, хранившей ему верность семнадцать лет. Потом обнял сына, поблагодарил за все проведённые с ним дни и подставил шею. «Тебе будет легко нанести удар, — сказал он чиновнику, — кости хорошо видны». И замолчал.

— Я знал об этом, — сказал Гай, — слышал рассказы в каструме.

Но Кремуций Корд, историк, с тревогой предсказал:

— Со стороны Гракха было неосмотрительно вернуться. Тиберий не потерпит, чтобы люди его видели.

— Стало быть, виновата жертва, а не злодей? — взорвался Друз.

Скромный и мягкий Кремуций не посмел сказать, что в своём упрямом историческом анализе временами чувствует, как умом проникает в тёмные замыслы Тиберия и чуть ли не предвидит его поступки. Со смиренным скептицизмом он считал, что всё написано в древней истории и достаточно лишь читать её с должным вниманием, потому что проходят века, но человеческое сердце рождается всегда одним и тем же.

Старый же Залевк, посмотрев на него, подумал, что подобное ясновидение лежит в основе многих знаменитых оракулов. Он нашёл в памяти одну древнюю фразу и процитировал: «Историк, читающий прошлое, иногда получает от богов привилегию видеть в нём тени будущего». Но не нашёл в своих старых книгах предостережения, что иногда за эту привилегию приходится платить дорогой ценой.

И действительно, слаженно действующая группа шпионов вскоре обвинила сына Гракха в помощи банде африканских мятежников, свирепствовавших на границе с Нумидией. Такое преступление каралось смертной казнью, а поскольку самым отвратительным результатом

тирании является лишение людей гражданского мужества, сенаторы единогласно приняли казавшееся неизбежным решение.

— Мы потеряем и его, — сказала Агриппина и закуталась в свой неизменный шерстяной плащ, как некогда искала объятий Германика.

Пока они так разговаривали, в заполненный народом зал сената неожиданно ворвался человек, который, будучи проконсулом в Африке, как раз и разгромил вторгшихся из Нумидии мятежников. Пользуясь авторитетом победителя и эффектом неожиданности, проконсул разоблачил постыдную недостаточность улик против сына Гракха и отмёл их.

«Единственный в этом несчастном городе, кто сохранил мужество», — написал Друз.

В Риме распространились мятежные настроения, и сенаторы на этот раз больше испугались площади, чем императора. Обвиняемый был под шум толпы оправдан.

Тиберий с тихим бешенством обвинил Элия Сеяна, спасителя из пещеры Сперлонга, в расшатывании судебной процедуры, но тот быстро нашёлся и дал ему безжалостный совет, как усмирить волнения в безграничном Риме.

— Преторианцы плохо контролируют город,

потому что рассеяны по нескольким районам. Их легко одолеть. Нужно собрать девять когорт в одну неприступную казарму.

Сконцентрированные таким образом под единым командованием когорты могли бы пресечь боевые и пропагандистские действия противника.

Казарма была молниеносно построена, и её назвали Castrum praetorium — крепость в городе. Она приобрела такую зловещую славу, что квартал сохранил это имя на двадцать веков. Когорты преторианских солдат превратились в грозную защиту от народных движений и в устрашение для инакомыслящих сенаторов. Элий Сеян, вполне логично, был назначен префектом.

— Держа таким образом город в кулаке, этот человек стал самым могущественным в империи, — со своим скорбным ясновидением шептал Кремуций Корд, и в его голосе слышалось, что эта мысль пугает его. — Но полагаю, этого ещё никто не понял.

КОНЕЦ КРЕМУЦИЯ КОРДА И ГАЯ СИАНЯ

«Никогда мы не думали, что увидим, как восход солнца внушает страх», — написал Друз.

От всякого звука чуть громче тишины садов приходилось вздрагивать, вторжения преторианцев и неожиданные аресты действительно случались на рассвете, и солнце приносило полицейские новости ночи.

В самом деле, только начался день, как появился Татий Сабин — тот, что сожалел о волнениях на триумфе Германика, — и в отчаянии объявил, что у него приказ начать процесс против Кремуция Корда, его любимого друга, кроткого историка, с которым они по-дружески спорили всю жизнь, прогуливаясь по портикам Форума.

Нерон спросил, какие преступления приписывают этому несчастному.

— Говорят, он посмел восхититься поступком Брута, когда тот убил Юлия Цезаря. Он написал, что Брут был последним римлянином. Его обвинители сказали, что похвала преступлению означает соучастие в нём.

Молодой Гай удалился, отчётливо говоря себе: «Этого не избежит никто из нас». Вспомнив, как близ Антиохии во время охоты лиса спаслась от собачьих зубов, укрывшись в кустах, он подумал: «Меня не убивают лишь потому, что, по их мнению, я не стою таких хлопот». Его ум больше не занимали юношеские мысли, и он сказал себе: «Я не сов бок». Вернувшись, он спросил:

— Где они, эти писания Кремуция?

— Тиберий приказал эдилам публично сжечь их, — в отчаянии ответил Сабин. — Тридцать пять лет работы! И Кремуций — вы знаете, такой робкий, он провёл всю свою жизнь среди книг — стоял перед Тиберием и знал, что надежды нет. Но всё же заговорил, хотя все в страхе молчали. Он сказал: «Все вы, наверное, знаете, что с тех пор, как убили Юлия Цезаря, прошло шестьдесят лет. Как же вы можете обвинять в этом меня, если я тогда ещё не родился?» Но Тиберий посмотрел на него молча («свирепым лицом», — напишет Тацит), и никто из шестисот сенаторов ничего не ответил. Историк понял, что пришла его смерть. «Я ни в чём не виновен, — сказал он, — и, не найдя вины в моих поступках, меня обвиняют в чужих». Тиберий ничего не ответил, зная, что его молчание может убивать, и отложил слушание,

но не назначил определённой даты. Кремуций вернулся домой один, ни у кого не хватило мужества с ним заговорить. Все сворачивали в переулки, чтобы не здороваться с ним. Он запер дверь и закрыл ставни.

Стари а, видевший Германика ещё ребёнком, осторожно налил до краёв чаши вина. Все знали, не произнося этого вслух, что Кремуций разговаривает со смертью.

Он остался умирать, отказавшись от пищи. Такую смерть сознательно выбирали многие римляне — без крови, без насилия над собой, без риска нанести неверный удар. Не родившийся из мгновенной вспышки эмоций жест, а сознательный протест, длящийся день за днём. Раньше он рассказывал, что ему доводилось видеть схожие предсмертные мучения, и настоящие страдания имели место лишь в первые два-три дня, а потом — по крайней мере, так говорили — всё переходило в изнуряющие круги галлюцинаций, неодолимой усталости, холода, сновидений.

— Потому что, — пробормотал по-гречески Залевк, — душа приказывает телу, когда умирать.

А тело с прозрачной ясностью лица отдаёт себя смерти, со спокойствием отказывают члены, без потрясений наступает сон.

Мать Гая внимательно слушала, широко раскрыв большие глаза на исхудавшем лице.

— Тиберий тоже знает, что происходит в доме Кремуция Корда. Для этого он и отложил процесс.

Через несколько дней Друз смог написать в своём дневнике: «Сегодня утром его нашли мёртвым. Он оставил письмо, дабы быть уверенным, что его слова сохранятся, хотя его книгу и сожгли, так как те, кто придёт после нас, дадут всему истинную оценку. И он сказал, что главную память о себе оставит именно тем, что его приговорили».

Он повернулся к брату.

— Видел? В грозди наших друзей остались последние виноградины. Это мы сами.

Но Гай, как всегда молча, ушёл в сад. Он думал, что когда-нибудь сам попытается выпустить книгу об этой смерти. А тем временем в зал ворвался Нерон с криком:

— Арестован Гай Силий! Его судят сегодня!

Все окаменели, а он продолжал кричать:

— Нужно поднять восстание, сейчас же. Нас всех перережут, одного за другим.

Друз встал и приложил два пальца к губам. Крик Нерона перешёл в злобные рыдания.

— Это расплата за преданность нашему отцу.

Трибун Гай Силий, командовавший легионами на Рейне, был тем человеком, который показывал маленькому Гаю, как пользоваться кинжалом, первым поведал ему историю его семьи, подарил любимого коня по имени Инцитат.

Гай без предупреждения вышел из дому, таща за собой уже старого и совсем сдавшего Залевка. По дороге он сообщил греку, что хочет в последний момент воспользоваться возможностью повидаться с обвиняемым, пока его не потащили на сенатский суд.

Но вдоль дороги выстроились бесчисленные войска, и Гай бессильно наблюдал за беспокойным движением преторианцев и двумя стенами испуганной и молчаливой толпы. На мгновение среди прочих мелькнул обвиняемый, единственный с непокрытой головой, без знаков различия, но выделявшийся своим ростом и шедший с гордо поднятой головой. Конвой медленно продвигался вперёд, и взгляд трибуна Силия, скользнув над головами толпы, упал на Гая. Мальчику страстно хотелось, чтобы трибун узнал его. Так и случилось.

Гай отвернулся и уставился в землю. Он думал о былой безграничной власти своего отца — одним жестом он бросал в бой восемь легионов. И всё

это ушло, как вода: теперь даже не пробиться через кордон преторианцев. Какой непоправимой ошибкой оказалось послушание Тиберию! Как, наверное, втайне смеялись над ним узурпатор и его мать! Гай сжал кулаки, ногти впились в ладонь.

Залевк молча следовал за ним, в его памяти больше не осталось цитат из древних историков и философов.

— Лучшие дни, что мы видели, прошли той зимой в каструме, — пробормотал он.

На следующий день Друз записал: «Силию в качестве обвинения приписали слова, что, если его легионы двинутся, Тиберий лишится власти. Обвинителем выступил консул Марк Варрон, самый подлый прихвостень Тиберия. Это было ужасно. Говорят, что Силий вошёл в зал в цепях. Он всегда был немногословным, и, пока Варрон обвинял его, он только с презрением смотрел на него и ничего не говорил. А в конце лишь сказал, что собственная честнейшая военная карьера ему противна».

Друз положил каламус. Глаза Гая остановились на этой последней строчке. В этот момент пришёл запыхавшийся грамматик Карон, наставник двух старших братьев, и объявил, что трибун

Силий избежал унижения погибнуть от жестоких рук палача и сам покончил с собой. Одним аккуратным ударом с убийственной точностью. Он оставался в цепях, и неизвестно, кто тайно передал ему кинжал.

Гай молча ушёл в сад. Этот гордый самоубийца был первым, кто говорил с ним как со взрослым. Его душили воспоминания: точный удар сикой, пальцы на яремной вене. «Если больше не пульсирует, значит, жизнь ушла...» А сам он умолял: «Никто не хочет ничего мне рассказывать...» Сильный трибун сказал ему, внезапно обернувшись: «Будь осторожен, детёныш льва...» Гай перебирал воспоминания одно за другим, как они отложились во времени. Потом глубоко вздохнул и обнаружил, что никому не может довериться.

В библиотеке Друз снова взял каламус и дописал последние строчки: «Я пишу это, дабы все знали, что поскольку его уже не могли убить, то отомстили его жене Сосии, отправив её в изгнание только за то, что она была верной подругой нашей матери. И пусть все узнают также, что власть Тиберия испугалась одинокой женщины».

ТАЙНЫ КАПРИ

Тем временем император Тиберий — следуя собственному инстинкту и злым советам Элия Сеяна, преувеличивавшего опасности Рима, — почти не возвращался в столицу. Он останавливался то в Мизенах, то в Байе, то на Капри с немногими проверенными жизнью друзьями — с сенатором Кокцеем Нервой, бывшим к тому же выдающимся юристом, со всадником Куртием Аттиком, как и он, эллинистом и поклонником древней истории, с несколькими греческими литераторами. И, повсюду выбирая места исключительной красоты, но охраняемые и недоступные, он воздвигал резиденции по своему вкусу, надёжные, как каструм в варварских землях.

— Логова узурпатора, — говорила Агриппина, — тайники его страха.

Но Тиберия наполняли не только страхи и подозрения. Ещё в нём была ненависть к женщинам, непереносимость чужих голосов, смеха и разговоров. Он отказался от придворных церемоний, многолюдных толп, музыки, ярких цветных одежд, оживляющего присутствия женщин. И хранил свои глубокие раны в тайне, никому не

признаваясь в них. Своё личное время император проводил в унизительном одиночестве. Жгучим ударом по его самолюбию был ужасающий провал в отношениях с Юлией. С невыносимым разочарованием Тиберий видел, как его молчаливая, незаменимая Випсания вновь налаживает семейную жизнь.

Друз написал: «Асиний Галл, пожилой, богатый и спокойный достойный человек, провинился лишь одним: он посмел жениться на Випсании — женщине, которую Тиберий подло бросил, дабы исполнить волю своей матери Новерки и жениться на Юлии. И вот Тиберий, захватив власть, увидел перед собой среди сенаторов человека, который мог похвалиться, что несколько лет спит с бывшей женой императора и пользуется взаимностью. — Сарказм Друза граничил с оскорблением. — Бедняге со своей слишком знаменитой супругой следовало бы удалиться в глухую провинцию, чтобы больше не показываться людям на глаза. Он же по недостатку сообразительности приветствовал Тиберия с почтением, возможно вызванным робостью, но тот принял это за насмешку. Вскоре против Асиния Галла было выдвинуто ложное обвинение: мятежные разговоры и подготовка заговора.

Устроили отвратительный процесс, и бедняга был раздавлен. Его приговорили к пожизненному изгнанию, лишению сенаторского достоинства, запрету носить тогу и конфискации имущества».

Но месть не принесла покоя императору. После неуклонной заботы о государстве он находил отдых не в цирковых играх и кутежах, как другие знаменитые императоры, не во всё новых и более экзотичных любовных утехах, гладиаторских боях и конских бегах. Он погружался в чтение какого-нибудь кодекса или свитка, уединяясь с торжественными, искушёнными голосами древности. Его ум был иссушен: во время вынужденной ссылки на Родосе он не нашёл никого, кто бы проник в искусство халдейской магии. Император предпочитал отдалённым землям мифы отдалённых веков. Но в личной жизни любил, и всё больше по мере того, как возрастала его нетерпимость к женщинам, компании юношей, которых набирали в провинциях Азии и которых легко опьяняла его царственность, его власть и таинственное одиночество. При его дворе не было женщин.

«Элий Сеян понял, — писал Друз, — что, дабы предоставить Тиберию всё это, нужно обеспечить ему полную изоляцию от внешнего мира. И

таким образом сам сделался правителем Рима».

Всё более Тиберий предпочитал скалистый остров Капри, возвышавшийся в своём недоступном морском одиночестве. На вершине острова раскинулась обширная императорская вилла, посвящённая величайшему из богов и вошедшая в историю как вилла Юпитера.

«Для кого-либо другого такая изоляция была бы невыносимой, но для него явилась лёгкой ценой безопасности и тайных удовольствий», — написал Друз.

С вершины чудесного острова Тиберий с твёрдой ясностью управлял империей посредством пунктуальных, еженедельно отправляемых гонцов; из всемирной шпионской сети, крепчавшей год от года благодаря стараниям и деньгам Сеяна, поступала прямая информация. Император общался с сенаторами с помощью письменных посланий, верных и точных указаний — часто для убедительности вручаемых самим Элием Сеяном, — которые прочитывались с подобострастным страхом.

«Шестидесятилетние отцы Республики повинуются, даже когда дело касается обвинений и смертной казни кого-нибудь из них самих, потому что Рим теперь физически находится в руках

преторианских когорт».

Прошёл слух, что Тиберий вдали от Рима добился также неумолимой, полной и безжалостной разлуки со своей грозной матерью Новеркой. Все шептались, что после долгого преступного сообщничества по какой-то таинственной, но наверняка ужасной причине их отношения резко охладели.

«Утешительно знать, что и она тоже его ненавидит», — написал Друз.

Но никто не знал истинных причин этой ненависти.

— Надеюсь, — сказал Гай, — этот твой дневник прочтут через много-много лет.

Друз улыбнулся. Но их надежда была открытым окном в темноту.

ПРОРОЧЕСТВО

И когда Тиберий в очередной раз удалился на Капри, кто-то подбросил мудрёное пророчество, которое быстро распространилось по всему Риму. Друз написал: «Некоторые восточные астрологи прочли по положению планет, что Тиберий покинул Рим, чтобы никогда не возвращаться...»

Обуреваемые противоречивыми, но одинаково сильными чувствами, люди спрашивали, откуда взялось такое пророчество. Об этом же гадал и Гай, вспоминая магические рассказы старого египетского жреца в саисском храме.

«Они всё лето изучали небо, — записал Друз, — при помощи инструментов, принесённых халдейскими астрономами. И ясно прочли по звёздам, что Тиберий умрёт, когда попытается пуститься в обратный путь».

Тиберий же вместо этого схватил и тут же покарал всех распространителей слуха, до которых сумел добраться.

«Сегодня утром троих человек распяли на Эсквилинском холме за то, что в тавернах говорили, будто Тиберий умрёт, если вернётся в Рим».

Но слухи уже передавались тысячами уст. И

Друз скептически заключил: «Жаль, в звёздах не нашлось более полезного пророчества насчёт власти Элия Сеяна, который запретил императору жить в Риме».

Под влиянием предрассудков, или страха, или того и другого вместе Тиберий и в самом деле ни разу не возвращался в Рим за все оставшиеся ему годы жизни. Ещё меньше хотел он увидеться со своей матерью. Как и большинство образованных римлян, он не был привержен никакой религии, но его рационализм странно дополнялся некой смутной идеей о непознаваемых астральных силах, безжалостно вершащих судьбы людей. Говорили, что огромное влияние на него имеет астролог Фрасилл, с которым они познакомились в изгнании на Родосе, и грек всегда был рядом, чтобы еженедельно давать подробные советы.

Тем временем Элий Сеян, назначенный префектом преторианских когорт, необратимо попал под чары величия власти. Он спускался со скудных холмов вокруг Вольсинии, слишком уставший от зверств, чтобы появляться в городе, и его грубый, но весьма хитрый ум начал строить циничные планы насчёт преждевременного физического упадка императора.

Сеян давно пришёл к заключению, что римские

граждане, германские и восточные легионы и фракция популяров видят в сыновьях Германика следующих и весьма желанных наследников императорской власти. И пока он размышлял, как устранить это препятствие на своём пути, кто-то предупредил об этом Агриппину.

Она с отчаянной проницательностью воскликнула, обращаясь к сыновьям:

— Берегитесь Сеяна, потому что ещё никто не знает его истинного лица!

Но Друз с презрением заметил:

— Смешно, человек вроде Сеяна так стремится сам завладеть империей...

А Нерон, импульсивный оптимист, радующийся всякому: риску, тайно собрал лидеров сенатской оппозиции, и старые солдаты, сражавшиеся под началом Германика, с нетерпением описывали упадок Тиберия. Однако никто не обладал достаточным авторитетом, чтобы посоветовать порывистому Нерону соблюдать осторожность.

Сеян же по-скотски прямо заявил Тиберию:

— Если Агриппина со своими сыновьями останется в Риме, вспыхнет новая гражданская война.

И вот однажды («непредвиденное событие,

заставившее всех замолкнуть», — написал Друз) Тиберий пригласил Нервна с молодой женой на Капри, и от такого приглашения было не спастись. На проводах не было счастливых пожеланий и радостных объятий, мать и братья молча смотрели, как он уезжает.

Едва в доме затих звонкий голос и громкий смех Нерона, Друза что-то толкнуло открыть дневник. И Гай, любивший заглядывать ему через плечо, прочёл написанный неторопливым и ровным почерком плод осторожных раздумий — одну фразу, которую не сможет забыть: «Я бы предпочёл увидеть, как он отправляется на войну с Парфией».

Он посмотрел, как Друз положил каламус, и ничего не сказал.

Между тем круг друзей продолжал редеть. И наконец все поняли, что приглашение на Капри не было приглашением на аудиенцию. Разрешения вернуться в Рим не последовало, и Нерон на вилле Юпитера оказался в заключении. Ум Агриппины обострился от злобы, а пребывание беззащитного и неосмотрительного сына на Капри не давало спокойно дышать.

«Охотники в засаде, — написал Друз, заразившись этой тревогой. — Как только кабан

выскакивает на открытое место, на него спускают собак».

Каждое утро семья тщетно ждала известий. Однажды ночью Гай — его сны становились всё короче и всё чаще прерывались — сказал себе, что его сильный и большой старший брат уже никогда не вернётся домой. И Друз, углублённый в себя, слишком пессимистичный для своих молодых лет, признался ему, что в этом дневнике останется заключённым его голос, что бы ни случилось.

— Запомни: во что бы то ни стало его нужно спасти.

А на Капри тем временем Сеян, словно обложив зверя в кустах, окружил Нерона шпионами — и ему удалось подстроить ловушку в доме, чтобы до Тиберия доходили даже неосторожные разговоры Нерона с легкомысленной молодой женой. Жизнь на императорской вилле была ограничена полной зависимостью от императора, маниакальным соблюдением расписания и маршрутов следования, долгими неподвижными ожиданиями, придворными церемониями. Тиберий то обращал к Нерону фальшивую улыбку, то с подозрением отгонял его. Жизнь молодого римлянина превратилась в пытку неопределённостью.

Между тем в уме Тиберия возрастали подозрения, и наконец Сеян сказал ему:

— Настал момент рискнуть и начать процесс. У нас будут доказательства, тебе приведут свидетелей...

Последним другом, кто сохранил постоянную верность, был тот самый Татий Сабин, который с ужасом уже присутствовал на суде над Кремуцием Кордом. Сеян велел одному сенатору, связанному с ним из подлых побуждений, пригласить Сабина, подпоить и усыпить его бдительность. Сенатор повиновался. В промежутке между крышей и расписным потолком в зале он спрятал трёх сенаторов, которые забились туда через люк как безупречные свидетели, чтобы превратить разговор в заговор. Когда хозяину дома показалось, что вина выпито достаточно, он начал жаловаться на плохое правление Тиберия, восхвалять умершего Германика и мужественную Агриппину с её сыновьями, которые уже в возрасте, чтобы последовать примеру отца. Он сказал, что спасение Рима — в этой великой фамилии, которую столь жестоко и несправедливо преследуют. Искренний Сабин позабыл об осторожности в доме старого друга и распустил язык.

И Сеян смог молниеносно сообщить Тиберию:

— В Риме готовится мятеж.

Тиберий с Капри приказал арестовать Татия Сабина и «всех возможных соучастников», судить и покарать.

Сеян при подобострастном молчании сенаторов прочёл послание, и они тут же велели арестовать Сабина, который, ничего не ведая, уже даже и не помнил разговоров того вечера.

Друз написал: «Тиберий вырвал от нас и этого, последнего друга. Коварство Сеяна, страх других, подобострастие многих — всё вместе сделало своё дело».

На единственном заседании сенаторы выслушали свидетелей, вынесли приговор и послали осуждённого на смерть, прежде чем он понял, в чём дело.

Стояли январские календы[30], и Друз написал: «В этот священный праздничный день его провели по дороге с верёвкой на шее. Этот преданный бедняга кричал: “Смотрите, как Сеян убивает невинных жертв!” Люди, видя конвой и слыша крики, бежали прочь и закрывали двери и окна. Тогда ему накинули на голову тогу и стали душить, чтобы он не мог кричать, а потом пошли

---

[30] Примечания: 30
Первый день месяца.

дальше по пустынным улицам. И мёртвое тело бросили в реку».

Гай стоял в ночной тишине огромного полупустого дома. Пугала мысль о предателях, спрятавшихся под крышей в доме друга.

В ту ночь, свернувшись калачиком в своей тёмной комнате, молодой Гай пообещал себе, что от него никто никогда и нигде не услышит ни одного неосмотрительного слова. Но он не предвидел, что больше никогда не сможет ничего прочесть в дневнике Друза.

МАТЬ ГАЯ

На следующий день — на морозном январском рассвете, когда небо обволакивали лёгкие белые облака, а гора Соракт вдали побелела от снега, — бессильная боль от смерти простодушного и верного друга переросла в сильнейшую тревогу, оттого что один сенатор неистово крикнул на всю курию: «Татий Сабин готовил свой заговор, поскольку его вдохновило высокомерие Агриппины и буйство её сына Нерона. Мы в одном шаге от гражданской войны!»

Обвинение — обвинение страшное — разнеслось по всему Риму. И до окончания этого короткого зимнего дня члены семьи Германика поняли, что пропали.

Ничего не объясняя, Агриппина отослала Гая на незапланированную прогулку с наставником Залевком, а как только он вышел, без колебаний и прощаний послала старших дочек во дворец старой Антонии, матери Германика, и Гай по возвращении больше их не увидел. Но понял, что его любимица Друзилла о многом догадалась, так как та вся в слезах спросила, когда им позволят вернуться. Только позже Гай поймёт, что мать

избавила всех от мучительных прощаний, слишком явно говорящих за себя.

Как только настало новое утро и в сады проник голубоватый зимний свет, Гай столкнулся в атрии с престарелым начальником стражи, ветераном Германика; запыхавшись, он прибежал из конца широкой аллеи.

— Нерона арестовали на Капри, на вилле Тиберия, его везут в Рим в цепях!

Пока Гай, окаменев, смотрел на него, Друз, ничего не сказав, неожиданно куда-то исчез. Гай бросился в библиотеку и увидел открытый шкафчик: полка, где раньше лежал дневник, была пуста. В последние дни Друз упоминал их виллу в Умбрии, близ священных Клитумнийских источников; он говорил о старой и малолюдной Фламиниевой дороге — самом коротком пути из Рима в Умбрию, окружённом лесами и горными тропами, спускавшимися к Адриатическому морю. А оттуда можно было перебраться в Иллирию.

Гай обернулся и в тревоге задумался, как предупредить мать. Он увидел её в атрии, она была в окружении объятых ужасом слуг, но говорить ей что-либо было уже поздно, так как перед ней стоял офицер с несколькими вооружёнными

солдатами и громко читал ей уведомление об обвинении в заговоре, а заодно и о домашнем аресте: ей запрещалось посещать посторонних, запрещалось появляться на людях в Риме. Агриппина молчала. Она протянула руку и взяла этот ужасный свиток. Её белые пальцы не дрожали. Офицер ушёл, коротко отдав салют. У выхода из дома поставили вооружённого стражника. И началась подготовка к процессу, медленно и торжественно, словно бы придавая важность жертвам.

Вечером накануне суда дом показался пугающе огромным. Гай с матерью не имели известий о Друзе.

— Но если его хотят арестовать, — в отчаянии проговорила Агриппина, — то разыщут.

У неё сорвался голос, её душила материнская тревога.

— Отсюда никто не выходил без того, чтобы за ним не следовал шпион Тиберия...

— Друз хитрый, они не знают, по какой дороге он пошёл... — солгал юноша, чтобы её успокоить.

При этом он подумал, что остаётся совершенно один. Ему вспомнились слова отца: «Держись. У тебя будет время».

Воздух этой январской римской ночи стал

странно нежным, а возможно, от тревоги было так тяжело дышать, что кто-то открыл дверь в сад. Непослушными руками мать туго забрала свои прекрасные волосы на затылке — ни малейшего пробора, ни двух изящных волн по обе стороны лица, по которым её будут столетиями узнавать в мраморных статуях. Её щёки впали, глаза, от природы глубоко посаженные, как и у сына, были окружены тёмными тенями. Но она обладала большой силой и самообладанием; казалось, чувства ей не знакомы.

При каждом шуме, откуда бы он ни исходил в огромном доме, Гай сразу вздрагивал. А Агриппина — нет. Она неподвижно сидела, сложив исхудавшие руки на коленях.

Ночь была тёмной. Мать посмотрела на сына, на мгновение взглянула вглубь анфилады просторных пустых залов, и спросила:

— Видел?.. — но прервалась.

Никто во всём Риме не смел нарушить запрет Тиберия приближаться в этот вечер к дому, где остались двое одиноких. Никто во всём Риме не смел приблизиться к внучке Августа, в чьих жилах текла самая благородная в империи кровь, к жене обожаемого всеми Германика, надежды народа. Никто из шестисот сенаторов, никто из

могущественных жреческих коллегий. Она удалила от себя и большую часть слуг, даже самых верных, которые противились этому, отослала на пригородную виллу.

Гай никогда не видел дом в таком состоянии — пустой, с мерцающими где-то вдалеке светильниками; один из них, позабытый, еле тлел. Агриппина тоже вела дневник, она скрывала его и ни с кем о нём не говорила. Но питала слабую надежду, что может выжить. В действительности о нём так никто и не узнает. Она погладила сына, который положил голову ей на колени, как маленький, и объяснила ему, что он ещё слишком молод и может спастись от Новерки и Тиберия, просто притворяясь — прикинувшись безобидным дурачком, занятым глупыми играми. Как старый дядя Залевк, робкая семейная легенда. Только так можно остаться в живых и даже жить с удобством, потому что в глазах врагов это станет доказательством их мягкости и доброты.

Гай спросил её шёпотом — они разговаривали вполголоса даже в стенах дома, — не может ли и она воспользоваться этим оружием.

Мать ответила, что ей не поверят, и покачала головой с лёгким сожалением об этой, как ей показалось, наивности. Ей, сказала она, остаётся

один путь — до конца следовать своей судьбе. Оставаться мужественной и непримиримой, верной мужу и достоинству своего дома, своим растоптанным правам до самой смерти. Она сказала сыну, что о ней будут говорить столетиями. А поскольку он заплакал, закрыв лицо руками, добавила с усмешкой:

— У нас одна надежда. Никто не знает, сколько дней судьба оставила Тиберию...

Было слышно, как вода в реке поднимается. На другом берегу, в другом полупустом дворце на Палатинском холме, в покоях, где много лет назад видели Августа, проводила свою ночь — одну из своих бессонных ночей — старуха, неумолимая Новерка, женщина, которой удалось преобразить миролюбивого, мягкого Августа в злейшего врага своего рода.

Агриппина посмотрела во мрак Рима, на те холмы, и заявила, что Новерка не хочет умереть, оставив её, свободную и живую, за спиной Тиберия.

— Не плачь, — закончила она, — и не строй иллюзий. Мы все ушли отсюда, один за другим. Но запомни, что, если тебе удастся выжить, ты получишь удовольствие в отмщении за меня.

С первыми лучами солнца за Агриппиной

пришли. Она набросила на плечи лёгкий плащ, повернулась, естественным жестом обняла сына и, без слёз отпустив его, сказала, чтобы не забывал маленький выводок павлинов в клетке. Он пообещал и остался в доме один с наставником-греком, перепуганным Залевком. Стояло морозное утро, на город дул ветер с заснеженных Апеннин. Залевк прошёл до городских ворот, к реке, и, вернувшись, сказал, что городские ворота заняты преторианцами.

В Риме вполголоса говорили, что у сенаторов много свидетельств против Агриппины и Нерона; согласно обвинению, оба нарушили страшный Lex de majestate — закон о величестве. И обоих признали виновными, а совместное участие превратило вину в заговор. Сенаторы единодушно объявили их «врагами римского народа». Но суд проходил за закрытыми дверями, и официально никаких сведений не поступало.

С садистской монотонностью любимые семейные места жительства превращались в узилища: Тиберий сослал Агриппину на остров Пандатария, где в своё время Август заточил Юлию, на затерянный в Тирренском море клочок земли, с которого в ясные зимние дни можно было видеть Альбанские холмы и Ленинские горы, а на юге

— острова и побережье Партенопейского залива. Нерона сослали на близлежащий остров Понтию, который теперь мы называем Понца.

Рассказывали, что Агриппину доставили туда в цепях, под сильной вооружённой охраной, но на закрытых носилках, никого к ней не подпуская. И с тех пор никто не видел её живой. А за долгий период цензуры страницы Корнелия Тацита, объективно рассказывающие о её окончательной судьбе, были вырваны и безвозвратно исчезли.

Об этом скоротечном процессе, об обвинениях, свидетельствах, о том, как обвиняемые защищались и признались ли в содеянном, молодому Гаю никто ничего не сообщил. А он не мог спросить.

ОПЕКА НОВЕРКИ

Вскоре за ним пришёл офицер с отрядом преторианцев, Гай, увидев их в атрии, подумал, что пришла его смерть. На мгновение смерть показалась ему лёгкой. Он молча пошёл навстречу, оставляя позади одну за другой комнаты своего дома. Слуги и вольноотпущенники, что некогда служили ещё его отцу, с отчаянием смотрели на него.

Но офицер с почтительной строгостью сообщил, что, учитывая его юный возраст, смерть отца и конфискацию всего имущества, сенаторы вынесли решение доверить опеку над ним Ливии, августейшей вдове, матери Тиберия. И объявил, что должен немедленно препроводить его к ней на Палатинский холм.

Гай ощутил, как всё его молодое тело парализовало. Вся власть над ним переходила к страшнейшему врагу. И её назвали опекуншей, то есть исполняющей обязанности родителей, материнские. Во рту у него пересохло, он не мог ни сглотнуть, ни вымолвить слова, сухие губы прилипли к зубам.

Офицер ждал его реакции, и Гаю казалось, что

тот смотрит на него с чрезмерным вниманием. Что ему известно? Какие ему дали тайные указания? Но чему Гай научился в жизни, так это притворяться. Его губы раскрылись и произнесли:

— Рад повиноваться.

Домашняя прислуга, фамильяры, запыхавшись, собрались в атрии; они понимали, что вся их жизнь круто переменилась. И действительно, офицер объявил Гаю, что его личные вещи прибудут за ним, а прислуга, рабы, мебель и собственность матери конфискуются и поступают в имперское распоряжение. В последний раз юноша увидел своего бедного учителя Залевка и на всю жизнь сохранил воспоминание о нём. Тот стоял у выхода, выпучив глаза, и его дрожь была видна на расстоянии.

Гай, уже переросший его, положил старику руку на плечо и посмотрел на совершенно седые волосы. Потом резко убрал руку и не смог сказать ни слова. Старость какого-то раба... Он застыл, потом повернулся ко всем:

— Благодарю вас... — после чего велел повиноваться, с достоинством отдал салют и больше не оборачивался.

Он уже не встретит никого из них: они будут

проданы и рассеяны в отдалённых от Рима местах.

Офицер всё смотрел на Гая.

— Пошли, — проговорил он и направился к Палатинскому холму.

Это место уже стало символом власти. Вергилианская легенда говорила, что на этом великолепном возвышении за Форумом и Большим цирком несколько веков назад, когда здесь стояли лишь пастушьи шалаши, герой Паллант, сын Эвандра, заложил город.

Август избрал именно эту точку, чтобы построить здесь храм Аполлона — бога, который, по его утверждению, при Акции даровал ему победу над Марком Антонием, а теперь, после стольких кровавых событий, символизировал порядок, умеренность, мир. Для строительства храма император хотел использовать белый лунский мрамор, а окружить здание портиками с колоннами из жёлтого мрамора и пятьюдесятью гермами из древнего чёрного мрамора, изображающими миф о Данаидах. Внутри храма, за тяжёлыми бронзовыми дверьми, в постаменте божественной статуи, он велел спрятать древние Сивиллины книги, в которых, по преданию, были начертаны судьбы Рима.

Тем временем подставные покупатели понемногу приобрели примыкающие участки, и, воспользовавшись также землями, конфискованными у Марка Антония, Август воздвиг вокруг храма нечто вроде святилища, императорский дворец с пологими террасами, портиками и атриями, со статуями из редкостного мрамора, лепными украшениями и фресками на потолках и стенах. А поэт Овидий до того, как его сослали в отдалённые Томы, воспел величественные строения, переименовав их из первоначального palatium в звучное palatia множественного числа.

В народе шептались, что Рим уже превзошёл в своей грандиозности восточных монархов, и, действительно огромный императорский дворец, занимавший более двенадцати тысяч квадратных метров, напоминал знаменитые дворцы Пергамона. Но проницательный Август поместил туда величайшие библиотеки, греческую и латинскую, и объявил, что, как и сам храм, они открыты гражданам, поскольку хозяином здесь является римский народ.

Выполняя эту грандиозную операцию с общественной недвижимостью, Август — выдающийся артист в сфере политики — подчёркивал скром-

ность и сдержанность своего личного жилища: несколько небольших комнат, принадлежавших раньше сенатору Гортензию, строгие полы с чёрно-белой мозаикой, простые фрески с геометрическим узором. Эти комнаты примыкали к помещениям, которые нынешние археологи назвали «домом Ливии», но на самом деле они принадлежали Клавдию, её первому брошенному мужу. Там Август закрывался в дни семейной войны; там, недоступный для прошений, принимал решения о ссылке своей дочери Юлии и о казни последнего семнадцатилетнего внука. Туда, через много лет, переехал для созыва советов и Тиберий, обеспокоенный скандалом вокруг отравления Германика.

Теперь преторианцы ровным строем шагали по бокам от офицера и Гая — это мог быть как почётный эскорт, так и конвой. С первого шага в атрий этого дома здешний запах показался Гаю тошнотворным, и в глазах у него помутилось.

«Даже такого человека, как Август, имевшего божественную душу, — злобно писал Друз в своём пропавшем дневнике, — опоила эта женщина, которая с юных лет была просто meretricula,

scortum[31] и без него была бы ничем. Никогда она не была красивой, даже в юности. С годами её стал ненавидеть даже её сын, с которым она делила преступления. Всё больше злобствуя, она наконец разложилась и физически. Потому что в старости каждый носит на лице то, что выстроил за свою жизнь...»

Офицер поднял правую руку, и Гай с облегчением, словно его освободили, увидел, что преторианцы остановились. Он с офицером вошёл в зал. Стены здесь покрывали яркие фрески с цветами, птицами, плющом, цветными гирляндами из сладких фруктов и лимонов. Гаю казалось, они двигаются по бесконечному саду. Дом этой женщины был великолепным.

Но юноша был не в силах приблизиться к месту, где она ждала его, ненависть словно приклеила ноги к полу.

— Детёныш льва, — пробормотал офицер.

Гай вздрогнул.

— Я сражался под командованием твоего отца, — сказал тот.

Гай ничего не ответил, а только бросил на него взгляд, почти не поворачивая головы. Офицер

---

[31] Примечания: 31
Убогая проститутка, развратница *(лат.)*.

тоже смотрел прямо перед собой и еле шевелил губами. Они вошли в древний, построенный в старом стиле портик с кирпичными пилястрами.

Офицер сказал:

— Твой отец возил тебя в седле вместе с нами.

Гай повернул голову, и тот проговорил:

— Однажды на Рейне ты залезал на лошадь, и твои сапожки стояли на этой руке. Мы звали тебя Калигулой.

Эти слова поразили его в самое сердце: его помнили, несмотря на прошедшие годы. Офицер уловил его мысль.

— В легионах от Рейна до Египта все звали тебя так, — быстро проговорил он, поправляя портупею.

Гай ощутил внутри себя волну торжества: он остался жив и жил с ними. Офицер остановился и шёпотом продолжил:

— Она очень стара. Сам увидишь.

Гай молчал, он умел молчать.

— Тебя привели сюда, потому что боятся твоей крови, — закончил офицер.

В Гае вспыхнула гордость.

Они посмотрели друг на друга напряжённым мужским взглядом. И вошли в последний зал.

Ливия сидела у дальней стены, вокруг стояли

люди. На плечах у неё была белая шерстяная шаль, на коленях — белое шерстяное одеяло, ноги лежали на табурете. Старуха посмотрела на юношу. У неё было очень худое лицо со старой желтоватой кожей, а редкие волосы свёрнуты на макушке, как делали сорок лет назад.

Гай, следуя в шаге за офицером, подошёл к ней. Все молчали. Глаза старой Ливии искали взгляда юноши, но тот потупился. Её глаза были маленькие, слезящиеся, но очень зоркие. Несмотря на возраст, её зрение оставалось ясным.

Офицер остановился и шагнул в сторону. Остановился и Гай, а самая могущественная в империи женщина, «мать узурпатора», продолжала смотреть на него. В лице её не было ни кровинки, костлявые кисти рук с узловатыми пальцами свисали с подлокотников. Она пребывала в молчании, молчании власть имущих — возможно, ожидая проявления страха со стороны юноши. Но он чувствовал, что все вокруг удивлены его юной красотой, и сказал:

— Да хранят тебя боги, Августа.

Его голос всегда звучал живо и непринуждённо, ему уже говорили об этом, и действительно, теперь он разнёсся по всему залу.

А старуха, едва приподняв голову, шевельнула

иссохшими губами.

— Добро пожаловать, — выговорила она и, как показалось молодому Гаю, изумила этим всех присутствующих, — в дом, принадлежавший когда-то божественному Октавиану Августу и мне. Подойди ближе.

Он повиновался и, приблизившись, ощутил запах старого тела. Редкие плохо причёсанные волосы казались покрытыми пылью, на них не было никаких украшений. Шаль была из грубой шерсти.

— Тебе покажут твоё жильё, — проговорила старуха и жестом отпустила его.

Несколько месяцев после этой встречи Гай не видел Ливию, разве что издали.

В безликую комнату, не очень большую, с единственным окном, выходившим во внутренний двор, похожий на тюремный, со старой скучной мебелью и простыми оштукатуренными стенами, ему принесли его тюки с вещами, беспорядочно собранные враждебными руками. Но из глубины одного узла появился маленький кодекс с записями о поездке в Египет — вероятно, проверяющие сочли его детской забавой. Потом в коробке со старыми медалями нашлось отцовское кольцо с печаткой, и Гай увидел, что его рука уже стала

большой и сильной, так что можно было носить кольцо без риска уронить. Однако многие вещи пропали. Но он не стал ни о чём спрашивать.

Гай заметил, что дверь в этой комнате не запирается изнутри, однако же виднелись явные следы сорванного засова. Ему показали ряд жалких приспособлений для умывания, которыми пользовались чиновники и стража, и издевательски советовали не волноваться:

— Рабы сюда не ходят.

«Детёныш льва попался в петлю, и его ведут к новому хозяину».

Ему почти исполнилось шестнадцать лет, и Гай спрашивал себя, по какой причине ему одному из всей семьи сохранили жизнь и внешнюю свободу, поместив в это место. Чтобы Рим восхищался милосердием Ливии и Тиберия? Чтобы унять популяров, обладавших силой в столице, восточных провинциях и легионах? Чтобы показать доброе лицо правосудия, покаравшего заговорщиков-бунтарей, но нежно защитившего невинного ребёнка Калигулу? А может быть, потому, что после стольких преступлений было необходимо вновь очистить свой образ?

Потом Гай сказал себе, что, возможно, оказался единственным заложником во власти Тиберия

— «последний из вас здесь, в моих руках», как сыновья побеждённых иноземцев, как Дарий Парфянский, как Ирод Агриппа из Иудеи. Возможно, он остался жить потому, что оказался пешкой в торгах Тиберия со своими врагами сенаторами. Возможно, обеспечивал Тиберию далёкое и спокойное наследование, преграждая путь остальным, более опасным претендентам. Тиберий мог сказать: «После меня вы получите потомка Юлия Цезаря, Марка Антония, Германика...» — и давал врагам понять: «Никто из вас никогда бы не смог вызвать подобной любви народа, оставить такой след в исторической памяти...»

Гай заключил, что его будущее и возможность вырваться в большой степени зависят от него самого и нужно защищаться в одиночку.

Но в голове вспыхивала мысль о матери, неожиданная, как удар ножом. И тогда одиночество физически удушало. Остров Пандатария в воображении тонул в далёких пустынных водах. Из дома Ливии не было видно моря. Мать говорила, что вилла на Пандатарии была очень красива, но, чтобы жить там, требовались слуги и деньги. У Агриппины конфисковали её имущество, никто не имел права помогать ей, никто не мог сопро-

водить её на остров, кроме узников, выбранных Тиберием. И Гай совсем не представлял, где его братья и что с ними стало.

— Смотри, — сказала ему старая рабыня, указывая на фреску на стене.

Он посмотрел и увидел руку какой-то укутанной в покрывало женщины, которая бросала прядь волос в жаровню.

— Знаешь, что это означает?

— Нет, — сказал он.

— Знаешь, как трещат волосы, когда их жгут?

— Нет, никогда не слышал.

— Они горят, — засмеялась рабыня, — как сгорает жизнь зарезанного во сне.

Гай сделал вид, что принял это за шутку, и улыбнулся.

ИМПЕРАТОРСКИЕ БИБЛИОТЕКИ

Одним безотрадным зимним утром Гай открыл для себя чудесные библиотеки, созданные по желанию Августа рядом с храмом бога, который, если верить жрецам и поэтам, даровал ему победу. Два обширных зала, окружённых абсидой с при строенной к базилике колоннадой и изящными окнами из чистого белого алебастра, вмещали в двух рядах стенных ниш шкафы из ливанского кедра, не подверженного червям-древрточцам, где находились свитки и кодексы. Над нишами вы строились на округлых лепных карнизах изображения великих авторов в различных областях знания, как назидание государям.

Гаю не запрещали заходить в эти двери, и для него библиотеки явились причалом на острове. Здесь, по воле Августа были собраны все знания изведанного мира, и несколько шагов из своей убогой комнаты оборачивались побегом в просвещённый мир. Молчаливые надзиратели с удивлением, вскоре перешедшим в облегчение, наблюдали за его ненасытной страстью к чтению; говорили, что в этом он похож на своего знаменитого дядю Клавдия, литератора, этрусколога,

знатока латыни прежних веков и — по общему мнению — безобидного семейного дурачка.

Латинского библиотекаря — его звали Юлий Игин — неизвестно сколько лет назад выбрал сам Август: старый-престарый, верный хранитель императорских политических решений, предпочтений и цензуры, он растратил здесь свою жизнь и зрение, зимой и летом пребывая в этом полумраке. Наверное, он уже почти ничего не видел, так как, шустро двигаясь вдоль ниш, без колебаний открывал нужную дверцу и хрупкой неуверенной рукой нащупывал и доставал искомый труд, не читая.

Вся библиотека — древние свитки и более современные рукописные кодексы, предки современных книг, — величественно, в полном порядке, жила у него в голове. Он никогда не сверялся с заголовками, чётко написанными на изящной charta Augusta[32]. Достаточно было спросить его о чём-либо, даже о самых отвлечённых вопросах, о каком-нибудь персонаже, о цитате, о событии, и его натренированная память перебирала шкафы, пока не находила нужные сведения, словно здоровалась с человеком, оставленным в

---

[32] Примечания: 32
Сорт высококачественного папируса.

другой комнате.

Но на следующий день, снова увидев Гая, библиотекарь вдруг сказал ему со стариковской бессвязностью, что тот похож на племянников Августа.

— Точнее, на двух старших братьев твоей матери. Они тоже приходили сюда каждый день, торопились усвоить все знания мира...

Его рука пробежала вдоль одного из шкафов и вдруг застыла.

— Они умерли, когда были чуть старше тебя, — бестактно проговорил он. — Это случилось вдали от Рима.

Но Гай никак не отреагировал, словно уже знал эту историю.

Латинская библиотека была строгой и мрачной. Гаю в ту холодную зиму отвели одну маленькую более-менее тёплую комнату. Единственным неудобством, как цепь на ноге, было то обстоятельство, что ему не давали оставаться одному. Двое рабов, преданных слуг Ливии, назойливо следовали за ним по пятам. Когда он читал или писал, они садились рядом на табурет и молчали, поочерёдно, чтобы прервать скуку, спрашивая, не нужны ли ему новые листы, или каламус, или чего-нибудь попить, и тут же звали кого-то, кто

так же неотвязно ожидал снаружи.

— Ты читаешь о прошлом, — как-то раз сказал Гаю с усмешкой Юлий Игин, — а знаешь ли ты, где скрыто будущее? Оно спрятано в пьедестале статуи Аполлона, в двух шагах отсюда, в его храме. Никогда не слышал о Сивиллиных книгах?

— Да, слышал, — ответил Гай.

— Но ты не знаешь, что оригиналы были сожжены больше века назад, и с тех пор в моменты опасности Рим утопал в самых запутанных пророчествах, приходящих со всех концов света. В конце концов божественный Август устал и приказал их всё уничтожить. Я сам насчитал более пятисот свитков, когда их бросали в огонь. Римляне были в отчаянии: как же теперь узнавать будущее? Но Август обнаружил, что от Сивиллиных книг сохранилась одна копия, и спрятал её под статуей Аполлона. Быть может, — добавил он загадочно, — там написано и о тебе...

Гая обожгла мысль, что, возможно, в пьедестале статуи действительно написано его имя. Если так, то уже ничего не изменишь. Существует ли судьба? А если да, то какова она? Но эта жгучая мысль развеялась, как дым, и он сказал себе, что разговоры Игина — это ловушка, чтобы раскрыть его планы, а эти спрятанные книги были

изощрённейшей выдумкой Августа. Кто может проверить, что там скрыто? В них заглядывали лишь приставленные к ним жрецы и в конце концов вычитывали то, что хотели. Но почему же Август, такой ужасно рациональный, столь часто обращался с вопросами к астрологу Феогену? Почему отчеканил на монетах своё зодиакальное созвездие — Козерога? Почему опубликовал свой триумфальный гороскоп? Неужели в самом деле верил? А может быть, с высоты своего гения хотел, чтобы поверили другие и решили, что бороться с ним бесполезно?

Думая об этом, молодой Гай признался мечтательным голосом:

— Хотел бы я проехать по морю на Родос, Киклады, Спорады, до Эвксинского Понта. Если бы знать, что смогу...

— Ты знаком с ними, — раздражённо ответил старик. — Ты был там со своим отцом.

— Вот поэтому-то, — объяснил Гай, — я бы и хотел командовать кораблём и плыть от порта к порту...

Он улыбнулся, и старик, кипя негодованием, удалился, так как этот семнадцатилетний юноша, родственник императоров, похоже, совершенно серьёзно предавался такой ничтожной мечте.

РУКОПИСИ

Но в серые февральские дни молодой Гай обнаружил, что в центральном шкафу, закрытые решёткой, как драгоценные реликвии, лежат рукописи, написанные самим Августом. Он слышал разговоры об этих писаниях — почтительные, полные гордости и мифического восхищения, а с другой стороны, наполненные безнадёжностью и горчайшей семейной обидой. Примерно то же он ощутил в Александрийском порту, когда они с отцом увидели в мутной воде изуродованную голову Марка Антония из чёрного базальта.

Гай побежал позвать старого Юлия Игина, и тот — господин и судья всего, что хранилось в библиотеке, — услышав просьбу, погрузился в молчание. Потом на его лице отразилась радостная гордость, почти что любовь к любопытному юноше. Но вскоре библиотекарь замкнулся в настороженной сдержанности, испытывая боль оттого, что нужно открыть ларец. Наконец гордость и радость возобладали над осмотрительностью, и он сказал, гладя рукой решётку:

— Божественному Августу было семьдесят пять лет, когда он вручил мне, мне одному, вот здесь,

эти рукописи. Они существуют в двух экземплярах, и оба написаны его собственной рукой — один здесь, а второй в храме весталок, в самых священных хранилищах Рима. Когда прочтёшь это, тебе не понадобится читать никаких других книг, ни греческих, ни римских.

Август всё написал сам, втайне, чётким и твёрдым почерком, безупречно ровными строчками, с постоянным наклоном и размером букв. Это казалось работой искусного писца, но на самом деле было законченным продуктом ясного ума, который сам всё это и сочинил, слово за словом.

Всего было написано четыре документа. Первый лаконично, но торжественно передавал распоряжения насчёт похорон. Второй в мелочах описывал дотошное, точное управление Августа военным, административным и финансовым аппаратом империи. Август назвал этот труд «Полный краткий обзор державы». Всей империи, чтобы его преемник мог независимо от ненадёжных помощников мгновенно сориентироваться в ситуации. Третий документ содержал советы или, лучше сказать, неоспоримые распоряжения о том, как удержать власть внутри страны и как действовать в конс[]ликтах с соседями, вассалами, союзниками и врагами. Его Август назвал «О

республиканском управлении». И Тиберий, по словам Игина, немедленно получил эти копии.

Но четвёртым документом — Август озаглавил его «Список своих деяний»(«Index гегшп a se gestarum»)[33] — была его собственная история. Игин положил изящнейшую рукопись на пюпитр и велел Гаю не сдвигать её ни под каким предлогом.

Когда Игин прочёл, а возможно, процитировал по памяти заголовок, с кодекса поднялась лёгкая пыль. Август приказал, чтобы его труд был высечен на огромной мраморной плите и выставлен в Риме, и чтобы его также выбили на бронзовых табличках в столицах всех провинций империи...

— ...От Иберии до Армении, от Августы Треверорум до Александрии, и приказ был выполнен, — произнёс Игин и очень осторожно открыл кодекс.

Гай с нетерпением начал читать и с начала первой же строчки был околдован. Автобиография, предназначенная быть высеченной в мраморе и бронзе, начиналась грандиозной фразой: «В возрасте девятнадцати лет... по своей инициа-

[33] Примечания: 33

Этот труд известен нам как «Res gestae divi Augusti» («Деяния божественного Августа»).

тиве и за свой счёт я собрал войско и освободил государство от притеснителей...»

Девятнадцать лет, а слов ещё меньше. Безупречно ясные, они говорили всё то и только то, что автор хотел сказать. Не было никакого запутанного или искажённого смысла, малозначительных признаний, никаких эмоций или противоречий. Такие слова действительно стоило высечь в камне. Единственное скрытое качество, которое было возможно в них вычитать, — это мощная, спокойная, сознательная гордыня.

Через несколько десятилетий власть Рима распространилась на необозримые пространства, на десятки разных языков, преодолела тысячи границ и глубочайшие различия между подданными, от германцев до нубийских блеммов. А это ежедневно порождало неожиданные проблемы и требовало всегда новых, гибких и быстрых методов управления.

Но государственные структуры древней свободной республики зародились на незначительном клочке Средиземноморья; надменный республиканский сенат, уже разбившийся на беспорядочные течения, не подходил для правления разрастающейся великой империей. Сенаторы были вынуждены признавать своих вождей:

время от времени в сенатском корпусе появлялся кто-нибудь, рождённый для командования, — консул, триумвир, отец отечества, — и сенаторы делегировали ему часть своих полномочий. Или же он брал их силой. И тогда сенаторы восставали.

Посредством долгих, изнуряющих гражданских войн Август тонко обескровил старые республиканские порядки. А поскольку в сенате, в этих тысячах голов, было невозможно найти быстрое согласие по любой повседневной, незначительной проблеме, ему удалось мягко сократить их число до шестисот, отсеяв оппозицию. И оставшиеся были довольны, потому что, как ни странно, власть каждого из них возросла.

Он преобразил законы, не заменяя их, а изменив их применение. Он назвал себя защитником республики, когда республики уже не существовало. Его способности иллюзиониста были необычайны. Август мягко играл льстивыми титулами и реальными рычагами власти. Он уступил многие не слишком значимые государственные полномочия и обязанности, но оставил за собой те совсем немногие, что действительно имели важность.

Сенаторы издавали законы, а он заставлял

эти законы работать. С полным формальным уважением к республиканским прерогативам и конвенциям сенаторы, магистраты, ассамблеи занимались своей древней рутиной, но для самого Августа была придумана абсолютистская должность princeps civitatis — первый среди граждан. Он оставил сенату удовольствие избирать проконсулов в спокойные, внутренние сенатские провинции, но беспокойные, недавно завоёванные территории, на границах которых приходилось держать вооружённые легионы, управлялись его железной рукой. День за днём он усиливал свою хватку, маскируя диктатуру обманчиво гибкими структурами.

Сенаторы, уставшие от конфликтов, наблюдали за этой трансформацией со всё более покорным изумлением. Лишь кто-то с возмущением написал, что при безболезненной утрате власти великими родами Сципионов, Корнелиев, Фабиев, Гракхов — людей, творивших историю республики, — сенат пожирает сам себя. Время от времени сенаторы превращались в некое подобие монархического государственного совета, пытались отвоевать былой авторитет при помощи обструкционизма и бойкотов.

То и дело обнаруживался какой-нибудь заго-

вор, неизменна неудачный, и каждый раз он приводил к безжалостному судебному разбирательству. Потому что с этим сенатом — который уже когда-то объявил врагом Юлия Цезаря и, в конце концов, убил его — гений Августа сумел сохранять равновесие на лезвии ножа. С тончайшим, невообразимым искусством, двигаясь миллиметровыми шажками, он создал новый римский строй и установил свою личную власть практически выше всех законов.

Август не любил прямых столкновений с противниками или шумных публичных дискуссий — представьте себе, мог ли он любить войну. По сути дела, он никогда физически не участвовал в сражениях, ни на земле, ни на море, и никогда не был стратегом. И всё же пятьсот тысяч римских граждан взялись за оружие и последовали за его боевыми значками. Под его руководством легионы продвинулись туда, докуда никогда не доходили, — до плодородной Аравии и Эфиопии, а флот плавал до пределов Средиземного моря, которые раньше оставались неизведанными. А из самых отдалённых стран, даже из Индии, приезжали выразить почтение послы. Август действительно умел выбирать, кто будет за него сражаться, и всю жизнь его окружали блестящие

полководцы — Валерий Максим, Статилий, Карвизий, Теренций Варрон. Двоих лучших, Агриппу и Тиберия, он цинично женил, одного за другим, по очереди, на своей единственной дочери Юлии. Среди всего этого трагические семейные конфликты стали поистине пустяком.

Его выдающиеся дипломатические способности и приобретённая с опытом склонность к компромиссам уравновешивались — и в определённом смысле защищались — холодной и непосредственной жестокостью, которую он проявлял в критические моменты. Все эти таланты гармонично сочетались, превратив его в величайшего человека столетия. И грозного учителя для своих преемников.

Никакой помпы, никаких наград, никакой роскоши. Когда он возвращался в Рим из своих походов, то скромно въезжал ночью, чтобы не поднимать в городе переполох. Но в сенате при голосовании всегда первым подавал голос и неизменно увлекал за собой остальных. В двадцать первый раз его провозгласили императором, и он пользовался этим титулом с крайней сдержанностью. Когда его увенчали титулом Августа, что означает «достойный почтения и почестей», он едва улыбнулся. С этим новым титулом, который

мы привыкли считать собственным именем, он и войдёт в историю, и все его последователи в течение четырёхсот пятидесяти лет будут принимать это звание. Его переизбирали принцепсом в течение сорока лет подряд, и он милостиво принимал этот титул «до того дня, когда пишу». Гаю казалось, что он видит, как в своём маленьком, расписанном фресками тайном кабинете, в нескольких шагах от библиотеки, Август роняет слово за словом для передачи грядущим поколениям.

Прочтя рукопись до конца, Гай замер и зажмурился. Внутри него жило физическое наследие этого человека, который десятилетия назад написал всё это, а теперь лежал прахом в мавзолее. И возможно, думал юноша, судьбе угодно, чтобы он воплотил в жизнь это наследие.

FORMA IMPERII

Старый Игин повелительно произнёс:

— Ты должен ознакомиться с этим, — и выложил на стол какой-то древний свиток, о котором, несомненно, много лет никто не вспоминал, поскольку от сотрясения с папируса поднялись облака пыли.

Библиотекарь снял шнурок, своими умелыми старческими руками расправил первую часть, и Гай увидел вместо одной рукописи серию волнистых линий, бегущих по всему пространству листа. У бокового края был приклеен другой лист, и по мере того, как Игин постепенно разворачивал и разглаживал свиток, становилось видно, что волнистые линии перебегают на остальные приклеенные листы. Там и сям были отмечены чёрные кружки с написанными внутри названиями.

Игин ткнул пальцем и проговорил:

— Линии — это реки и дороги; кружки — страны и города. Не знал? Это начертил Агриппа, отец твоей матери.

И юноша вдруг вспомнил: была такая семейная легенда о поразительном проекте Марка

Агриппы, великого флотоводца, задуманном шестьдесят лет назад. Географическая карта всей империи — Forma Imperii.

До него никому на изведанных землях Запада не приходило в голову воспроизвести на чертеже — с пропорциональным указанием всех расстояний, рассчитанных картографами и инженерами, — империю, протяжённость и форму всех подвластных Риму территорий.

— Он был самым верным товарищем Августа... — сказал Игин с намеренной резкостью, разглаживая сгиб папируса.

Великий труд занял двадцать лет. Потом оригинал был ревниво помещён в имперскую библиотеку, и никто его больше не видел.

И с этого документа тоже была снята копия и замурована в мрамор в сердце Рима. Тысячи копий на папирусе или пергаменте в практичной походной упаковке, свёрнутые внутри футляра, были розданы военным командирам и гражданским чиновникам.

Меньше чем за два века империя растянулась на столь отдалённые земли, что лишь очень немногие могли представить себе её очертания. Но на этой карте Агриппа изобразил империю как раскинувшееся на земле ужасное гигантское

существо, дышащее и живое, с сотнями толстых вен, тянущихся от одной головы к другой, с проложенными на пятьдесят тысяч римских миль мощёными дорогами. Через каждые пять миль стояла промежуточная станция для смены лошадей, снабжения продуктами и питьём. На каждом месте привала — на расстоянии среднего перехода пешего легиона, в зависимости от трудности пути через пятнадцать или двадцать миль — располагалась станция, целый лагерь с госпиталем и постоялым двором, с помещениями для ночлега и сараем для повозок и скота. На карте были обозначены каждая станция, каждый постоялый двор. Через равные промежутки вдоль дорог были построены башни для зрительной сигнализации.

Агриппа разделил империю на двадцать четыре региона — дороги шли от Рима вдоль Тирренского моря к Нарбонской Галлии и Тарраконекой (Ближней) Испании и Испании Бетике (Дальней), с городами Нарбон, Тарракон и Августа Эмерита, до крайнего запада. Или же через Альпы в Галлию, Галлию Белгику, Лугдуненсис, Аквитанию — места, видевшие походы Юлия Цезаря, — и к далёким городам на широчайших северных реках — Сегусию, Лугдуну и Августе

Треверорум, где нынче располагаются Лион и Трир. А через другой перевал дороги спускались в сердце Реции, в Норик и Паннонию, до самой большой крепости против северо-восточных варваров — Карнунтума с собственным портом на Дунае. И ещё в Адриатику, Далмацию, Коринф, Афины, Македонию, к Эгейскому морю, Босфору, Эвксинскому Понту, в Вифинию, Киликию, царство Пергамон, которое было названо провинцией Азия, в Лидию, Карию, Ионию, провинцию Сирия, бывшую раньше богатейшим царством Селевкидов, в Иудею. Наконец, в Александрию, в Египет, на острова Сицилия, Сардиния и Корсика, на побережье Африки, от Кирен до Карфагена, и дальше в Мавританию до Атлантического побережья.

По этим дорогам проезжали проконсулы, легаты и префекты, двигались торговые караваны, маршировали легионы, пробегали прямо к великим равнинам востока и севера скорые волны лёгкой конницы и мощные валы тяжёлой, закованные в панцири всадники-катафракты; здесь тянули мощные осадные машины — мускулы, сносящие города. Это была империя, и Август был прав: власть над нею стоила смерти любого.

Однажды Гай, который по молодости не мог

безмятежно спать ночью и этим утром встал с постели совершенно уставшим, задремал днём, положив голову на руки, за столом, на котором была расстелена знаменитая карта.

Он был разбужен тычком в правое плечо двух тонких, но твёрдых пальцев. Это был старик, полуслепой библиотекарь. С ироническим весельем в красных глазах под морщинистыми веками он спросил:

— Тяжёлое учение, верно?

Выпрямив спину, Гай ответил, что да, действительно так.

С надменным презрением Игин проговорил:

— Подумай: ты так устал читать эту карту, а божественный Август в течение жизни хранил всю её у себя в голове. И он говорил мне, что для него думать о дорогах и городах на карте империи — всё равно что представлять портики и комнаты своего дома.

Он рассмеялся.

— Если бы передвинули вот такую бронзовую статуэтку, это не укрылось бы от него.

Гай с глупой покорностью тоже рассмеялся, но, смеясь, понимал, что играет со смертью. Смерть обступила его, лицемерная, осторожная и невидимая, как крокодилы в Ниле, которые, выставив

глаза у кромки воды, следят за пришедшими на водопой неосторожными газелями. Он посмотрел на поражённые катарактой глаза библиотекаря и принялся за чтение, обхватив руками подбородок.

Он читал несколько часов, возвращался назад и задумывался, сам не понимая, зачем читает. В этом не было никакой логики. Но потребность этих исследований поднималась из глубины души, возможно, под действием психических импульсов или под действием воспоминаний, оставленных в его плоти предшественником. Его «я» тянулось к этому погребённому миру — «нет-нет, не погребённому, а заключённому, как семя в землю, как золотая монета в кованый сундук». В листах папируса, в шуршащих пергаментах величайшие мудрецы прошлого продолжали жить, бессмертные, в то время как их бренные мозги превратились в прах.

А ему, в столь раннем возрасте видевшему смерть своего отца и без иллюзий пережившему муки матери и братьев, обладание этими древними словами — тоже рождёнными в молчании, одиночестве и страданиях — дарило нечто вроде ясной неуязвимости. Великий Разговор по ту сторону жизни, смерти, тысячелетий, расстояний

поглощал и его. И никто в зловещем доме Ливии не представлял, сколь неодолимым, недостижимым, триумфальным был его побег.

Надзиратели описали Ливии его тупость и упрямство. А он думал о том, что Август правил пятьдесят лет, разрушив десятки заговоров, и царственно умер в своей постели. Теперь казалось, что император рядом и с какой-то таинственной настойчивостью разъясняет ему безжалостность и высокое искусство своей власти. Гай закрыл глаза и задумался.

«Вам не удастся убить меня».

ГРЕЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Греческая библиотека располагалась в портике, выходившем в крохотный внутренний садик. Здешние служители вскоре стали Гаю друзьями. Они вытаскивали из шкафов и самые древние, и самые опасные свитки и тетради с недавними дискуссиями. Главным библиотекарем был аттический грек, чрезвычайно проницательный и обладавший необыкновенной зрительной памятью. Он ласкал на полках кожаные футляры со свитками, как живые существа, как морды прекрасных охотничьих собак.

Если он разворачивал свиток с поэзией, какое чудо было его слушать! Он любил читать с выражением, громко, и цитировал десятки стихов по памяти, сжимая в руках свиток того или иного поэта. Он декламировал, как трагический актёр, и слог за слогом пробуждал звуки каждого слова, с неземным изяществом расставляя ударения и паузы в сложных стихотворных размерах. Литература была для него миром звуков, и он так волновался, передавая их, что иногда казалось, будто забывает смысл слов.

Гай сидел с библиотекарем в саду и под низким

солнцем римской зимы, закрыв глаза, слушал его чтение. И оба, раб-грек и внук императора, мысленно уносились куда-то вдаль. Гай иногда поднимал веки, словно просыпаясь, и с удовлетворением видел, как его неотвязный эскорт дожидается его в смертельной скуке.

Однажды грек-библиотекарь взял в руки сочинение Аполлодора Пергамского, по которому учился красноречию Август.

— Смотри, — сказал он. — Философия, математика, медицина, музыка — все говорят лишь по-гречески.

Это действительно было так: по всей империи распространялся культурный феномен двуязычия, из-за чего повсюду в разговоре с лёгкостью переходили с латыни на греческий.

— Если ты хочешь сказать нечто важное и возвышенное, то должен вложить это в греческие слова.

Однажды меланхоличным утром Гаю попали в руки сочинения Геродота, великого путешественника и историографа. Юноша поверхностно пробежал по строчкам и вдруг ясно увидел, словно написанное другими чернилами, всего одно слово «Саис» — название священного города на Ниле. Он положил рукопись на стол, разгладил её

и прочёл, что за пять веков до него этот человек побывал в Египте, был принят в сансском храме и на озере, наполненном водами Нила, присутствовал при ритуале священных кораблей — молитве Великой Матери Исиде, богине с именем, подобным дуновению ветра. Геродот назвал этот ритуал «Ночью пылающих лампад» и заключил: «Египтяне называют всё это таинством. И хотя я узнал многое об этой церемонии, у меня нет желания писать о ней, дабы не раскрывать тайны».

СТАРШИЙ БРАТ

Всё это время никто не упоминал при нём о его матери или братьях. Гай не имел представления, где укрылся Друз со своим дневником, и мысленно спрашивал себя по ночам, ворочаясь в постели в своей убогой комнате: «Если он на свободе, то продолжает ли вести свои записи?» Но сумел заставить себя ничего о них не говорить и не спрашивать. Он также ничего не знал о своём жилище на Ватиканском холме и вообще: обо всём, оставленном позади. Почти целый год он ни к кому не обращался первым, а лишь отвечал, учтиво и немного рассеянно, если обращались к нему.

Гай ощущал беспросветное бессилие. Он гулял в саду с определённой методичностью, описывая крути внутри ограниченного стенами пространства. Из дома Ливии Рим был почти совсем не виден. Гай сознательно никогда не просил разрешения выйти за пределы дворца, а ему никто не предлагал, и было ясно, что никто ему этого не разрешит.

Все эти месяцы, вспоминая роковую неосмотрительность молодой жены своего брата Нерона,

он не приближался ни к одной из праздно прогуливавшихся послушных молодых рабынь, что появлялись на дорожках. Он подозревал, что им велено заинтересовать его. И действительно, в течение пятидесяти лет Ливия вводила в комнаты Августа юных испуганных девственниц, к которым он испытывал болезненное влечение. Она привозила жертв из дальних стран, и они, не знавшие ни слова по-латыни, были обречены на другой же день неизвестно куда исчезнуть.

Но Гай день за днём реагировал на все коварные встречи с наивным безразличием. Он замечал язвительные улыбки за спиной, улавливал насмешливые реплики и испытывал облегчение от этого: ведь если в общем мнении он представал безобидным дурачком, ему не угрожала смерть. Ему было семнадцать с половиной лет, а жизнь навязывала ему стариковские мысли.

Гай обнаружил, что ничто так не сбивает с толку шпионов Ливии, как неожиданный в своей глупости ответ. Он нашёл, что очень полезно сопровождать такие ответы удовлетворённой улыбкой, словно его ум произвёл афоризм.

«Ещё придёт день, когда вы увидите мою улыбку», — думал он, отмечая направленные на себя взгляды, когда с тщательной осторожностью

обрывал с розового куста увядшие лепестки.

А однажды утром, вроде бы случайно, встретил на аллее того офицера, что доставил его сюда после ареста матери. Офицер приблизился и, отдав воинский салют, быстро проговорил:

— Все живы пока.

Потом оглянулся и шёпотом добавил:

— Друз тут неподалёку.

Гай на мгновение закрыл глаза, а когда открыл, офицер уже отошёл, и юноша продолжил свою неторопливую прогулку, чтобы унять охватившие его эмоции. Если Друз «неподалёку», это означает, что его поймали. А его страшный дневник, который он забрал в последнюю ночь из шкафчика в библиотеке, — он где?

Офицер из жалости умолчал, что Друз, которому едва перевалило за двадцать, оказался совсем рядом лишь потому, что был заточен в подземельях дома Тиберия; эта цепь страшных темниц войдёт в историю как Палатинские подвалы.

Ночная тишина в доме Ливии пугала. Сон Гая был прерывистым и беспокойным, от дуновения ветра за ставнями он просыпался, и теперь направлять какую-либо мысль было всё равно что безнадёжно разматывать один и тот же клубок. Возникал образ дрожащей в подушках

матери, и смеющегося над каким-то пустяком Нерона, и пишущего с нахмуренным лбом Друза. Гай больше не засыпал, а лежал в темноте, пока меж занавесок не просочится ленивый зимний рассвет. Он сказал себе, что, возможно, дряхлая Ливия, Новерка, точно так же ворочается ночью от беспокойных мыслей. И действительно, в Риме говорили, что она страшно страдает от бессонницы.

Ливия неожиданно появилась в глубине сада и пересекла его, опираясь на двух покорных рабынь, семеня мелкими шажками. За спиной у Гая вольноотпущенники бормотали, что ей уже, наверное, восемьдесят восемь или восемьдесят девять лет, никто не знает точно.

— Больше, — проговорил чей-то недобрый голос.

«Как такой человек, как Август, — подумал Гай, — мог разделить всю свою жизнь с подобной женщиной, что стоит здесь, как мумия, старая и дряхлая, кутаясь в белую шерсть даже летом? Какова же была она семьдесят лет назад? Что он в ней нашёл?»

«Мужчине, — когда-то говорил Германик, — нужна женщина, рядом с которой веришь, что можно спать спокойно».

За всю свою жизнь Ливия, в высшей степени умная и холодная женщина, пережив в определённом возрасте сильную любовь, превратилась в самую страстную и верную служительницу власти Августа. От него Ливия бесстрастно принимала всё: постоянные и известные всему городу измены, интрижки с жёнами друзей, которые были и её подругами, жизнь, расписанную по часам, распорядок дня, какой он требовал, его отношение к ней самой как к лучшему союзнику и уж ни в коем случае не как к женщине. Она освободила его от лжи и стыдливости в их отношениях. Спорила, советовала, подсказывала, настаивала с уверенностью бесполого существа, что уже ограждало её от сравнений, отвращения и разрыва. Она наблюдала и следила, как султанша, за качеством и опасностью женщин, входивших в комнаты этого высокого интеллектуала, непредсказуемого и многим непонятного. Втайне презирала его мужские слабости и настолько понимала его душевные переживания, что могла направлять их, контролировать и отравлять без его ведома. Она никогда ничего не просила, так что казалось, что у неё нет личных желаний, разве что когда шёпотом подталкивала императора к какому-нибудь безжалостному убийству. И всё

это оттого, что без него, как написал Друз, она была бы ничем.

За спиной Гая кто-то шептал, что Тиберий, обожаемый сын Августа и глубинная причина его преступлений, «уже много лет не видится с матерью». Гая удивило, что об этом без стеснения говорят при нём. Ему было всё равно. Но он делал вид, что не слышит.

По сути, после настороженности и подозрительности первых дней все успокоились, постепенно приходя к мысли, что сын Германика не обладает ни особым умом, ни волей, ни строптивостью, более того, он глуп, и им легко манипулировать, то есть это идеальный преемник власти.

Ливия тем временем остановилась, медленно села и, увидев его, велела подойти. А когда он подошёл на расстояние слышимости её слабого голоса, сказала:

— Этот маленький садик очень нравился божественному Августу, он приходил сюда отдохнуть от забот об империи.

Монотонным голосом она рассказала, что Август правил столько лет, потому что долго обдумывал каждый свой поступок.

— Германик же умер молодым.

В её устах это звучало жутко, и Гай понял, что

здесь проскользнула угроза. Но Ливия с улыбкой добавила, что Германик старался подражать высокому искусству власти, каким обладал Август, и, возможно, понимал, что это единственный способ сохранить её, а в конце концов и выжить.

— У него не хватало терпения, — заключила она, — а это опасно, потому он и умер в столь молодом возрасте.

Гай никак не отреагировал. Он уже в совершенстве владел мышцами лица, полностью контролировал непроизвольные движения рук, положение ног. Германик когда-то говорил, что мужчина говорит не словами и иногда даже не глазами: он, как лошади, как охотничьи собаки, говорит подрагиванием и напряжением тела. «Если опасаешься, что человек лжёт, посмотри, как напрягаются его пальцы, как он шевелит ногами в обуви».

Гай усвоил это и теперь слушал, расслабленный и неподвижный, ровно глядя Ливии в глаза. А когда она закончила говорить о его отце, сказал, словно смущаясь, что не знает, что ответить:

— Мне об этом не рассказывали. Я был ещё маленький в то время...

Он увидел едва заметное раздражение: старуха сожалела, что так много говорила с мальчишкой,

который не способен ничего понять. После этого она до самой смерти не сказала ему больше ни слова.

Но на следующий день — по одному случайно услышанному упоминанию, обрывку фразы — Гай понял, что на острове Понтия умер его брат Нерон. Прилив тревоги был таков, что, повинуясь инстинкту самосохранения, он продолжил шагать, говоря себе, что просто что-то не так понял, что это неправда. Но через несколько шагов, проходя мимо других людей, снова услышал, как и они без всякого сочувствия повторяют те же слова. Он не стал спрашивать и не обернулся. Никто не сказал ему ни слова, никто не дал знать, как и почему это произошло. Гай вернулся к себе в комнату и закрылся там.

ЗИМА

Прошло лето, за ним осень, и однажды утром, когда по нежному римскому зимнему небу пробегали белые облака, пожилой офицер, уже оставивший службу в легионах и заведовавший охраной дома Ливии, вдруг сказал Гаю:

— Я видел твою мать, Гай, ещё молодой, какой, наверное, её запомнил ты.

Юноша резко повернулся и посмотрел ему в глаза, словно в зеркало.

— Она была прекрасна, — проговорил офицер ай понял, что в его памяти осталось её лицо, каким оно было пятнадцать лет назад. — В зимний холод мы сражались с херусками Арминия, напавшими на мост через Рейн. И наши солдаты, защищавшие мост, отступили с криками, что мост потерян и что его надо сжечь. Но тут под германскими стрелами появилась твоя мать. Я был там и видел это: она остановила бегущих солдат и велела им сражаться. Люди устыдились, и мост был спасён.

Даже римские историки, столь скупые на похвалы, передают это в своих записях. «Femina ingens animi» — «женщина великого духа», — ко-

ротко написал Тацит.

Гай ощутил рискованный порыв обнять этого офицера, но переборол себя, и тот, не ожидая никакого ответа, пошёл своей дорогой.

А Гай пошёл своей. Кончалась уже вторая его зима в доме Ливии, зима суровая, ветреная и непривычная: снег покрыл гору Соракт и Альбанские холмы, снег был даже на розах в саду и камышах-папирусах, привезённых Августом из Александрии. В то утро Гай вдруг заметил, что сквозь замёрзшую траву вылезают фиалки, пересаженные с вулканического озера Неморенсис.

После многих недель он увидел розовые бутоны, семенящих по искусственно насыпанной почве дроздов, увидел, как из полусгнивших тёмных камышей пробивается зелёный побег. И спросил себя, почему до вчерашнего дня никогда ничего этого не видел.

И вдруг, без всякой логики, подумал, что, возможно, жизнь принадлежит ему. У него есть союзник — не Тиберий, не Ливия, не Сеян, не сенаторы в своих ненавистных тогах и похоронных чёрных башмаках, они никогда не смогут перетянуть его на свою сторону. Его союзник — Время, нетленный бог, опирающийся на серп.

Он шагал, и утро казалось легким и нежным.

Пусть он последний в своём роду, но обладает коечем, чего никогда не получат его старые враги, — будущим. Он детёныш льва с ещё неокрепшими когтями. Нужно подождать, как ждут камыш, дрозды, фиалки и розы. Гай ощущал мощное дыхание Времени в тишине сада. Он поворачивал эту мысль так и сяк, и она становилась всё яснее и не встречала преград, как теряет шероховатость камень, обрабатываемый на точильном круге.

Спустя несколько дней Гай услышал из обрывочных разговоров вольноотпущенников, что Ливия Августа «заболела». Говоря так, они смотрели на него, возможно чтобы уловить его реакцию. Но он казался лишь по-детски рассеянным.

Говорили, что на Капри отправили гонца, и вся августейшая фамилия нервно дожидалась императора, который уже много лет не навещал свою страшную мать. В один из этих долгих мучительных дней некий вольноотпущенник, стоя в том углу, где тихо сидел и читал Гай, с усмешкой сказал по-гречески с сирийским акцентом:

— Что толку прибирать и прибирать в комнатах. Тиберий никогда не приедет. Последний раз, когда они виделись, встреча была не слишком приятной: она показала ему эти кошмарные письма Августа...

Гай напрягся в своём углу, но говоривший не проявлял ни сдержанности, ни страха, что его услышат, — напротив, его голос стал громче, и казалось, что слова обращены именно к Гаю.

«Какие письма?» — думал тот.

Сириец-вольноотпущенник продолжал ухмыляться:

— Письма тех времён, когда Тиберий был в заключении на Родосе. Ливия хранила их сорок лет, и он рассердился, пытался вырвать их у неё, но она не поддалась...

Гай поднял глаза и встретил взгляд вольноотпущенника. Значит, его слова и правда предназначались именно ему. Самые старые и верные слуги Ливии таили в себе, как и все рабы, бездну не находящей выхода злобы. Юноша спросил себя, где же спрятаны эти письма Августа. Никто не мог их найти. Так на века они и останутся тёмной легендой, о которой шепчутся историки.

Вольноотпущенник со своими друзьями удалился, и Гай сказал себе, что если этот человек так говорил и хотел, чтобы его услышали, значит, будущее изменилось.

Действительно, императора тщетно дожидались, пока Ливия умирала в Риме. Одна старая рабыня сказала, что Тиберий после шестидесяти

лет так и не простил матери, что в дни своей великой любви с Августом она оставила его младенцем в безжалостных руках наставников и учителей. Но возможно, шептались люди, хватало и других причин. В отдалённых и тихих помещениях дома, читая длинные и запутанные «Приключения Александра», Гай радовался горькому одиночеству старой Новерки. Известие, что Ливия умирает в одиночестве, так и не увидев сына, переходило в Риме из уст в уста, и кто-то, чтобы оправдать скандальное отсутствие Тиберия, придумал, что император опасается заговора и покушения на него.

Гай вошёл в свою комнату и закрыл за собой дверь. Он хотел — пусть даже с этим сорванным засовом — вновь обдумать каждое услышанное слово наедине с собой. Никто не сказал ему, обратилась ли Ливия к сыну ещё раз, послала ли ему своё последнее письмо. В любом случае, на Тиберия это не повлияло. И она осталась лежать в своей комнате с изысканно расписанными стенами, чтобы умереть в одиночестве.

Так закончилась долгая жизнь Ливии Августы. Гаю не позволили увидеть её, да он и не просил. Все с последними ничтожными надеждами ждали прибытия Тиберия на похороны. И ждали

очень долго, так что, когда тело возложили на погребальный костёр, как пишет язвительный Светоний, оно уже почти разложилось.

И вот римские магистраты обнаружили, что после стольких смертей ближайшим родственником Новерки в Риме остался молодой Гай. Бесстыдные игроки в борьбе за власть возложили на него, восемнадцатилетнего юношу, обязанность произнести погребальную речь. Это будет его первое публичное выступление, сказали ему с притворной почтительностью дворцовые чиновники, и он спросил себя, какие указания они получили и с какой целью. Кто-то добавил с двусмысленной лестью, что все горят любопытством услышать его: ведь он сын легендарного Германика и Агриппины, внучки Августа. Но Гай сказал себе, что всё это результат опаснейших замыслов Тиберия, и задумался о его мотивах.

Имперских чиновников удивило абсолютное спокойствие, с которым он, столь молодой, готовился к выступлению, но в конце концов все решили, что глупо придавать этому слишком большое значение. Они не знали — да и сам он не знал до того дня, — что эта публичная речь станет для него чистой радостью, восторгом, источником очарования.

Гай сделал вид, что готовится к речи. После длительного чтения его ум был полон выразительных латинских фраз, чистых и пропорциональных греческих конструкций; но с осмотрительным притворством после двух неловких строк он попросил помощи у членов августейшей семьи, и те помогли ему с равной мерой осторожности и угодливости. Юноша с удовлетворением видел, что сам бы он написал торжественную речь получше их, но почти ничего от себя не добавил.

Он говорил о смерти Ливии, об Августе и обо всей этой истории со злорадным удовольствием: с каждым словом прошедшие тяжкие годы падали всё глубже в прошлое, заканчивались, чтобы уже никогда не вернуться. По мере того как он говорил, страшная Новерка отступала в тень и её замыслы умирали вместе с ней, а он, детёныш льва, оставался живёхонек. Но всё это прикрывалось простодушием перед сенаторами, жрецами и магистратами, которые, несомненно, знали гораздо больше его о кровавой истории его семьи, и пока он говорил, со своим долгим лисьим опытом размышляли, что кроется за этой юношеской безоружной невинностью. Ему ещё представится возможность оценить молчание и внимание сенаторов, но в тот день никто не

мог этого вообразить. Во всяком случае, пока Гай говорил, он пару раз запнулся, глядя в записи, словно в самом деле покорно читал написанный другими текст. Если кого-то нужно было успокоить, то это ему удалось.

Наконец дым погребального костра обволок старый, дряхлый труп, а потом и вовсе скрыл. Бронзовые двери в мавзолей Августа открылись, чтобы впустить похоронный кортеж, который поставил урну на положенный монумент. И когда всё, что осталось от Ливии, поместили внутри, Гай несколько часов ощущал абсурдную, страстную надежду, что его мать и брат Друз могли спастись. Однако на следующий день после погребения от Тиберия прибыли совершенно неожиданные указания. Видимо, он написал их сразу же, как только узнал о смерти матери, или приготовил заранее. Император приказывал закрыть зловещий дом Ливии, а молодого Гая переселить в дом Антонии, престарелой матери убитого Германика, то есть к родной бабушке.

Антония родилась много лет назад от короткого и несчастливого брака дочери Августа, влюблённой Октавии, и мятежника Марка Антония. И теперь все упоминали о её славном августейшем происхождении, хотя никто не смел называть

отца, чьё имя она, однако же, носила с горькой гордостью. Говорили, что Антония — единственная во всём Риме, кто не боится Тиберия. «Ни один доносчик, ни один шпион не смог бросить на неё тень». За всю жизнь она лишь однажды была замужем, в очередной раз ради безжалостных и замысловатых интересов власти, — за вторым сыном Новерки, скандально знаменитым сыном, которого Август не смог признать своим, так как это был сводный брат Тиберия, и потому он умер довольно молодым. После его преждевременной смерти Антония несколько десятилетий прожила вдовой, безупречная и великолепная в своём доме, где с несравненным изяществом разместились собранные в Египте сокровища. Её окружали верные рабы, вольноотпущенники, экономы — почти все египтяне или нубийцы. Во дворце, где она проводила суровые в своей простоте дни, читали великих писателей древности; сюда приходили очень немногие, только артисты, историки, философы или торговцы с шелками, слоновой костью и жемчугом, с чанами редких растений из Африки и Азии для её садов, с бальзамами и благовониями.

Молодой Гай, выслушав распоряжения насчёт своего будущего от заговорщически улыбаю-

щегося офицера — впервые за столько месяцев кто-то ему улыбался без страха, — ощутил прилив абсолютного счастья, словно среди лета нырнул в прохладное озеро. Ведь Антония была той, кто в отрочестве застал последние дни Клеопатры, трагедию самоубийства двоих в Александрии и триумф Августа.

ДОМ АНТОНИИ

Престарелая Антония была чудесной госпожой без возраста и без морщин, в нежных шелках очаровательной расцветки, окружённая изящнейшим двором, в сравнении с которым жилище Ливии казалось отвратительным и убогим. Когда они остались наедине, Гай в порыве чувств обнял её и сказал:

— Вот уже почти два года я ничего не знаю о моей матери и брате Друзе. Два года я не видел их, не слышал их голоса, не читал ни слова от них. Кажется, в Риме никто ничего о них не знает!

Его голос чуть не сорвался на крик.

Антония вдруг сжала его лицо руками, и тяжёлые перстни сдавили ему виски.

— Тебя могут услышать, — шепнула она и покрыла его лицо нежными поцелуями.

Гай ощутил мягкие надушенные волосы, гладкую щёку, шелестящий шёлк её одежды с вышивкой и длинными рукавами на греческий манер. Он замолчал.

— Я тоже не знаю, — прошептала Антония.

Гай ждал. Тревога, словно когтями, терзала ему нутро. Антония продолжила:

— Я тоже не много смогла узнать, когда спросила у Тиберия. Он ответил, что они живы, но больше ничего сказать не захотел, потому что безопасность империи важнее известий о семье.

Она остановила протестующий жест юноши и посоветовала:

— Подожди. У тебя есть время, — и провела пальцами по его губам, не давая произнести лишних слов. — Что касается сестёр, Тиберий выдал их, таких юных, замуж за своих преданных патрициев, что оказались старше своих жён лет на двадцать, а то и больше.

Гая охватила тоска, а потом бессильная ярость.

— И теперь кровь Германика оказалась разбавлена кровью его врагов!

Антония покачала головой. Её лицо с тонкой чистой кожей, натянутой на скулах, высокими бровями и гладким лбом стало удивительно спокойным. Казалось, она никогда не страдала. Шею её обвивал в два оборота золотой с жемчугом обруч.

— Знаю, что тебе трудно, но прошу тебя: не ищи своих сестёр, не говори о них ни с кем. Жди.

Она погладила его и, ощутив, что он дрожит от злости, проговорила:

— У тебя красивые глаза. Дай мне рассмотреть

их.

Гай широко раскрыл глаза, и Антония пробормотала:

— Как у твоего отца: серо-зелёные, больше зелёные, чем серые... — Но, ощутив в них сдерживаемое, почти гипнотическое напряжение, прошептала: — Твой взгляд сильнее.

Гай прищурился и улыбнулся.

— Продержись ещё немного, — сказала Антония. — Кровь Германика — это ты.

Она провела его в зал и усадила рядом с собой на низенькую скамеечку, понемногу смягчая в нём мятежное нетерпение.

— Я была на семь лет младше тебя, когда вся моя жизнь переменилась. Это случилось в великий исторический день для Рима — третий день триумфа Августа после завоевания Египта.

Зал был весьма изящен и тих, здесь ощущался аромат от стоявших в больших вазах цветов.

— С тонкими золотыми цепями на шее и запястьях, в длинных шёлковых одеждах, поблекших от пыли, — до того я никогда не видела шёлковых одежд — во главе кортежа шли двое пленных подростков. Это были мои брат и сестра, и я видела их в первый раз. Это были дети моего покончившего с собой отца и умершей вместе с ним его подруги

Клеопатры, царицы, заставившей его бросить мою мать. Они были моими ровесниками. Моему отцу удалось почти одновременно оставить память о себе двум женщинам. Моя мать плакала, когда я родилась. Потом говорили, что и та другая, на юге, тоже очень плакала.

Гай сидел у её ног, как годами сидел у ног матери, опершись локтями о её колени. Она погладила его, повернула к себе его лицо и спросила:

— Ты не веришь, что всё это было для меня невыносимо? Возможно, нынче ты переживаешь то же самое?

Гай отстранился от её ласк и не ответил. Она же двумя руками надавила ему на виски и помассировала лёгкими пальцами, чтобы разогнать его мысли. Гай закрыл глаза.

— Египетские рабы говорили мне, что Марк Антоний, — она каждый раз называла своего отца по имени, как историческую личность, — в последние дни, когда накатывала тоска, просил свою царицу погладить его...

Её руки продолжали гладить его виски.

— ...Вот так.

Гай открыл глаза, и Антония сказала:

— Моему отцу было тридцать лет, когда он впервые заговорил с царицей Клеопатрой, и это

случилось в тот день, когда убили Юлия Цезаря.

Клеопатра ещё жила в Риме в дни своей шумной любви с Юлием Цезарем, и их сын, маленький Птолемей Цезарь, наследник, одним фактом своего существования политически терроризировал почти всех сенаторов. И потому в то мартовское утро Марк Антоний, верный сторонник Юлия Цезаря, с шумом ввалился в её резиденцию и, должно быть, сказал ей с грубой непосредственностью, что её господин злодейски убит перед всей курией и что ей тоже грозит большая опасность. Трагичность момента не позволила излишних экивоков ни тому, ни другой: они поняли друг друга, словно были знакомы всю жизнь. Он видел её головокружительную красоту, высочайшее мужество, не позволявшее предаться слезам, молниеносную сообразительность; она же видела в нём единственного мужчину в Риме, кто позаботился о ней и дал возможность сбежать с маленьким сыном, вызывавшим ненависть всего Рима.

— Их новая встреча была неизбежна. Недействительно, вскоре он вновь увидел её на Востоке. И уже ничто не могло их разлучить. Ничто — даже его брак с моей матерью, дочерью Августа.

Весь Рим знал, что Марк Антоний с трудом

переносил свой брак с Октавией, напоминавший рабские оковы. По сути, оставив жену в Риме, он тут же отправился к своей царице. Придуманная Августом брачная стратегия быстро превратилась в жгучее унижение. Но сенаторы помнили, что за несколько лет до того «этой египтянке» удалось помрачить рассудок столь опытного и твёрдого человека, как Юлий Цезарь, до такой степени, что весь сенат не нашёл другого выхода, кроме как убить его. И теперь Марк Антоний в своём союзническом пакте с Клеопатрой тоже уступил ей остров Кипр, часть Сирии и часть провинции Африка вокруг Кирены. Как и в случае с Юлием Цезарем, кроме беспощадной любви она строила и глобальные планы, касавшиеся власти. В Риме от этого все пришли в бешенство. «Он дарит города и провинции, как своё личное имущество!» — кричали сенаторы.

— Моя мать любила его. У него было всё, чтобы вызвать любовь столь мягкой женщины: военная слава, вечная занятость, репутация развратника. И моя мать до последнего дня надеялась, что он вернётся. Но, как говорят старые сенаторы, несмотря на повеление Августа, на слёзы и судорожные попытки моей матери вернуть его, он не мог удержать себя на расстоянии от египтян-

ки. Некоторые в конце концов нанесли ему там визит и вернулись в негодовании с рассказами, что он стал неузнаваем, что в нём не осталось ничего от римлянина. Чем вызвали горькие слёзы моей матери... И, наконец, он послал ей письмо с разводом, чтобы жениться на Клеопатре. Такое жестокое письмо, что моя мать закричала: «Это не мог написать он!» Но Август велел ей не плакать. «Это письмо написано в опьянении от вина, — сказал он, — и ранит не женщину, а наносит оскорбление Риму». Так началась война, в которой Марку Антонию было суждено погибнуть.

Голос Антонии звучал взволнованно, потому что столько лет она ни с кем не могла вот так открыто говорить. Молодой Гай с чувством умиротворения и уверенности оперся локтями о её колени, не ощущая нужды озираться.

Но она прекратила гладить его.

— И вот пришёл день, страшный день триумфа Августа. Я смотрела на кортеж с высоты императорской трибуны. И видела повозки и носилки с выставленной напоказ добычей золота. Это была золотая река: статуи богов, львы, сфинксы и ястребы, канделябры, вазы. Толпа опьянела от вида всего этого. А потом вдруг вынесли огромный портрет царицы Египта на ложе — почти

нагая, она подставляла грудь укусу кобры. И крик толпы оборвался, лишившись дыхания при виде этой картины. Но за образом мёртвой царицы последовали живые пленники — её дети от покончившего с собой моего отца. По всей дороге толпа непрестанно выкрикивала оскорбления этим подросткам, и, несмотря на охрану, кто-то пытался добраться до них. Мальчик никого не видел, а девочка вздрагивала как газель, если до неё дотрагивались. Их руки безвольно повисли в цепях, но голову они держали высоко. За ними следовал растерянный мальчик ещё младше их, лет семи. И он тоже был в цепях. С высоты трибуны — поскольку я, двенадцати летняя, оставалась племянницей победителя, хоть он победил и убил моего отца, — я стояла рядом с матерью и смотрела. Кому-то удалось схватить девочку за шёлковое платье, и оно сползло с худенького плечика. Охрана схватила нарушителя. Я видела её кожу, более тёмную, чем наша, цвета мёда. Из её глаз выкатились скупые слёзы. Под нашей трибуной кортеж остановился. Я увидела белых жертвенных быков, музыкантов, ликторов. Август на квадриге поднял руку, приветствуя нас. Толпа взревела. Поскольку моя мать, брошенная и униженная, была ему сестрой, это была его месть

за неё. Но побеждённый и убитый оставался мне отцом. Детям той, другой женщины пришлось остановиться перед нами, но они не подняли глаз. Крики затихли. «О, и ради этого устроили войну?» — проговорила моя мать. Кортеж двинулся снова. Какое соцветие великих имён дал Марк Антоний этим прекрасным детям внизу, сыновьям другой женщины, по сравнению с данным мне незамысловатым республиканским именем Антония! Мальчика звали Александр Гелиос, именем завоевателя Давилона и божественным именем солнца, а девочку — Клеопатра Селена, именем царицы Египта и лунного божества. Они были близнецами. Астрологи в Египте нашли в их рождении чудесные знаки — в семени их отца, лоне матери и зодиакальных созвездиях. Но теперь все эти знаки принесли беду. Позади них, закованный в цепи и напуганный, двигался самый блистательный кортеж, какой только видел Рим: сотни артистов, врачей, архитекторов, поэтов, жрецов, музыкантов, слуг, поваров, акробатов — весь двор царицы Египта в своих разноцветных одеждах. Август привёл их сюда как диковинных животных, чтобы бросить на потребу народу Рима. Но моя мать смотрела на всё это широко раскрытыми глазами, и в этот момент, как потом

сама мне рассказала, она начала понимать, почему её любимый Марк Антоний оставался в той стране с той женщиной, пока смерть не забрала его. И от этого его мука немного утихла.

Гай Цезарь слушал; за год молчания он привык слушать. — Ты ещё не устал?

Он страшно устал, ему хотелось лишь лечь, свернуться калачиком и уснуть. Но голос и ласки приносили утешение — это были первые, чудесные моменты полного доверия.

А престарелая Антония полными слёз глазами увидела в уставшем мальчике тень своего сына, отравленного в Сирии.

— Я очень стара, — сказала она, и улыбка осветила её чистое лицо, — и судьба пожелала дать мне долгую память.

Её память была подземельем, куда десятки лет никто не входил.

— Но я не хочу нагружать тебя новой ненавистью. С жизнью моей матери Август творил всё, что хотел, как и со всеми женщинами своей семьи, и она никогда ничего у него не просила. Однако после того ужасного кортежа на триумфе попросила отдать ей троих детей Марка Антония и царицы Египта. Август вскоре забыл о них, как и обо всех рабах; он думал, что она хочет полу-

чить удовольствие от мести. Помню, я дрожала в ожидании. Но когда прибыли эти потерявшие всякую надежду напуганные подростки и стадо рабов под конвоем преторианцев, моя мать мне шепнула: «Я хочу понять». Мы стояли в атрии. Пленники двигались медленно, безмолвно, уверенные, что во дворце брошенной жены встретят самую мучительную смерть. Моя мать сказала мне: «Смотри, сколько они выстрадали...» Она первая шагнула навстречу девочке по имени Клеопатра Селена, моей сестре, которую я до этого дня не знала. Девочка была очень тоненькая, высокая, и стояла неподвижно, свесив руки вдоль тела; у неё были большие тёмные глаза. Мать чуть развела руки, положила их ей на плечи и привлекла к себе. И вдруг, в едином порыве, не сказав ни слова, они обнялись.

На последней фразе Антония запнулась, и в её голосе послышались слёзы шестидесятилетней давности.

— В этот момент я посмотрела на рабов, которым предстояло умереть, — сказала она, — и увидела, что это значит — сказать кому-то: «можешь жить». Я, почти ребёнок, увидев, как мужчины и женщины, рыдая, покрывают поцелуями руки моей матери и её одежды, испытала

необычайные чувства и заплакала ещё пуще них. Все улыбались с мокрыми глазами, говорили на разных языках и произносили непонятные слова. Тут моя мать впервые в жизни сделала властный жест — вызвала командира преторианцев и велела им всем уйти. И в наш дом вошёл Египет.

Дом Антонии был единственным местом в Риме, где все эти годы, хотя и вполголоса, утверждалось, что Марка Антония и Клеопатру погубила не любовь, а великий, неосуществимый план объединения обоих берегов Средиземного моря.

А маленькие царственные сироты и пленники, прибывшие со своими слугами, музыкантами, жрецами, стали играть на систрах и лютнях, в ночь полнолуния обращаясь к древней Исиде, они носили складчатые льняные одежды цвета оникса, цвета Нила, цвета цветущего лотоса, умели смешивать священные благовония и рассказывали про храмы из розового гранита, построенные три тысячи лет назад.

Образованнейшие наставники объяснили, что в их стране было изобретено земледелие и наука гидравлика, жизненно необходимая в землях, где не бывает дождей. Они сказали, что Александрия находится в самом центре культурного и научного обмена, и утверждали, что понятие

божественного предчувствия родилось в религиозно-философской школе в Гелиополе, где в одном здании слились воедино архитектура, музыка, абстрактные науки, медицина. Ещё тысячу лет назад фараон Рамзес III осыпал безмерными дарами этот величайший центр мысли в доэллинистическом Средиземноморье.

— Но никто в Риме, — призналась Антония, — не хотел слушать этих разговоров. Только мы здесь пережили такую же трагедию. И память о ней была неизгладима. Теперь ты понимаешь, Гай, почему твой отец совершил то путешествие, стоившее ему жизни, и почему хотел, чтобы ты, хотя и ничего не знавший, отправился с ним?

ДОМ ПОЗАДИ САДА

— Ты знаешь, что мне не позволено ходить по улицам Рима, — сказала Антония, — но ты можешь спуститься в сад. Иди сейчас же: пройди за ипподром и спроси про древний дом. Там ты найдёшь кое-кого, встрече с кем обрадуешься. Этого пожелал бы и твой отец.

Гай спустился в обширный парк, с некоторой неуверенностью пересёк его, обошёл ипподром и конюшни со знакомым запахом и подошёл к огромному зданию, построенному в старом, доавгустовском стиле, трёхэтажному, с кирпичными стенами. И с тревогой обнаружил, что здесь располагается гарнизон преторианцев.

Он осторожно приблизился; никто не помешал ему войти. Гай сделал несколько шагов по атрию и увидел, как навстречу, словно ждали его, вышли пять молодых людей, с виду чужестранцев. Он никого не узнал, но увидел, что они хорошо знают его и его историю, потому что столпились вокруг и стали громко и радостно его приветствовать.

Так Гай узнал, что в этом таинственном доме в нереально изысканных условиях, в утончён-

ном заключении живут пять молодых людей: Рометальк Фракийский, Котис Армянский, Полемон Понтийский, Дарий Парфянский и Ирод Иудейский — сыновья иноземных монархов, испытавшие на своём недолгом веку тяготы войны, переворотов, плена и установленного римским оружием мира; а здесь они были заложниками, то есть гарантией, что их отцы будут соблюдать тяжкие условия мира. За их именами открывались безграничные земли Азии, мифические города, пустыни, гигантские реки, далёкие внутренние моря.

Старшим по возрасту был Ирод из Иудеи, внук Ирода Великого, построившего Кесарию и Иерусалимский храм, и теперь он, похваставшись долгой дружбой между Августом и своим дедом, заявил:

— Против деда были не нужны легионы.

Тиберий рассудил, что дом Антонии, матери Германика, о котором столь сожалели на Востоке, будет идеальным местом для пышного заключения этих молодых царевичей под жёстким, но незаметным наблюдением. Многих сенаторов он изумил этим своим решением. Но Тиберий, кроме обеспечения мира в настоящем, строил и планы на будущее: воспитанные в Риме, проникнутые

его культурой, сознающие его мощь, со временем эти царевичи станут послушными и надёжными союзниками.

Необъятный дом предлагал этим молодым узникам шатры, термы, лабиринт садов — всё, чтобы проводить свои дни с приятностью. Во всём этом Тиберий видел большую пользу. С большого невольничьего рынка на острове Делос к восточным царевичам поступал обильный поток живого товара, который выгружали в Риме. Вместе с борзыми псами, редкими птицами и резвыми конями, подходящими для крутых поворотов частного ипподрома, сюда доставляли девушек с длинными чёрными волосами, игравших на невиданных инструментах непонятные нежные песни, белокурых диких амазонок из Скифии, изящных танцовщиц, которые, держа всех в изматывающем напряжении, за время пиршества роняли один за другим окутывающие их покровы, как это делалось в Петре. Ирод со смехом рассказывал, как подобным танцем его двоюродная сестра Шуламит, или Саломея, свела с ума старого отчима Антипу.

Антония, отстранённая и недоступная, никогда здесь не появлялась. Она не знала или решила делать вид, что ничего не знает о развлечениях

молодых людей. Благородная матрона предоставляла молодым царевичам, всем вместе, аудиенции только по великим римским праздникам и в этих случаях держалась с ними по-матерински, всегда готовая прийти на помощь. Многих изумляла её сговорчивость и покорность планам Тиберия. Говорили, что, возможно, причиной тут верность памяти сводного брата Тиберия — сына Августа, которого тот не мог признать и который умер молодым (ещё один узел в этом запутанном родстве).

Как бы то ни было, шпионы Тиберия бдительно следили за домом Антонии. Единственным, кто нашёл путь к сердцу Антонии, был Ирод Иудейский. Он проводил дни в шумном разгуле, болтал глупости, ломая лёд всякой недоверчивости, напивался и проигрывал безумные суммы, которые Антония по-матерински за него оплачивала.

— Она шаг за шагом покупает твоё будущее царство, — однажды шепнул ему Рометальк Фракийский, и Ирод, казалось совершенно пьяный, неожиданно со жгучей ясностью ответил:

— Я предпочитаю огромные долги перед Антонией, чем маленькое одолжение у Тиберия.

Они сидели в саду и пили из одинаковых чаш одно и то же ароматнейшее вино.

— Ты, Гай, как и мы, много выстрадал, — сказал царевич Полемон, на досуге писавший короткие изящные стихи. — Но я считаю, что за всё, что дают, боги всегда просят свою цену. Стоит ночь, и ты боишься, что в темноте не найдёшь того, что потерял. Но обернись — у тебя за спиной рассветает день. И розовеют персты Авроры.

Сыновья царей хотя и видели в Гае почти такого же пленника, как они сами, ощущали в нём глубокое отличие. В их головах чётко запечатлелась мысль, которую и сам он тайно держал в глубине сознания: что годы императора Тиберия сочтены, а он, сын Агриппины и Германика, — наследник империи.

Дружба приобрела атмосферу заговора, и однажды Рометальк сказал, что во Фракии по ночам в это время совершается тайный ритуал, чтобы получить от богов дар, который они вынуждены будут пожаловать:

— Какой угодно — хоть власть над всей землёй.

Ирод со всей серьёзностью спросил, что это за ритуал, и Рометальк таинственно ответил:

— В нём семь элементов.

Все ждали.

— Музыка, — начал перечислять он, — самая

нежная, какую можно услышать. Самый редкий аромат. Яркие огни в золотых шандалах. Самое старое вино из твоих погребов. Самые вкусные фрукты на земле. Самые юные сирийские танцоры...

— Это всё просто, — с воодушевлением прервал его Ирод.

Рометальк возразил, что не всё так уж просто.

— Седьмой элемент — любовь девственницы. Девственницы, которую каждый из нас выберет и отведёт в ритуальный зал, будет нежно ласкать её и раздевать, показывая её интимную красоту богам, пока обнажённая девушка, трепеща в твоих руках от желания, не попросит познакомить её с любовью. С любовью, которую ты дашь ей, чтобы на тебя снизошла сила богов. Эта любовь должна охватить нас всех в одно и то же мгновение. И боги возрадуются, глядя на это.

Ирод ненадолго задумался и проговорил:

— Мы можем это устроить. И устроим.

И вот за закрытыми дверями, среди музыки, танцев и возлияний, в насыщенном благовониями воздухе, на вершине общего пьяного возбуждения царевичи-пленники, ещё запыхавшиеся от ритуального разгула, бросили девушек на подушках, поднялись и, обнявшись, обра-

тились к богам древней формулой, повторяя за Рометальком каждое слово молитвы, чтобы вынудить богов удовлетворить просьбу: «Гай Цезарь Август — император».

Эта компрометирующая царевичей церемония, если бы о ней узнали, стоила бы им всем жизни, но неотёсанные шпионы императора классифицировали её просто как оргию. И это известие вселило благодушие в Тиберия и сенаторов. Однако разгульность молодой компании, наряду с долгами Ирода и пьянством Гая, была отмечена в Риме, и обрывки сплетен, к несчастью, просочились в суровые записи историков.

СТАТУЯ ИЗ РОЗОВОГО КВАРЦА

Обследуя царственный дом Антонии, Гай обнаружил в одной маленькой комнатке домашний храм, как было заведено в Риме с республиканских времён, и толкнул дверь.

Но это был не обычный храм. В полумраке в неком подобии шатра авгура восседало неизвестное божество, какая-то молодая мать, прижимающая к себе ребёнка. Она была высечена из сверкающего розового кварца и на голове несла лунный серп, а ногами опиралась на шар, вокруг которого обвилась змея. В углу курилась струйка благовония, но такая густая, что дым медленно-медленно стелился по полу.

Гай огляделся в поисках кого-нибудь, и к нему приблизился старик раб, который, тихонько прикрыв дверь, прошептал по-гречески:

— Нельзя.

Он совсем затворил дверь и, посмотрев на юношу со смесью недоверия и соучастия, вдруг признался:

— Это Великая Мать Исида.

В одно мгновение Гай перенёсся на годы назад и снова оказался на поднимающейся по Нилу

лодке, а его отец был жив. «Богиня, чьё имя подобно дуновению ветра». Тиберий разорил тот маленький храм, выслал и убил жрецов. Лишь неприкосновенный дом Антонии в смутные дни мог позволить себе подобную комнатку.

Гай взволнованно спросил у старика:

— Ты знаешь храм в Саисе?

Тот ответил:

— Когда меня везли в рабство, провозили мимо него, и я обернулся, чтобы посмотреть. Мне было десять лет. И всё, что я знаю, я знаю от моего отца.

— А кто был твой отец?

Старик ответил, что его отец исполнял тайные ритуалы, посвящённые этой богине, а когда священные корабли затонули, его убили за то, что он пытался спасти ритуальные музыкальные инструменты — колокольчики и золотой систр. Было трогательно слышать, как такой старик с детской нежностью говорит о своём отце, умершем неизвестно сколько лет назад.

Гай снова увидел прогнивший и полузатопленный нос корабля, лежащего перед островком Антиродос в Александрийском порту, и спросил старика, что ему известно об этих ритуалах.

— Всё, что знаю, я должен держать в памяти,

потому что здесь у меня нет ни записей, чтобы свериться, ни храма, где бы можно было прочесть высеченные на камне молитвы. Эта богиня — Мать, поскольку её любовь к людям безгранична. А Исида — это одно из имён. У неё тысячи имён,и все родились от нашего одиночества и страха, и потому ты можешь называть Мать всеми именами любви. Я живу здесь, — сказал старик, — и обращаюсь к ней каждый день. Смотри.

Он немного приоткрыл дверь.

В полумраке статуя из розового кварца отражала подрагивания благовонного огня. Но Гай, вновь переживая тщетные тревоги Самофракии и Дидимайона, сказал:

— Я никогда не видел божества, отвечающего на наши молитвы, даже на самые отчаянные, и не слышал о таком.

Старика ранила подобная горечь.

— Богиня проявляет себя не голосом, — тихо пояснил он. — Среди нас я видел одного мага по имени Арсенуф. Он постиг высшую магию, белую, как свет...

— Ты знаешь, что такое магия? — спросил юноша и подумал, что за всю свою жизнь не видел ни одного магического или божественного явления, а лишь жестокие дела, произведённые волей

людей.

— Арсенуф умел материализовать перед тобой образ твоего врага и сделать его безоружным. Клеопатра вопрошала его два раза: первый раз в семнадцать лет, и он материализовал образ Юлия Цезаря, а второй — в двадцать три года, и он материализовал образ Марка Антония. Но когда она захотела обратиться к нему в третий раз, чтобы он материализовал образ Августа, Арсенуф уже умер от дряхлости.

Молодой Гай ушёл оттуда разочарованный, но, выходя из этого дальнего уголка, неожиданно увидел престарелую Антонию, которая удалялась в глубине галереи комнат. Её шёлковые одежды цвета ночного неба, расшитые по краю бутонами лотоса, скользили по мрамору. Но она не обернулась и не поздоровалась. Рядом с ней не было никого из обычно следовавшего за нею, как за царицей, почти ритуального кортежа. Как ни странно, Антонию сопровождал лишь один человек, мужчина средних лет, казавшийся утомлённым от долгого пути и двигавшийся с трудом. В остальном комнаты были пустынны.

Гай остановился. А поскольку порой боги предупреждают людей едва уловимыми знаками, на лицо этого сопровождавшего Антонию путе-

шественника упал свет из окна, и Гай увидел, что он что-то говорит, осторожно и быстро, и на таком близком расстоянии, какое могли позволить лишь величайшее доверие или крайняя опасность.

Всё своё отрочество Гай провёл, опасливо озираясь по сторонам, и, пока Антония удалялась, склонив голову к своему странному спутнику и слушая его слова, он осознал, что во дворце начинается нечто потрясающее.

ШИФРОВАННОЕ ПИСЬМО

Спустя два дня, ясным сентябрьским утром, Антония из своих личных покоев послала за Гаем. Он прибежал и увидел, что она сидит в одиночестве в пышном маленьком чертоге, куда он ещё никогда не входил. Стены здесь были сплошь расписаны фресками с наполненными светом портиками, широкими лестницами и фонтанами, создавая иллюзию перспективы. Антония что-то писала. На ней была одна из её простых драгоценных туник, вытканных в Пелузии, а пальцы и запястья украшали древние драгоценности, оставшиеся от её единственного брака и долгого вдовства. На рукавах и кромке туника была расшита сверкающими камнями, жемчугом и золотым узором, как в храмах древних фар-хаоуи.

Гай заметил, что под тяжёлыми драгоценностями нежные руки, ласково успокаивавшие его бессонными ночами, постарели, кожа иссохла, ногти стали хрупкими.

Положив каламус, Антония произнесла как приговор: — Я пишу Тиберию.

Как в Риме, так и во всей империи, она одна

могла осмелиться написать императору; она одна могла быть уверена, что её письмо через голову всех шпионов прибудет на вершину скалы на Капри, в руки Тиберия.

В течение десятилетий своего нерушимого вдовства, среди неисчислимых богатств дома, живописных садов, сотен рабов и вольноотпущенников,, при всей той царской жизни, которую вела Антония, она оставалась одинокой и хранила прямо-таки нечеловеческое достоинство.

«В этом тлетворном Риме, — говорил Тиберий с мрачным восхищением, — она единственная женщина, давшая клятву верности мужчине и действительно сумевшая её не нарушить».

Но в отношениях между Антонией и Тиберием была какая-то глубокая тайна, которая так и осталась тайной на века. После смерти своего сына Германика Антония публично не произнесла ни слова и плакала втайне. Один сенатор заметил:

— Её одну Тиберий не убил. И она бы должна кричать громче всех.

Но в тайных императорских комнатах произошло нечто, из-за чего отношения между Тиберием и Новеркой начали с каждым днём разрушаться. Понемногу жизнь Ливии превратилась в бесплодную пустыню одиночества. А на безжалостно

одиноких похоронах матери императора сенатор Валерий Азиатик двусмысленно произнёс:

— Все эти одиннадцать лет, когда Тиберий отказывался видеться с матерью, Антония, закрывшись в своём доме, считала дни.

Антония, неприступная хранительница политических и постельных тайн трагического рода Юлиев — Клавдиев, единственная выше всех подозрений в неспокойном Риме тех лет, поддерживала переписку с грозным императором. Многие годы она докладывала ему о коварстве и неверности тех, кого он считал преданнейшими людьми. Только правду, проверенную и неопровержимую, — и казалось, что не раз этим спасла его. Зато с неосязаемой, но едкой женской мстительностью она безжалостно усугубляла его одиночество и терзания по собственным жертвам.

— Взгляни, — сказала Антония Гаю. — Это должен знать ты один. Это знание принесёт тебе облегчение.

Её почерк был ровным и ясным, но взгляд Гая словно натолкнулся на стену — там был непонятный шифр.

Ещё Юлий Цезарь придумал шифр для своих тайных посланий, изменяя последовательность

букв в алфавите так, чтобы никто не подобрал ключ, и его письма казались рядом бессмысленных слов. Август тоже придумал свой шифр, но весьма простой для столь изощрённого человека, так что весь Рим знал этот шифр. Это было вроде общественной игры — подставлять буквы алфавита на нужные места: вместо А — В и так далее. Прямо-таки детская забава, говорили все, но Август только улыбался. Этот простенький шифр был жестокой шуткой над теми, кто пытался его расшифровать, потому что так они открывали для себя то, о чём Август официально молчал.

Но где-то существовала и работала шифровальная таблица для действительно тайного шифра, которым Август пользовался во время войны с Марком Антонием, а потом, допущенный к власти, им пользовался и Тиберий.

Антония двумя пальцами протянула лист и сказала:

— Тиберий читает этот шифр без посторонней помощи, и только он один. А теперь ему пришёл час узнать, кто такой на самом деле Элий Сеян, человек, который ни о чём ему не докладывает и который замучил твою семью. Этим я вручаю ему доказательства.

Она одна знала, сколько мучительных ночей

ещё раз доставит Тиберию. Но не перевела письмо, не открыла своих обвинений. И задумалась, какие чувства вызвали её слова у молодого Гая.

Он пробормотал:

— Это самый опасный человек в империи. Тиберий передал Рим в его руки...

Антония улыбнулась:

— Это проблема Тиберия. И никто не решит её лучше него самого.

Веки Гая поднялись над серо-зелёными, как у Германика, глазами. Увидев, какие чувства разгораются в его душе, Антония погладила его по щеке.

— А теперь уходи, — шепнула она. — Все гадают, зачем я тебя сюда вызвала.

Об этом письме, которому суждено было изменить будущее империи, осталось короткое упоминание очевидцев. Из ночи в ночь Гай представлял, как Тиберий в своей высокой вилле на Капри открывает без свидетелей этот тайный пакет, расшифровывает послание, а потом, один в комнате, надолго задумывается, мучаясь страшным разочарованием, терзаемый не находящим выхода гневом. Он захочет распорядиться об осторожных проверках, устроить тончайшие ловушки, найти непроизвольные подтверждения...

Второй раз Гай поддался надежде, что вновь обнимет мать и оставшегося в живых брата; от этой мысли его самоконтроль совсем ослабевал. Но прошло много дней. Тиберий не ответил. И ничего не произошло.

ЧЕЛОВЕК ИЗ АЛЬБЫ ФУЦЕНЦИИ

В ту октябрьскую ночь Тиберий тайно вызвал на Капри одного офицера, которого раньше видели здесь редко, поскольку он проводил жизнь в суровых полицейских дознаниях и его лютость и неразборчивость в средствах были известны только Тиберию да самим его жертвам. Звали его Невий Серторий Макрон, он родился в горах Альбы Фуценции, в неприступной крепости, стратегическом сердце центральных Апеннин, в девяноста милях от Рима, месте дислокации двух грозных легионов — четвёртого и легиона Марция. Но особенно это место славилось своей жуткой государственной тюрьмой. В её подземельях, зимой засыпанных снегом, умер македонский царь Персей, шесть лет не видевший солнечного света; там же скончался Сифакс Нумидийский.

Серторий Макрон объяснялся на грубой латыни, на какой говорят плотники и пастухи, и ему никогда не представлялось возможности развить в себе сострадание; все его чувства были связаны, как сухой хворост верёвкой, одной жгучей мечтой. Тиберий знал, с кем имеет дело, когда

без свидетелей, в совершенной тайне, с грубой краткостью назначил его префектом преторианских когорт — на должность, которую Сеян всё ещё считал своей. С бесстрастной суровостью император не дал Серторию Макрону времени оправиться от такой грандиозной неожиданности и быстро, тем же тоном, отдал ему ряд беспощадных приказов, которые кому-нибудь другому показались бы ужасными.

Но Серторий Макрон как раз подходил для такого дела: на все императорские приказы он кивал, лишь запоминая и не прося разъяснений. Потом быстро собрал надёжный эскорт и сразу отправился обратно тем же путём, которым прибыл, а на рассвете восемнадцатого октября нагрянул в Рим. Созвав сенаторов, чтобы, не разъясняя мотивов, объявить приказ императора, Макрон сразу же, пока они поспешно собирались в курию, явился к Сеяну, который ещё спал, и с радостью сообщил ему, что Тиберий назначает его консульским трибуном — на высшую римскую должность, преддверие высшей власти.

С внимательностью ищейки отметив глупую радость, отразившуюся на лице Сеяна и помрачившую его страшный ум, он сообщил далее:

— Сенаторы уже поставлены в известность

и ждут тебя для официального приведения к должности, — и почтительно показал декрет о назначении его самого префектом.

С холодным солдатским пиететом посмотрев на приказ, опьянённый новостью Сеян созвал своих ошеломлённых офицеров и быстро раздал инструкции. Увидев, как эти офицеры уставились на него, никому не известного горца из Альбы Фуценции, Макрон подумал, что им ещё представится возможность познакомиться с ним. Потом взглянул на гордо направлявшегося в курию Сеяна, который единым жестом сам лишил себя военной власти, и последовал за ним.

Ещё не взошло солнце, когда к Антонии явился один из бывших центурионов, дежуривший у её дома. Она медленно вышла из личных покоев в садик, где цвели осенние розы, и центурион что-то вполголоса сказал ей. Стоявший неподалёку Гай увидел, как старушка, слушая, склонила голову, потом остановилась, выпрямилась, посмотрела на верного офицера и вдруг улыбнулась. Гай решил уйти, его руки дрожали. Удаляясь, он не обернулся. После бесконечной паузы послышался голос Антонии — она громко звала его.

Элий Сеян триумфально вошёл в курию и тут же констатировал, что все сенаторы собра-

лись раньше его. Но они не сбились кружками, не беседовали в садах, не было опоздавших, выстраивающих тактику в кулуарах. Стояла торжественная, а скорее напряжённая и для многих даже пугающая тишина, поскольку за спиной Сеяна маячили преторианцы, которым Макрон своим грубым зычным голосом отдал первые приказы, и они быстро и организованно окружили курию.

Сеян тоже увидел их за распахнутыми дверьми и окаменел на полушаге. Мгновенно его триумфальное возбуждение сменилось тревогой. Он всё ещё молчал и не двигался, когда Серторий Макрон встал на ступени справа от пустого места Тиберия и поднял опечатанное послание императора. Огромные двери собрания закрылись.

Проверив целостность печатей, Макрон медленно сломал их, развернул свиток и начал, с трудом выговаривая слова, читать этот документ, который был вовсе не назначением, как все ожидали, а безжалостным, неумолимым обвинением:

— Преступление против римского народа!

Сенаторы замерли в испуганном молчании.

Это было обвинение, после которого никто не мог надеяться остаться в живых. Сеян застыл на

месте, когда эти произнесённые на вульгарной латыни слова с трудом пробились в его ум. А Макрон в тишине продолжал:

— Он планировал захватить власть, напустить когорты на курию, убить императора...

Фразы, написанные рукой самого Тиберия, медленно произносились в тишине, подавляли всякий импульс как-то отреагировать. Слышалось лишь поскрипывание сидений, чьё-то затруднённое дыхание, а потом понемногу сенаторов охватило трепетное чувство освобождения, кое-кто задвигался, раздались восклицания, и наконец Серторий Макрон неторопливо и с ясным сознанием всемогущества положил прочитанный лист.

Все сенаторы вскочили и с неистовым единодушием, не сговариваясь (уж слишком много бессильной ненависти Сеян посеял в Риме, и слишком внезапным было облегчение от его ниспровержения), начали выкрикивать собственные обвинения. И тут же ликторы, неумолимое орудие правосудия, схватили Сеяна, который уже ни на что не реагировал. Один сенатор крикнул, что нужно немедленно начать процесс, здесь же, не откладывая. И все одобрительно зашумели.

Процесс запустили стремительно. Никто не за-

щищал Сеяна; его многочисленные напуганные соучастники с рвением набросились на него. Он же ничего не говорил. Сенаторы единодушно приговорили его к смерти за преступление против величия римского народа. Через час приговор был приведён в исполнение, и презренный труп изменника бросили в реку.

Рассказ Антонии был краток, она говорила тихо, словно стыдясь, но с ужасающей точностью. Гай слушал, не сводя с неё глаз, не перебивая и не пропуская ни слова. Он ощущал, как внутри разливается что-то, как будто хлебнул кипящей жидкости и открыл для себя, какой лавиной может нахлынуть чувство удовлетворённой мести. А потом над этим возникла другая мысль, от которой он чуть не закричал: может быть, его мать и брат Друз действительно спаслись.

Антония уловила это его чувство, когда он порывисто обнял её, и ласково проговорила:

— Будем надеяться, но не станем питать иллюзий. Никому не удавалось проникнуть в мысли Тиберия.

Новый хозяин Рима с устрашающей силой продемонстрировал свою лютую натуру, когда перебил всю семью Сеяна, включая маленьких сыновей и самую младшую дочь, которую по при-

чине девственности древние законы запрещали предавать смерти. Ей было всего девять лет. Не понимая, что происходит, девочка обещала, что будет вести себя хорошо и слушаться. Прежде чем перерезать ей горло, её изнасиловали под покровом темноты, чтобы соблюсти закон. Но этого показалось мало. Не доверяя быстрым успехам, Тиберий обрушил на Рим десятки процессов, изгнаний, казней, конфискаций.

Что касается Сертория Макрона, нового обладателя огромной власти с вытекающими отсюда выгодами и доходами, он потешил своё горское самолюбие, соорудив в городе, где родился, грандиозный амфитеатр, большей частью высеченный в скале, где и сегодня глубокая чаша обеспечивает чудесную акустику.

А в храме Геракла, которого Серторий Макрон избрал своим покровителем, он воздвиг внушительную статую героя в виде мощного воина, сидящего с чашей вина в руке. Его размеры и грубая внешность, вероятно, были продиктованы обликом нового префекта. Но сам он не догадывался о причине, по которой боги, играющие деяниями людей, внушили ему такой выбор.

IV
ОСТРОВ КАПРИ



ВИЛЛА ЮПИТЕРА

Неожиданно император повелел, чтобы последнего сына Германика немедленно доставили на Капри. «Немедленно» по приказу императора означало покинуть дом Антонии в течение часа, так же как в своё время Гая вырвали из ватиканской резиденции, чтобы заключить в доме Ливии.

«Как моего брата Нерона, — подумал Гай. — Его пригласили, подловили и убили».

От этой мысли его обдало ледяным холодом, возник порыв бежать, повторить тщетную попытку Друза. Гай сам отметил, сколь глупа эта мысль: бежать от воли Тиберия можно было лишь путём самоубийства. Но эта мысль увлекала молодость. Антония, заметив перемену на его лице, обняла его с обволакивающей нежностью и шепнула:

— Чувствую, тебе не нужно бояться. У Тиберия остался ты один.

Эти, казалось бы, бессмысленные слова, однако, успокоили его. Ему шёл двадцатый год. Гай прильнул к Антонии, в ней текла мучительная смесь кровей — Октавии, несчастной сестры Августа, и

Марка Антония, его самого ненавистного врага. Гай оставался единственным человеком, в котором ещё жили эти древние, трагические силы.

Престарелая матрона почувствовала, как юноша прижался к ней, и, понимая его тревогу о предстоящей поездке, повторила:

— Не бойся, держись...

В страшной игре со смертью, видимо, действовали и какие-то ещё неизвестные интересы.

— Помни, что, когда Тиберий запретил мне присутствовать на похоронах твоего отца, я ответила, что всё равно это было бы выше моих сил, и поблагодарила его. И плакала в одиночестве.

Гай выскользнул из её объятий и сказал:

— Я не боюсь. А теперь мне пора уезжать.

Молодые царевичи-заложники всей толпой пришли попрощаться, они испытывали искреннюю печаль, но на виду у преторианцев держали свои мысли при себе. Лишь Рометальк, который за несколько недель до того руководил оргиастическим ритуалом, без колебаний сказал по-гречески:

— Взгляд богов следует за тобой, так как ты насытил их удовольствие.

Он хотел, чтобы это звучало намёком на оргию или пошлой шуткой, но его слова напомнили о

тайном союзе, договоре о будущем перевороте.

Гай с улыбкой удалился. Он ступил на землю Капри ярким днём позднего октября.

— Последние деньки, прежде чем время прервётся, — пророчествовал во время поездки кормчий быстроходной биремы[34].

Первым и неожиданным ощущением был опьяняющий своим несравненным ароматом воздух. На молу с безупречной военной чёткостью Гая встретил трибун, офицер высокого ранга, за которым следовал пышный эскорт императорской стражи, августианцев. Трибун предложил гостю сесть на коня, посмотрел, как тот это проделал, и похвалил за уверенную манеру, но потом прибавил:

— На этом острове водятся только спокойные лошади с лёгким костяком. Не позволяй коню переходить в галоп.

Без улыбки. И больше ничего не говорил всю дорогу.

Миф о недоступном острове уже подчинил себе личность Тиберия. Изнурённый подозрительностью, император воплотил в вилле Юпитера никогда раньше не виданную архитектурную

---

[34] Примечания: 34
Галера с двумя рядами вёсел.

идею: воздвиг строения последовательными уступами по склону до вершины самой неприступной на острове скалы, окружённой непреодолимыми обрывами.

И вот, в конце долгого подъёма, где неожиданно открылась окружённая портиком площадка, трибун коротким чётким жестом оставил эскорт позади и остановил коня прямо перед огромным атрием с четырьмя колоннами — знаменитым и строго охраняемым входом в императорский дворец. В неправдоподобной тишине подбежали слуги. Гай без посторонней помощи соскочил на землю. Трибун посмотрел на него. Они вошли.

«Море мрамора», — говорили изумлённые гости, те, кто имел возможность это увидеть. В самом деле, пол и стены до самого потолка, опиравшегося на четыре огромные колонны, покрывали роскошные инкрустации. Всё пространство было совершенно пустым, если не считать неподвижных августианцев на страже. Гай видел, что, не меняя положения, они внимательно следят за каждым его шагом от входа. И его мысли провалились в прошлое, как будто он шёл рядом с отцом; это было великолепное ощущение. Видимо, его ждали, и все знали, кто он такой.

Трибун обернулся и, указав пальцем на только что пересечённый порог, предупредил:

— Выходить отсюда без разрешения императора запрещено.

Значит, это тоже была тюрьма, как дом Ливии, а потом Антонии. Заточение длилось уже больше трёх лет.

— Путь следования императора, — указал трибун, — его нельзя загораживать.

Только император проезжал здесь верхом с очень немногочисленными гостями, которым позволял следовать за собой.

С левой же стороны атрия открывалась мраморная лестница, и она терялась наверху за широким поворотом, отчего создавалось впечатление олимпийской недосягаемости, которое подавляло пришедшего.

Но у Гая, в детстве повидавшего строения и храмы властителей Египта, как удар кинжалом, возникло единственное чувство: что ему, сыну Германика, предстоит взойти по этим ступеням. Он ступил на первую. И подумал, что его брат Нерон шёл тем же путём. Они начали подниматься, и с каждым поворотом, с каждой площадкой справа и слева открывались галереи и криптопортики, ведшие в залы, где бесшумно

сновали придворные. За уровнями для свиты следовала головокружительной высоты скала с пристроенными портиками и балконами. Повсюду неподвижно стояли бдительные августианцы с непроницаемыми взорами.

Трибун шагал в неизменном ритме.

— Здесь будут твои комнаты, — проговорил он у одного поворота, и Гаю подумалось, что по крайней мере какое-то время ему ещё суждено пожить. Он было остановился, но трибун шагал дальше.

Новые ступени. Вдали виднелись термы, о которых в Риме ходили смутные слухи. Между тем чередование нижних этажей закончилось, помещения становились всё просторнее и роскошней, здесь были бронзовые статуи, виднелись обширные мозаики, разноцветные инкрустации, но кругом царила тишина и стояли на страже августианцы. По бесконечным мраморным полам мимо быстро и бесшумно проскользнуло несколько слуг и чиновников.

— Отсюда управляется империя, — сказал трибун.

И распахнул двери в зал для императорских аудиенций — величественный полукруг, на который выходило пять других пышных залов,

расположенных как бы вокруг оси в основании полукруга, где возвышался императорский трон.

«Никогда не видел ничего подобного — словно протянута циклопическая рука с пятью пальцами и ладонью, а в основании, на месте запястья, сидит император», — рассказывал один посол и признавался, что от эмоций его тщательно обдуманная речь превратилась в сбивчивый лепет.

Из зала шёл неожиданный, совершенно прямой прорубленный в скале проход, в конце которого открывался чудесный вид на залив.

— Входить туда запрещено, — сказал трибун. — Туда ходит только император.

Ничьих других голосов не слышалось. Последний и самый высокий пролёт лестницы был совершенно пустынен. Через равные промежутки в победоносной наготе стояли на пьедесталах великолепные статуи молодых полубогов, воинов, атлетов, созданные греческими мастерами времён золотого века Греции. На всей вилле не было ни одного женского образа.

Гай с трибуном подошли к вершине. На самом верху был построен зал, который с драматической неожиданностью смотрел своими арками на террасу с колоннадой, экседру, выходящую на бурное великолепие моря. На чистом мраморе

свет казался нестерпимым.

Трибун провёл Гая к порогу экседры и остановился. И вот в первый раз Г ай вблизи увидел того, с кем его мать никогда не встречалась и кого издали называла родосским изгнанником и царственным отравителем. Он стоял под полуденным солнцем; рядом выстроились троечетверо придворных. Ростом император был выше остальных, что придавало его образу ещё большее одиночество. Говорили, что на днях Тиберию исполнилось семьдесят три года. Его грудь была необычайно широка, и, несомненно, в молодости он обладал незаурядной силой. Император плотно сжимал губы, лицо его выражало прирождённую свирепость, которая отразилась в тысячах портретных статуй и монет. Но на коже его там и сям виднелись красноватые пятна — знаки какой-то хронической кожной болезни, — и эта отталкивающая подробность придавала ему человечности. За спиной Тиберия колонны, море, острова, далёкий берег, небо — все вместе создавали ослепительный пейзаж.

Он смотрел на приближение молодого Гая. Его прямая осанка напоминала о годах, проведённых в армии, о страшных кампаниях в Иберии, Армении, Галлии, Паннонии, Германии, в самых

кровавых уголках империи, где воевал этот великий солдат, хотя победы его перемежались кровавыми I поражениями. У него были большие руки с тяжёлыми пальцами, и говорили, что их хватка смертельна. Император молчал.

Историки скажут, что всегда, а особенно после избрания императором, все его чувства, стремления, желания были спрятаны за непреодолимым барьером скрытности. Но за этой защитной подозрительностью работал мощный ум, ясный и холодный, распознававший обманы и опасности. Когда его личные обиды и мстительность молчали, он принимал решения после долгих одиноких размышлений. Его отношение к ответственности за империю характеризовалось неизменной преданностью, отсюда рождалось твёрдое руководство главами провинций, внимательное к мелочам, маниакально экономное, однако по существу справедливое и эффективное, поскольку он опирался не на блестящие озарения, а на упорство и прилежание. Август со свойственной ему дальновидностью распознал в нём эти качества. Но власть была единственным жизненно важным объектом чувств Тиберия, и её завоевание было одной тяжелейшей битвой на уничтожение. В нём жило постоянное инстинктивное презре-

ние и недоверие к ближним, вечная память на обиды, нерушимая ненависть к врагам, прирождённая способность убивать без угрызений совести. Он совершенно не знал жалости; устрашение врагов вызывало у него удовлетворение, близкое к сладострастию, и никакие средства, никакие жестокости не казались ему чрезмерными. Сея вокруг ненависть, он ощущал необходимость устранять всякую возможную опасность для себя. И уже психологически скрутив себя в тугую спираль уничтожения, по-человечески одинокий, он оказался и физически изолирован на скалах Капри. Потому находиться рядом с ним было крайне опасно.

Тиберий посмотрел на молодого Гая, и у тех, кто собрался поздороваться с ним, от ненависти в этом взгляде пересохло в горле. И тогда, впервые в жизни, Гай наклонился, подобрал полу пурпурной мантии и в полной тишине медленным истовым жестом поднёс её к губам и поцеловал. В свежем ветерке острова, как в своё время в доме Ливии, юноша ощутил затхлый запах залежалой шерсти. С высоты своего роста император, едва заметно вздрогнув, всё так же молча посмотрел на слегка вьющиеся на затылке прекрасные каштановые волосы последнего сына Германика.

Гай поднял голову. Ничего не сказав, император жестом отпустил его. Тем же жестом, каким его отпустила в первый день Новерка. Трибун проводил Гая до выхода.

СКАЛА ТИБЕРИЯ

В молчании спускаясь вниз, Гай не знал, что теперь ещё долго ему не разрешат вновь подняться на верхние этажи. В этом ограниченном, управляемом наподобие тюрьмы дворе для избранных, куда его забросила катапульта судьбы и где единственной радостью были тайные пороки, о которых шептались в коридорах, забота о выживании заставила Гая сократить жесты и слова до необходимого минимума. Он никого здесь не знал и говорил себе, что ни о чём не может спрашивать и ничему не может доверять.

Весь остров был императорской собственностью, также как Пандатария и Понтия, и никакой иностранец не мог здесь высадиться. Море, колотящее по неприступным скалам, было зыбкой тюремной стеной. Корону виллы Юпитера — тесной, нелепой столицы — составляли двенадцать зданий. Но Гай бродил по коридорам виллы, не выходя за пределы атрия. Его двусмысленное положение гостя и узника, трагическое наследие фамилии, память об убитом брате вынудили предоставить в его распоряжение троих испуганных рабов. Он понимал, что, прислуживая ему,

они не знают, увидят ли его снова на следующий день. Его спрашивали, чего ему угодно, и он принципиально предпочитал местную морскую рыбу, фрукты и медовые пироги.

— Пища ребёнка, — растроганно говорили на кухне.

Но часто после нескольких кусочков его тошнило.

Потом он покидал свои комнаты — Тиберий выделил ему жильё не такое унизительное и убогое, в каком он проживал у Новерки, и Гай испытывал облегчение, почти благодарность, глядя невидящими глазами на непостоянные красоты садов, свинцовых скал, морских бухт и двигаясь рассеянной походкой, которую отметили ещё в доме Ливии. За спиной ощущались глаза неутомимых надзирателей, но день за днём он начал создавать в уме архив лиц и повадок, чтобы понять, насколько и с кем можно чувствовать себя относительно спокойно, ознакомился с распорядком, привычками, надзором. С Тиберием он больше не виделся.

И в какой-то момент, когда Гай, считая, что находится в одиночестве, глядел на море в западном направлении и пытался различить там тень Пандатарии — острова, где была заточена

его мать, к нему подошёл императорский вольноотпущенник. Германик когда-то говорил сыну: «Остерегайся их. Они были рабами и молили богов освободить их, даровав смерть. А теперь, получив власть, живут лишь затем, чтобы удовлетворить свою ненависть».

С неожиданной сердечностью слуга пригласил Гая прогуляться к странному месту, и Гай с кроткой улыбкой согласился.

— Падение отсюда означает смерть, — сказал его спутник.

Гай обернулся и выдавил улыбку, но не весёлую, а вымученную.

— Процессы, — пояснил бывший раб, — устраиваются не только в Риме. В особых случаях император хочет познакомиться с обвиняемыми и судить их лично ради безопасности империи...

Он замолк, глядя на юношу.

Гай, ничего не знавший о тайных тюрьмах и казнях на Капри, ощутил, как тревожно свело живот.

— Понимаю. Рим далеко, — ответил он.

Ему помог его юный возраст, а также репутация наивного юноши, приобретённая в доме Ливии, отчего собеседник расслабился, но всё же сказал многозначительно:

— Если кто-нибудь упадёт вниз и останется жив, подплывёт морская стража, подцепит его абордажными баграми и забьёт вёслами.

Юноша вытаращил глаза, но через мгновение тупо, словно не понял, наклонился, чтобы рассмотреть место, которое прославится в местных легендах как «скала Тиберия», и с улыбкой сказал:

— Даже голова кружится, когда смотришь вниз.

Смотревший не вниз, а на него провожатый раздражённо ответил:

— Вернёмся. Ветер поднимается.

И надзирающие за Гаем шпионы доложили Тиберию, что его узник никогда не говорит и не спрашивает ни о матери, ни о своём брате Друзе. Он ни разу о них не упомянул — возможно, как написала Ливия, его ум был так ничтожен, что даже не мог вообразить их судьбу, да она и не имела для него значения.

Между тем Гай обнаружил, что на вилле, как и в Палатинском дворце, имеется тихая библиотека. Ему позволили ею пользоваться, он поблагодарил, подумав, что его репутация чудака не от мира сего, страстного и безобидного любителя чтения была хорошо описана шпионами. Спустя

годы он пошутит, что половину юности провёл, сидя среди книг.

Библиотека не подвергалась надзору и казалась заброшенной. Библиотекарем был рассеянный и меланхоличный сириец, который появлялся каждые два-три дня, чтобы, проведя пальцем по столам, показать рабам, где необходимо вытереть пыль. Больше ни души в библиотеку не заходило. Гай осмотрел полки и с разочарованием увидел там одни труды по музыке и наукам, а также бесконечное множество туманных писаний по магии и астрологии, почти все по-гречески. Но потом кто-то сказал ему, что император любовно собирает всех великих греческих классиков, а особенно Фукидида, созвучного ему по суровому темпераменту и категоричности суждений, в свою личную библиотеку — примыкающее к его комнате наверху маленькое роскошное помещение, полное изысканнейших и редких папирусов.

Гай задался вопросом, кто и с какой целью собрал эту кучу никому не интересных писаний. Потом заметил один очень старый свиток, хранившийся в древнем футляре из полированной древесной коры. Он вынул свиток из тубы и на бирке с названием прочёл по-латыни: Libri

Pontificum — «Жреческие свитки». В этой сухой скрипучей рукописи, о которой все говорили, хотя никогда её не видели, были собраны благословения, заклинания, заговоры от порчи и для снятия злых чар, древнейшие магические формулы, которые веками произносили жрецы и полководцы, чтобы вымолить победу, принося жертвы перед сражением.

«Divi divaeque, qui maria terrasque colitis, vos precor quaesoque...» — «Боги и богини, обитающие в море и на земле, прошу вас и вопрошаю...» И такие чтения предпочитал холодный Тиберий? Мольбы о победе, о разгроме врагов и безжалостной их смерти? Побед в эти века было много, много было разбитых и убитых врагов. И Тиберий возносил такую молитву, когда велел убить Германика? Неужели действительно в этих древних словах заключалась неодолимая сила? Где-то существовал Некто или Нечто, к кому или к чему можно воззвать? Гай снова скрутил свиток, чувствуя жалость к самому себе от этих мыслей.

И тут увидел засунутую в маленький шкафчик знаменитую книгу Веллея Патеркула, которую в Риме Тиберий изъял и уничтожил (несмотря на великую и подобострастную дружбу автора с Августом), так как много лет назад Патеркул

описал первое жестокое восстание в Германии, которое Тиберию не удалось подавить. Неужели его злобная зависть к молодому Германику проросла из этого давнего поражения? Но тут Гай испугался, что эта заброшенная книга — ловушка для него, и положил её в приоткрытый шкафчик, хотя и горел любопытством прочесть. Вместо этого он занялся халдейской астрологией в плохом греческом переводе. Вернувшись в библиотеку позже, он с облегчением увидел, что в шкафчик с книгой Патеркула никто не совался.

Всю солнечную осень после гибели Элия Сеяна Гай проводил дни в портике за чтением. Придворные наблюдали за его постоянным молчанием, его склонностью к одиночеству, его любовью к древним серьёзным книгам. С любопытством и восхищением они смотрели, как он погружается в трактаты Аристоксена Тарентского о музыке, а ещё больше в труды того самосского астронома, который три века назад выставил себя на всеобщее посмешище, написав со многими расчётами, что Земля круглая и за один год обходит вокруг Солнца.

Его странная репутация любителя литературы, родившаяся в доме Новерки, здесь получила зримое подтверждение и всех успокоила. Как и

в Палатинском дворце, его начали на всё более долгое время оставлять в покое. Возможно, Тиберий больше не считал его достойным смерти. Это был прилив полного счастья, но, не двигаясь и ничего не говоря, Гай видел все запертые в мозгу императора опасности. Потому, помня тех трёх сенаторов, которые, спрятавшись под крышей, подслушали речи бедного Татия Сабина, тщательно следил за каждым своим жестом, даже когда закрывался у себя комнате один.

Его начали приглашать на обед чиновники высшего ранга, расспрашивать о его чтении, и он давал объяснения с разными хитроумными подробностями, так что они только диву давались. Странные астрологические истории казались забавными, и их слушали многие, а потом Гай уходил и снова спокойно усаживался в портике.

Но однажды он обнаружил в содержащейся в безупречном порядке библиотеке выложенный почему-то на стол маленький изящный кодекс, красиво переплетённый, с застёжками из позолоченного серебра. Надпись на ярлычке полустёрлась — быть может, намеренно. Виднелись лишь два слова: «Публий Овидий...» Гай снял футляр и замер, затаив дыхание. Это была элегия, начинавшаяся с заголовка «Понтийская»,

и этот экземпляр посвящался его отцу Германику. Что крылось за непонятным изгнанием Овидия, прекраснейшего поэта, за его бесполезными мольбами к Августу, за его смертью в отчаянии и одиночестве на печальных берегах Понта? И почему этот экземпляр книги оказался в императорской библиотеке? Что произошло втайне от непосвящённых?

Он взволнованно начал перелистывать страницы, но тут ощутил за спиной какую-то тень: именно так — писал один поэт, которого цитировал Залевк, — тебя касается спешащая мимо судьба. Однако это оказался молодой египтянин, которого война обратила в рабство, но за изысканную внешность и изящество манер его удостоили чести служить при императорском дворе. Гай замечал его раньше, поскольку его глаза неосознанно искали моментов утешения. С виду египтянину ещё не исполнилось двадцати. Он был раб, который не мог ничего решать в своей жизни. Повинуясь какому-то импульсу, Гай спросил юношу по-гречески, откуда он. И тот на беглом греческом ответил, что приехал из Александрии и что зовут его Геликон. У него были большие, глубоко посаженные глаза цвета оникса с чистыми белками, как на картинах в

древних храмах. Одет он был в лёгкую короткую тунику и пару золотистых сандалий.

Гай сказал:

— Я был в Александрии, Саисе и Юнит-Тенторе, — и доверительно добавил: — С моим отцом.

Раб тут же ответил:

— Весь Египет помнит об этом.

Эти слова тронули сердце Гая, но он подумал, что, возможно, этого молодого египтянина подготовили. Тем не менее он сказал, что очень полюбил пустыню.

Раб вежливо ответил, что пустыня прекрасна, но и страшна.

— Если судьба заставляет тебя пересечь её, нужно знать, где найти тень пальмы.

Гай положил кодекс; один лист упал на пол. Молодой раб быстро опустился на колени, чтобы поднять его. Лёгкая белая туника подчёркивала его изящество. Юноша деликатно положил лист на стол.

— Это я оставил его здесь, — прошептал он, — когда вытирал пыль.

Его рука была гибкой, смуглой, с длинными пальцами. По-прежнему стоя на коленях, он сказал:

— Юнит-Тентор — это великий храм. Отец рас-

сказывал мне, как один верующий заболел и, ища исцеления, провёл там ночь в молитвах. И вдруг увидел — это был не сон и не видение, потому что глаза его были открыты и ясны, — увидел фигуру выше человеческого роста, неописуемую божественную фигуру, которая склонилась над ним и осмотрела, а в руке её была книга. Через мгновение фигура исчезла. А он дрожал, весь обливаясь потом, но лихорадка исчезла. И болезнь прошла.

Гай слушал и не мог удержать недоверчивой улыбки. Юноша в замешательстве поднялся на ноги, а Гай дружелюбно проговорил:

— Я слышал другие подобные рассказы в Саисе.

Раб сказал, что в землях к югу от Саиса, возможно, ещё остались священные папирусы с предсказаниями судеб.

— В том числе и твоей. Но я не знаю, как их прочесть. Помню только, что нужно разложить двадцать девять молодых пальмовых ветвей на жертвеннике, столе Исиды...

Гаю подумалось, что для раба разговаривать с сыном Германика — всё равно что для потерпевшего кораблекрушение ухватиться за доску.

Но юноша невинно продолжал:

— Один человек, которого одолевала тревога о

будущем, попросил жрецов дать ему спуститься в подземелья. Они сжалились и разрешили. И там этот человек впал в магический сон: он увидел, как священный корабль богини пересекает лик неба... и голос велел ему освободить сердце от тревоги, потому что против великих врагов есть могущество Исиды, госпожи с бесчисленными именами...

Гая охватило желание спросить у египтянина, жив ли ещё его отец, передавший эти рассказы, но потом он подумал: «Мой отец узнавал судьбу в Самофракии и в Милете, и ему не принесло пользы знание, что жизнь его будет короткой...» Его снова охватило подозрительное беспокойство, и он притворился, что углубился в чтение.

Раб бесшумно выскользнул прочь.

ПРИТВОРСТВО

Но вскоре египтянин появился вновь. Он подходил к портику лёгкой походкой, улыбаясь издали, и приносил Гаю то чашу с ароматными фруктами в вине, то напиток из благоухающих трав далёких земель. Раб сопровождал его в термы для имперских чиновников в часы, когда, согласно строгим бюрократическим правилам, туда никто не спускался. Но не прошло и месяца с тех пор, как Гай, найдя этого единственного, невинного друга, начал непринуждённо улыбаться, когда, сидя в портике и читая, он вдруг увидел двух чиновников, которые приблизились и, даже не замедлив шаг, грубо объявили:

— Твой брат Друз умер в темнице.

И не стали ждать его ответа. А он с отхлынувшей от головы кровью, как перед обмороком, окаменело смотрел им вслед, слыша их мерные удаляющиеся шаги. И тут заметил, что он не один: из-за двери библиотеки кто-то подсматривал. Как и в доме Ливии, жестокая сцена была подготовлена заранее, чтобы он выдал свои тайные чувства. И мгновенно его ум прояснился, вернулось самообладание. Гай положил книгу

и стал смотреть на море, словно размышляя о только что услышанном известии, потом покачал головой, как будто ему помешали, и снова спокойно вернулся к кодексу. Он провёл пальцем по странице, словно ища место, где его прервали, потом остановился на какой-то строке и всем своим видом изобразил, что продолжает читать.

Осведомителю Тиберия пришлось в изумлении доложить, что юноша отнёсся к смерти брата чуть ли не спокойнее, чем если бы умерла собака.

— Он или так туп, что до него не доходит, или для него это действительно ничего не значит.

Гай долго оставался там один, не двигаясь, бессмысленно переворачивая страницы, на которых не видел букв. В его уме, как вбитый гвоздь, засела мысль, что его долгое притворство бесполезно. Годы выигранной жизни зависели только от зловещей осторожности и жестокой неразборчивости в средствах Тиберия. Будущее начало представляться Гаю в масштабе дней и часов. Он удивился при мысли, что, возможно, эта ночь на море для него последняя. Череда горьких разлук заставляла заглушать порывы молодого тела. Он встал и мимо молчаливых придворных направился к себе. Все замолкали при его появлении. Гай закрылся у себя в комнате и уединился

в темноте.

На следующее утро при свете солнца ему показалось, будто всё, что он видит, уже не то, что было прошлым вечером. Он посмотрел на Тиберия, который шёл вдали к залу аудиенций, не оглядываясь на следовавшую позади свиту. Узнал Кокцея Нерву, знаменитого юриста, — по слухам, он никогда не ставил своей подписи на несправедливый закон или приговор. И подумал, что, несмотря на придворных, готов броситься на Тиберия сзади и вонзить в него кинжал, как учил трибун Силий, и у него хватит времени убить его. «Подло оставлять его жить». Гая так захватил этот план, что сжались мускулы, будто он уже по самую рукоять вонзает клинок в это ожиревшее, тяжёлое тело, в основание шеи, где бьётся жизнь.

И среди этих мыслей к нему подошёл молодой Геликон и прошептал:

— Убийство Друза потрясло весь Рим. Народ бушует перед курией, бросает камни...

Встревоженный Тиберий, чтобы оправдать казнь, написал жуткое письмо, обвиняющее убитого, и велел прочитать его перед сенаторами.

— Тем не менее Серторию Макрону пришлось вывести на улицы преторианцев. Они убили мно-

го народу, — весь дрожа, рассказывал Геликон. — Трупы валялись повсюду, их крюками волокли по улицам, и толпа издали в страхе смотрела, как их сбрасывают в реку.

— Откуда ты знаешь? — шёпотом спросил Гай, и тут же в нём проснулась подозрительность, он сдержал тревогу и решил больше ни о чём не спрашивать.

Однако Геликон со страстной верой ответил:

— От Каллиста.

Гай посмотрел на него, не понимая: это имя ничего ему не говорило.

— Он грек, но из Александрии, — сказал Геликон.

На самом деле его принесли в дар вилле Юпитера — как дорогую охотничью собаку или коня, достойного состязаться на ипподроме. Это был тридцати летний александрийский раб, но по рождению грек, и его звали Каллист. Он говорил по-гречески и на латыни, а также на простонародном египетском, арамейском и парфянском, обладал утончёнными манерами и умел себя вести в присутствии власть имущих, разбирался в искусстве, живописи и музыке. Как он попал в рабство при таком блестящем воспитании и происхождении, за какие военные проступки

или бунт, не смогли выяснить даже осведомители Сеяна. Каллист описывал опустошённые и выжженные страны в верхних долинах Нила, у острова Филы, людей, бежавших за первые пороги, в Мероэ, и резню, свидетелей которой, похоже, не осталось. Из всех записанных им имён ни о ком не было найдено никаких сведений.

Но представители фамилии Цезарей продолжали говорить о нём с крайним энтузиазмом как о юноше, достойном лучшего применения, — даже в самой императорской канцелярии. Тиберий, не принимавший к себе на службу никого, не оценив лично, вызвал его, велел знающему человеку допросить, выслушал ответы и не вымолвил ни единого слова. Но в своей жизни он ещё не посвящал столько времени ни одному рабу. Инстинкт подсказывал ему, что это отравленный дар. Он помнил древнего поэта: «Она мала и вся сверкает — гадюка, выползающая из яйца».

Император колебался, не отослать ли этого раба на какую-нибудь загородную виллу или подарить какому-нибудь патрицию, но инстинкт ещё раз подсказал ему, что не очень умно оставлять его без проверки. Очень хотелось немедленно отдать приказ убить его. Тиберий чувствовал, что ум этого стоящего перед ним, императором, молодого

человека продолжает работать живо и холодно, без страха. Его безоружная самоуверенность вызывала чуть ли не восхищение. И Тиберий решил оставить ему жизнь, поручил мелкие, унизительные обязанности, чтобы проявилась его истинная сущность.

Образованнейшего раба швырнули в закоулки виллы Юпитера. Но поскольку, как говорил Залевк, боги играют людскими судьбами, его имя прозвучало в тот тревожный день, когда Гай пытался приказать себе (и так грозно, что самому казалось, будто кричит) ничего не выяснять, а уйти и запереться у себя в комнате.

— Каллист говорит, — прошептал Геликон, — что этой ночью Серторий Макрон приехал сюда для консультаций. Он попросил сообщить всё тебе. И просит тебя вспомнить о нём в день, когда ты будешь в силе.

Друз томился в тюрьме два года и никогда не оставался один: за ним следили, постоянно терзали в подземельях, чтобы выпытать сведения о его друзьях, его планах, а особенно о том дневнике. Дневник в конце концов нашли или вырвали у Друза его местонахождение, и он оказался в руках Тиберия.

— Он здесь, на вилле, в какой-то из комнат.

Но этот дневник больше никогда не увидел свет.

В этот момент с верхних этажей по лестнице не спеша спустился могущественный префект преторианских когорт Серторий Макрон, человек, который за полдня сокрушил Сеяна и за несколько часов жестоко подавил восстание римлян. Он был высок, силён и вульгарен, с коротко остриженными волосами на военный манер. Августианская стража по мере того, как он спускался, добросовестно вытягивалась, челюсти сжимались меж нащёчников низко надвинутых на лоб шлемов, взгляды замирали на горизонте.

Не глядя по сторонам, он топал тяжёлыми сапогами по широким мраморным ступеням. Но, наверное, увидел Гая Цезаря издалека, поскольку, приблизившись, намеренно замедлил шаги, остановил на нём взгляд и неожиданно отдал долгий подчёркнутый салют. Вокруг никого не было, и никто этого не увидел.

Через несколько дней по коридорам, залам и бесконечным лестницам виллы Юпитера чиновники и рабы рассказывали друг другу одними губами, что Тиберий, встревоженный, что не встречает своего друга Кокцея Нерву, знаменитого юриста, послал за ним. К нему постучали,

вскоре вспомнив, что за несколько дней до того Нерва сказал императору: «Я устал жить». Холодная и страшная фраза, но тем тёплым благоухающим ранним утром на великолепной экседре виллы Юпитера никто не понял, что она значит и почему её произнёс совершенно здоровый человек, имевший счастье пользоваться наибольшим благоволением императора.

Дверь высадили. И нашли учёнейшего неподкупного юриста в постели. Он спокойно лежал на спине. Но руки с перерезанными венами бессильно свисали по обе стороны, и по мраморному полу растеклась огромная лужа крови. На столе осталась короткая записка: «Оставляю эту жизнь, потому что она стала мне невыносима».

МАТЬ

В эти дни Гаю исполнилось двадцать, кто об этом не вспомнил. Он подумал, что автобиография Августа начиналась как назначение времени: «В возрасте девятнадцати лет...» Этой ночью в тишине острова юноша себя в оковах.

То, что было терпимо для мальчика, стало невыносимо для мужчины. Его ум, голос, даже мускулы стремились вырваться за пределы осмотрительности, как бык, бодающий загородку. Мягкая наглость чиновников и вольноотпущенников вызывала мысли об убийстве. И всё труднее было прятаться за улыбкой бесчувственных губ и прищуренных глаз.

Спустя несколько недель, в октябре, среди всех обитателей Капри до последнего императорского лодочника мгновенно распространилось известие, что сосланная на Пандатарию Агриппина умерла. Но Гаю никто не сказал. Он лишь почувствовал тревожное возбуждение в приглушённых голосах, заметил, что разговоры при нём прерываются и люди стараются улизнуть прочь.

Позже ему удалось уловить две фразы: «...Ей было всего сорок три» и «Кто бы мог подумать,

что умрёт». Он тут же повернулся и, прежде чем ему сообщили прямо, постарался уйти подальше в страхе потерять контроль над собой. Шагая, Гай ощущал себя зажатым в раскалённых железных пальцах. От чувства мятежной злобы он ничего не видел перед собой. Единственной осознанной мыслью было — сделать лицо каменным, подавить эту страшную жажду убийства, спрятаться и дождаться ночи.

Когда умер Друз, ночью он смог выплакаться. А теперь скрещённые руки вцепились в плечи, так что пальцы оставляли синяки. Ум порождал образы врагов, громко и тщетно кричащих под пытками. Гай удалился в библиотеку и забился в угол, где не хватало света для чтения. Не замечая этого, он протянул руку, взял какой-то свиток, вернулся назад и, кое-как добравшись до портика, упал на мраморную скамью.

Во рту пересохло. Гай попытался сказать себе, что остался один на всей земле и ему больше незачем волноваться о ком-либо. Больше никто не страдает, в подземельях и на островах никого нет. Нужно лишь думать о мести. Пока он сидел, его руки начали трястись; кое-как совладав с пальцами, Гай развязал шнурки свитка и развернул первую главу. Но глаза ничего не видели.

Неизвестно, что это был за свиток.

С нижних этажей огромной виллы появился этот родившийся в Александрии раб-грек по имени Каллист. На нём была одежда раба для чёрных работ, и он нёс какую-то вазу. С занятыми ношей руками он подошёл к Гаю Цезарю, замедлил шаги, остановился, поставил свою ношу, словно было неловко нести её, потом снова наклонился за ней и металлическим голосом быстро проговорил по-гречески:

— Я знаю, как убили твою мать.

И ушёл — пересёк портик и скрылся за дверью в глубине, таща эту ненужную вазу.

Не вымолвив ни слова, Гай посмотрел вслед рабу и, чувствуя, что кто-то за ним следит, опустил глаза и сделал вид, что читает.

Он увидел на табличке с названием лишь одно слово: «Каллисфен». Философ или натуралист, отправившийся на Восток с Александром Македонским. Каллисфен. Гай ощутил приступ тошноты и положил свиток. Больше никогда в жизни он не сможет взять в руки трудов этого автора. Он закрыл глаза. Хотелось лишь глоток воды. Гай не открывал глаз. Больше не было ни дня, ни ночи, ни света, ни мрака, ни шума, ни тишины.

Его не искали. Потом появился молодой Геликон и прошептал:

— Ты весь дрожишь от холода.

И накрыл его лёгким шерстяным плащом.

Разлепив веки, Гай сказал:

— Нужно разыскать этого Каллиста.

И стал ждать.

Геликон появился снова.

— Каллист говорит, что падение Сеяна на какое-то время I породило надежду и у твоей матери... Но после смерти Друза... — пробормотал он.

«Знаю, тебе разбили сердце, — подумал Гай, глядя в пол. — С какой же лютостью тебе кричали, что твои два сына мертвы, если я сам здесь узнал об этом таким вот образом?»

Геликон прошептал:

— Говорят, что она сама уморила себя... Отказывалась от пищи.

«Я знал, что ты хочешь умереть», — думал Гай. Высшее римское мужество — сказать врагам или судьбе: «Ты меня не возьмёшь. Решаю я». Как тот робкий писатель, Кремуций Корд, которого через неделю одиночества нашли мёртвым в тишине дома.

Геликон оглянулся и прошептал:

— Слышали, как Тиберий кричал: «Она не

должна была умереть сейчас, сразу после Друза».

А потом добавил, с трудом выговаривая слова:

— Её пытались кормить насильно. И центурион стражи поранил ей лицо.

Гай поднял голову и, широко раскрыв ясные глаза, сказал:

— Постарайся разузнать его имя.

Встретив его взгляд, Геликон испугался и поспешно проговорил:

— Каллист просил сказать тебе, что этот человек не скроется от тебя. Тиберий велел оставить его в охране Пандатарии, чтобы никто не мог рассказать об этой истории.

Гай встал и, направившись по портику, сказал Геликону:

— Тебе лучше уйти.

С запада, с моря, дул холодный ветер. Гай, ёжась, ходил взад-вперёд под этим ветром и думал, что ему абсолютно необходимо выжить.

«Если моя жизнь закончится, никто не отомстит за всё это». Ему вспомнились слова Друза: «Через века никто не узнает, что происходило на самом деле».

Он дошёл до конца портика, повернулся и пошёл назад. На его лице замерла бессмысленная улыбка. Проходя мимо придворных, Гай заметил,

что они изумлённо смотрят на него. Он удалился к себе, позвал раба и велел подать ужин.

«Non damnatione matris, non exitio fratrumrupta voce», — напишет Тацит. «Ни единого стона на приговор матери, на казнь братьев».

Несколько месяцев Тиберий не попадался ему на глаза, разве что мельком, вдали. Ежедневно он проходил по криптопортику в термы. Но казалось, император перехватывал мысли Гая: его эскорт стал плотнее и держался ближе к нему, непроницаемой стеной. Гай сидел в глубине галереи и ждал мимолётного момента, этих нескольких отдалённых шагов. Тиберий всегда шагал чуть впереди остальных, ничего не говоря и не оборачиваясь. Высокий, согнутый, с тяжёлыми руками. Одинокий. Так какие же силы, каких демонов возбуждает власть? Что испытывает обладающий ею?

Каждое утро позади него спешил на аудиенцию маленький, с редкими седыми волосами астролог Фрасилл, которого Тиберий таскал за собой ещё с дней своего изгнания на Родосе. Всегда, даже летом, он кутался в грязно-серый шерстяной паллий, широкий греческий плащ. «От холода, что пробирает его ночью, когда он советуется со звёздами», — иронично заметил кто-то. Но Фрасилла

боялись, а он демонстративно никого не видел и жил в священном одиночестве. Этот человек наверняка знал все имперские тайны и узнавал их раньше всех. Вопреки всякой логике он оказывал большое влияние на решения императора некими иррациональными психическими путями, но такими таинственными, что никто не мог назвать ни одного внушённого им решения. Говорили, что в своём недосягаемом кабинете, полном древних папирусов и небесных карт с созвездиями, он проводил часы за сложными схемами, чертежами и вычислениями.

Несколько лет назад, когда его власть ещё не укрепилась, кто-то с улыбкой спросил астролога, как звёзды могут влиять на поступки людей. И он ответил:

— Ты глупец, если считаешь, что на тебя, такого ничтожного, не действуют взаимосвязи между тысячами таинственных небесных тел, движущихся над головой, когда проход лишь одного тела, луны, движет приливами и отливами глубочайшего моря отсюда и до Геркулесовых столбов.

Через час Тиберий выходил из терм, снова поднимался наверх и шёл полежать в экседре — самом недоступном месте на всей вилле, нависающем на головокружительной высоте над

морем, — и там, чувствуя себя защищённым со спины пропастью, позволял себе заснуть.

И всё же рассказывали, что одному бедному рыбаку с необузданным партенопейским[35] темпераментом удалось вскарабкаться по отвесной скале незамеченным и спрыгнуть на террасу, чтобы с гордостью предложить императору великолепного златоброва, каких редко вылавливали в здешнем море. Тиберий велел немедленно умертвить рыбака, чтобы тот никому не рассказал о найденном пути.

Много лет спустя Гай признался, что поддался порыву отомстить за родных, когда первый раз увидел пустынную и безнадзорную служебную лестницу. Невероятным образом избежав стражи, с ножом в руке он подошёл вплотную к Тиберию — и бессмысленно замер с опущенным оружием перед крепко спящим стариком.

Он спустился по этой странно пустой лестнице и со стыдом и облегчением выбросил нож в окно, в пропасть. А на последней ступени неожиданно встретился с Серторием Макроном, который молча отдал ему салют и ничего не спросил.

Через два дня пришёл Геликон и прошептал:

---

[35] Примечания: 35
Партенопей — древнее название Неаполя.

— Рассказывают, что одна важная римская матрона покончила с собой. Каллист говорит, что ты её знаешь: её звали Планцина.

Со своим иностранным акцентом он с трудом выговорил это имя, но для ушей Гая оно прозвучало как грохот водопада: Планцина была женой Кальпурния Пизона, близкой подругой Новерки, эта женщина в Антиохии скрывала у себя дома сирийскую отравительницу.

Гай помолчал, потом спросил:

— Почему она покончила с собой?

Произнося эти слова, он испытал неописуемое чувство.

Геликон простодушно огляделся.

— Пришло какое-то письмо, сюда, императору. Никто не мог его прочесть, но в нём было написано нечто ужасное. Говорят, что император в одиночестве кричал за закрытой дверью.

Ничего не сказав на это, Гай посоветовал Геликону уйти, а сам отправился в конец портика и посмотрел на море, в сторону невидимого острова. Но вместо острова мысленно увидел маленький столик из красного дерева, слоновой кости и бронзы, руки Антонии с тяжёлыми драгоценностями, лист папируса с зашифрованными словами и тихо проговорил, словно она была

рядом и могла его услышать:

— За нас отомстила ты.

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Прошло ещё несколько дней, и Тиберий вызвал его к себе. Вызов к Тиберию всегда означал мгновение невыносимой тревоги. Гая отвели на окружённую колоннами экседру, куда он поднимался в день своего прибытия. Он бессознательно шагал, холодно ощущая готовность к смерти и почти надеясь, что она последует сразу и без эмоций. Но тут сопровождавший его придворный улыбнулся ему, и эта улыбка не имела ничего общего с мыслью о смерти.

Тиберий сверху следил за их приближением. Гай искал его взгляд: под одутловатыми веками глаз было не рассмотреть. И император получил почти то же впечатление, что и в первую встречу. Молодой человек, переживший убийство всех своих родных, был непроницаем — то ли туп и наивен, то ли силён и крайне хитёр.

Тиберий старел и потому нуждался в новых стратегиях. «Эти шестьсот волков, собравшиеся в курии», сенаторы, прекрасно видели, что сильный вожак тяжело дышит.

«Знаю, они готовы вцепиться мне в горло», — думал Тиберий, ворочаясь в своей одинокой

постели.

Но из этой досады вдруг возникла выдающаяся идея, единственная способная умиротворить всех популяров и изрядную часть оптиматов, создав послушное и довольное большинство, — выдать единственную дочь самого влиятельного сенатора из оптиматов, Юния Силана, за единственного оставшегося сына отравленного Германика.

Приблизившись к императору, Гай склонился, чтобы подобрать полу императорской порфиры, и молча коснулся её губами.

И Тиберий про себя отметил утончённый ритм его жестов.

А вслух проговорил:

— У сенатора Юния Силана есть дочка. Ты на ней женишься.

Сказав это, он ощутил облегчение, что сумел бросить в эту волчью стаю жирный кусок баранины.

Гай окаменел от неожиданности. Он сразу подумал, что тому, кого собираются убить, не устраивают пышную политическую женитьбу. Вся его телесная жизнь снова воспламенилась. А Тиберий тем временем наблюдал за ним покрасневшими глазами из-под полуопущенных век, изучая его реакцию. Это был старый приём

— огорошить собеседника первой же фразой.

И Гай, пытаясь понять, что кроется за этим планом, спросил обезоруживающим, простоватым тоном:

— Как её зовут?

При этом инфантильном вопросе на лице Тиберия отразилось разочарование. С презрительным безразличием он ответил:

— Не знаю, — но тут же снова впал в свою патологическую подозрительность: он ожидал, что юноша скажет что-то ещё, и его молчание казалось угрожающим.

Мысли Гая следовали в лихорадочном беспорядке. Тиберий никогда ни к кому не испытывал сочувствия, и уж тем более к сыну Германика, тем не менее даровал ему этот очень важный и таинственный брак. Гай заметил — мельком бросив взгляд, — что позади Тиберия, как свидетель, стоит этот загадочный Серторий Макрон. И вдруг догадался, что жестокая борьба между сенаторами и его блестящий брак стратегически связаны между собой. Тиберий как-то раз сказал, что выступать в законодательной курии перед собранием сенаторов хуже, чем гулять ночью по Тевтобургскому лесу, и действительно много лет не появлялся там. А теперь, после стольких

убийств, он, Гай Цезарь, вдруг стал необходим императору, и его жизнь стала неприкосновенной.

Задыхаясь от торжества и на минуту забыв про самоконтроль, Гай поблагодарил императора за отеческую заботу и заявил, что с радостью повинуется. Тиберий, сжав губы, ничего не ответил. Он успокоился.

ЧЕТЫРНАДЦАТИЛЕТНЯЯ ЮНИЯ КЛАВДИЛЛА

И вот двадцатилетний Гай Цезарь после многих месяцев пребывания на Капри сел на корабль и высадился на материке. В Анции, на прибрежной вилле, которую потом назовут Нероновой — в действительности императорская семья владела на побережье и островах Тирренского моря целым рядом величественных резиденций: в Анции, Астуре, Спелунке, Байе, на острове Понтия, в Мизенах, Павсилипоне, на Капри, — был о устроено великое торжество, и на следующий день Гай женился на юной Юнии Клавдилле, дочери видного сенатора Юния Силана. И сенатор, едва увидев этого юношу, вспомнил, как ребёнком в день триумфа Германика тот всех удивил своим изящным греческим.

— Так угодно судьбе, — сказал он с отеческим видом.

Эта неожиданная свадьба вызвала горячий энтузиазм в народе; из Рима приехал кортеж сенаторов и матрон, люди стояли вдоль дороги, по которой проходила свадебная процессия, и

все говорили, что невеста — прелестная юная девственница, а жених — прекрасный молодой человек, в котором узнается очарование молодого Германика. Тиберий, оставшийся в уединении виллы Юпитера, втайне испытывал удовольствие от своей прозорливости. После стольких лет Гай увиделся с сёстрами, которых было уже не узнать, они стали женщинами и пришли со своими ненавистными старыми мужьями. Сёстры тоже — за исключением любимой Друзиллы, которая бросилась ему в объятия, — смотрели на брата, не узнавая, и из страха перед неосторожными расспросами позволили себе лишь формальные приветствия. А поскольку некоторым предусмотрительным оптиматам народное возбуждение показалось чрезмерным, Гай успокоил их страхи и подозрения застенчивым глуповатым молчанием, милыми улыбками и инфантильными ответами.

Насколько было видно, его брак в действительности родился из более сложных замыслов: в то время как Тиберий думал получить власть над сенаторами, сенатор Юний Силан думал о косвенном достижении императорской власти. И потому оба с мучительным нетерпением хотели как можно скорее увидеть рождение наследника.

Новобрачным отвели маленькую, но роскошную виллу в местечке, ныне называющемся Торре-Астура, в нескольких милях от Анция.

«Закрыть их там наедине, чтобы ничто не отвлекало», — думал Тиберий, а Силан, обеспечив виллу всевозможными удобствами, распорядился разыскать в эти деликатные дни опытную наставницу для девочки-невесты, её бывшую кормилицу.

Юная супруга была довольно глупа, хотя очень красива и изящна. Наставница закидала её советами. И когда за молодожёнами с подобающей торжественностью закрыли двери, многие отпускали шуточки насчёт первой ночи этой неопытной, испуганной четырнадцатилетней девочки со смущённым юношей, не видевшим ничего, кроме книг.

Но за закрытыми дверями молодой мужчина, подойдя к неопытной девочке-подростку, отвёл её к застеленной наставницей роскошной постели с единственной и страшной мыслью: ему суждено жить или умереть в зависимости от того, что произойдёт в ближайшие ночи. Его выживание покоилось на безудержно амбициозных династических мечтах его тестя. От него и от этого тела, которое он находил банально привлекательным,

весь Рим ждал наследника империи. И ждал вскоре, пока старый император не умер.

А поскольку между ним и этой девочкой не было ни мгновения любви, Гай призывал всю свою фантазию, чтобы преодолеть её неловкость и стыдливость, и под доносящийся из-за окон шёпот моря вспоминал искусство утончённых молодых рабынь в доме Антонии.

На следующее утро, по-хозяйски войдя в брачную спальню, кормилица увидела на постели счастливый беспорядок, ленивую улыбку Гая и новый взгляд своей маленькой Клавдиллы. Она улыбнулась, велела принять необходимые меры, и в спальню явились верные, старательные и опытные рабыни. Все улыбались — стражники-августианцы на молу, моряки, что вели лодки вдоль берега, а весьма опытная кормилица уже мечтала о жизни в Палатинском дворце, если наследник поторопится родиться, и считала недели и лунные циклы. А её, в свою очередь, изводил торопливый сенатор Силан, и она становилась всё более нетерпеливой и склочной. Между тем Гай, терпя её заговорщицкие улыбки, посвятил всего себя молодой супруге и устраивал для неё всевозможные развлечения. Клавдилла смеялась, и виллу наполнял её смех.

Они отдыхали в своём ежедневном обиталище — в триклинии на морской скале, превращённой в островок, который соединялся с виллой на суше лёгким мостиком. Глаза уже утратили недавнюю стыдливость, а хрупкое тело супруги — в первый день вспыльчивой до грубости, но теперь улыбавшейся с победоносным бесстыдством — было заключено в объятия мужа. Кормилица доброжелательно спросила, что им угодно на обед. Тут смех Клавдиллы умолк; растерянно посмотрев на кормилицу, она прижала руку к маленькой обнажённой груди и прошептала, что её тошнит. Кормилица бросилась подставить Клавдилле ко рту платок, и та тихонько икнула — один раз, но это стоило целой империи.

Кормилица многозначительно посмотрела на Гая, взяла двумя пальцами маленькую грудь Клавдиллы и сжала сосок. Оттуда выступило несколько капель прозрачной жидкости.

— Смотри, — сказала кормилица Гаю, — это ты.

Гай приподнялся на локте, склонился над грудью жены и нежно поцеловал её. Это был его первый, совершенно непринуждённый жест за эти дни. На губах остался кисловато-молочный вкус.

— Поздравляю тебя, — торжественно проговорила кормилица, — и поздравляю весь Рим.

Она не знала, какое облегчение принесут её слова.

Гай поднялся на ноги. Кормилица взглянула на его голое молодое тело. И вдруг он спрыгнул вниз, на берег. Жена томно смотрела на его широкие плечи, узкие бёдра, мускулистые икры, говорящие о долгих верховых поездках в детстве. По щиколотку в воде он повернулся к солнцу, чтобы отдать салют, и нырнул в море.

Кормилица объявила, что молодая жена забеременела, и это вызвало всеобщий энтузиазм. Юний Силан напомнил поздравлявшим его сенаторам, сколь древен, силён и плодовит его римский род. Тиберий в кругу своих немногих друзей с иронией заметил, что женившийся, пусть и не по своей воле, юноша рождён в семье, где Юлия и Агриппина в течение десяти лет — как все помнили — производили по ребёнку каждые двенадцать или тринадцать месяцев.

Но, отдавшись ему на этой вилле, столь изысканной, что казалась нереальной, бедная девочка не знала, что ей осталось жить лишь несколько месяцев.

— Младенец попытался родиться раньше вре-

мени, — объявил приговор врач.

А она, потрясённая, не в силах понять, что происходит, в промежутках между всё слабеющими и почти лишёнными дыхания криками умоляла всех о помощи — бессильных врачей, опытных повитух с окровавленными руками, жрецов, брызгавших на неё магической бурдой и бормотавших написанные этрусками шесть веков назад заклинания. Последним воспоминанием о ней стали полные ужаса глаза и рука, покрытая холодным потом, которую Гай постоянно сжимал, пока её тело вдруг не обмякло на очередном крике, и он убежал в ночь, на мол, в то время как часть его, его первый сын, умирал, задыхаясь внутри матери.

— Больше не слышу его сердца... — в отчаянии прошептал врач, приложив свой инструмент к её раздутому животу и слушая биение этой другой, маленькой, эгоистичной жизни, пытавшейся вырваться на свободу.

Она умерла, когда ночь медленно скользнула с неба в море на западе; и её душа, маленькая, глупая, невинная, в этот же момент погрузилась во мрак. Какие боги встретят её и возьмут за руку, чтобы перевести через страшную подземную реку на другой берег?

Гай покачал головой: не было никаких рек, никаких богов, ожидающих во мраке. А девочка из-за этих безжалостных замыслов, продиктованных властью, не дожила до пятнадцати лет. Ему стало тошно.

Её отец, Юний Силан, не плакал — не потому что был старым и сильным римским сенатором, а потому что был взбешён потерей мерещившейся власти. Он поставил всё на этот брак и наследника, который от него родится, и увлёк этим планом большинство сенаторов. А теперь больше не был опекуном Гая и смотрел на него со злобой.

Врачи, после смерти вскрывшие живот, сказали, что это был прекрасный мальчуган, который мог бы когда-нибудь стать императором. Все собрались посмотреть на него, умытого и спелёнатого, с приоткрытым ротиком, искавшим и не нашедшим воздуха. На роскошный, напитанный благовониями погребальный костёр его положили рядом с истерзанным телом его ненужной и невинной матери.

— Я думал назвать его Антоний Цезарь Германик, — пробормотал Гай, и слышавшие его удивились такому выбору.

Он спрашивал себя, могли ли зародиться какие-то мысли в этой крохотной головке.

«На кого был бы похож его ум? На импульсивный, полнокровный, саморазрушительный ум великодушного Марка Антония? Или на чистый, уравновешенный, уверенный Германика?»

Старый Тиберий на Капри хранил молчание. Возможно, он был не очень разочарован, так как несколько месяцев с беспокойством и раздражением наблюдал амбициозное рвение и назойливость сенатора Силана.

Сенатор долго смотрел на поистине императорский погребальный костёр, на дым своей власти. Не было ни ветерка, и костёр горел невыносимо долго. Серторий Макрон тоже смотрел, нахмурившись сильнее, чем предполагала его роль, так как этот брак был задуман им и этот мёртвый младенец — ради него пожертвовали матерью, которую, возможно, удалось бы спасти, по запоздалому признанию неосмотрительного врача, — драгоценный потомок Августа, Марка Антония, Германика и самого Юлия Цезаря, оказался бы на последующие десятилетия в его с Силаном руках.

Костёр догорел и погас. Ещё тёплый прах лежавших на нём тщательно собрали и, смешав, поместили в бронзовую урну. А на следующее утро Тиберий вызвал Гая на Капри. Защита рух-

нула, и его будущее было теперь совершенно непредсказуемым.

ТАЙНЫЕ КОМНАТЫ

В театральной и бесстрастной грандиозности виллы Юпитера Тиберий периодически исчезал на несколько часов или несколько дней в недоступных закоулках. Гонцам, послам, трибунам, префектам и проконсулам на материке приходилось дожидаться знака, что он готов их принять.

В такие времена виллой овладевали слухи и нервное беспокойство. Говорили про тайные галереи с разнузданно порнографическими фресками, про изящные рукописи с откровенно эротическими изобретениями Элефантиды (самой раскрепощённой и обладавшей самой богатой фантазией писательницы тех веков) и такими же откровенными иллюстрациями; про ложе, над которым возвышалась знаменитая картина Аталанты с Мелеагром, стоившая — по преувеличенным слухам — миллион сестерциев; про маленькие залы, где собирались немногие допущенные для коллективных эротических игр с юными рабами; про высеченный в скале вычурный бассейн, достаточно глубокий, чтобы пускать туда мальчиков побарахтаться. «Купается со своими рыбками», — недобро усмехались

придворные. А некоторые лицемерно смягчали рассказы, говоря, что так же вели себя и Сократ, и Платон, и Алкивиад, и Александр.

Про Тиберия говорили, что он старый закоренелый педофил, не способный по-другому избавиться от своего извращённого прошлого. Его физическая деградация усиливалась, в своём пороке он предавался исключительно созерцанию и с яростью, переходящей в тревогу, зрительно и умственно стремился к возбудителям, которые бы вновь населили его праздное одиночество. Император приказывал своим юным партнёрам подолгу изображать перед ним самые непристойные и извращённые мифы древности.

— Культура всегда чему-то служит, — прокомментировал кто-то.

Но эти игры всё более тяготили и удручали его, и он не отказывался от них лишь потому, что больше у него не оставалось ничего, чтобы почувствовать себя живым.

Эти мальчики неожиданно появлялись, причудливо выряженные по большей части греческими или сирийскими персонажами, бесконтрольно шатались повсюду, и их поглощали эти комнаты, а потом так же внезапно их грузили на корабли и увозили.

— Грязные извращения Тиберия, — говорили моряки, а поскольку обычно чтение о скандале приносит больше удовлетворения, чем подробные исследования императорской генеалогии, и в то же время оно является мощным оружием ненависти, знаменитые писатели в последующие века не находили ничего лучше, чем на лексиконе Субуры[36] описывать в своих высокопарных книгах сцены, которых в действительности никогда не видели.

[36] Примечания: 36
Субура — район Древнего Рима, известный своими притонами.

ПЬЯНСТВО ИРОДА

В один из дней, когда Гай сидел в портике, а Геликон перелистывал для него рукописи, совершенно неожиданно мимо в спешке пронёсся префект преторианских когорт Серторий Макрон. С одним из своих стремительных конных отрядов он упорно покрывал десятки и десятки миль и останавливался лишь для смены измождённых лошадей. Прибыв из Рима в Мезены, он взошёл на быструю либурну[37] для императорских гонцов, гребцы изо всех сил налегли на вёсла и доставили его на Капри. Долгое время никто больше не появлялся рядом с Гаем.

Лишь позже по тайной лестнице спустился раб Каллист, которого Тиберий когда-то отправил на чёрные работы. Теперь он сменил одежду на опрятную, без пятен. Грек деловито прошёл мимо, словно не видел Гая, но, заметив, что никого рядом нет, вдруг остановился и прошептал, что молодого Ирода, иудейского царевича, которого много лет держали заложником в доме Антонии,

---

[37] Примечания: 37

Лёгкое судно с однорядным размещением вёсел, позаимствованное Августом у жителей Либурнии.

бросили в темницу.

— Он напился и публично заявил, что желает себе поскорее увидеть день, когда на место Тиберия взойдёшь ты, Гай Цезарь.

Покачав головой, Каллист ушёл, а Гай молча вернул Геликону кодекс, в который смотрел всё это время. Новость была устрашающей и, наверное, через Сертория Макрона дошла до Тиберия. Так прошла вторая половина дня. Гай сидел, закрыв глаза, чувствуя на веках жар солнца. Геликон с молчаливой старательностью убрал книги на полки.

Гай вспомнил шатёр в глубине сада Антонии, музыку, ароматы, свет в ночной дымке, бесстыдно обнажённые молодые тела, голос Рометалька. Вопреки россказням и обещаниям Полемона и Ирода, с сомнительными фракийскими богами не было заключено никакого договора, и теперь Ирод в оковах оказался в ужасном Туллиануме[38].

«Нет на небе никаких богов, которым есть дело до моего будущего».

Это просто дикая выдумка, которая может стать глупой причиной их гибели.

---

[38] Примечания: 38

Туллианум — подземная часть государственной тюрьмы в Риме.

Каллист больше не появлялся. Солнце село, море потемнело, стало свежо. А по той же лестнице спустился префект Макрон. Гай Цезарь вытаращил глаза, увидев, что грозный префект впервые за всё время пребывания здесь отпустил свой эскорт.

Но и на этот раз Макрон, проходя мимо, сменил свою грубую торопливость на подчёркнутое спокойствие. Он посмотрел на Гая и на ходу бросил:

— Когда вернусь, хотелось бы найти время поговорить.

Гай попросил Геликона закрыть библиотеку и удалился в свои комнаты. Видимо, пока заходило солнце, успели произойти события, способные в корне изменить будущее. Несколько дней, притворяясь, что ему ничего не известно об аресте Ирода, Гай ждал, и каждый голос в коридоре, любой шум за дверью, особенно ночью, казался знаком, что за ним пришли. В то же время каждая либурна, заходящая в порт по имперским делам, вызывала надежду, что прибыл префект Макрон. Но ничего не происходило, и Гай начал надеяться, что Тиберий действительно считает его слишком тупым для участия в каком-то заговоре.

На самом деле случилось так, что Фрасилл, молчаливый родосский астролог в старом сером

паллии, таинственно — и очень кстати — заявил Тиберию:

— Я прочёл по звёздам, что Гай никогда не станет императором.

— Ты уверен в том, что увидел? — буркнул Тиберий, и Фрасилл с усмешкой ответил репликой, которая войдёт в книги историков:

— Скорее он верхом пересечёт воды залива от порта Путеолы до берегов Байи, чем станет императором...

И таким образом спас Гаю жизнь.

Но Гай ещё не знал и не мог представить, что это пророчество повлияло на спешный приезд Сертория Макрона.

Видимо, ситуация успокоилась и в Риме, поскольку молодой Ирод,хотя и оставался в темнице в оковах, но не был убит. И не началось никаких судебных процессов.

— Тиберий пока оставил его жить; сказал, что не хочет разжигать пожар в Иудее, — шепнул, бродя по библиотеке, Каллист, который после многих лет на чёрных работах стал быстро подниматься по иерархической лестнице без ведома уже больного Тиберия.

Гай глубоко вздохнул.

«Но откуда ему это известно? — спросил он себя.

— И зачем он говорит мне это?»

Каллист с улыбкой удалился, как тень.

А на следующий день благодаря тайным посланиям и не столь тайному вмешательству Сертория Макрона Тиберий сделал так, что сенаторы выбрали Гая на высочайшую государственную должность консула. По древнему порядку Римской республики консулов должно быть двое, и их полномочия длились двенадцать месяцев. Но часто практиковали избирать на обе консульские должности одного и того же человека, и не на один срок, а на десятки лет подряд, как в случае с Августом. Эта должность могла оказаться пожизненной.

Гаю Цезарю объявил это один чиновник, осторожно и с подобострастной улыбкой, и не дождался никакого ответа. Гай пытался распутать замыслы Тиберия, породившие такое решение.

«Вокруг меня плетут сети. А я, запертый здесь, ничего не знаю».

Однако он не сомневался, что его избрание успокоило неуправляемых популяров и в то же время помешало занять эту важную должность какому-то опасному врагу. Но главное, оно означало, что к марту он наконец покинет Капри и в славе этой новой должности приедет в Рим, куда

столько лет никак не мог вернуться. Повинуясь порыву, Гай спросил у чиновника, нельзя ли ему поблагодарить императора. Всё с той же улыбкой человек ответил, что император устал и просил — не велел! — дать ему отдохнуть.

На самом деле придворные говорили, что Тиберий уже несколько часов неподвижно полулежит в экседре со сброшенным одеялом и каким-то свитком на коленях и смотрит на море. Он страшно устаёт, шептались они, и погрузился в одиночество. Император долго дремал так. Он всё чаще допоздна, порой до вечера, оставался в постели в своих комнатах. В лучшем случае, он кое-как поднимался на закате и неподвижно смотрел на солнце на горизонте, а потом возвращался в постель. Однажды Гай Цезарь, молча отдав ему салют, встретил его слишком долгий взгляд: возможно, император хотел пообщаться, что-то сказать. Но замер. Гай тоже застыл.

На самом деле уставший от жизни Тиберий думал, что этот молодой человек пережил кое-что пострашнее, чем ночная прогулка по Тевтобургскому лесу. В его голове рождались вялые мысли о покое — те же мысли, что в старости толкнули Августа высадиться на острове Планазия, где томился в заключении его молодой внук Агриппа

Постум, и, обнявшись, поплакать вместе с ним. Тиберий с беспомощным запоздалым испугом думал, что прожил жизнь, чтобы узнать жестокую бесплодность власти. Он смотрел на Гая, но Гай не смог даже шевельнуть губами. И Тиберий продолжил свой тихий путь, еле переставляя опухшие стопы.

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ АВГУСТА

На Капри, на виллу Юпитера дули разные ветры. Тёмные ветры, налетавшие ночью с моря, отгоняли воду со скал.

Наступила самая жаркая ночь его двадцать четвёртого дня рождения, последняя ночь августа, и сегодня ни один из множества местных ветров не дул на скалы острова. Море было таким гладким и чёрным, что, даже если высунуться из окна, не слышалось никакого плеска на камнях.

Гай проснулся и стал мысленно разговаривать со своей матерью, умершей и оставшейся не похороненной должным образом на том маленьком, ещё меньше Капри, островке, куда никому не разрешалось высаживаться. Его мысли кружили вокруг этой фантазии в дымке, в которой уже растворялась память о её глазах, осанке, голосе. Прошло семь лет с тех пор, как он видел её уходящей с преторианцами в накинутом на плечи лёгком плаще.

Гай открыл глаза. Светало. В комнате смутно вырисовывалась фигура Геликона.

— Ты и этой ночью почти совсем не спал, — мягко констатировал он.

Гай сел и ничего не ответил. Он действительно устал. Геликон достал пузырёк с пахучей жидкостью и, начав осторожными движениями пальцев массировать Гаю затылок, спину, плечи, прошептал:

— Тот жрец из Саиса говорил, что мечты о запахе цветов, расцветших прошлым летом, приносят только боль. Рождаются другие цветы.

Гай встал.

— Хочу спуститься к морю, прямо сейчас, — сказал он.

Геликон испугался.

— Тебе запрещено выходить без разрешения императора...

Гай улыбнулся.

— Полагаю, меня никто не остановит.

— Подожди, — попросил Геликон, но тот уже надел лёгкую льняную тунику и вышел.

По длинной потайной лестнице они спустились к морю, и никто их не остановил. Стражники молча открыли калитку, за которую все эти годы было невозможно выйти. У крохотного причала рассветное море было безмятежно гладким. Раб-нубиец отвёз их на маленькой лодочке к узкому входу в знаменитый грот, где на воду падал необъяснимо голубой свет. Поэты писали, что

видели между скал водные божества со струящимися волосами, покрытые светящейся чешуёй, как хвосты у сирен[39].

Они свернулись на дне лодки, поскольку вода ещё стояла высоко и вход в пещеру открывался тонкой щёлкой над её поверхностью. Умелый взмах вёсел — и лодка скользнула под свод и проникла в пещеру, оставив солнечный блеск позади. Глаза наполнил голубой сумрак; молчаливый нубиец поднял вёсла, и с них закапала серебристая вода. Лодка подошла вплотную к рифу.

Гай и молодой Геликон одним прыжком соскочили на риф, разделись, и их голые тела скользнули в светящуюся воду; мокрая кожа тоже стала отсвечивать голубым. Они плавали в этом свете, и вода струилась по их телам, когда они вылезали на скалы; потом они снова ныряли в воду, отдаваясь ей, смотрели друг на друга и шутили, постепенно наполняясь чувственностью. Наконец вылезли на риф и, растянувшись, стали смотреть на отлив, медленно гнавший воду прочь, но оставлявший на коже серебристые

[39] Примечания: 39

Вообще-то в древней мифологии сирены изображались полуженщинами-полуптицами, и только в более поздние века их образ смешался с русалками.

отблески.

Когда они снова поднялись наверх и подошли к портику библиотеки, Гай увидел, что Серторий Макрон, всемогущий префект, вернулся из Рима и один, без эскорта, бессмысленно сидит в тени на скамье.

«Меня ждёт», — подумал Гай и задался вопросом, кто подсказал Макрону ждать именно здесь.

Он подошёл к префекту, сел рядом и с улыбкой сказал:

— Ночь была очень жаркой.

— Я родился вдали от моря, в горах, где снег лежит месяцами, — проговорил Серторий Макрон. — Знаешь где?

Гай вопросительно посмотрел на него.

— В самой мощной крепости от Скифии до Альп — в Альбе Фуценции, в сердце Апеннин. Я вырос среди солдат четвёртого легиона и легиона Марса, среди оружия. Ты родился на Рейне и знаешь величие каструма. Альба Фуценция — это высоко вознёсшаяся неприступная крепость, окружённая длинной стеной в четыре мили.

Гай смотрел на него, а тот продолжал:

— Ты видел на Рейне и в Азии врагов Рима. А я видел в подземельях Альбы Фуценции, как Рим карает своих врагов.

Гай улыбнулся ему. Макрон огляделся и заметил, что гениальный ум Тиберия сделал виллу Юпитера идеальным местом для правления.

— Сверху, с этой надёжной скалы, удобно наблюдать за Римом и властвовать над империей.

Выразив согласие, Гай вдруг заметил, как за изгибом портика мелькнула худощавая фигура Каллиста.

Макрон сказал, что Тиберий основал безопасность власти на преторианских когортах, расквартированных в сердце Рима, рядом с исторической дорогой, ведущей на юг.

— Это мудро.

Продолжая говорить, префект спрашивал себя, проникает ли этот молодой человек в смысл разговора, так как время от времени он кивал словно бы с детской робостью, но порой, наоборот, казалось, что он унаследовал от своего деда Августа способность слушать и коварно скрывать свои мысли.

— Преторианцы никогда не поддерживали интриги сенаторов, — говорил Макрон. — И теперь, после всей этой борьбы, заговоров и гражданских войн, подчиняются только своим командирам.

Таким грубым, но явным образом он подчеркнул свою власть и облегчённо вздохнул.

Гай молчал. Но, как взлёт сокола, в памяти возник тот дождливый день в каструме на Рейне, когда трибуны восьми легионов кричали его отцу Германику, что откроют перед ним Рим силой оружия, а отец молчал.

— Ты проводишь меня в библиотеку? Там, внутри, прохладно, — дружелюбно попросил он Макрона.

Впервые Макрон вошёл туда и прищурился в полумраке.

— Смотри, — сказал Гай, проведя пальцем по полке. — Это всё труды по астрологии.

Макрон не выразил ни удивления, ни невежественного почтения. Гай взял маленький кодекс и с театральной невинностью объяснил:

— Обрати внимание: это изобрёл Юлий Цезарь. Он говорил, что свёрнутые свитками рукописи неудобны на войне.

Он сел на единственную подставку и заметил, что в библиотеке никого нет. Макрон тоже это заметил и с плохо сдерживаемым нетерпением сказал, что знает другую историю, про Августа. Гай посмотрел на него. Казалось невероятным, чтобы этот префект когорт когда-либо прочёл хоть одну книгу, и если он говорил об истории, это означало что-то ещё.

А Макрон продолжал:

— Вот послушай: когда Августу было двадцать лет, он мечтал владеть Римом. Это знают и мои люди.

В полумраке было прохладно, но, несмотря на это, рассказчик вспотел.

— Август в двадцать лет уже понял, что ненависть множества сенаторов не даёт ему взять власть. И потому, когда его войско пошло на Рим, он подумал, что лучшим оратором для выступления в сенате будет центурион Корнелий, — рассмеялся он. — Корнелий, стоя посреди курии, увидел, что сенаторы не решаются голосовать, и тогда он скинул с плеча сагум.

Сагум (старое кельтское слово) — это грубый тяжёлый шерстяной плащ, который легионеры носили в походе, и сам по себе он являлся символом войны.

— И сенаторы увидели, как он указал на рукоять меча, висевшего на перевязи.

В окне появилось солнце последнего дня августа. Но Гай, всё ещё скованный подозрительностью, прервал префекта:

— Как, он посмел войти в курию с оружием?

Вопрос сбивал с толку, он низводил знаменитый государственный переворот Корнелия до

вопроса протокола.

— Именно, — яростно подтвердил Макрон, — и он крикнул сенаторам, что, если они не решатся, выборы свершит его оружие. И сенаторы тут же проголосовали.

— Я не знал этих подробностей, — заметил Гай со спокойным вниманием.

Серторий Макрон задумался, какие мысли скрывает это молодое, безмятежное, гладкое лицо с ясными глазами и каштановыми, слегка вьющимися надо лбом волосами, и на мгновение его охватил страх. Но Гай улыбнулся.

— Я рад, что ты пришёл.

Его глаза расширились, открыв удивительную силу взгляда.

— Мне тут не с кем было поговорить об истории...

Отбросив осторожность, Макрон проговорил:

— Августу тогда было двадцать лет, на четыре года меньше, чем тебе сейчас...

Сопоставление ободряло, но также и оскорбляло, а Гай продолжал улыбаться. Макрон понизил голос, он дышал часто и тяжело.

— Тиберий пользуется тобой как ширмой. Он держит тебя живым, чтобы помешать другим претендентам. Но ненавидит тебя так же, как

ненавидел Агриппину.

Гай вздрогнул: впервые за много лет кто-то, обращаясь к нему, произнёс это имя. А Макрон напористо продолжал:

— Когда Тиберий умрёт, кто-нибудь подошлёт к тебе центуриона, чтобы убить, как убили последнего брата твоей матери после смерти Августа. А меня... меня загонят в какой-нибудь легион на границе с Парфией или Набатеей, если вообще оставят в живых...

Он запнулся, осознав, чем рискует, если этот парень не способен его понять или, наоборот, если эти грозные предсказания его не волнуют, потому что он уже сам всё обдумал.

Но Гай спокойно ответил:

— Ты прав.

Макрон схватил его за плечо.

— Сегодня у нас двоих есть нечто такое, чего нет у других. У меня — когорты, и если я пойду на Рим, он будет у меня в кулаке. А у тебя — имя твоего семейства, слава отца... И ты молодой, не внушаешь страха...

Он рассмеялся.

Рассмеялся и Гай, уставший изображать тупую невинность взгляда. Он подумал: «Вы ещё не знаете, что такое страх; ничего, у вас будет время

его увидеть».

— А если у нас не получится? — спросил он Макрона.

— Тебя убьют. И меня тоже. Но если получится...

— Ты прав, — спокойно повторил Гай.

— Так ты согласен? — переспросил Макрон, задыхаясь от нетерпения, и увидел, как Гай кивнул. — Так я еду в Рим?

— Езжай, — велел тот.

Это был его первый приказ, и он постарался не проявить охвативших его чувств.

ЭННИЯ

Невий Серторий Макрон был отличным наездником и не знал усталости. Его люди говорили, что, несмотря на тройное имя, в нём, должно быть, течёт варварская кровь. Он выбирал крепких и тяжёлых коней без проблем с копытами и сухожилиями, коней, которые не шарахались от ночных теней, потому что любил скакать ночью, при луне, в неверном свете смолистых факелов, часами, как варвары-скифы. И вот, оставив на вилле Юпитера молодую, яркую, невежественную жену Эннию, он поехал в порт и сел на одинокую либурну, чтобы высадиться в Мизенах и пуститься по Римской дороге.

Едва либурна отделилась от мола, Энния села рядом с Гаем в уже знаменательном библиотечном портике, осмотрелась, провела пальцами по его волосам, взъерошила их, пощекотала за ухом и засмеялась.

— Уже неделю я умирала от желания сделать это.

Он оторвал глаза от чтения и улыбнулся: ему пришла в голову довольно грубая мысль, что эта женщина похожа на тех ретских девок из барака

в каструме.

А она, продолжая хохотать, провела двумя пальцами по его губам и дала на мгновение ощутить отполированный ноготь.

— Хочу поиграть, — сказала она. — Думаю, я знаю игры, которых ты и не представляешь...

Энния сбросила с плеч платье, как много лет назад та бедная женщина в дождливый день на берегах Рейна.

Он смотрел на неё со своей обаятельной улыбкой, а она чуть отошла, словно оробев. Гай спросил себя, где Серторий Макрон раздобыл такую женщину, чтобы привезти её сюда, на императорскую виллу. От неё сильно пахло благовониями и, похоже, потом. Её тело двигалось под туникой — видимо, под ней женщина была совершенно голая.

Гай на мгновение усомнился, что Макрон справится со своей задачей, если мог подумать, что такая женщина способна завлечь его — его, который в доме Антонии привык к окружению рабынь с шёлковой кожей, стройных, как тростник, обученных матерями — жрицами в сирийских храмах любви; его, который успокаивался и засыпал в любовных ласках Геликона. Энния положила руку ему на колено и погладила,

а он встал и сказал ей:

— Пойдём. Я знаю, где мы сможем поиграть.

Только на следующий день Гай узнал, что вульгарная Энния, жена префекта Макрона, не испытывавшего никакого почтения к астрологическим трудам, приходится племянницей как раз всемогущему астрологу Фрасиллу. И его скептическая подозрительность относительно возможностей Сертория Макрона сменилась восхищением.

Тиберий, казалось, ничего не замечал, даже того, что быстро подметил весь двор, а именно что Невий Серторий Макрон толкнул свою жену в объятия молодого Гая. «Он склонил этого юнца на свою сторону посредством своей жены Эннии, изобразившей любовь», — благопристойно напишет Тацит.

— Все говорят, — шепнул Геликон, смущённо улыбаясь, — что ты и Энния...

Гай тоже улыбнулся и ответил, что на этом острове некуда деться от скуки и надо хоть раз оторваться от книг. Энния была доступна и шумна.

— Все говорят, что Макрон — дурак, — настаивал Геликон.

И Гай в конце концов ответил, что Макрон про-

сто уверен в нём. Геликон поколебался, так как это утверждение противоречило очевидному.

— Что смеёшься? — сказал Гай. — Вера может принимать разные формы. Если уверен в слуге, доверяешь ему охранять сокровища, если уверен в лошади, ставишь эти сокровища на её победу в цирке.

Он снова непроизвольно улыбнулся, но уже не наивно и глуповато, как виделось многим, а плотно сжав свои красиво очерченные губы. Годы одиночества, тайных слёз и страха сделали его ум недоверчивым к искренности и милосердию, а долгие молчаливые размышления научили защитной хитрости.

— Не бойся, — погладил он Геликона по голове. — Вот увидишь, своей женой Макрон связал себя со мной крепче, чем думает.

После жары пошёл дождь, и бурное море обрушило на скалы тяжёлые пенистые валы. Гай провёл этот день за рисованием. Потом открыл один маленький измятый кодекс, полистал его и заметил рисунок, нанесённый смутными штрихами, — как будто бы дом у реки.

— Что это? — спросил Геликон, придвинувшись ближе.

Это был Нил, Юнит-Тентор, дни юности, когда

Гай на борту лодки рисовал, а Залевк держал чернильницу.

— Помнишь храм, который Марк Антоний и Клеопатра не смогли достроить?

Гай взял каламус.

— Смотри, здесь должен возвышаться красивейший атрий...

Но возникшие в голове мысли не дали ему договорить.

— Он называется хонт, — шепнул Геликон.

— Да. Атрий с колоннами. Жрец говорил мне, что Марк Антоний и Клеопатра хотели расписать потолок магическими кругами созвездий.

Гай показал другой лист: там была затейливо изображена река, но в середине виднелся остров, напоминавший корабль.

— Узнаешь? Это Филы. Там тоже был недостроенный храм, и эти двое хотели возвести там высочайший портик с более чем тридцатью колоннами... — Он с улыбкой закрыл кодекс. — Спрячь его. Не нужно, чтобы кто-то и в самом деле увидел эти детские рисунки.

РАБОТА СЕРТОРИЯ МАКРОНА

Серторий Макрон вернулся и доложил Тиберию всё, что считал нужным, о своей стремительной поездке, но Тиберий плохо себя чувствовал и впервые принял доклад без особого внимания.

Макрон закрылся с Гаем в библиотеке.

— В эти дни в Риме нет никакой власти, — заявил он. — Никакой. Только мои когорты, они проводят дни, выгуливая лошадей, начищая оружие и играя в кости. Помнишь, в каком страхе держал Рим Элий Сеян? И кто освободил город от него за одну ночь, до рассвета следующего дня? Я, я один; я справился с ним, словно объездил коня. Тиберий был здесь, как сейчас ты. Если бы я не проделал этого той ночью, оставалось бы только ждать, когда посланный Сеяном убийца заберётся сюда и зарежет Тиберия. А теперь всё гораздо проще, но и опаснее. Сенаторы раскололись на две банды...

Гай осторожно подсказал:

— Думаю, ты сам знаешь, с кем нужно поговорить...

Многие в те годы оплакивали убитых родственников и в бессильной скорби называли имена:

Кретик, Валерий Мессала, Гракхи, Аврелий Котта, Цецина Север, Клуторий Приск. И трибун Силий. И Сосии, мужественные книжники. Череда призраков.

«Если бы рядом были они, живые, — думал Гай, — вместо этого типа».

Серторий Макрон сказал, что поговорил с кем необходимо. И гарантировал:

— Рим за тебя, как он был за твоего отца, как был за Марка Антония, а ещё раньше за Юлия Цезаря.

Молодой Гай ощутил, как в висках стучат эти имена, и тем не менее улыбнулся.

— Нужно помнить, что все трое были убиты, — сказал он.

Серторий Макрон, не давая увести разговор в сторону, продолжил:

— Тиберий тяжело болен. Нужно, чтобы он покинул Капри, пока в состоянии. Мы должны приблизиться к Риму. Если завтра утром он не проснётся и его слуги выйдут из его спальни с криками, известие мгновенно достигнет Рима, и кто тогда встанет и выкрикнет: «Империя моя»? Начнётся гражданская война. Но мы этого не допустим. В этот момент на рассвете, прежде чем сенаторы проснутся, я должен быть в Риме, как

в тот раз. Враги твоего отца, оптиматы, уступят, только если увидят то, что увидели при падении Сеяна. И когда они, войдя в курию, услышат, что Тиберий умер, и начнут решать, что делать и кого выбирать, всё будет уже решено... Я один знаю, как это сделать, мальчик, и уже сделал, и покажу тебе. — Он поколебался, уставившись Гаю в глаза. — Если обещаешь, что, прибыв туда...

— Обещаю, — перебил Гай Цезарь, выдержав его взгляд.

Однако дрожь выдала горящую внутри мысль: власть принадлежала ему по праву и по крови, ему, и никому другому, никто ему её не дарил. Вульгарный, хитрый, неистовый Макрон верил, что это он придумал интригу, мнил, что ухватил — за спиной у него — истинную власть, верил, что будет господствовать со своими преторианцами и своей женой с её грубыми непристойными манерами. Но Гай со свирепой злобой заключил про себя, что у него тоже есть свои подлые, грязные, презренные, но необходимые инструменты. И улыбнулся.

МИЗЕНЫ

Заканчивалась зима.

— Мои люди наготове, — сказал Серторий Макрон, который уезжал в Рим и возвращался в самое неожиданное время. — В течение суток все легионы должны узнать, что империя в твоих руках.

По всей империи — от Мавретании до Аравии, от Иберии до Сирии, от Сицилии до Германии, на протяжении других пятидесяти тысяч римских миль, сколько насчитывали в ту пору дороги империи, раскинулась паутина высоких, окружённых стенами сторожевых башен, как в каструме на Рейне, где Гай провёл детство. Нечто вроде сухопутных маяков с выступающим защищённым балконом. Сверху днём в ясную погоду посылались сигналы дымом с установленной длительностью и интервалами, а на другой отдалённой башне, на возвышенном месте в пределах видимости, тоже дежурил постоянный дозор, и оттуда тут же посылали сигнал дальше.

И если, как прошептал префект Макрон, всё было действительно готово, возникал триумфальный образ: посредством огня и дыма этих

сигналов в кратчайшее время, буквально в считанные часы, на всём бескрайнем пространстве империи с её большими городами и маленькими городками, деревнями, легионами на границах и миллионами людей, говорящих на разных языках, всем стало бы известно, что узурпатор Тиберий наконец умер и с помощью хорошо вооружённых преторианцев, флота и легионов в Германии, при покорном согласии сената власть получил молодой Гай Цезарь — сын великого Германика, преданного и убитого, правнук Октавиана Августа и Марка Антония, единственный оставшийся в живых мужской потомок императорской фамилии.

Неожиданно для всех Тиберий захотел покинуть Капри. В обитой лектике[40], с рабами, помощниками и врачами спуск из виллы Юпитера к порту был затруднён, а ещё труднее было погрузить императора на корабль и перевезти. Все вспомнили — а кто не вспомнил сразу, тот ошеломлённо услышал от других — зловещее пророчество, много лет назад предрёкшее Тиберию смерть, когда он попытается вернуться в Рим.

---

[40] Примечания: 40
Лектика — носилки для переноски людей.

Тем не менее император лишь на мгновение обернулся назад посмотреть на остров, где провёл годы в своём неприступном логове, а потом шагнул за тяжёлые стёганые шторы, так как на море дул переменчивый раннемартовский ветер, ветер с востока, с Матезских гор, который, если верить морякам, сулил дождь.

Император, закрытый шторами своей лектики, добрался до грозной военно-морской базы в Мизенах, гарнизон которой сеял страх во всём западном Средиземноморье. Тысячи моряков оказали ему почести, но человек, которому они предназначались, ничего не видел и не хотел видеть. Августианцы, ни на минуту не оставлявшие его на Капри, уступили место префекту, командовавшему знаменитыми Мизенскими преторскими частями — Западно-Средиземноморской армией, его моряки традиционно эскортировали императора в портах и во время морских поездок.

И вдруг префект намеренно широким жестом на глазах у своих людей провёл рукой вокруг и обратился к Гаю:

— Смотри: всё это построил отец твоей матери Марк Агриппа, величайший моряк, какому когда-либо Рим отдавал почести. В западном порту он

спроектировал водохранилище, соединяющееся с открытым морем, и построил восточный порт, более укрытый, со складами, мастерскими, верфями, канатными фабриками, жильём. Он хотел соединить оба порта, прорыв канал, а в скале высек резервуар, собиравший воду со всего Серинума. И флот не испытал бы нехватки в питьевой воде, даже если бы всем кораблям пришлось отчалить в один день.

Впоследствии этот водоём назовут Чудесный Пруд; он был большой, как кафедральный собор, длиной семьдесят метров и шириной двадцать шесть, с мощными опорами, высеченными в ложе скалы.

— Благодаря твоему деду теперь никто ни в одном уголке моря не смеет плавать без позволения Рима, — объявил префект и заключил: — Люди из Мизенских преторских частей постоянно следят за этим.

И Гай понял, что это не просто информация, а явный договор о мятеже.

— Я помню об этом, — сказал он, — и знаю, в каком долгу империя перед этими людьми.

Добравшись до стоящей на мысе виллы — которая за сто лет до этого принадлежала богачу Лукуллу, победителю Митридата, — врачи пре-

рвали эту последнюю поездку императора, и там болезнь Тиберия стремительно перешла в безнадёжную агонию.

— Никак не кончится... — злобно бормотал Серторий Макрон. — Боюсь, как бы кто-нибудь ещё в Риме не подготовился...

Охваченный тревогой, он (как в своё время Ливия об Августе, умиравшем в Ноле[41]) распространял слухи о чудесном выздоровлении старого Тиберия, тогда как на самом деле император хрипел среди подушек на глазах у измученных врачей, понимавших, что скоро останутся без работы и денег.

Серторий Макрон знал и кое-что ещё, в чём с бешенством признался одному Гаю: Тиберия тревожит, что через час после его смерти разгорится борьба за власть. И потому император пытался объединить, невозможным образом примирить последнего отпрыска Юлиев, то есть Гая, с последним представителем рода Клавдиев, то есть своим девятнадцатилетним внуком по имени

[41] Примечания: 41
Нола — город в Кампании.

Тиберий Гемин[42].

— Я решил, — признался он Серторию Макрону, — что все мои богатства нужно разделить между ними поровну.

Раздел имущества означал доступ к императорской власти.

«Совсем свихнулся, — сердито думал Макрон, пока Тиберий еле внятно объяснял своё запутанное завещание. — Соединить сына убийц с сыном убитых! Он хочет посадить в одну клетку змею и тигра... — Он злобно рассмеялся про себя. — Это будет гражданская война».

И вот, пока Тиберий говорил, Макрон привёл к его изголовью знаменитого римского врача, о котором с сарказмом говорили, что как-то раз, закрывшись с нотариусом в комнате одного сенатора, которого кто-то из родственников уже нашёл бездыханным и окоченевшим, он сумел воскресить его на достаточное время, чтобы тот продиктовал свою последнюю волю в отношении денег. Этот врач посмотрел на императора, услышал бормотание, которое после двадцати трёх лет мира сулило Риму войну, услышал другие

---

[42] Примечания: 42

Автор называет его Тиберий Гемин, хотя обычно его называют Гемелл. И то и другое на латыни означает «близнец» (его назвали так, потому что он родился в двойне, но его брат-близнец умер).

фразы, которые счёл бессмысленными, и отошёл с безнадёжным жестом, предлагая Серторию Макрону сохранить эту небезопасную тайну.

Пока огромные ворота к власти медленно открывались перед Гаем Цезарем, он смотрел невидящими глазами на серое море этой дождливой весны.

«В империи сотни неизвестных тебе городов и народов, — сказал ему однажды отец. — Они в долгу перед тобой, любят тебя или ненавидят, могут быть полезны или нести опасность, это твои союзники или смертельные враги. Представь их всех своим холодным умом, особенно ночью. Ночь создана, чтобы проникать в мысли других».

При этих воспоминаниях Гай начал писать то, что станет, он знал, его первой речью к сенаторам и преторианским когортам, и это шанс действительно утвердить свою власть. Нельзя было терять время: будущее могло наступить через неделю или же этой ночью, через час. Но он писал не на папирусе или пергаменте. Никто во всей империи не должен был догадаться ни об одном слове, пока не придёт миг его услышать. Гай писал речь, фразу за фразой, в серой массе своего мозга, без возможных свидетелей, проха-

живаясь по пустынной террасе, в то время как порывы ветра с дождём отступили, открыв над морем полосы спокойствия. И, глядя на море, он вдруг рассмеялся.

Он ощутил, как речь укоренилась в уме. Долгое одиночество привело к грандиозным результатам. Гай думал, что, в конце концов, мозг человека — это комок мягкого, нежного серовато-го вещества, покрытого прожилками тонких вен; впервые он увидел его в семилетием возрасте — обнажившийся мозг убитого херуска.

А теперь его собственное молодое серое вещество — наследие-Юлия Цезаря, Марка Антония, Августа, Германика, которые вложили в него нечто не имеющее аналогов во всей империи, — пришло в действие. Упорядоченный и ясный, его мозг обладал взрывной мощью — словами, которые откроют для империи новую жизнь. Гай выжидал. Требовалось помолчать ещё несколько дней, а возможно, часов. А пока он один в империи знал — и говорил себе это, — что скоро всё переменится. Это была власть — орёл, высоко парящий вне пределов видимости в ослепительном небе.

Гай попросил подать коня. Офицер, командовавший охраной виллы, впервые улыбнулся и

заверил, что выберет коня сам, и не одну из тех кляч, что с трудом взбираются на холмы Капри, а коня, привыкшего скакать галопом по широким равнинам и неровным склонам.

И из императорских конюшен в пурпурно-золотой сбруе вышел великолепный трепетный конь мощного и пропорционального сложения со шкурой цвета мёда. Офицер сказал Гаю, что с некоторых пор его держали на тот невероятный случай, если Тиберию вздумается поехать верхом, и Гай подумал, что открывший эту конюшню тоже вынашивает некоторые замыслы на будущее. Он похлопал коня по холке, а тот горящими влажными глазами посмотрел на него и понюхал его руку. И вдруг, повинуясь порыву, Гай с воздушной лёгкостью вскочил в седло и ощутил под шкурой животного дружеский трепет.

В мгновение ока его окружили люди — не неотвязный эскорт августианцев, а отряд морской гвардии.

Их командир объявил:

— Это наша территория. И мои люди претендуют на эту честь.

Гай научился от отца читать настроение приветствующих тебя людей: эти, несмотря на жёсткое достоинство движений, стремились

смотреть прямо в глаза, их рты открылись в общем приветствии. И он инстинктивно отсалютовал им, как это делал отец. Впервые его рука свободно поднялась в этом жесте. И солдаты ответили дружным криком, как, бывало, при встрече с вражескими кораблями.

— Поехали, — сказал Гай, и все вместе они покинули виллу.

Все запреты рушились. Никто ничего не говорил. Ему просто салютовали с гордым видом соучастников, глядя, как он скачет мимо.

«Всё меняется, — думал Гай. — Никто быстрее их не понял этого, потому что их жизнь зависит от власти».

Он отвечал на салюты с непринуждённым благородством, что являлось неотъемлемой частью его аргументов и казалось следствием невинной молодости, но на самом деле он сам создал эту непринуждённость в годы мучительного унижения.

Гай пустил коня в галоп вдоль залива к Байе. Он чувствовал себя всё свободнее по мере того, как местопребывание Тиберия оставалось всё дальше позади. На языке у него вертелось имя, которым много лет назад он называл своего любимого молодого конька на берегах Рейна:

— Пошёл... Инцитат!

Он повторил это, склонившись к уху коня:

— Инцитат!

И тот ответил щедрым, ритмическим и размашистым напряжением сильных мускулов. Вместе с твёрдой мощёной дорогой под конскими копытами улетало назад прошлое. Это чувство опьяняло. По бокам дороги все по-прежнему останавливались и приветствовали его.

Высоко на мысе посредине залива, на вершине большого утёса одиноко расположилась вилла — одна из многих резиденций императора, — о которой говорили, что оттуда открывается прекраснейшая панорама, какую только создавали боги на земле и на море. Уже много лет там никто не жил, но, когда всадники достигли самого верха, управляющий и слуги были уже в готовности. Вилла оказалась простой и чудесной: большой зал в виде равностороннего креста выходил с четырёх сторон в четыре зала поменьше, где большие окна, как картины, обрамляли четыре разных завораживающих пейзажа.

Гай направился на террасу. Горизонт заволокло дымкой. Он думал увидеть Капри, высокую скалистую тюрьму, откуда едва вырвался, но обнаружил, что на море, справа, за Мизенским

мысом, протянулся длинный зелёный остров Прохита, то есть нынешняя Прочида, а дальше виднеется вершина горы Эпомей на острове Энария, который через века мы назовём Искией. Гора заросла лесом, и никто, глядя на её нежные плодородные склоны, не предположил бы, что это вулкан. Гай смотрел дальше, но в густом тумане ничего не было видно, и в конце концов он решил, что без толку высматривать вдали остров под названием Пандатария.

Он опустил взгляд. Всё вокруг на обширных, покрытых зеленью полях казалось жерлами потухших вулканов, заросших кустарником; другие вулканы, частично поглощённые морем, превратились в маленькие заливчики. У основания в старом кратере образовалось круглое озерцо. Его отделяла от моря тонкая перемычка из затвердевшей лавы, в которой прорыли судоходный канал. Вокруг теснились самые прекрасные в империи виллы. От бухты внизу до последних отводков Неаполя тянулись Флегрейские поля, легендарные Огненные поля. Но последнее, самое широкое жерло вулкана зловеще преобразилось в тёмное неподвижное озеро, испускавшее в небо стаи облаков. Никогда не видевший подобного зрелища Гай узнал страшные описания поэтов:

«Авернское озеро, роща Гекаты, подземная пещера Ахерузия...» Под ними, согласно древним мифам, располагалось царство мёртвых.

— Взгляни вниз, на мыс, — тихо и точно указал офицер, словно задавал цель. — Эта вилла принадлежала раньше Кальпурнию Пизону.

Богатейшая вилла Пизонов, которые в Сирии отравили Германика, возвышалась в крайней точке залива. Гай Цезарь молча посмотрел туда и сказал офицеру:

— Благодарю тебя, что показал.

Ему подумалось, что в этой олимпийской резиденции, среди огромных деревьев, мрамора, греческих статуй и терм, затаилась тревога. «Только тронь их, и сейчас же потеряешь сон, думая о Пизонах всю ночь».

V
IMPERIUM NOVUM.
НОВАЯ ИМПЕРИЯ



Власть — это орёл, парящий в летнем небе.

Гай Цезарь Август Германик.
Из писем (утраченных)

ВИЛЛА В МИЗЕНАХ

В семнадцатый дождливый день марта в скорбном полумраке виллы в Мизенах собравшиеся озабоченные люди — правда, их озабоченность вызывалась не нежными чувствами — выслушали торжественное заявление императорского архиатра (придворного врача), что хриплый шум за прикрытой дверью — это последние вздохи Тиберия после двадцати трёх лет царствования.

С тех пор как врачи шепнули Серторию Макрону, что император не доживёт до утра, Гай стоя дежурил в прихожей. Он отверг неожиданное предложение услуг от некоторых вольноотпущенников, чего не встречал в императорских палатах; его мысли поглотило долгое ожидание Макрона на этом пороге. Префект так же оставался на ногах.

Отодвинув занавеску, Гай выглянул наружу: всё ещё продолжался нескончаемый день, и на вздымающихся морских волнах играли лучи солнца. Но под портиком, охраняемым неожиданно нагрянувшими в Мизены преторианцами, солдаты держали под уздцы мощного жеребца, которого предпочитал Серторий Макрон. Конь

нетерпеливо пританцовывал, закусывая удила и стуча своими большими копытами.

Пока Гай смотрел на коня, который, не ведая того, дожидался смерти императора, из комнаты донеслись какие-то крики вперемешку с рыданиями, и он обернулся. Множество голосов перекрывал грубый и зычный голос Сертория Макрона.

— Опечатать императорские комнаты, ввести на виллу охрану, никого не впускать и не выпускать, — приказал он с суровой непосредственностью начальнику охраны.

В присутствии покойника префект выкрикивал команды. И никто не возражал.

Гай двинулся туда, откуда доносились голоса. Планетарная власть Тиберия разбилась, как упавшее на землю стекло. Управляющему царской фамилии Макрон орал, чтобы тот обеспечил похоронные формальности.

— Созови вольноотпущенников, переодень покойника в порфиру.

Управляющий, уже видевший себя со всем двором в тюрьме, растерянно кивал. Гай подходил всё ближе, и только тут вдруг все заметили его и расступились.

Макрон тоже его увидел, и его глаза загорелись.

Он по-военному подчёркнуто отдал салют и сказал совсем другим голосом:

— С твоего позволения, я пойду.

Гай кивнул. За это небольшое время преторианцы взяли под охрану все входы на виллу и впервые заняли сигнальную башню, пресекая любые попытки передать сообщение. Пройдя мимо прижавшихся к стене придворных Тиберия, Макрон в сопровождении личной охраны с шумом удалился.

Гай повернулся спиной к комнате, где лежал мёртвый император, и, даже не взглянув на него, тоже ушёл. Вскоре к нему по бокам пристроились преторианцы и пошли вместе с ним. После многолетней внутренней тревоги и унизительной опеки в нём возродилось более высокое чувство, чем ощущение власти, — чувство неуязвимости. С таким эскортом он вышел на террасу и вскоре увидел, как Макрон, с тяжёлым проворством вскочив на коня, в сопровождении своих людей поскакал вниз по дороге, к штабу военно-морской базы.

Внизу префект и офицеры Мизенских преторских частей, уже посвящённые в план, собрали экипажи кораблей.

Серторий Макрон кратко и сурово объявил:

— Процарствовав сами знаете сколько, Тиберий умер.

Солдаты выслушали сообщение в глубоком молчании и продолжали ждать.

Начиная поспешную процедуру смены власти, которая будет часто повторяться при выборе последующих императоров, префект говорил об умершем грубо и без пышных слов, полагая, что знает мысли и желания моряков.

— Народ надеется, — крикнул он, — выбрать человека, который наконец признает заслуги славного военно-морского флота и его необходимость.

Люди ответили рёвом. И Макрон стремительно бросил им имя Гая Цезаря Германика.

— Это внук легендарного Марка Агриппы, — объявил он, — величайшего моряка из когда-либо служивших Республике, человека, на висках которого, как выразился Вергилий, сверкала корона из ростр разбитых вражеских кораблей.

Императорская вилла на вершине Мизбнского мыса господствовала над обширным портом, и тут вдруг, как гром из тучи, до террасы донёсся протяжный крик тысяч глоток. Гай медленно вернулся в зал аудиенций и стал ждать.

Появился торжествующий Макрон с префектом

Мизенских преторских частей и группой восторженных морских офицеров, число которых увеличилось по пути. Все вместе они ввалились в зал, называя Гая императором и отдавая ему почести, которых в течение двадцати трёх лет удостаивался только Тиберий.

В память о родственниках и в честь текущей в его жилах крови Гая признали, и он затрепетал от внезапно нахлынувших чувств, каких не испытывал никогда в жизни. Этот скоропалительный переворот вдруг дал ему в руки десятки тысяч вооружённых людей, морские пути, связывающие Рим с его средиземноморскими провинциями, жизненно важные источники египетского зерна. То есть это была претензия на власть, которая могла закончиться или триумфом, или жесточайшим поражением.

На мгновение им овладела робость: за свои двадцать четыре года он часто ходил рука об руку со смертью. И впервые его голос прозвучал свободно:

— Клянусь вам памятью Августа, Агриппы и Германика, что отдам жизнь, чтобы ваша верность не обернулась разочарованием.

Он произнёс эту короткую фразу на одном дыхании, как обдуманную речь, чтобы её передали

историки будущего.

Офицеры, в эти мгновения поставившие на кон свою карьеру, ответили с инстинктивным энтузиазмом. «Волки признают рычание вожака», — десятки лет назад сказал Марк Антоний, хорошо умевший физически главенствовать над солдатами своих легионов. Но на лице Макрона возбуждение смешивалось с удивлением. Никто из присутствующих не знал, из какого царства мук освободился произнёсший эти слова.

Гай мельком отметил встревоженные лица, потерянные взгляды и неуверенные движения старых придворных, которые до сих пор держались отстранённо, нахально или злорадно, а теперь явно дрожали от этого неожиданного вторжения вооружённых людей.

В этой атмосфере государственного переворота Серторий Макрон второй раз объявил:

— Я отлучусь, — и пустился по дороге в Рим.

Гай Цезарь вернулся на террасу. Куда ни повернись, на вилле, уже взятой под контроль, как каструм в варварских землях, все взгляды были направлены на него. Если он делал шаг, это движение волной отзывалось на эскорте, чиновниках, слугах, рабах. Гай посмотрел вслед Макрону, скакавшему под набухшими дождевыми тучами

со своим верным отрядом превосходных всадников, жадно пожирая мили, так как в конце этого пути он ухватит власть в империи.

ВЫБОРЫ

Макрон нагрянул в город глубокой ночью. Он жадно выпил чашу вина и быстро разбудил солдат преторианских когорт, так же как в своё время мобилизовал их для ликвидации Сеяна. Ещё не рассвело, когда префект поднял консулов, встревожил их и договорился с ними, прежде чем известие о смерти императора взбудоражит город. Потом поспешил в курию, куда, запыхавшись, сбегались внезапно разбуженные сенаторы, неожиданно натыкаясь на углах улиц и перед публичными зданиями на манипулы преторианцев.

Многие из них были ещё в дверях, когда Макрон, никому не позволив заговорить первым, объявил, что «после долгой борьбы с болезнью император Тиберий испустил дух прямо у меня на глазах» и предъявил свидетеля, «которого я своими руками привёл в императорскую комнату».

Проверили печати, вскрыли пакет, торжественно прочли его. И все были поражены, узнав, что покойный император объявил совместными наследниками своих неисчислимых богатств Гая Цезаря, сына убитого Германика, и своего

несовершеннолетнего внука по имени Тиберий Гемин. Все, и оптиматы, и популяры, понимали, что исполнить это будет нелегко.

— Переходный дуумвират, — шептались оптиматы, скрывая свою радость от предвкушения слабого разобщённого правительства, находящегося в руках большинства.

Но среди бывших в меньшинстве популяров закипала бессильная злоба. «Рим не выдержит второго Тиберия». Все понимали, что в имперском имуществе, просто несметном, постепенно слились грандиозные богатства Августа, обильная конфискованная собственность Марка Антония и его разбитых сторонников, а также неистощимые доходы из провинции Египет.

— Но туда бесстыдно приобщили и собственность Юлии, умершей в нищете в Регии, и собственность её друзей, — кричали популяры. — Туда бросили и добро осуждённых по закону «О величестве», конфискованное имущество Агриппины и двоих её убитых сыновей, а следовательно, и имущество Германика.

Насмешка жгла, может быть, ещё сильнее, чем собственно грабёж.

Пока курия кипела комментариями, а окружённые сторонниками лидеры фракций пытались

выработать стратегию отпора, один сенатор — который не был ошеломлён, поскольку каждый день разговаривал с Серторием Макроном, — задумчиво проговорил:

— Тиберий долго болел. Нужно узнать, в каком состоянии он был, составляя это завещание.

Все поняли, что он бросил камень в осиное гнездо, а сенатор продолжал:

— Последним видел императора живым префект Макрон, — и попросил допросить его.

Серторий Макрон со своими вооружёнными людьми за дверью — «защитой и охраной сенаторов» — клятвенно заверил присутствующих:

— Я был рядом с ним день и ночь. Это завещание было составлено в невменяемом состоянии.

Его латынь была грубой и неправильной, но слова, подсказанные изощрённым юристом, были выбраны точно и предполагали определённые последствия. Курия тревожно зашевелилась, и Макрон понял, что пора вмешаться знаменитому дорогому врачу и рассказать о сбивчивых речах Тиберия на Капри. И тот с научным авторитетом подтвердил:

— С некоторых пор в великом уме императора произошли необратимые повреждения.

Никто из присутствующих, не видевших Ти-

берия много лет, не посмел возразить. А один сенатор встал и потребовал объявить завещание недействительным.

Поставленные в трудное положение сенаторы немного посовещались, но потом, оглядываясь на движение преторианских когорт и заполнившую Форум толпу, собравшуюся из всех районов Рима, подтвердили, что завещание никак нельзя считать действительным. Несметные богатства бережливого и скупого Тиберия были собраны из имперских доходов и потому целиком должны перейти будущему императору. Несовершеннолетний внук не наследовал ничего, и политическая сцена оставалась пустой.

Теперь шестистам сенаторам, высшим хранителям Республики, надлежало выбрать того, кто — как раньше Август и Тиберий — будет держать в своих руках большую часть государственной и исполнительной власти: принцепса цивитатуса, императора. Но собрание безнадёжно раздирали старые свары между враждебными фракциями, оптиматами и популярами, — этот ров ещё долго будет разделять более-менее одинаковым образом все политические собрания планеты.

— Шестьсот волков, — сквозь зубы выругался Серторий Макрон, покидая помещение на время

тайного голосования.

По яркому выражению Тиберия, сказанному «до того, как его ум помрачился», в сенаторских креслах затаилась стая волков, изображая торжественные выборы. «Но они лишь выжидают, как волки в горах, чтобы вырвать из чужих клыков добычу».

Серторий Макрон поджидал за дверью, в строгом порядке выстроив свои когорты.

Тем временем вокруг курии собиралась всё более густая и шумная толпа. Как и предвидел Макрон, сенаторы услышали, как выкрикивается имя убитого Германика и его единственного выжившего сына, молодого Гая Цезаря.

— Преторианцы не вмешиваются, — шепнул кто-то.

Напряжённость возрастала.

— Зреет восстание.

В прошлом в ситуациях, не столь отличных от этой, начинались гражданские войны, в которых стороны годами резали друг друга.

Ещё кто-то вполголоса заметил, что история с завещанием, объявленным недействительным после свидетельства — а точнее, вооружённого свидетельства — Макрона, грозно продемонстрировала, что преторианские когорты, железные,

несокрушимые хозяева Рима, поддерживают Гая. Настал подходящий момент, чтобы от кресла к креслу пронеслось известие, что «пока благодаря усилиям грубого, но крайне опасного Сертория Макрона мы считали Тиберия живым, этот мальчишка Гай втихомолку оставался в Мизенах и уже привлёк на свою сторону Западно-Средиземноморские войска, мощную силу Мизенских преторских частей».

Другие добавляли, что, повторяя столь знакомую историю, «этот мальчишка» легко привлечёт на свою сторону легионы.

— Он единственный человек во всей империи, в котором (течёт кровь и Августа, и Марка Антония.

В памяти был ещё жив кошмар прежних побоищ с последовавшими за ними судебными процессами и проскрипционными списками. Умудрённые этим опытом внуки утратили часть кровожадности своих дедов. И потому сенаторы обеих партий, решившие мирно разойтись по домам, старались поскорее прийти к согласию.

Снаружи Серторий Макрон услышал, как стихают голоса в курии, и улыбнулся про себя со своим жестоким опытом горца: вот так затихал вой уставших волков, когда добыча ускользала. И

действительно, за дверью кто-то рассудительно заговорил, что авторитет и молодость Гая Цезаря в сочетании с его неопытностью, мягкостью и, по мнению многих, глуповатостью может устроить всех.

Лишь один сенатор, Луций Аррунций из древней и упрямой кремонской фамилии, встал и при всеобщем молчании заявил:

— Ваш кандидат слишком молод для столь огромной власти. Вижу, у меня одного есть мужество сказать это.

Он обвёл взглядом зал. Его тщательно выбранные и страшные слова, как обычно, застали всех врасплох, а голос, всегда тихий, часто ироничный, прозвучал резко. Но теперь друзья и враги слушали его в раздражённом молчании, потому что, хотя и с большим трудом, они уже согласились с предложенным выбором.

— Молодость Гая Цезаря — это его преимущество перед нами, пожилыми сенаторами. Она означает, что при своём великом имени он получил больше возможностей в будущем, которое, надеюсь, у него долгое. Но сегодня, думаю, все вы согласитесь со мной во мнении, что он не мог приобрести нужного опыта рядом с Тиберием, которого, как сейчас обнаружилось, многие из нас

так люто ненавидели. Ил и вы хотите правления в стиле того, что наконец закончилось?

Все молча смотрели на него, а Луций Аррунций заявил, что вовсе не утверждает, будто бы юноше не хватает способностей.

— Для этого я недостаточно хорошо его знаю, — с иронией признался он, — поскольку до сих пор он практически ничего не совершил.

И заключил:

— Но власть — не место для подобных экспериментов.

Он единственный категоричным тоном выразил своё твёрдое несогласие.

Но с противоположного края поднялся другой сенатор и с подобающим случаю возмущением заявил:

— Этот спор о возрасте оскорбляет священную память Августа, которого избрали в девятнадцать лет!

И остальные присоединились к его возмущению.

Так через сорок восемь часов после смерти Тиберия, 18 марта, сенаторы избрали Гая Цезаря Германика принцепсом цивитатусом, первым среди сенаторов. То есть тем, кто — великолепное изобретение Августа — первым объявляет

свой голос, практически максимально влияя на собрание.

Когда Гай на мизенской вилле узнал об этом, уже почти наступила ночь. До него донёсся громкий крик офицера, который в темноте расшифровал световые сигналы с башни ближайшего военного поста. И прежде чем этот крик затих, на военно-морской базе поднялся безумный шум, затрубили трубы, люди столпились на улицах, громко ликуя, и в это последнее мгновение своего одиночества Гай представил, как сообщение с той же стремительной скоростью разносится по всем провинциям империи.

Спустя мгновение в комнату ворвался префект Мизенских преторских частей со всеми своими офицерами. Они замерли перед Гаем в салюте, который на этот раз ему действительно полагался. Он принял приветствие и сообщение префекта с официальной холодностью, но вскоре в юношеском порыве обнял его. И увидел — самое надёжное свидетельство власти — в глазах этих солдат неколебимый и безжалостный блеск. Потом вокруг Гая собрался императорский эскорт и отгородил его от прочих.

На дороге в Рим вытянулся медленный и торжественный кортеж с прахом Тиберия, которому

звёзды предсказывали, что он не вернётся в Рим живым. Его сопровождал Гай Цезарь, только что избранный принцепс, окружённый мощными августианцами в серебристых панцирях, как двадцать три года назад сам Тиберий сопровождал тело Августа. Но теперь от города к городу народ по краям дороги смотрел, словно на знак богов, как единственный уцелевший из перебитой фамилии провожает в последний путь убийцу. И со стороны народа это были не скорбные и строгие проводы умершего — на него никто не обращал внимания, — это был триумф чудом выжившего молодого человека, следовавшего за ним. В соответствии со строгим ритуалом и без пышности, под молчаливыми суровыми взглядами урну с прахом Тиберия поместили в мавзолей Августа.

«Всего лишь горсть праха, — думал Гай. — И больше никто его не боится».

Был двадцатый день марта.

Вскоре после этого сенаторы собрались в курии, чтобы установить титулы и полномочия нового принцепса. Август со своей блестящей хитростью посредством изощрённых законов год от года постепенно модифицировал свои полномочия и выстроил себе ряд старых и новых должностей, чтобы укрепить свою личную власть, но скрывал

это под сладкой иллюзией частых перевыборов части сенаторов. Вскоре для него и затем для Тиберия всё это превратилось в нечто вроде монархических полномочий.

В тот день две непримиримые сенаторские фракции — сами того не зная — избрали друг против друга одну и ту же стратегию: уступить побольше формальных полномочий этому «мягкому и наивному» Гаю Цезарю, чтобы всяческими хитростями можно было вынудить его на шаги, которые, будь они вынесены на обсуждение среди сенаторов, встретили бы непреодолимую враждебность.

Несмотря на столь молодой возраст, Гая избрали отцом отечества и августом, то есть священной персоной, неподвластной законам, а также верховным понтификом, главой государственной религии, а самое главное — императором, верховным главнокомандующим всех войск. То есть с удивительным единодушием его признали высочайшей властью, какую только мог дать закон, в тайной уверенности, что он оставит её в их руках.

Среди этих благородных надежд молодой император впервые вошёл в курию. Его сжигали сложные чувства, смесь воспоминаний, мсти-

тельности и гордости, но смотревшим на него сенаторам это показалось робостью и нерешительностью неопытности. Он неподвижно выслушал официальное провозглашение, отметив слова, возложившие на его плечи, как плащ, величайшую власть в изведанном мире. Другие в схожие моменты в будущем будут ощущать, как подгибаются колени. Гай глубоко вдохнул. Сенаторам его лицо казалось невинным, сосредоточенным, почти смущённым. Потом пришла пора для ответа, и грозное, опытное в политических интригах собрание набралось терпения внимательно выслушать его, чтобы уловить проявление первых черт его «я».

И вот впервые после ушедших в прошлое похорон Новерки сенаторы снова услышали его голос. И обнаружили, что он совсем не напоминает тот испуганный голос подростка, а раздаётся твёрдо и ясно. Гай начал, как и положено, с отдания должного памяти Тиберия, но сдержанно и довольно кратко, что всем понравилось, поскольку никто особенно не горевал по умершему. Эти образованные патриции отметили изящное классическое латинское произношение императора, и кто-то из стариков растроганно проговорил:

— Мне вспоминается Август.

И в самом деле, своим красивым молодым голосом Гай упомянул собственных великих предков из легендарной фамилии Юлиев: Юлия Цезаря, Августа, Агриппу, Германика. Популяры и оптиматы с облегчением констатировали, что он не назвал Марка Антония ни с осуждением, ни с сочувствием, умно поставив себя как бы над обеими партиями.

— Его фразы построены в аттическом стиле, простом и суровом, — шёпотом заметил кто-то, вспомнив речи Цицерона. — Никаких вкраплений азиатского стиля... Но кто ему написав всё это?

Тем временем после этой вспышки династической гордости молодой император поблагодарил сенаторов за множество титулов, но тут же с мягким сожалением прибавил, что не воспользуется ими.

— Моё желание и намерение, — заявил он, — управлять только в согласии с волей собравшихся здесь сенаторов, этих великих людей Республики, обладающих солидным возрастом, опытом и мудростью.

На этом он быстро закончил речь, и все оживились, отметив справедливость сказанного.

Хорошо рассчитанная скромность избранника

была подтверждена первой монетой с изображением нового императора и датой выборов: он пожелал, чтобы на ней не чеканили его высших титулов.

ADLOCUTIO COHORTIUM

Окружённый восторженными сенаторами — все действительно ласкали его взглядами как своё достижение, результат их политической алхимии, — новый император направился к трибуне, что возвышалась посреди Форума, где перед строем преторианских когорт ему предстояло держать свою первую официальную речь, то есть слова, сочинённые втайне на продуваемой ветрами террасе в Мизенах. Перила трибуны были сделаны из бронзовых таранов — ростр вражеских кораблей одной морской битвы, выигранной три века назад. Следовательно, это было священное место для самых выдающихся исторических речей: Юлий Цезарь и Август сделали эту трибуну символом римской славы.

Поднимаясь, молодой император по странной прихоти памяти вспомнил, что бедная Юлия, дочь Августа, была осуждена за публичную оргию со своей весёлой компанией в этом невероятном месте. И всё же то обвинение, где ловко были смешаны личная распущенность и осквернение священного места, возмутило половину Рима, не увидевшего всей его смехотворности. При этой

мысли губы молодого императора сложились в саркастическую улыбку, в которой все, не зная, о чём он думает, увидели юношеское волнение.

Между тем, двигаясь с совершенной слаженностью — и в этой дисциплине чувствовалась тяжёлая рука Сертория Макрона, — преторианские когорты выстраивались перед ростральной трибуной. И как только избранный император взял слово, военные и магистраты, отсалютовав ему, как защита и охрана Республики, приготовились к привычной риторике праздничных речей, а сенаторы слушали с меньшим вниманием, так как уже имели подобный опыт в курии. Но все заметили, что он не читает и не держит в руках записей. Люди зашептались, когда он неожиданно продолжил свою речь, вспомнив, что завещание Тиберия было признано недействительным, и безмятежным голосом объявил этим застывшим в неподвижности вооружённым людям, чувствующим себя хозяевами Рима, что, раз завещание недействительно, то денежная часть наследства предназначается преторианцам и легионерам. И с невинным видом объявил цифры своего дара: соответственно по двести пятьдесят и по триста денариев на каждого.

Говоря это, император заметил дрожь в ря-

дах солдат и обратил внимание, как окаменел Макрон. Среди тревожного молчания префект прошёл меж сенаторов, торжественно стоявших в своих тогах и смотревших на него с ошеломлением, так как никто из них, думая только о собственных интригах, не уделил внимания этому богатейшему аспекту аннулированного завещания.

После напряжённой паузы молодой голос объявил:

— Хотя последняя воля Тиберия из-за этой его последней жестокой болезни законно считается недействительной, но его хорошо известную любовь к преторианцам, его признание их долгих трудов — нет, этого отменить нельзя.

И этим неожиданным для всех ударом он объявил, что по собственной воле не только удовлетворяет это желание, но и удваивает сумму.

Ему хотелось запечатлеть память об этой изумительной речи в монете стоимостью именно пятьсот денариев, специально отчеканить её и, чтобы поняли потомки, к которым он обращался, сделать на ней надпись: «Adlocutio cohortium» — обращение к строю преторианских когорт.

Огромная цифра, тяжёлая, будто уже была отчеканена в серебре, опустившись в напряжён-

ное молчание преторианцев, превратила его в восторженный гром. А император милостиво объявил, что из императорского имущества жалует каждому легионеру во всех легионах империи не триста, а шестьсот пятьдесят денариев. Потом распорядился, чтобы и этот дар был запечатлён в изящной монете.

— И кроме того, сто двадцать денариев каждому римскому вигилу и людям из городского гарнизона, о которых Тиберий в своём завещании, к сожалению, забыл.

При каждом объявлении там и сям возникали короткие захлебывающиеся овации. Гай на время останавливался, потом поднимал руку и продолжал. Поистине императорское наследство Тиберия позволяло такую щедрость и ещё многое другое. Под конец он объявил раздачу любимому и преданному римскому плебсу одиннадцати миллионов двухсот пятидесяти тысяч денариев. И никто не знал, что признания Макрона насчёт завещания Тиберия и одинокие размышления на террасе в Мизенах дали возможность молодому императору хорошо спланировать свои затраты.

Под конец восторг на площади стал всепоглощающим, неуправляемым. И тут император объявил, что впервые воспользуется своими пол-

номочиями, и приказал приостановить смертные казни, сроки в темнице и в изгнании, назначенные при Тиберии, и пересмотреть приговоры, чем вверг весь Рим в неожиданное волнение. Он приказал:

— Пусть приговорённым немедленно сообщат об этом и никто не проведёт ни одной лишней ночи в тревоге.

И понял, что за один день («и с меньшим трудом, чем Август», — подумалось ему) завоевал Рим.

Пока под трибуной, как волны, бушевали овации, он успел заметить растерянное молчание сенаторов, увидел затаённую злобу на изумлённом лице Сертория Макрона: за несколько секунд все они догадались, что реальная власть ускользнула из их рук. В двадцатипятилетием Гае Цезаре, потомке военной династии, которая на суше деяниями Германика, а на море — Агриппы была вписана в славную историю империи, сотни тысяч её вооружённых солдат нашли своего идола. Для любого начинания ему стоило сделать лишь один жест.

Даже к сенатору Валерию Азиатику, родом из Виенны, могущественному главе фракции, вернулись мысли об Августе.

— Помните, как в девятнадцать лет он потребовал наследства своего дяди Юлия Цезаря? — спросил он у близстоящих. — Помните, как скоро потратил его на вооружение своего личного войска? Ну вот, а этот вооружил войско своей речью.

Кто-то задумчиво согласился:

— История повторяется.

И эта мысль веками будет приходить на ум многим, и также невпопад.

Валерий Азиатик ответил ему, что тот ничего не понял. И что последствия этой истории ещё нужно увидеть.

ОСТРОВ ПАНДАТАРИЯ

Пока сенаторы и магистраты, выйдя из оцепенения, с непроизвольной угодливостью толпились вокруг него с похвалами и поздравлениями, молодой император выразил свою вторую волю, и этого тоже никто не ожидал.

Он приказал, чтобы все приготовились отчалить на большой императорской триере (корабле с тремя рядами вёсел) с тараном на носу. В небе над Римом сгущались тучи. В эти дни на море прошла непогода, свойственная для периода равноденствия. Дул сильный холодный ветер, налетевший на Тирренское море с запада, но император велел отправляться без промедления. Корабль повиновался, выйдя в море с флотилией сопровождения, то через силу выгребая вёслами, то под рвущимся на ветру парусом. А неожиданной целью, перепугавшей многих, оказался остров Пандатария.

Волны вздымались на ветру и били в борт, когда корабль повернул к восточному берегу, где находилась спокойная бухта перед изящным частным портом, который Агриппа со всей мудростью моряка вырыл для своей жены Юлии.

Молодой император высадился здесь в первый раз, и он единственный из всей уничтоженной семьи никогда не видел этого места. Но оно казалось знакомым — так ярко описала его мать.

Он запретил посылать сигналы во время поездки, но с острова увидели грандиозную трирему под пурпурным парусом с императорскими знаками, и потому императора встретила в порту толпа солдат во главе с растерянным центурионом. После лютой смерти Агриппины Тиберий фактически запретил кому-либо причаливать к острову, оставив там в качестве самой надёжной охраны гарнизон её тюремщиков.

Первым соскочил на землю военный трибун, уже несколько часов командовавший императорским эскортом, и с отвращением осмотрелся: воду в порту заполняли обломки и мусор, на молу скопилась грязь после зимних бурь.

Потом сошёл молодой император, и его как физическим холодом сковал образ матери, которая здесь же высадилась в цепях. Центурион, командовавший этим жалким гарнизоном, неуклюже попытался отдать салют. Император не смотрел на него, но услышал голос, говоривший на варварском диалекте, мельком заметил лицо, показавшееся ему звериной мордой, и ощутил

содрогание от давно пережитого страха. Ему подвели коня (император ещё раньше велел, чтобы на борт погрузили Инцитата, коня цвета мёда, который следовал за ним из Мизен). Прямо с земли, ни на кого не опираясь, он вскочил на спину лошади. Его душила тревога.

Верхом он поднялся на плато к вилле, которую никогда не видел, а остальные, кроме главных лиц свиты, ковыляли пешком. Подъехав к подъёму на мыс, император узнал вход на виллу — именно такой, какой живо оставался в памяти со слов матери, — и быстро спешился.

Дальше они все поднимались пешком. В течение всего заключения матери он вызывал в памяти её описание и сердился, что так много забыл. Это помогало ему залечить муку разлуки, он обманывал себя, видя её в прелестном саду, укрывшемся от ветра за стенами; ему представлялись маленькие изысканные комнатки, укромные ступени к морю, термы за колоннадой, терраса, смотревшая на вечернее небо.

Эти образы были обезболивающим средством, но они отвратительным образом лгали. Он увидел засохший сад, мусор в портике у терм, пустые грязные бассейны, отбитые с бессмысленным вандализмом мозаики. Некоторые статуи упа-

ли с пьедесталов — или их свалили. В десятках фонтанов и каскадов не сочилось ни капли воды. Трибун следовал в шаге за императором, маленький местный гарнизон был охвачен ужасом.

Император вошёл в здание и прошёл по комнатам, озираясь и ничего не говоря. Он увидел оторванные косяки, покосившиеся на петлях двери, застарелую грязь. Здесь не было мебели, которую он представлял себе. Только лавки, нары, кучи соломы, старые скомканные занавески. Он мельком заметил Геликона, которому удалось сесть на корабль вместе со свитой: египтянин наклонился над кучей тряпья и тонкими пальцами разбирал клочки цветного шёлка.

Что происходило здесь в течение шести лет с единственной беззащитной заключённой среди злобных тюремщиков? Не осталось ни одной безделушки, статуэтки, чашки, тарелки — ничего. В глубине спускающейся к морю лестницы догнивала старая деревянная загородка, когда-то преграждавшая заключённой путь вниз. Другие заграждения стояли у всех выходов в сад, в портики, на террасы. Император шёл в глубоком молчании, и его следы отпечатывались в пыли.

Что она переживала, о чём думала, куда уходила плакать, где искала укромное убежище,

где пыталась найти забытье? Какой угол выбрала, чтобы умереть? Ничто не хранило никаких знаков, разве только сам факт, что большинство комнат были заперты или замурованы. Узница не видела отсюда ни неба, ни моря. Она была заживо похоронена и ожидала смерти. Император шёл, жестами веля открыть дверь, отодвинуть громоздкий прогнивший деревянный хлам или поломанную мебель. И двигался дальше.

Старики надзиратели бросились освобождать проходы, они руками отгребали пыль от его обуви, обуви нового императора, и ему на ходу случалось задевать лица этих жалких людей, стоящих на коленях. Но никто не реагировал.

Он не просил разъяснений раньше и не спрашивал ничего теперь. Ему хотелось колотить кулаками в стены, чтобы камни заговорили. Его молчание усиливало страх тюремщиков. В одной маленькой комнатушке, наверное бывшей изначально альковом, он увидел на стене длинные бурые пятна, казавшиеся следами крови.

Ему хотелось кричать, но он продолжал ходить, словно ничего не видел. Никто не смел приблизиться, даже милый Геликон держался на расстоянии. Гай мысленно разговаривал с матерью, от комнаты к комнате, словно говорил

с мёртвыми. Его скорбь не находила утешения, а вопросы — ответов.

«Тебе как-то удалось узнать, что я жив? Ты знала, где два других твоих сына — один в Понтии, а другой погребён в Палатинском подземелье? Помнишь, как твой Германик, наш отец, был в отчаянии от расставания с тобой, когда внутри горел яд и у него путались мысли? Возможно, вы каким-то образом встретились там, если там что-то есть, кроме теней? Ты слышишь, знаешь, каким-то образом видишь, что я здесь? Что моей первой мыслью в качестве императора, когда весь мир распростёрся у моих ног, была мысль об этом?»

Среди всеобщего исступления он бесстрастно думал, как по-детски обманывал себя, каждое утро глядя в сторону недостижимого острова. Представляла ли она, что он смотрит на него? Но он прибыл сюда слишком поздно, слишком поздно, слишком поздно. Пройдя вглубь последнего зала, Гай остановился и обернулся. Сторожа в страхе столпились у дверей.

— Где вы её похоронили? — спросил император.

С облегчением, поверив, что успокоят его своим ответом, они нестройным хором сообщили,

что по собственной инициативе соорудили погребальный костёр и совершили погребальный обряд, а потом старательно собрали пепел и кости, полагая, что когда-нибудь... Они бормотали, ловя его взгляд, и чуть ли не улыбались, надеясь на одобрение. А центурион, пытавший его мать — император не нашёл в себе сил посмотреть ему в лицо и видел лишь его тяжёлые руки, большие и грязные, — отвёл его в комнатушку, где в пустой нише стояла грубая фаянсовая урна, как на кладбище бедняков. По-видимому, она стояла здесь, заброшенная, много лет.

Гай молча взял урну и ощутил, какая она лёгкая. Он прижал её к груди, вынес из помещения и, избегая чьей-либо помощи, поставил у ног. За спиной у него солдат подвёл под уздцы послушного коня. И так, в молчании, император вернулся в порт. Там он заметил Геликона, который собрал кучу шёлковых лоскутков, пестревших разными цветами и золотыми нитями.

С урной в руках император поднялся на борт корабля, жестом отказавшись от помощи, всё в том же молчании осторожно поставил свою ношу, и эскорт отдал ей воинские почести. Моряки молчали, выстроившись у ограждения. Потом император позвал трибуна, который до этого

ходил за ним по пятам, и тихо велел ему оставить на острове охрану: никто из живущих здесь не должен его покинуть, и ни к чему из находящегося здесь нельзя прикасаться. Дальнейшие распоряжения поступят завтра.

Трибун, железный северянин, сражавшийся под началом Германика на Рейне, посмотрел на него спокойным ледяным взором и молча кивнул. Их мысли мгновенно совпали. Для этих напуганных тюремщиков, оставшихся на молу, уже были готовы подвалы в ужасном Туллиануме. Вскоре будут рассказывать об их ежедневных муках и о том, как они в отчаянии обвиняли друг друга, а потом молили о скорейшей смерти.

Император велел поднять якорь. Он решил про себя, что на этом удаляющемся молу поставит кенотаф — монумент в память о заключении его матери. Было велено держать курс на остров Понтия, где флотоводец Агриппа, любивший острова, мысы и морские гроты, построил себе ещё одну изысканную резиденцию. Гай никогда её не видел и даже не помышлял о владении ею. Он лишь знал, что туда был сослан и там лишён жизни его старший брат Нерон.

В разорённой вилле на Понтии тоже прозябала охрана. Как и на Пандатарии, император забрал

прах Нерона в убогой урне. Этот ничего не весящий прах был его сильным, весёлым старшим братом, ростом выше отца, тем самым, который, увидев Гая первый раз, рывком оторвал его от земли и со звонким смехом, как куклу, посадил на плечи.

Все удивлялись, что император при виде этого продолжает молчать. Он говорил одними губами, только с трибуном, отвечавшим за его безопасность, и тот, такой же молчаливый, кивал, как на Пандатарии.

Они поднялись по Тибру, текущей через Рим реке, довольно медленно, чтобы успела разнестись весть. Император высадился, держа под порфирой грубую урну с прахом своей матери, как в своё время Агриппина держала прах Германика. Огромная взволнованная толпа в молчаливом негодовании ожидала на берегу и, как во время прибытия Германика, неожиданно приветствовала его страстным общим криком. Потом его окружил спонтанно собравшийся бесчисленный кортеж с тысячами факелов, и император направился к мавзолею Августа.

Прах Нерона тоже был помещён туда. Скорбная строгость церемонии превратилась для римского народа в неумолимое обвинение сенатской

партии, поддерживавшей Тиберия. От другого брата, Друза, кончившего жизнь в Палатинских подвалах, не осталось ничего, что можно было бы похоронить.

«Я никогда не узнаю, — думал Гай, неподвижно стоя во время ритуала; от ощущения всеобщих взглядов на своей спине ему не хватало воздуха. — Никогда не узнаю, какими были их лица в последние дни. Мои воспоминания останутся старыми, многолетней давности, когда они ещё не испытали всех этих мук».

Не осталось ничего, чтобы запечатлеть их образ, даже страшных посмертных восковых масок, которым мы обязаны драматической, натуралистичной, безжалостной жизненностью множества римских бюстов, столь отличных от стерильных мифологических греческих скульптур. Лица его братьев и матери были полностью доверены любовной памяти тех, кто их знал. И Гай с беспокойством решил, что нужно поскорее позвать величайших скульпторов, завтра же, пока воспоминания не растаяли, как всё свойственное людям.

Между тем весь Рим из этих запоздалых похорон понял, что каждый из приговорённых встретил тайную смерть после долгих мук в оди-

ночестве и отчаянии.

Тем временем быстрые императорские гонцы, а ещё скорее оптические сигналы и даже почтовые голуби, за день преодолевающие сотни миль, разнесли в самые отдалённые уголки известие об избрании нового императора, и это вызвало энтузиазм во всей империи. Вскоре все города от Асса в Троаде до Арициа в Лузитании принесли клятву верности новому императору. Повсюду — от крохотного Сестина в Умбрии до Акрайгии в заброшенной Беотии и Аргоса, столицы исторической Всегреческой Лиги, — в восторге воздвигли мемориальные доски. В Ахайе, Фокиде, Локриде, Эвбее были устроены народные праздники; в Олимпии, Дельфах, Милете, Коринфе, Александрии Египетской, в Тарраконе Иберийском поставлены статуи. Легионы, несущие службу вдоль протяжённых границ на Рейне, Дунае, Евфрате, втайне называли императора его детским прозвищем — Калигула, как когда-то давно, когда он ещё маленький ходил со своим отцом.

В восточных провинциях и пограничных государствах, которые вскоре после мудрой доброжелательности Германика испытали гнёт Тиберия, затеплилась надежда на более светлые дни. Послы из всех провинций, из всех городов,

всех вассальных и союзнических царств — Фракии, Понта, Армении, Киликии — вспомнили, как видели нового императора мальчиком с его прекрасным отцом. Летописцы написали: «Прокатилась волна празднеств, каких ещё не видели в империи». И никто не представлял, что грядёт трагедия, так как очень многим в Риме эти восторги начинали действовать на нервы.

MENSIS JULIUS

Туча слуг, сторожей, управляющих бежала на Палатинский холм. Суетясь, они разбудили покинутые дворцы, чтобы принять вернувшегося хозяина. Для начала его сопроводили в дом Тиберия, к которому он раньше даже не приближался. Перед ним распахнули бронзовые двери, и Гаю показалось, что внутри кромешная тьма. Потом он разглядел два ряда колонн, тени статуй и очертания лестницы. Ему померещился ужасный, ядовитый запах, от которого спёрло дыхание. Гай сделал шаг, и его кольнула мысль, что где-то там, внизу, находится подземелье, где умер его брат Друз, и он жестом велел не провожать его. Придворные подумали, что его сковала ненависть, но на самом деле его снова охватил тот же ужас, что и на Пандатарии.

Сделав несколько шагов, он заметил, что шарит глазами по этому склепу Ливии, Новерки, где он провёл в заключении целый год.

— Закройте все эти двери, — велел император.

Потом перед ним открыли легендарные скромные комнаты Августа; он прошёл по ним со смешанным чувством гордости и тягостной

злобы, которую тянула за собой память. С облегчением выйдя оттуда, император приказал:

— Эту обстановку нужно сохранить в неприкосновенности, для истории.

Наконец он с торжеством вошёл в великолепный императорский дворец, официальное вместилище власти в дни Августа, прошёл по роскошным просторным залам, которых никогда не видел, и в нём пробудилось триумфальное чувство обладания, словно он вошёл в завоёванный город. Но одновременно его окружило продолжавшееся десятилетиями молчаливое запустение. А из стен, как вода, сочились тягостные воспоминания.

С недавних пор все глаза с тревогой следили за ним, и те, кто не мог приблизиться, пересказывали слова других. Старые опытные императорские чиновники — весь вышколенный аппарат, выстроенный Августом и усиленный бдительной суровостью Тиберия, — поведали, что вскоре он попытался узнать как можно больше о крайне эффективном механизме, державшем в целости империю; он слушал, спрашивал, читал, размышлял — и улыбался. И все единодушно предсказывали, что Гай Цезарь будет тихим и податливым правителем.

На Римские холмы давила духота, и ветер с моря не овевал их в тот день, когда император спустился с Палатина и направился в курию для первого основополагающего публичного действия — своего программного заявления. Был первый день июля. В простые времена Республики этот месяц назывался незамысловато — квинтилис, то есть пятый. «Однако с Юлием Цезарем, — едко написал кто-то, — божественность рода Юлиев распространилась также и на месяцы». И через века люди будут называть его так же — июль.

А на сенаторов, которые, беззаботно беседуя, небольшими группками шли в курию, вдруг напал страх. На лестнице перед залом заседаний один чиновник, весь трепеща, шепнул нескольким влиятельным оптиматам, что молодой император интересовался материалами судебных процессов Августа над Юлией и её друзьями, а также Тиберия над семьёй Германика и его сторонниками. Эти процессы хранились в зловещей тайне, и из страшного архива публиковали (да и то не всегда) только приговор.

— Но, — бормотал чиновник, — мы открыли лишь некоторые документы, и те были в беспорядке.

Услышавшие это известие замерли на полдороге как пригвождённые. Со слабой надеждой они спрашивали друг друга, не уничтожены ли эти документы по предусмотрительному приказу Тиберия. Но те, кто близко знал старого императора, отвечали, что он никогда ничего не уничтожал.

— Он говорил, что для убийства человека три строчки подходят лучше, чем кинжал.

Сенаторы медленно поднимались, шепчась на ходу. И у них рождались всё новые подозрения.

— Кто рылся в этих дворцах с Капитолийскими архивами между рассветом, когда умер Тиберий, и моментом, когда мы избрали Гая Цезаря? У кого в руках все документы о страшных процессах над Агриппиной и её сыном Нероном? А также над Друзом, трибуном Силием, Татием Сабином...

В качестве судей и свидетелей на этих безжалостных процессах в действительности выступали уважаемые, достойные сенаторы, и теперь, важно занимая места в креслах, они чувствовали себя совершенно беззащитными. «Нас шантажируют неизвестные хитрые враги», — думали они, а кто-то предрёк:

— Тот, у кого эти документы, выложит их в нужный момент...

Сенаторы старались успокоить себя басней о

глупом мальчишке, затерявшемся в пыльном мире книг и никогда не беспокоившемся о своей семье, но некоторые предостерегали:

— Если вспомнить, что его первая поездка была на Пандатарию...

Император подошёл к месту, которое раньше занимал Тиберий. В течение одиннадцати лет сенаторы видели это место пустовавшим, а теперь там лежали подушки, накрытые новым шёлком цветов благородного рода Юлиев, и по вполне объяснимым причинам все глаза неотрывно следили за преемником Тиберия. Пока он укладывал руки на подлокотники, сенаторы гадали, кто же написал за этого молодого неопытного человека основополагающую программу будущего правления. А поскольку ответить на этот вопрос никто не мог, все настороженно посматривали друг на друга.

И первым леденящим заявлением императора — после ритуального начального приветствия — было именно то, что разветвлённая шпионская сеть провела поиски и обнаружила, хотя и в беспорядке, архив секретных документов. Вся курия застыла в напряжённом молчании.

Но молодой император благодушно объявил:

— Я не стал читать этих документов. Я не хочу

ничего о них знать.

По рядам сенаторов непроизвольно прокатился шёпот, а император продолжил:

— Эти записи принадлежат прошлому и будут сожжены. И осведомители нам не нужны, они будут уволены.

От его слов гнетущий страх растаял, сменившись облегчением. Раздались и затихли спонтанные аплодисменты. И всё же кое-кто задавался вопросом, не является ли это великодушное заявление самым страшным коварством:

— Он ещё не сказал, что это за документы и сколько их.

Но император, сменив тон, объявил, что есть много других задач, над которыми нужно поработать. Например, он обнаружил, что общественные расходы в большой степени являлись тайным государственным делом, и теперь заявил, что отныне будет открыто публиковать строгие отчёты. Он сказал, что ярмо централизованной власти в провинциях экономически неоправданно тяжело и зачастую власть находится в руках хищных продажных чиновников. Император признался, что надеется на помощь сенаторов в ослаблении этого ярма, и вспомнил деяния своего отца Германика. Кроме того, предоставление

римского гражданства до сих пор было очень ограничено, и это разделяло население империи на привилегированное защищённое меньшинство и огромное беззащитное большинство.

— Поработаем вместе над тем, чтобы расширить предоставление гражданства. Нам служат граждане, а не подданные.

Заявления следовали одно за другим, и слушатели не успевали их обдумать. Но складывалось впечатление, что новое правление будет коренным образом отличаться от предыдущего.

Император сказал, что закон, созданный в древние времена для защиты Республики, закон о величестве, — и первое же его упоминание вызвало у присутствовавших в курии мурашки — превратился в страшное оружие для подавления свободы.

— Он заполнил темницы заключёнными и подследственными. Это позор для Рима. Думаю, что найду ваше согласие для его отмены.

Сенаторы в напряжённом молчании ловили каждое его слово.

Император сказал, что ссылка и изгнание были примитивным и безжалостным оружием тирании. Многие жертвы были вынуждены жить вдали от Рима, в нищете, а их имущество было

конфисковано.

— Мы вернём их на родину и возместим ущерб. И больше такого не случится, чтобы судьи были вынуждены по несправедливым законам приговаривать римских граждан за то, что они думают, говорят или пишут.

Какой-то старый юрист вполголоса заметил:

— Он возвращает суду независимость, утраченную во времена гражданских войн.

Все гадали, кто же вдохновил этот молодой ум на столь срочную и фундаментальную реформу.

Но император, произнося речь, видел перед собой исчезнувший кодекс, в котором каждое утро в тишине библиотеки, принадлежавшей раньше Германику, делал записи его брат Друз. Он сказал, что труды многих писателей были запрещены, некоторые поплатились за свои слова ссылкой, заключением в темницу или жизнью. В могильной тишине сената прозвучали имена Тита Лабиена, Кассия Севера, Кремуция Корда.

— Мы в долгу перед ними за их усилия и их мужество — постараемся же, чтобы их труды были восстановлены и опубликованы. Не сокрытием правды, — сказал император, и эта фраза стала знаменитой, — достигается безопасность.

Очарование молодости, эти чуть вьющиеся

каштановые волосы, ясные глаза, стройная атлетическая фигура, приобретённая за годы жизни в каструме, придавали его речи захватывающую силу, иногда вопреки логике. Взволнованные популяры зааплодировали, разочарованным же оптиматам всё сказанное императором показалось в большой степени утопичным, плодом неопытной наивности. Но все понимали, что объявление намерений часто успокаивает народ, как будто обещания уже исполнены, а поскольку спокойствие римлянам явно необходимо, оптиматы тоже с лёгким сердцем зааплодировали. Все шумно поддержали одного из сенаторов, когда он встал и торжественно произнёс:

— Предлагаю, чтобы эта чудесная речь была высечена на мраморе и выставлена на Капитолии.

Молодому императору эта волна согласия на мгновение показалась искренним коллективным чувством и, возможно, даже любовью — это было венцом его долго вынашиваемых замыслов, местью за отца, рассветом новых дней. Вследствие молодости избавление от замкнутости и осмотрительности было для него высшим освобождением.

— Тебя любят, — шепнул ему Геликон, когда

они переходили в амбулакрум[43], и в его глазах цвета оникса показались слёзы.

Переполненный чувствами, Гай молча посмотрел на Геликона.

В отдалении Луций Аррунций, кремонский сенатор, открыто выступивший против избрания Гая, одиноко сидел на своём месте и видел, как его старые преданные сторонники — неблагодарные — проходят мимо с едва заметным кивком. В тот день он непоправимо подставился. А сенатор Анний Виниций, одарённый исторической прозорливостью и язвительным умом, развлёк коллег, сказав, что самый надёжный способ не выполнять обещаний — это торжественно высечь их в камне.

Тем временем восторженные популяры подчёркивали, что молодой император ни разу не упомянул Тиберия.

— Ни в похвалу, ни в порицание. Единственным напоминанием о нём останутся вернувшиеся из ссылки или вышедшие из заточения.

Среди прочих из римских темниц вышел и Квинтий Помпоний, трагический поэт и будущий консул, семь лет дожидавшийся суда, и когда он

---

[43] Примечания: 43

Аллея для гуляния или плац для маршировки солдат.

появился при свете дня, никто из родственников не бросился обнять его, так как не смогли его узнать. Вышел и легендарный поэт Федр. Он был брошен в тюрьму за то, что написал басню о волке и ягнёнке у ручья, обречённую остаться в некотором роде незабываемой для всех изучающих латынь в будущие века: в волке, искавшем предлог, чтобы растерзать ягнёнка, все увидели Тиберия, а в испуганном ягнёнке — уничтоженную семью Германика. Вышел из темницы и молодой Ирод Иудейский, который при Тиберии неосторожно заявил: «Желаю вскоре власти Гаю Цезарю». Император велел, чтобы его привели, как нашли, в цепях, и, когда цепи упали у него на глазах, приказал — и этот факт вошёл в исторические книги:

— Переоденьте его в соответствии с его рангом. В награду за верность ювелир сделает для него золотое ожерелье, весом равное этим железным цепям.

И оба не представляли, каким горьким способом Ирод выразит свою признательность.

ГОДОВЩИНЫ

Наступил первый день августа, календы месяца Августа.

— На рассвете этого самого дня в Александрии, — шепнул Гаю Геликон, — Марк Антоний, твой дед, решил умереть.

Мгновенно вернулось воспоминание о человеке, которого в предсмертной агонии принесли к его царице, чтобы он упал в её объятия. Император снова увидел тот одинокий александрийский дворец над морем с почерневшими от огня стенами и закрытой на засов дверью, высеченное в граните сильное мужественное лицо, лежащее под водяным покровом. Имя Марка Антония всё ещё было в Риме под запретом, и мало кто осмеливался вспоминать о нём. Это имя произносили вполголоса, потому что и через шестьдесят лет оно ещё несло на себе тот позорный приговор за измену и мятеж.

Император погладил Геликона по голове.

— Спасибо за память. Позови ко мне писца.

Пользуясь полномочиями, данными ему сенаторами, коротким декретом он отменил тот древний приговор.

Сенаторы изумились. Большинство расценило этот жест как наивное, возможно, неосмотрительное отдание почестей отцовскому роду. Те, кто пособразительнее, задумались:

«Для своего декрета он выбрал годовщину того самоубийства», — но прочие, чья память поддерживалась злобой, говорили:

— Как Юлий Цезарь посмертно реабилитировал Гая Мария, тогдашнего вождя популяров, так теперь он реабилитирует Марка Антония.

Потом подошёл сентябрь, и на эти дни пришлись празднования в честь морского сражения при Акции, то есть полной и роковой победы Августа над Марком Антонием.

— Рим снова заполняют триумфальные арки, готовятся военные парады, — растерянно сказал кроткий Геликон, словно рассказывал сказку.

Но молодой император созвал городские власти.

— Эти арки не нужны. Верните солдат в каструмы. Этот праздник отменяется и больше праздноваться не будет, — велел он с неожиданной холодной решительностью, ошеломившей исполнителей его указания.

На этот раз отреагировали многие. Оптиматы с гневом: «Это ущемляет славу Августа!» Популяры

с гордостью: «Наконец-то восстановлена справедливость к памяти погибших!»

А император вновь увидел перед мысленным взором растерянность отца, когда Германик, глядя на море, проговорил: «С той ли стороны, или с другой, в моих жилах течёт вражеская кровь», — и пресёк всякие разговоры, заявив:

— Это было сражение римлян против римлян. В этом кровопролитии нечего праздновать.

Он подумал, что столько десятилетий назад от любви Юлия Цезаря и Клеопатры родился мальчик, которого отец назвал Птолемеем Цезарем и которого однажды осенним днём Август цинично и предательски убил в Александрии, а потом замарал имя убитого, назвав его незаконнорождённым ублюдком и дав ему презрительное имя Цезарион. Император Гай объявил, что признает законность имени, данного мальчику отцом, и чтит его память. И тут группа благородных сенаторов запротестовала.

А он ответил:

— Юлий Цезарь поставил статую Клеопатры как матери своего единственного настоящего сына рядом со статуей богини Венеры Родительницы, матери рода Юлиев. Надеюсь, вы помните об этом. Весь Рим тогда сбежался посмотреть на

неё. Мне говорили, что она была чудесно красива, из позолоченной, сверкающей на солнце бронзы, обнажённая, как и Венера. Но её разломали и переплавили.

Говоря это, он попытался проанализировать про себя грандиозный и таинственный проект, в честь которого Юлий Цезарь воздвиг в сердце Рима статую египетской царицы, и прошептал:

— Египет, августейшая провинция, с которой, как ни с одной другой землёй империи, Рим свяжет себя кровными узами.

В те же дни — с помощью нескольких изощрённых юристов, бывших также убедительными переговорщиками, — быстрыми разводами он освободил своих сестёр от унизительных браков, на которые их вынудил Тиберий, а заодно освободил себя от неравного родства. Общественное мнение инстинктивно одобрило эти шаги; мужья, лишённые доступа в императорские дворцы, стерпели, но не простили. Во всём этом даже самые мирно настроенные из сенаторов усмотрели сногсшибательный политический сигнал. «Здесь всё меняется», — говорили популяры с восторгом, а оптиматы с тревогой.

Но больше всех тревожился могущественный сенатор Юний Силан, который, несмотря на то

что его дочь давно умерла, по-прежнему претендовал на роль кого-то вроде величественного и назойливого наставника при молодом императоре.

— Я видел тебя ребёнком, — вспоминал он растроганным голосом.

Но предсказывал коллегам:

— Мы въезжаем на спуск. Нужно поскорее остановить его, или случится катастрофа.

— Тут необходимо соблюдать осторожность, — отвечали ему, — потому что в курии равновесие балансирует на лезвии ножа.

И вот пришли дни тактических проволочек, подпольных обструкций, интриг. И от заседания к заседанию всё ярче проявлял себя большой «мастер» таких штук. Это был великий Валерий Азиатик, искренне почитаемый среди популяров за то, что со своей внушительной внешностью, утончёнными манерами и культурой давно посещал дом Антонии. Но его обширные экономические интересы шли вразрез со старой дружбой. Эту дружбу несколькими словами разрушил почтеннейший, а ныне озлобленный Луций Аррунций.

— Ты боялся неопытности нашего молодого кандидата? — напомнил он всей курии. — Ты

гадал, кто внушил ему эту прагматичную речь? И не мог догадаться, потому что он написал её сам. Она родилась у него в голове. И его способности не исчерпываются словами, высеченными в камне, — предсказал он.

Популяры зааплодировали, не уловив скрытого двойного смысла в этом выступлении, изящном примере ловкого бесстыдства при смене идей и позиции.

Первая стычка разразилась, как всегда, по поводу налогов. В страшно расточительных конвульсиях гражданских войн Юлий Цезарь и Август в своё время придумали тяжёлую систему налогообложения, включающую особый налог — один процент с любого вида покупок, — ненавистный с первого же дня, так как прямо и ощутимо задевал скромные расходы беднейших классов. Одно время был риск восстания против этого налога, но потом народ решил не бунтовать, и временный налог стал постоянным. Обычная судьба налогов — он даже усугубился. В последующие века его будут с энтузиазмом копировать и увеличат до гигантских размеров.

Но молодой император обнаружил в своём положении страшную силу и однажды утром, проснувшись, сказал себе: «Действуй без лишних

слов». И отменил ненавистный налог.

А чтобы отметить этот свой шаг, выпустил особую монету, предназначенную сохранить память об этом в будущем.

— Вы не должны были позволять ему этого! — кричал Юний Силан на нескольких растерянных сенаторов и крайне встревоженного Сертория Макрона, который в дни выборов погорячился, гарантировав безвредность молодого императора. — Это непродуманное решение открывает дорогу фантастическим реформам, которые то и дело предлагают популяры. Вот увидите, оно повлечёт за собой неисчислимые бедствия, — с досадой предрёк он.

Но среди колыхающихся в негодовании тог популяров выступил Валерий Азиатик и в своей подготовленной речи на хорошей латыни косвенно подсказал:

— Если вы иногда не будете вмешиваться, нам тоже будет труднее возражать вам по другим проблемам.

Все уставились на него. И самые предусмотрительные из оптиматов сообразили, что на этого человека можно рассчитывать.

Но проектам молодого императора не хватало сильных союзников, «принципиальных советни-

ков». Формируя свои решения, он начал ощущать вокруг себя пустоту, ему не хватало тех, кого убил Тиберий. Якобы невротические судебные процессы тирана на самом деле расчётливо и методично обезглавливали одну из политических партий. Тиберий, «словно швыряя куски мяса мастиффу, чтобы очистить дом», обрёл безопасность, выдавая оптиматам одного за другим вождей противной партии. Медленная чистка проводилась с таким искусством и так глубоко, что партия популяров уже никогда не поднимется. И не найдётся историков, которые бы честно рассказали о ней.

И теперь молодому императору было не избежать ловушек, хитро расставленных оптиматами на его пути. Все они были намного старше него и гораздо опытнее в лабиринтах власти, видели и пережили дни, знакомые ему только по рассказам. Они происходили из древних родов, участвовали в знаменитых сражениях, торговых переговорах, судебных процессах, обучались законам, вели долгие тайные дискуссии. Гордые люди, традиционалисты и независимые, с большим самомнением. И кроме того, ненавидящие друг друга.

В своё время Тиберий цинично заявил, что

мятежи сенаторов — как лягание упавшего на дороге мула:

— Оно опасно, если подойдёшь близко. Но лучше не беспокоиться, потому что этот мул уже не встанет.

И удалился на Капри.

А молодой император оставался в Риме и выслушивал их, когда они вмешивались, предлагали что-то изменить, отменить, слегка подправить. Он с досадой обнаружил, что групповые интересы или личная вражда «tantis discriminibus objectus» — «создают постоянные препятствия» на пустом месте, — эта его фраза впоследствии попадёт в книги историков, хотя и не многих, и её отметят.

Но это были последние слова, родившиеся от почти искреннего страдания. Это чувство быстро перешло в гнев.

«У меня грандиозные планы для всей империи, я потратил на них все дни своей юности, — подумал император, — и вы меня не остановите».

Он просыпался среди ночи и не мог уснуть до рассвета. Однажды ночью он сказал себе:

— Юлий Цезарь тоже предпринимал схожие шаги, но после его убийства они были отменены.

Гай чувствовал себя так, будто физически связан верёвками. Но постепенно он делался

опытнее в своих обширных полномочиях, делегированных ему сенатом в первоначальном восторге, и пользовался ими всё чаще, внезапно и наверняка.

И многие сенаторы испугались.

— Слишком многое мы ему доверили...

В давние времена городские магистратуры избирались на комициях, народных собраниях, где участвовали все горожане. Но в треволнениях гражданских войн сенаторы усмотрели в этих свободных голосованиях опасность и мановением руки в большой степени передоверили выбор самим себе. А потом Тиберий вообще отменил выборы.

Вспомнился Клуторий Приск, поплатившийся жизнью за слова: «На комициях вместо голосования устраиваются спектакли». Молодой император без лишних слов заявил Серторию Макрону:

— Будет справедливо восстановить для римлян прямое голосование. Я решил сделать это.

Но промолчал о том, что этим шагом отнимает у сенаторов их самое острое оружие — полный контроль над административными механизмами Рима.

— Сенаторам такое не понравится, — ответил

Макрон со смесью ужаса и военной грубости. — Они полагали, что ты не воспользуешься своими полномочиями таким образом.

И осмелился сердито добавить:

— Но ты меня не слушаешь.

Он говорил резко, потому что считал свой вес на чашах весов большим.

Император решил не продолжать спор и подумал: «Тиберий верил, что завоюет Рим восемью когортами. Но вместо этого бросил город в руки подобного типа». Он посмотрел на Сертория Макрона, который в отдалении строго отчитывал своих офицеров: «Не стоит забывать, что его выбрал Тиберий».

Между тем оптиматы не нашли способа отменить его решение, и анархистский закон о прямом голосовании был обнародован.

— Проще разлить воду, чем потом её собрать, — сказал кремонец Луций Аррунций, сенатор, при выборах проголосовавший против.

Теперь он впервые почувствовал удовлетворение.

В память о принятом законе император велел отчеканить необычную бронзовую монету, и в истории революций она вдохновит многих подражателей, поскольку там был выбит pileus

— нечто вроде фригийского колпака, венчавшего голову Дианы Свободы, богини рабов, в её храме в Авентине. Этот головной убор был именно символом раба, ставшего свободным человеком. Народ мгновенно понял и полюбил этот образ. Но кое у кого он вызвал страшное отвращение.

— Некоторые отказываются принимать эту монету, — мрачно заявил Серторий Макрон. — Это очень плохой признак.

В третий раз римский император оставлял о себе память, беспорядочно рассеянную по миру и почти не подверженную уничтожению, отчеканенную в бронзе, серебре или золоте, и это порождалось его беспокойством о будущем.

«Во время войн и революций уничтожаются библиотеки, надгробия и статуи. События потом интерпретируют, переписывают и редактируют историки. Но монеты люди собирают, прячут и сохраняют».

ИМПЕРАТОРСКИЙ ВОЛЬНООТПУЩЕННИК

— В этих дворцах происходят невиданные вещи, — прошипел один высокопоставленный чиновник из старинной фамилии Цезарей. — К этому молодому императору больше заходят бывшие иноземные рабы, чем люди римской крови из семей, служивших здесь со времён Юлия Цезаря и ещё раньше...

Впервые явно послышался мятежный тон, и присутствующие осмотрительно сделали вид, что не слышат. Но это было как трещина на стекле — теперь уже ничто не могло стать как раньше.

Между тем среди тысяч членов фамилии Цезарей появился раб Каллист, этот тридцатилетний александрийский грек, рождённый от матери-египтянки, который на Капри доставлял Гаю самые неожиданные и почти всегда трагические известия. Молодой император не мог не вспомнить об этом и сказал о нём Серторию Макрону. Тот сразу предложил «за заслуги» назначить его на работу в имперскую канцелярию.

И снова со вспышкой подозрительности им-

ператор увидел Сертория Макрона, сидящего в ожидании в портике виллы Юпитера, и Каллиста, который проходил мимо. «Никто так не знаком со способностями Каллиста, как Макрон», — сказал он себе. И забыл об этом.

А Каллист ловко втёрся в эти тайные кабинеты благодаря своим исключительным способностям не только эрудированного писца-полиглота, но и тонкого и всё более опытного выразителя сути пишущихся документов. Всё чаще император хотел его видеть, чтобы продиктовать ему что-нибудь, и выбирал именно его среди целого отряда искуснейших в скорописи писцов. И никто не замечал, как Каллист старается усвоить тонкие механизмы власти, от элементарных до самых сокровенных.

Однажды император обратил на него внимание, когда, диктуя, прервался, чтобы обдумать фразу, а Каллист осмелился шёпотом закончить её. Дерзость невиданная, но еле слышные слова замершего с занесённым каламусом раба оказались именно теми, расчётливыми и коварными, которые искал император.

Для удовлетворения любопытства молодого императора, как в своё время делали это для Тиберия, императорские осведомители устано-

вили происхождение загадочного Каллиста, и им показалась правдоподобной история одной очень богатой семьи, разорённой грабежом завоевателей, — история безымянная, как и многие другие.

— В конце концов, — доложили они, — его отправили на величайший невольничий рынок на острове Делос, где его и приметил тот сенатор.

Но когда император спросил самого Каллиста о его прошлом, тот осторожно ответил:

— Беды восстания обрушились и на мою семью.

Император поинтересовался, где это случилось.

— В окрестностях Хайт-ка-птах, Города Духа. Римляне называют этот город Мемфисом, — коротко пояснил грек. — Но теперь боги отплачивают мне за все мои страдания.

Упоминание о Мемфисе отвлекло императора от его мыслей и вызвало ностальгические чувства. Письма, направляемые в ценную египетскую провинцию — а практически в огромную личную императорскую вотчину от Александрии до Фил, — сначала попадали в руки Каллиста, а постепенно и прибывавшие оттуда послания стали прочитываться им, и всё чаще он толковал их,

с тайной тревогой со дня на день ожидая личного освобождения и влиятельнейшего положения императорского вольноотпущенника.

Но Серторий Макрон сказал, что этот раб заслуживает большего, «а также, чтобы лучше его использовать», он предложил дать ему свободу по редкой привилегированной процедуре, когда цепи не размыкаются, а физически разбиваются на наковальне, — по римским законам это означало, что он никогда не был рабом, и позволяло подняться на самые верхние ступени социальной лестницы. Так и было сделано.

Мысли императора стали опираться на быстрый и изворотливый ум молчаливого Каллиста, так как по всякой проблеме он выдавал своё соображение, уместно подчёркивал какой-либо тезис, и это зачастую преображало саму проблему. И он создавал ощущение спасения от опасности. Придворные видели, что всё чаще грека вызывают в императорские покои.

— Вот и советник принцепса.

Его никто не любил. Довольно скоро даже Серторий Макрон, пользовавшийся им на Капри как преданным шпионом, начал его ненавидеть.

Но чтобы успокоить подозрения, Каллист имел неопровержимый аргумент: «Тиберий хотел ме-

ня убить, и жизнь мне спасла только астрология Фрасилла».

Однажды император сказал ему и Макрону:

— Наши сенаторы носят в душе столетнюю ненависть. Невозможно править.

Сенаторское кресло на практике переходило от отца к сыну, богатые и могущественные фамилии сами по себе издревле делились на фракции, и изменить что-либо не оставалось никакой надежды. «Curia popularibus claus est» — «Курия закрыта для популяров», — говорили в народе.

— Здесь необходимо влить новую кровь, — подчеркнул император, — заставить избрать новых людей, из дальних провинций. Империя обширна, у неё тысячи голосов. В Риме должны говорить они все. Ещё Юлий Цезарь видел необходимость реформы. И проводил её.

Перед ним сидели Макрон и Каллист. Префект смотрел с тупым изумлением, а проницательный грек настороженно молчал. Молодой император, которому больше не с кем было посоветоваться, почувствовал разочарование. Но Серторий Макрон не сдержался и вдруг выругался:

— Это огромный риск. Шестьсот сенаторов тебя сбросят. Через день ты получишь шестьсот врагов.

— Не все шестьсот, — ответил император, сдерживаясь, чтобы голос звучал спокойно. — Те, кто сегодня в меньшинстве, завтра будут большинством. Юлий Цезарь за короткое время ввёл двести новых сенаторов. У нас никогда не будет мира, если миллионы людей чувствуют себя подданными, а не равными нам.

Застывший Каллист с некоторым страхом подумал, что чистый и живой ум императора беззащитен против мечтаний. Но Серторий Макрон отреагировал буйно:

— Если при выходе отсюда я встречу Юния Силана, человека, выдавшего за тебя свою дочь, обеспечивающего верность тебе своих сторонников и, хотя эта несчастная умерла, чувствующего свою ответственность направлять тебя, и скажу ему, что ты хочешь этой своей идеей уничтожить большинство...

Глаза императора расширились, зрачки уставились на префекта. Серторий Макрон поколебался, в душе возникло ощущение, что всё пропало, но взгляд императора смягчился.

— Возможно, ты прав, — ответил он, потом покачал головой, словно упрекая себя, и улыбнулся. — Пусть всё остаётся как есть.

Но в голове его засело неосторожно вырвавше-

еся у Макрона слово: «Направлять...»

Каллист за всё это время не сказал ничего.

И всё же император не отказался от своей мысли. Только через много веков — когда в сердца людей начнут проникать мечты о великих сообществах равных между собой народов — станет видно при внимательном чтении имён, что тогда начало реализовываться именно это ненавистное введение «новых людей». Но молодой император дорого заплатил за свой незавершённый замысел.

МОДЫ

— Похоже, вернулись времена Юлия Цезаря и Клеопатры, — ворчали старые сенаторы.

Во времена той скандальной любви блестящие моды фарцонского двора градом обрушились на всё ещё простоватое римское общество, где за два века единственным изменением в одежде был переход от простой toga restricta в эпоху Республики — портреты тех времён изображают облачённых в тоги персонажей, застывших в одной и той же позе с рукой, согнутой на уровне локтя, — к toga fusa, просторной, задрапированной в складки и сложные ниспадающие каскады, в эпоху империи. Несмотря на это, тога, по сути дела, оставалась не чем иным, как просто закруглённым снизу куском материи, и надеть её было довольно сложным делом, почти искусством, и требовало помощи опытного раба, чтобы добиться того величественного эффекта, которым мы восхищаемся в мраморных римских статуях времён империи.

Но даже такие скромные нововведения казались кое-кому распущенностью. И действительно, уже знаменитый Теренций Варрон — который

помимо участия в разных войнах нашёл время написать «Энциклопедию наук» и многое другое (всего, согласно его биографам, шестьсот книг) — сетовал на чрезмерную роскошь в одежде. «Веками, — писал он, — мужчины и женщины носили toga restricta и ничего другого, с утра до вечера...» И потому после разгрома Клеопатры и Марка Антония многие одобрили жёсткие законы Августа об ограничении роскоши, запрещавшие дорогие заморские ткани. Сам же Август, боявшийся холода, измученный кашлем и хроническими простудами, прежде чем облачиться в императорскую порфиру и выйти в мраморные галереи дворца, зимой закутывался в шерстяное одеяло поверх вязаной сорочки и трёх или четырёх толстых туник, сшитых служанками.

Прядение простой белой шерсти в течение веков было исключительно домашним промыслом, и всякая хозяйка была обязана владеть этим ремеслом. «Сидит дома, прядёт шерсть», — говорили о женщине, что у древних (интересно отметить) считалось большой похвалой. В лучшем случае вместо поступавшей с каменистых пастбищ Лация грубой шерсти выбирали хорошую шерсть, привозимую из Канозы Апулийской. Позже появилась мягчайшая милетская шерсть из Ионии

— кашемир тех времён. И цены потрясали.

Но молодой император имел вкус к изысканным вещам из Эллады, Сирии и Египта. А в доме Новерки и на императорской вилле на Капри он вкусил горькую и мелочную экономическую зависимость вплоть до минимальных расходов на одежду. Потому-то в императорских палатах быстро появились и распространились собранные с молодым энтузиазмом скандальные восточные моды, причёски, складчатые одежды, прозрачные кисеи, ожерелья и браслеты, изящные пояса, парики. Пышные туники, хламиды, платья, мантии, а также балдахины, подушки и сандалии поражали сотнями расцветок из красилен Пелузия и Буфоса.

Сенаторы с тревогой и изумлением обнаружили, что император в частной жизни носит туники греческого покроя, длинные и тонкие, с широкими рукавами до запястий, хотя такие одеяния неизвестно почему считались в Риме, даже зимой, неприличными. А летом они с возмущением увидели, что император носит одежды из египетского льна с искусно задрапированными складками, заглаженными раскалённым утюгом, чтобы не давать материи прилегать к коже. И вся римская золотая молодёжь бросилась страстно

ему подражать — это был реванш вседозволенности, прорыв собственной индивидуальности.

Сенатор Луций Аррунций с возмущением рассказывал, как сын заявил ему:

— Я не могу одеваться, как ты.

И отец, тщетно пытаясь соблюдать рассудительность, спросил:

— Что же тебе мешает?

— Мои представления, — ответил сын. — Населённая людьми земля больше и разнообразнее, чем вы можете себе вообразить.

Пожилые пришли в ужас, узнав, что император влюблён — буквально — в шёлк, драгоценный, неощутимый, блестящий. Его пряли из растений, как хлопок? Или из руна неизвестных животных? Или из какой-то слизи вроде паутины? Шёлк прибывал неизвестно какими путями в египетские порты на Красном море, в Египет привозили пряжу, окрашенную, как лён, в самые чудесные цвета. И император носил живописные плащи из пурпурного шёлка более тонкой работы, чем ткани, созданные самой нежной и ровной рукой. Летними вечерами он надевал шёлковые туники, лёгкие и приятные в противоположность невыносимым плотным тогам, как сегодня носят рубашку от модного портного вместо непроница-

емого пиджака из синтетической ткани.

Часто гладкий шёлк украшали каймой и квадратиками, дорогими вышивками — плодами терпеливого труда — или несравненным золотым шитьём. В специальных школах в Канопе ремесленники учились вышивать ветки, бутоны, сверкающие цветы, которые даже на ощупь казались настоящими, водяные растения, птиц, павлинов, крокодилов с купидонами, всяческие эротические сцены и всю нильскую мифологию. Женщины добивались красоты в новом духе — экзотической и чувственной.

— Скоро будем покупать одежду на краю света, — ворчали отцы семейств, видя, как сыновья и дочери выходят из дому, вырядившись подобным образом, и были правы, потому что никто на Западе не умел воспроизвести эту чудесную пряжу.

Мода распространялась с неудержимой быстротой и становилась чем-то вроде социального бунта, отчётливой идеологией, и она ещё не раз сыграет эту роль в последующие века.

А кое-кто перед всей курией объявил, что молодой император разлагает нравственность. Его упрекали также за обувь: раньше он носил калиги, очень жёсткие, подбитые гвоздями, со шнурками из грубой кожи, которые натирали

пальцы и лодыжки, а теперь его не удовлетворяла обычная римская обувь — неизменно чёрные сенаторские ботинки или мрачные императорские сапоги. Когда ему хотелось, он надевал лёгкие сандалии на греческий манер, а иногда даже коварные котурны на пробковых подошвах.

Однажды на официальную церемонию он надел — что было тут же отмечено, и это описывали через два века — лёгкий парадный панцирь тонкой, ювелирной работы, сделанный неизвестно когда каким-то греческим или сирийским ювелиром. Говорили, что раньше этот панцирь принадлежал Александру Македонскому. В соответствии с военными обычаями на панцире была серебряная и золотая насечка, особенно на плечах, а поверх него император накинул хламиду из пурпурного шёлка, тоже украшенную золотом и привезёнными из Индии самоцветами.

В некотором роде молодой император предвосхитил моду времён Византийской империи, когда никто, даже монахи, не смели критиковать пышные, цветные, расшитые, украшенные драгоценными камнями одеяния, которые грубоватый христианин Юстиниан, сын варвара-земледельца, надевал на богослужения в Святой Софии и на пиры в хризотриклинии.

Но молодой Гай Цезарь во многом опережал своё время: он сочетал изысканную эксцентричность в одежде со смелой политикой. По справедливости он мог бы стать Королём-Солнце[44] или Джорджем Браммелом[45], но враждебные историки представили эти новшества как распущенность, чем он и стал известен в истории.

[44] Примечания: 44
Король-Солнце — французский король Людовик XIV.

[45] Примечания: 45
Джордж Брайан («Красавчик») Браммел — родоначальник дендизма.

ИМПЕРАТОРСКАЯ ТРИБУНА В БОЛЬШОМ ЦИРКЕ

А на кругах грандиозного Большого цирка состязались лучшие кони империи, поскольку молодой император всей душой разделял древнюю пылкую страсть римского народа к конным соревнованиям. Два отряда сошлись в упорнейшем внутригородском соперничестве с помешательством сторонников каждой команды, непрерывным размахиванием своими цветами, с безумным скандированием, со ставками на выигрыш, драками и потасовками (только через двадцать веков в Риме другой спорт, футбол, сможет сравниться с этим своими бурными эмоциями). Потребность в зрелищах была такова, что вскоре к двум отрядам добавилась другая пара; и все они называли себя «белыми», «рыжими», венетами, то есть «синими», и прасинами, носившими зелёное. Очень скоро стал знаменитым Евфик, вождь почти всегда побеждавшей команды «зелёных», сторонником которой был и сам император, в этом качестве очень напоминавший вожака оголтелой группы нынешних

футбольных болельщиков.

Император появился у входа в заполненный толпой атрий императорской трибуны. Он стал медленно спускаться и, в отличие от мрачной и жёсткой официальности Тиберия, переходил от группы к группе, здоровался и разговаривал с людьми, удивляя посетителей своей непосредственностью и непринуждённостью. И пока он так спускался, его взгляд упал на противоположный берег реки, на Ватиканский холм, где возвышалась резиденция его матери. Это видение физически проникло в него, как прилетевшая издали стрела, и он сказал себе: «А ведь я чуть не забыл».

Им овладели воспоминания, наполнив болью. Он нёс её в себе, продолжая улыбаться, а про себя решил: «В память о том, что там произошло, я воздвигну самый высокий в Риме монумент».

Боль постепенно стихала, отступала, таяла.

«На ступенях, по которым моя мать шла со мной в последнюю ночь, я поставлю обелиск, та-те-хен, самый высокий и огромный, какой только можно высечь из залежей гранита во всех египетских землях. Его острая верхушка из электра будет сверкать на солнце властным напоминанием о женщине. Через века и века

люди будут видеть его и говорить, что этот та-техен воздвиг император в память о своей матери, которая в одну страшную ночь нашла в себе силы не заплакать».

С этими мыслями в голове он улыбался и смотрел вокруг. Меж привилегированных зрителей к императору просочился Манлий, строитель из Велитр, заплативший тяжким изгнанием за свою юношескую дружбу с весёлой Апулией Варилией. Он благополучно вернулся, и его прежние невзгоды вызвали сочувственное внимание со стороны императора.

Во времена своего заключения, в полном отчаянии от оскорбительно щедрых подачек прихвостней Ливии и Тиберия, юный Гай Цезарь пытался облегчить гнетущие условия своего существования, держа всё в маниакальном порядке, постоянно перемещая вещи и утварь, и только этим скудным эстетическим равновесием отчасти успокаивалось терзающее его эмоциональное одиночество. Полученная вместе с властью безграничность пространства и возможностей взорвала в нём чувство эстетического всемогущества, гений градостроителя.

— Работать со мной, — сказал он своим архитекторам, — будет трудно, но интересно.

Его эстетическое чувство, по сути, было любовным, творческим, критическим, нетерпеливым и нетерпимым, очень нежным.

Манлий с готовностью откликнулся на фантазии императора, и тот назначил его руководителем проекта по строительству Нового Рима. Манлий работал на Гая Цезаря без устали: улавливал его мимолётные идеи и угадывал удовольствие неожиданно нагрянуть на строительную площадку, следовал за ним, очарованный и счастливый. Теперь он был по-настоящему богат. Один сенатор сказал об этом строителе: «Сам он весь покрыт золотом и воплощает в камне ночные сновидения императора».

— Манлий, — обратился император, — смотри, сколько народу.

И, как сегодня в каком-нибудь большом городе объявляют о строительстве второго футбольного стадиона, объявил:

— Нам нужно построить второй большой цирк. Я подумал, что воздвигну его у подножия Ватиканского холма, в садах моей матери. Знаешь это место, Манлий? Моя мать прекрасно ездила верхом.

В счастливые дни на Рейне она с гордостью смеялась, глядя, как её малыш вскакивает на

коня «подобно варвару-скифу».

— Я велю привезти из Гелиополя — это такой огромный город — обелиск невиданной высоты. Мы поставим его как стержень этого цирка, а вокруг будут состязаться квадриги. А потом переброшу через реку новый мост в четыре пролёта, который соединит сердце Рима с подножием Ватиканского холма.

Из глубины трибуны медленно выступил знаменитый философ, приехавший из отдалённой области Иберии, Бетики, что у самых Геркулесовых столбов. Ещё издали его узнали по подчёркнуто традиционной простой тоге и высоким сапогам из чёрной кожи, которые он носил даже летом. Его звали Луций Анней, он родился в известной фамилии Сенека. Утро было довольно тёплым, и император надел одну тунику из роскошно мягкого шёлка. Он был одним из первых глав государств, кто неформально принимал гостей.

Сенека бросил взгляд на императорскую свиту, день ото дня становившуюся всё моложе и оживлённее, указал на причудливые одежды людей, теснившихся на трибунах, и заявил:

— Мудр был Тиберий, безжалостно запретивший все эти чудачества.

Уже давно никто не упоминал о Тиберии, и среди окружающих пробудилось любопытство. А Сенека продолжал:

— Никто не задумывается, что благодаря этим тканям и благовониям к людям во вражеских странах отплывают корабли, полные денег.

Вокруг собралась кучка сенаторов, так как его замечания, всегда трагические, были солью всяческих сплетен. Но молодой сын одного строгого сенатора, всполошив друзей отца, ответил с неудержимым энтузиазмом:

— И наконец-то Рим зажил! Все годы под Тиберием это была столица без императора.

А один молодой чиновник искренне добавил:

— Кому сегодня ещё нет тридцати, последний раз видели римского императора в глубоком детстве.

И это была правда. Теперь же в город ворвалась брызжущая молодостью жизнь. Послы, делегации из всех провинций, роскошные женщины и вслед за ними богатейшие купцы, виртуозные артисты в поисках удачи, поэты, находящие новые слова для написания чарующих театральных пьес, музыканты из всех стран с неслыханными инструментами. И таково было различие между поведением старого и нового поколений, что

казалось, между ними нет никакого родства.

— Из-за этих пустых трат, — с отвращением вещал Сенека, — перекос в сторону привозных товаров катастрофичен: сто миллионов сестерциев в год! — воскликнул он на своей точной цицероновской латыни.

Все молча смотрели на него, потому что возразить было трудно.

Но тут с коварной легкомысленностью вмешался бледный Каллист:

— Шелка, потребляемые Римом за год, стоят меньше, чем вооружение одной триремы; они успокаивают восточных соседей и, по сути, экономят много денег.

Многие засмеялись, а Сенека возмутился, что бывший раб осмелился перебить его. Ничего не ответив, он мрачно заявил:

— Лицо Рима меняется.

Больше не видно, сказал он, крепких римлян времён Республики, говорящих на лаконичной латыни и одевающихся по-старому. Все расы, языки и моды бесконтрольно вихрем кружат на улицах.

— Более того, — проговорил он со змеиной многозначительностью, — на Рим нахлынула нескончаемая волна рабов из покорённых земель

— германцы, иберы, фракийцы, мавританские варвары.

Поэтому в столице постоянно высаживаются только молодые мужчины, отобранные по внешности и культурной образованности, и прекраснейшие девушки — и многие из них добились вполне предсказуемого успеха. По щедрости великих фамилий, из-за великодушных завещаний хозяев многие получили свободу, и уже сотни тысяч пустили корни в Риме. И Рим больше не принадлежит римлянам.

— А теперь, — продолжал Сенека, злобно обведя всех взглядом, — наступило египетское вторжение, самое бурное и опасное из всех. Нас захлестнёт разврат, — предрёк он, — и первый признак загнивания — то преувеличенное внимание, с которым мужчины относятся к своему телу, волосам, одежде.

Часы праздности, отнятые у глубокомысленных раздумий; истощение той мужественной энергии, благодаря которой Рим внушал страх врагам, — философ пригрозил, что напишет обо всём этом, и добавил:

— Многие предпочитают лучше видеть беспорядок в государственных делах, чем выбившийся вихор в своих волосах.

Только в волосах, потому что уже никто, как старые сенаторы, на греческий манер не отращивал бороду.

Император прошёл мимо, и, когда люди расступились, до него донеслась эта последняя фраза, вызвавшая улыбку. Поставив Сенеку на высокую должность римского квестора, он не представлял, что этот человек вместо благодарности заклеймит его на будущие века.

За спиной императора сенатор Секстий Сатурнин — из строгой республиканской семьи, где в борьбе за Республику не раз рисковали жизнью, — с вызовом пробурчал:

— Никогда ещё в этих дворцах с тех пор, как Август их построил, не видели такой распущенности, какую мы видим в нынешние дни.

На самом деле в пустом и тёмном Палатинском императорском дворце уже много лет вообще никого не видели. Здесь метафизически присутствовал Тиберий, чья материальная жизнь была тайно похоронена далеко отсюда, на Капри. А Гай Цезарь, молодой, у всех на глазах, купающийся в рукоплесканиях народа при каждом появлении, триумфально завладел всеобщим воображением.

В двух шагах отсюда, среди маленькой сви-

ты новых друзей, исключительно оптиматов, Валерий Азиатик, жёсткими глазами глядя на оживлённое движение придворных, с удовлетворением произнёс:

— Время, которое проводят в этих забавах, даровано нам.

Старый республиканец Сатурнин оторвал взгляд от императора и обронил роковую фразу:

— Нужно действовать.

Валерий Азиатик обменялся с ним взглядом, и ему вспомнилось, как один из родственников Сатурнина много лет назад за свой пасквиль на Тиберия был сброшен вниз с Капитолия.

«Неосторожность — их фамильная черта», — подумал он. Но в таких людях снова могла возникнуть необходимость. Поэтому Валерий Азиатик улыбнулся Сатурнину и заявил:

— У тебя благородная душа. Редкость в наши дни...

Чуть поодаль слышался молодой смех императора. Тяжелейшие и опасные дни юности приносили ему только одиночество с редкими моментами общения. Преследования и шпионы приучили его скрывать свои чувства и научили великому терпению. Его необходимость в привязанности не переливалась через плотину

недоверчивости, и потому он ограничивал себя в дружеских жестах. И его чувства обратились вместо живых существ на череду воспоминаний. Он боялся новых привязанностей. Император легко общался с простыми людьми, народ его любил и шумно проявлял эту коллективную любовь, даря свободу эмоций. Но его душа открывалась через щёлочки только в беззащитных и простых разговорах, таких как с поэтом Федром или инфантильным Геликоном. Словно страшась физически замараться, он искал пространства для себя одного, чтобы учиться, писать, читать, думать и принимать решения, — какой-нибудь крохотный кабинет, укромный уголок в саду. Он нежно любил животных, которые не умели предавать. То и дело в самых непредвиденных обстоятельствах на него накатывали приливы нежности, потребность обнять кого-нибудь, что изумляло и часто совершенно ошарашивало окружающих, как, например, префекта преторианских частей, мизенского флотоводца, который никогда не забудет рук императора на своих плечах.

Император всегда спал один. Слуги рассказывали, что он никому не позволял вторгаться на его остров, которым стали тишайшие комнаты,

избранные им для ночлега в Палатинском дворце. Его кровать со спинкой из золота и слоновой кости, подаренная Лигой сирийских городов, была гладкой и пустой, недоступной для остававшихся за закрытой дверью слуг и стражи. Сон его был неглубоким и часто прерывался. Окна выходили на восток, навстречу первым лучам солнца. Просыпаясь, он сразу видел, скоро ли рассвет. Довольно быстро его бессонница, поиски тишины, ранние подъёмы в предрассветных сумерках, когда император одним жестом удалял слуг и стражу, его прогулки в одиночестве по лоджии императорского дворца превратились в мучение для маленькой армии представителей дома Цезарей.

Но безграничные возможности не накладывали запретов на приглушённые фантазии, и многолетнее их подавление уходило прочь, с каждым днём контроль ослабевал. Среди двора его одиночество было недостижимым и в то же время беззащитным: никто не мог прийти к нему, минуя бесчисленные фильтры, и в то же время каждый его жест мгновенно отмечали сотни людей. Во время его досуга стая придворных и амбициозных красавиц предлагала своё общество. Затаив дыхание, они ждали, кого он выберет на

ночь или на час.

В Риме начали поговаривать, что на неких тайных виллах друзей, в неких изысканных резиденциях на Тирренском побережье устраиваются самые разнузданные оргии. Люди говорили: «На Капри он прошёл школу Тиберия, старого развратника». Другие, ничего не знавшие о тех страшных годах, добавляли: «А теперь по Риму распространились и все египетские пороки».

Сам же он совершенно не обращал внимания на эти разговоры. Но не таков был Каллист — тот отвечал на навязчивые намёки слабыми улыбками, в которых можно было прочесть снисходительность, осторожность или даже молчаливый упрёк. Но вскоре в этом калейдоскопе предложений молодой император открыл алчность и тайные интересы, и это вызывало у него приступы отвращения или леденящие паузы психического бессилия. Ему пришло в голову, что во всех этих залах единственную человеческую близость он может найти лишь в любимой сестре Друзилле да в Геликоне, этом молодом александрийском рабе, который каким-то образом оказался заброшен в мир императорских палат, где обитал со своей беззащитной душой, смуглой кожей, тонкой шеей и замечательной нежной

чувственностью, как освободившийся из капкана зверь. И больше ни в ком.

Но теперь, направляясь между двумя рядами сенаторов и патрициев к императорской ложе, он краем уха услышал женский голос. С детских дней на Рейне у него остался инстинкт обращать внимание на звуки. «У тебя уши поворачиваются», — смеялась мать. Проходя среди придворных, он уловил женский голос, шептавший с взволнованной нежностью:

— Какой он молодой! А как изменил нашу жизнь...

Император замедлил шаг и задержался с кем-то поговорить, потом обернулся: голос доносился откуда-то сзади. Рядом с массивной тушей трибуна Домиция Корбулона стояла темноволосая женщина. Поздоровавшись с несколькими сенаторами, император ещё поговорил и сделал два шага назад.

Домиций Корбулон со старой казарменной уверенностью сказал:

— Август, познакомься: моя сестра Милония. Она умирала от нетерпения побывать здесь.

И он засмеялся.

Она поклонилась, явно охваченная эмоциями. Молодой император увидел массу свободно со-

бранных, как принято во Фригии, тёмных волос — судя по произношению, женщина приехала издалека. Милония подняла голову, и он не заметил, красива она или нет, молода или нет, а увидел только большие тёмные глаза, глубоко оттенённые золотыми бликами тяжёлых серёг.

Император протянул ей руку, и она порывисто, с восточным благоговением, нежно сжала её двумя ладонями и поцеловала. Он задержал свою руку, обратив внимание на её тонкие тёплые запястья и мягкие, прекрасные кисти.

ДОМ ГАЯ

Глядя на форумы с обширной строительной площадки, что Манлий разбил на краю Палатинского холма, взволнованный Геликон тихо проговорил:

— Мне рассказывали, что на Бычьем форуме есть каменная могила... Не знаю во время какой войны в ней заживо похоронили мужчину и женщину, чтобы попросить помощи богов. Могилу так и не открыли, и скелеты все лежат там, а мы ходим сверху.

Рабочие усмехнулись: они хорошо знали, как напугать этого робкого египтянина.

Манлий Велитрянин — «деревенщина из Велитр», как называли его высокомерные римские архитекторы, — был весь поглощён предстоящим новым строительством. В своём заключении на Капри молодой император часами мечтал о зданиях, начерченных Витрувием в своём труде «Об архитектуре», и о его чарующих сокровенных предписаниях по акустике. «Создать такие условия, чтобы голос разносился легко», — писал Витрувий. И потому рядом с Палатинским дворцом, господствовавшим над комплексом фо-

румов, теперь рождался зал невиданной формы для музыкантов, мимов и танцоров. Весь Рим судачил об этом таинственном сооружении.

Погруженный в руководство этим грандиозным строительством Манлий, однако, услышал шутки своих рабочих.

— Не слушай их, — грубовато посоветовал он Геликону. — В те дни воевали с Карфагеном, это было ужасно.

И раздражённо добавил:

— И потом, эти похороненные были из галльских племён, не римляне.

Он взглянул на своих рабочих, которые одобрительно захохотали. Геликон не посмел ничего сказать. Он тоже внезапно подобрался к блестящей жизни императорского вольноотпущенника, но не стремился к власти и влиянию, а оставался молчаливым и теперь уже рассеянным стражем одиночества молодого императора в периоды его бессонницы. Робкий египтянин ходил за ним повсюду, всегда молча, и терялся, оказавшись вдали от императора. Его прозвали египетской собачонкой.

— Я собственными глазами видел, как ещё тёплая кровь казнённых брызгала на статуи ваших богов. Зачем? — спросил Геликон.

— Чтобы они пили, — захохотали рабочие.

Но беседа прервалась неожиданным появлением императора. С маленькой свитой он своей быстрой походкой шёл через разорённые сады, всё ещё покрывавшие вершину Палатинского холма. Увидев его, все подобрались и с энтузиазмом приветствовали Гая Цезаря, чего никогда не случалось с молодым Августом. И он отвечал на приветствия, смеялся и хлопал по плечу оказавшихся рядом, нарушая все протоколы. Так было всегда и везде, и чем больше это возмущало сенаторов, тем больше вызывало восторга в народе. Но император вдруг прервал веселье и обратился к Манлию:

— Не понимаю, почему Август, строя себе дворец, повернулся спиной к сердцу Рима. Чтобы не видеть города или чтобы его самого оттуда не видели? А Тиберий потом додумался только нагромоздить свои камни поверх дома Марка Антония. Подойди сюда, посмотри.

Они подошли к краю северного склона, и среди кустов у них под ногами открылся Капитолий, Священная дорога, сияющее пространство форумов, колоннады, базилики, храмы. Императору подумалось: «Овидий в своём изгнании говорил,

что Палатин — это вершина mundus immensus[46]. И это верно. Но его отчаянные стихи не вызвали к нему сочувствия».

Он окинул взглядом чистый утренний горизонт. Далеко слева возвышался священный Капитолий, одетый в мрамор. Дальше виднелись крыши Квиринала и маленькая впадина. А поскольку восточную сторону Палатина покрывала зелень — ещё не было огромных зданий династии Флавиев и Северов, — оттуда открывался вид на всё пространство Целиева холма. Дальше, на пологом спуске, намечалась борозда Аппиевой дороги, дороги на юг, царицы всех прочих дорог. Справа же, совсем рядом, виднелся таинственный Авентинский холм, а дальше торжественный холм Яникул. А внизу, за лениво текущей по летней засухе рекой, возвышался Ватиканский холм.

«Мой Рим, — подумал император, — мой Рим, который будет жить в веках, и с ним будет связано моё имя. Я возведу здесь Монументы, никогда не виданные на его каменном основании».

Это напоминало любовные объятия: божественный город, белое облако мрамора, которые

---

[46] Примечания: 46
Бескрайний мир *(лат.).*

он увидел, приехав с Рейна, — город, по-женски распростёртый на семи холмах.

— Манлий, — позвал император, — мы не будем строить здания. Мы перепланируем Рим. Дадим ему новое пространство — новый мост перекинется через реку до Ватиканского холма, а там будут возвышаться цирк и обелиск. А потом в сердце Рима построим нечто, превосходящее Александрию, Пергамон и Афины. Здесь, наверху, ты возведёшь новые императорские палаты, мой новый дворец, дом Гая, и повернёшь его в сторону форумов, где восходит день. Построишь грандиозный воздушный путь, начинающийся вон там внизу, от форумов Юлия Цезаря и Августа, и идущий прямо сюда. А здесь, где мы сейчас разговариваем, построишь атрий, преддверие перед новым лицом империи. И свод будут поддерживать четыре мощные колонны...

— Я сделаю это, — ответил Манлий и явственно представил, сколько сотен людей потребуется послать на этот склон, чтобы воплотить в камне все те знаки, что очерчивала в воздухе рука императора. — Я это сделаю, — повторил он с гордостью. — В Риме ещё никогда не строилось ничего подобного.

Очевидцы тех времён напишут, что в этом че-

тырёхколонном зале действительно использовались конструктивные модули, ещё не виданные в Риме.

— Манлий, — сказал император, — ты должен обследовать заброшенные строения у Пантеона и сады, принадлежавшие Марку Антонию.

Манлий, всегда готовый молниеносно выполнить все императорские приказы, на этот раз затрепетал от удивления и смутного страха.

— Август, ты говоришь о том старом египетском храме, разрушенном Тиберием?

— О нём, — улыбнулся император.

— Люди не приблизятся к нему по своей воле, — посмел возразить Манлий. — Рассказывают о какой-то магии, говорят, по ночам там слышны какие-то голоса...

Этот маленький храм Исиды разорялся и снова открывался четыре раза, следуя судьбам власти. К тому же во время войны в Египте наивные люди, трезвомыслящие сенаторы и безжалостные военные трибуны — впервые все вместе — говорили, что Марк Антоний подарил свои земли египетским богам, потеряв рассудок, а Клеопатру защищают искусные маги и служители тайных сил, сделавшие её невидимой.

Август, чтобы быстро успокоить эти сплетни и

воодушевить граждан на войну, закрыл храм и вернул к жизни древний магический ритуал, долгий и сложный: его исполнили целых двадцать жрецов-фециалов, духовных вестников войны. С циничной решительностью Август гарантировал, что таким образом одолел египетские злые силы, а глава фециалов объявил:

— Магия Клеопатры рассеялась как туман.

К счастью для Августа и жрецов, последующие события подтвердили их правоту. Через несколько лет Тиберий для большей безопасности велел сжечь остатки изъеденного древоточцами закрытого храма, а прекраснейшую статую богини сбросили в реку с ближайшего берега.

Вспомнив всё это, Манлий пробормотал:

— Мало кому понравится, если мы пойдём разбирать развалины.

На самом деле ему самому это тоже не нравилось.

Император улыбнулся.

— Мы построим храм не для того, чтобы встречаться с богами, если допустить, что существует место, где их встречают.

Он не помнил, кто из древних философов додумался до этих слов, а только припоминал, что их часто повторял бедный Залевк. Но ошибочная

техника обучения в приложении к храмам каструма, возможно, привела к результатам более полезным, чем многие выспренние успешные методики.

— Мы, Манлий, принесём в Рим три тысячи лет того мира, с которым Рим не знаком.

И подумал: «Только мой отец понял этот мир, потому что не смотрел на него горящими войной глазами».

Император попытался объяснить Манлию, что Юнит-Тентор, и Саис, и Аб-ду были не только местами для замысловатых и, возможно, колдовских ритуалов. В течение тысячелетий в их непреодолимых стенах находило убежище самое хрупкое творение человечества — культура. Музыка, математика, медицина, астрономия, архитектура — всё рождалось там.

— Нужно спроектировать большие пространства, портики и залы, — велел он и тут же подумал, что легко сказать, а ведь придётся собрать туда всё, что найдётся в трудах, обдуманных и написанных за четыре тысячи лет, которые теперь превратились в прах среди песков пустыни.
— Мы построим центр нового мышления.

Манлий, несмотря на свои богатства живший на стройке, как последний из его чернорабочих,

и деливший со строителями похлёбку из полбы, баранины и разбавленного водой вина, понял из этого разговора, что здание должно быть огромным. И его неуверенность пропала. О Египте он знал лишь, что эта страна находится по другую сторону коварного Тирренского моря, по которому он никогда не плавал, но долгие годы войны подсказали ему идею об огромных скоплениях камня. И это ему страшно понравилось. Он не понял, что имел в виду император, говоря о постройке «нового мышления», но заключил, что эту проблему решат другие, и пообещал:

— Завтра утром пойду хорошенько осмотрю развалины. А потом...

Император улыбнулся.

— Посоветуйся с архитектором Имхотепом, он только что приехал из Александрии. Они привезли из Египта статуи священных животных, сфинксов и львов из диорита, красного гранита и чёрного базальта. Я прикажу изваять символы священных рек, братьев Нила и Тибра. У нас будет огороженный по бокам обелисками проход, будет хем со статуей из белого мрамора. И алтарь для приношений, без жертв и крови.

И тут появился Трифиодор, молодой и капризный александрийский архитектор интерьеров.

Его череп был выбрит, а на правом виске виднелся небольшой шрам в форме буквы «тау» — знак посвящения в культ Исиды. Под мышкой у него был свиток с чертежами. Трифиодор обратился к императору:

— Посмотри, Август, я работал всю ночь, чтобы закончить всё то, что ты хотел увидеть. Ты велел мне, чтобы на священном алтаре храма, куда каждый день будут возлагать благовония, цветы, светильники перед статуей богини, я изложил значение каждого ритуала, потому что многие глупцы не понимают их.

Манлий вытаращил глаза. Обычно император сам приносил свой проект, более продуманный, чем все считали, хотя он и не признавался в этом.

Трифиодор сказал:

— Ты велел мне изобразить ритуал так, чтобы никто не смог уничтожить его в последующие века. Думаю, я выполнил твою волю, Август.

Он развернул папирусный свиток и нервными пальцами разгладил его. Там открылся большой прямоугольник. Терпеливо нанесённые цветными чернилами аккуратнейшие линии изображали сложную композицию таинственных образов, разделённую на квадраты. Император

наклонился посмотреть.

— Я подумал, — сказал Трифиодор, — что алтарь Исиды лучше сделать не из мрамора и вообще не из камня. Он будет из массивной бронзы. И ритуал мы опишем не словами, а нанесём образы нестираемой серебряной и золотой насечкой, чтобы все века они воспроизводили внешний вид ритуала и его тайный смысл — то, чего человеческие глаза видеть не могут. — Посмотрев на императора юношеским взглядом, он заговорщически улыбнулся. — Его поймут только посвящённые.

ВОСТОЧНЫЕ ПРЕДЕЛЫ

Но Фатум, движущий судьбами людей, вдохновил молодого императора построить роскошный криптопортик, длинную и просторную облицованную мрамором галерею, связавшую новый дворец Гая и таинственный Музыкальный проход со старыми палатами Августа. И вскоре Гай завёл привычку в дождливые дни во время приватных бесед об управлении прогуливаться под этой крышей. В одну стену там была вмурована высеченная в камне копия Forma Imperii, грандиозной карты Марка Агриппы, над папирусным оригиналом которой Гай дремал в юности, когда томился в доме Ливии. На каменной карте, играя точно выгравированными бороздками и тонко наложенными красками, среди земель и морей, городов и дорог границы империи выделялись с нескрываемой мощью. Глаза императора пробегали по протяжённым и жизненно важным восточным пределам, по границе, что тянулась от Эвксинского Понта (Чёрного моря), касалась неукротимо враждебного Парфянского царства, шла через Сирию, Иудею, Набатейскую Аравию и приближалась к Египту.

«Земли, стоившие жизни моему отцу».

Август в одиночестве своих преклонных лет, как бы оправдывая себя за долгие годы убийств, написал: «Per totum imperium, Romanorumpartavictoriispax» — «Побеждая, римские войска повсюду устанавливали мир». Концепция, великолепная до абсурда, которую в будущем с энтузиазмом скопируют самые беспринципные завоеватели. Но под конец Август написал: «Необходимо укротить алчность к дальнейшему расширению империи».

И наконец молодой император сказал шагавшему рядом Серторию Макрону:

— Там мы десятки лет вели изматывающие войны.

И подумал: «На Востоке все помнят дни Германика. И знают, за что его убили. И спрашивают себя, что думает его сын».

Он снова увидел перед собой дворец в Эпидафне и поднимающихся по лестнице иноземных послов.

Но убрать войска, постоянно и кровно необходимые военному оккупационному режиму, преобразить недавние завоевания в пояс союзных государств, внутренне самостоятельных и тем не менее связанных богатыми коммерчески-

ми договорами и сильными военными пактами, создать сеть, которая включила бы в себя все земли цивилизованного Востока, — многим это казалось юношеской утопией, неосуществимой и довольно опасной. Действительно, это была слишком передовая идея для того времени: нечто вроде Средиземноморского союза, противоположность империи с центром в Риме, построенной Августом и Тиберием. Высокая и, возможно, недостижимая, как небесные облака, идея.

«Подобная идея, — говорил себе император, — может родиться только в очень просвещённом сердце, уставшем от бесполезных страданий, или в молодом уме, верящем в возможность изменения мира».

Боги, знающие, сколько дней отведено ему на эти мечты, улыбались. Он же, поскольку молодость внушала мысль о бесконечности времени, радовался, что ему всего двадцать шесть лет, и строил далёкие планы на «долгое правление внука Августа» чудесной, упорядоченной, мирной империей вокруг Нашего моря будущих веков. Ему запало в голову ироничное, оскорбительное ободрение Сертория Макрона: «Августу, когда он пришёл к власти, было на четыре года меньше, чем тебе сейчас...» Возможно, и Макрон начал

вспоминать об этом.

Гай подошёл к карте и чуть запнулся на отполированной блестящей поверхности мрамора и мозаик. Он сам удивился: там не за что было зацепиться. Но, как сказал однажды Залевк, «боги объявляют судьбу легчайшими знаками».

Император заявил:

— Вместо того чтобы посылать всё новые легионы, лучше отправлять послов для ведения переговоров.

Серторий Макрон вздрогнул.

А император продолжал:

— Восстановить автономное правление в древнем Киликийском царстве, где Артавазд убил всех родственников... Освободить из заключения сына разбитого Антиоха, царя Коммагенского, которого несправедливо сместил Тиберий. Вернуть автономию его земле, возместить ущерб, нанесённый алчными прокураторами[47], которые экспроприировали богатства его отца.

— Ты не можешь это сделать! — испуганно вмешался Серторий Макрон. — Сенаторы закричат, что ты хочешь отобрать у Рима золото, чтобы раздать его варварам.

---

[47] Примечания: 47

Прокуратор — чиновник, заведующий доходами императора в провинции.

Ничего не ответив, император протянул руку и показал точку на карте.

— В Итурее вернуть свободу и власть тетрарху Согаэму, который мудро правил своим народом. Поручить Котису, не знающему устали всаднику, горы Малой Армении, где свирепствуют разбойники.

И подумал: «Поручить Понт и Босфор Полемону, царевичу-поэту, писавшему на меня эпиграммы на тончайшем пергаменте и вручавшему мне их: “Эрос, прошу тебя: отними любовь, что ношу в себе, или отдай мне любимое существо. Желание не может жить в одиночестве...” Доверить правление Фракией Рометальку, который в доме Антонии в шутку и для придания надежды совершил тот разнузданный обряд...»

Все они были молоды. Все, как и он, беззащитные сыновья войны. У всех душа полна горьких воспоминаний об утраченном. И все инстинктивно повторяют одни и те же слова.

— Поручить неуправляемую Галилею Ироду Агриппе, который томился в темнице за свои слова, что ждёт моего прихода к власти, — сказал император. — И ещё доверить ему Иудею и Самарию, где Август поставил римских прокураторов, а также провинции вдоль границ с Абиленой и

Келесирией.

— Ты не можешь отозвать прокураторов, поставленных Августом, чтобы послать туда своего Ирода! — возмутился Серторий Макрон.

Он тоже остановился перед картой и постучал по камню своей тяжёлой рукой.

— Прошёл всего год с твоего избрания, и сегодня многие уже не выбрали бы тебя.

Говоря так, он не знал, что первым озвучил концепцию, которую через века с неприятным чувством услышат многие демократически избранные правители: первый, благодатный, год закончился.

Император сказал:

— Противоречия между Иудеей и арабами дали Помпею повод послать туда легионы. Мы должны умиротворить эти территории. Рядом с Иродом дадим свободу и власть Харитату, низложенному Набатейскому царю.

— Харитату с его пустынниками-грабителями... — ухмыльнулся Макрон. — Каждое утро я встречаю проконсулов, прокураторов, префектов, правивших этими крупными провинциями, а теперь они гуляют по Форуму или сидят в термах, без должности, без денег... Юний Силан говорит, что некоторые сенаторы и даже их родственники

там, в Галилее и Иудее, — он отыскал эти места на карте и ткнул пальцем, — владеют обширными землями, где выращивают пшеницу, виноград и оливы и наполняют собранным урожаем десятки грузовых кораблей. А теперь получится, что их больше нет. Сенаторы беспокоятся: ведь я не обещал им ничего подобного.

Император посмотрел на карту. За этими неспокойными границами раскинулось Парфянское царство — старый, так и не побеждённый враг Рима.

— Нужно освободить молодого царевича Дария, которого держат в заложниках много лет. Нужно попытаться заключить договор.

Несмотря на войны, Дарий стал ему другом.

— Евфрат, — заявил Гай, — больше не будут форсировать войска. Через него будут переправляться послы.

Возмущённый Макрон следовал за ним по пятам.

— Сто лет легионы жили войнами, для этого они там и есть. Помни: чтобы сохранить власть, она должна внушать страх, — не сдержавшись, проговорил он. — А по этому пути за тобой никто не пойдёт!

«Неправда, — подумал император. — Люди ча-

сто стонут от маленьких усилий, но ради новой мечты, особенно если она кажется недостижимой, они способны дойти до края земли».

Макрон увидел, что император не слушает, и в отчаянии пригрозил:

— Если так продолжать, нас растерзают. Знаешь, что сказал сенатор Азиатик, выходя из курии?

Император повернулся и, взглянув на него, подумал, что невежественный Серторий Макрон поистине слишком много мнит о себе, раз говорит так бесконтрольно. И ничего не ответил. Мысли его проявились только во взгляде серо-зелёных глаз меж широко распахнувшимися веками. А сенатор Азиатик, после того как его коллеги официально подавляющим большинством, хотя и с тайным ропотом, одобрили императорские планы, сказал: «Так не может продолжаться. Мы разделываем империю на части, как ягнёнка для жаренья на углях».

Среди встревоженных оптиматов действительно возрастала глухая оппозиция.

— Марк Антоний тоже по кусочкам раздавал имперские провинции, — насмешливо говорил Азиатик. — Но он, по крайней мере, получил за это в постель куртизанку царской крови. На его

месте, возможно, и я бы не устоял.

Свита его сторонников шла следом, посмеиваясь, и он спросил их:

— А вы можете мне сказать, что получит в обмен за это юноша? Сам он говорит, что мир. А можете мне сказать, что такое мир? Вы когда-нибудь видели мир?

И с иронией добавил:

— Мы даже выстроили ему храм. Храм неизвестно чему.

ОЗЕРО НЕМОРЕНСИС

Одним дождливым утром в ту зиму на память императору пришёл его отец Германик, который когда-то перед высохшим священным Саисским озером в Египте вспомнил таинственное озеро к югу от Рима. «Горы там заросли лесом и образуют круг, замкнутый со всех сторон, а в центре открывается провал. Там, внизу, и есть это озеро. И никто не знает, откуда туда приходит вода и куда она вытекает. Мы туда съездим», — пообещал он. Говоря это, Германик ещё не знал, что через несколько недель враги убьют его ядом, от которого нет противоядия.

«Хочу увидеть это озеро» — подумал молодой император: возможно, в том месте, куда хотел вернуться злодейски убитый отец, можно поставить памятник. Эта мысль запала ему в голову, но ещё не созрела. Он стал размышлять, идея крепла и превратилась в проект. Здесь понадобится Имхотеп, египетский архитектор, носящий имя древнего строителя пирамид и спроектировавший римский храм Исиды. Понадобится Манлий, строитель из Велитр, хорошо знающий те места. Пригодится Евфимий, инженер-кораб-

лестроитель, руководивший верфями в Мизенах, и Трифиодор, этот капризный александрийский проектировщик интерьеров, как никто другой владеющий секретами тканей, дерева, мозаик, росписи, бронзы и золота, смоделировавший сокровенный алтарь Исиды, а также поэт Клавдий, умеющий переводить на латынь высеченные в храмах древние молитвы. А ещё нужна музыка, статуи... Его мысли бежали, ничем не сдерживаемые, в свободной фантазии, подкрепляемой властью.

Он собрал этих людей и однажды утром, на рассвете, с маленьким эскортом, без регалий и знаков своего достоинства направился по Аппиевой дороге на юг от Рима. Его забавляло, что в подобных путешествиях очень немногие его узнают. Император пустил на подъём своего доброго коня, с которым не разлучался с тех пор, как в Мизенах тот сразу же откликнулся на имя Инцитат — Стремительный, Быстроногий. Так звали его крепкую лошадку, которую в детстве пришлось оставить на Рейне. А этот жеребец был мощный, необыкновенно выносливый, спокойный и гордый, однако же способный нестись опьяняющим галопом, забыв про поводья. На шелковистой шкуре его сверкала золотая сбруя.

Дорога поднималась по отрогам холмов, и командир эскорта рассказывал:

— Говорят, что там внизу, на вилле Квинтилия, спрятана статуя царицы Египта. Она совершенно голая, но царственная, и на голове у неё диадема. Её там упрятали, чтобы больше никто не нашёл.

Справа под январским солнцем раскинулось Тирренское море, а слева на крутых склонах примостились города древнего Лация, ещё более древние, чем сам Рим. На холмах росли дубы, буки, лавры, а выше — каштаны, плоды которых, согласно Вергилию, любила нежная пастушка Амариллис. Но пастухи и дровосеки рассказывали:

— Эта высокая гора — древний вулкан. На наше счастье, он спит уже несколько веков.

Старые разрушительные потоки лавы застыли у самых ворот Рима. Теперь на вершине красовался храм Юпитеру Лацийскому. Ночью огонь на его алтаре был виден с Таррацинской горы, где находилось мегалитическое святилище Анксура, и из стоящего на реке Лавиния, где, согласно Вергилию, высадился Эней и где было возведено сокровенное святилище Двенадцати Жертвенников. Жрецы и поэты заявляли, что треугольник этих храмов связан магическими силами, так как

глубоко-глубоко под ними находится огромное подземное озеро с серной водой и испарениями.

Они поднялись выше Арриции и углубились в леса по Вирбийской дороге, где в одном месте, считавшемся чудесным и достойным богов, Юлий Цезарь в дни Клеопатры построил себе виллу. Но весь Рим знал, что после его убийства ни Август, ни Тиберий никогда не переступали её порога, поскольку всё в этом здании, и даже земля под ним, несло в себе злую египетскую магию.

Не объявивший о своём прибытии заранее (этот его обычай уже стал тревожной легендой) император засмеялся:

— Здешним надзирателям не наносили визитов уже шестьдесят лет.

Среди деревьев показались старые стены, потемневшая от времени черепица и угол портика — на первый взгляд заброшенное здание. Император пустил коня шагом и, проезжая через заросший парк, тщетно пытался рассмотреть озеро. Но вместо этого увидел бегущего по аллее управляющего, а с ним сторожей и рабов.

Император соскочил на землю, прежде чем один солдат правой рукой поймал поводья. Оставив Инцитата эскорту, он вошёл в виллу и испытал разочарование, так как легендарный

Юлий Цезарь — который в весьма зрелом возрасте полюбил юную Клеопатру — построил себе ничем не примечательную резиденцию в старом суровом стиле, без всякой фантазии. И в подобные комнаты он думал приводить такую женщину? Вообще-то говоря, вилла не нравилась и самому Юлию Цезарю, а за прошедшие годы здесь шарили многие руки. Сырой, затхлый, неприятный запах в полумраке вызвал у императора мысль вернуться в Рим, и тут он увидел, как в глубине атрия сторожа упорно пытаются распахнуть для него торжественный портал, не открывавшийся уже много лет. В проходе показалась терраса, балюстрада, а за ней провал.

Он вышел из комнаты и подошёл к балюстраде. Среди деревьев вдруг открывалась пропасть, и внизу, спокойное и тёмное в окружении обрывистых берегов, виднелось озеро. Всё вокруг покрывал густой лес, с берегов свисали переплетённые ветви.

— Священное озеро Неморенсис, — шепнул бледный поэт Клавдий. — С начала времён, ещё до рождения Рима, это озеро, горы, тёмный лес посвящены Диане.

Императора пригвоздило к месту неподвижное молчание воды — она была гладкой, как метал-

лическая плита.

Манлий вполголоса проговорил:

— Старики рассказывают, что вулкан имеет двенадцать жерл, и это — самое глубокое.

И правда, склоны были сформированы лавой, а под землёй, в вулкане, возможно, всё ещё теплилась жизнь, проявлявшаяся в неожиданных сотрясениях почвы и ряби на воде.

— Но откуда берётся эта вода, не видно, как и не видно, куда она уходит, — объяснял Манлий, приглушая свой грубый акцент жителя Велитр.

Возможно, в этом выражалась почтительность, а возможно, дедовский страх. В озеро действительно текли только струйки священного ключа, но основная масса воды то и дело таинственным образом волнами набегала на берега, и местные люди выдолбили в камне длинный канал, чтобы отводить её в море.

На суровом северном склоне открывалась поляна, а внизу возвышалось единственное тёмное здание из серого камня — затвердевшей лавы давних извержений.

— Это храм богини, — показал рукой Клавдий, и все инстинктивно замерли.

— Так вот о чём говорил Витрувий? — спросил император.

— Именно так, Август, — ответил Клавдий и проговорил, словно цитируя поэму: — «Нет света, равного этому свету, когда чистая луна восходит на небе и смотрится в эту воду».

— Диана Свобода, — многозначительно улыбнулся Манлий, поскольку Диана была богиней рабов.

Император взглянул на него. С начала римской истории, с дней Менения Агриппы, храм Дианы Свободы в Риме на Авентинском холме, где 13 августа рабы отмечали праздник, был местом собраний плебса, а также антиаристократической политической партии популяров, к которой примыкал убитый Германик.

Император осмотрелся и ощутил, как в голове рождается грандиозный проект: это священное девственное озеро в грядущих веках станет монументом в честь его отца. Мысль вызвала физическую дрожь, трепет всего тела. Его фантазия воспламенилась, императорское могущество не видело преград. Вместе с любовью и почтением в нём клокотало чувство мести, как болеутоляющее средство против прежних унизительных страданий, и нахлынуло необоримое высокомерие. Он позвал Имхотепа, молчаливого египетского архитектора, и сказал:

— Я решил.

И тут же приказал:

— Здесь ты возведёшь монумент моему отцу Германику и мечте о мире, за которую он отдал жизнь. Мы объединим их с памятью о моей матери и моих убитых братьях.

Имхотеп поднял худое лицо, на котором ветры пустыни оставили множество морщин, и, посмотрев на отвесную скалу за озером, тихо проговорил:

— Я думаю, Август, о схожем монументе, который во славу своей царицы Хатшепсут построил в Западной долине великий Сенмут. Если хочешь, на этой скале я поставлю мощные арки, и они будут поддерживать три следующие одна за другой террасы с широкими лестницами: самая широкая внизу будет представлять ба, материальный мир, во второй поселится ка, мир разума, а третья, наверху, будет отражать анх, мир духа. Там, на вершине, я вырою целлу Великой Матери Исиды, дающей приют душам... Но мы не будем уничтожать старый храм, а восстановим его, ведь как бы люди ни называли божество, оно одно.

— Ты угадал мои мысли! — воскликнул император. — Начинай скорее.

Пока он раздавал приказы, ни он сам, ни его

люди вокруг не представляли, что этот проект явит собой тяжелейшую загадку для археологов. Потому что ни один из дошедших до нас текстов из античной истории — ни один! — не содержит ни единой строчки о том, что же решил построить на озере Неморенсис молодой император в тот далёкий январский день.

(Восемнадцать веков спустя рядом с озером найдут погребённый под кустами ежевики храм огромных размеров, но это был не храм Дианы, который в дни Августа описывал великий — и точный — Витрувий. Кто же его построил и зачем? В храме смешались различные стили. Целла, возможно, находилась на самом верху, на выступающей террасе, засыпанной землёй и заросшей кустами. Но строительство как будто было неожиданно прервано. Среди развалин валялись бронзовые фигуры, каменные плиты с надписями, посвящёнными далёкой египетской богине Исиде, Великой Матери. Величественная статуя Германика, отравленного в Антиохии, была разбита на сотни кусков. А храмовый придел внизу был возведён не кем-нибудь, а одним из парфянских монархов. Но никто не тратил времени на изучение смысла этой странной находки: их безлично распродадут в музеи и дворцы поло-

вины европейских стран.)

Император велел Манлию, не знающему устали строителю:

— Взгляни туда, левее храма. Там ты построишь маленький крытый театр, изысканнейший, как тот, что в Павсилипоне. Позаботься обо всех акустических хитростях. Но мы не будем ставить там спектакли. Люди из всех земель будут встречаться здесь и разговаривать друг с другом, пусть и на разных языках, поскольку оружием не сохранишь тела империи в целости. Мы высечем там, как обет мира, оружие, доспехи, щиты и трофеи прежних войн, какие я видел в храме Илиона — развешанное оружие уставших от кровопролития солдат. Ты приготовишь место, где я смогу написать собственной рукой цель этого проекта и кому он посвящён. Потому что это был замысел моего отца. И вы знаете, что за это он поплатился жизнью.

— Завтра же я разверну строительство, — пообещал Манлий севшим от волнения голосом.

(Через много веков рядом с храмом найдут маленький, очень изящный театр. Это казалось нелепым, как если бы сегодня театр стоял на площади у собора Святого Петра. Но вместо привычных украшений из театральных масок там

нашли военные эмблемы, и некоторые из них были недоделаны, как будто работу прервали. Потом на свет появилась чрезвычайно странная фреска; кодекс, открытый на чистой странице, где от руки было написано — не нарисовано — несколько строчек на латыни. Но это была не мазня кого-то из пришедших. Кодекс был изображён открытым и пустым, чтобы некто действительно что-то написал, возможно, какую-нибудь памятную надпись. Из неё удалось расшифровать только фрагменты. Но по крайней мере четыре раза там повторялось слово «MANES». Маны — это были почитаемые духи мёртвых. Кому принадлежал этот аккуратный почерк с высокими рублеными согласными? Кто были эти тени усопших, к которым он обращался? Когда нашли этот маленький театр, он был засыпан землёй, как остаётся под землёй и сегодня. А у берега обнаружили большую пещеру, высеченный в скале одеон с огромными статуями. И там тоже работа не была завершена. А на лесистом берегу лежали большие квадратные каменные плиты, образуя величественную дорогу вокруг озера).

В то далёкое январское утро император также сказал Манлию:

— Посмотри вон туда, налево. Там, у берега, ты

выроешь большой грот, одеон. И в нём высечешь статуи, как будто они выходят из недр земли. Но это будут не чудовища, какие Тиберий поставил в своей пещере. Это будут духи мира. Я подумал, что каждый год здесь будет устраиваться ритуал, как в Саисе, в память о великой мечте, погубившей моего отца. В этом одеоне будут звучать самые чудесные инструменты, будут петь сладкие голоса Востока, какие мы слышали по вечерам во дворце в Эпидафне, на Оронте, когда мой отец, словно наливая по капле драгоценного вина, каждому в той стране, одному за другим, дарил мир. И сюда будут приходить люди со всех концов страны, потому что ради новой мечты, особенно если она очень трудная, люди могут дойти до края земли.

Строитель Манлий прервал его конкретными соображениями:

— Берега озера покрыты кустарником и старыми пнями...

Он говорил, а император смотрел на неподвижную воду, и в глубине души его кружился, накладываясь на реальность, образ золочёного корабельного носа, что лежал в Александрийском порту.

— Манлий, — обратился он в третий раз, — ты мне построишь широкую дорогу вокруг всего

озера...

Манлий вздрогнул: ему уже было хорошо известно, что когда голос императора вот так изменяется после почти гипнотических пауз, то потом он повелительным тоном описывает нечто увиденное в иных местах.

— Вокруг всего озера? — повторил он, сочетая почтение с удивлением.

— И из мраморных плит, потому что на озере...

Император прервался, словно на него нахлынули пришедшие издалека мысли.

ИМПЕРАТОРСКИЕ КОРАБЛИ

— А теперь послушай ты, Евфимий: в эти воды мы пустим корабли великого ритуала Исиды, как тот корабль, на который восходил мой дед Марк Антоний с царицей Египта. Корабль, который я видел разломанным и гниющим в Александрийском порту.

— Корабль, который ты видел в Александрийском порту, Август, — сказал Имхотеп с волнением, — это золотой корабль Ма-не-джет, священный корабль… Это чудесный храм на воде. Его построила Клеопатра.

— Если смогла построить царица Египта, — ответил император, — то сможет и Рим. Мы построим также корабль последователей, куда соберутся люди из всех уголков земли, кто захочет последовать за мечтой моего отца. Жрец из Саиса сказал мне, что у того корабля были длинные и лёгкие вёсла.

— Он назывался Ме-се-кет, Август, — сказал Имхотеп, — и я знаю некоторых, кто со слезами на глазах видел, как его сожгли. У него были такие длинные и изящные вёсла, что, когда их поднимали над водой, они казались крыльями чайки.

Партенопеец Евфимий, изобретательный морской инженер, загоревший на мизенском солнце, продолжал созерцать озеро и окружающие его холмы. И вдруг проговорил:

— Храм над водой...

Он раскрыл свой маленький кодекс, папирусную записную книжку, и посмотрел на императора.

— У меня в голове, Август, родилась идея: я сделаю храм не из дерева. Я вижу, как над этими водами стоит мраморный храм...

И он засмеялся.

Молодой император был потрясён.

— Объясни мне, пожалуйста.

К Евфимию бросился его молодой верный помощник, знавший, когда протянуть ему острый каламус для сложных расчётов или запутанных чертежей, палочку, инструменты для черчения кривых и углов, папирус разной толщины. Из благовонной кедровой шкатулки он достал каламус, которым, в зависимости от наклона, можно было чертить линии жирные или тончайшие, и протянул инженеру.

Посмотрев на воду, Евфимий положил кодекс на балюстраду над озером.

— Впервые в человеческой истории в этом году,

первом году твоего правления. Август, на этом озере...

Он взял каламус и обмакнул в чернила.

— Смотри, Август, смотри...

Он прочертил толстую длинную прямую линию, потом под ней другую, изогнутую, соединявшуюся концами с первой, так что получился корпус судна. Наклонив каламус, дополнил эту линию другими штрихами, и на листе высоко взметнулся нос корабля.

— Смотри, это деревянный корпус, но он должен выдержать храм из мрамора, кирпича и извести...

Инженер засмеялся, продолжая всё быстрее чертить линии, и, всё так же смеясь, с энтузиазмом говорил:

— В прошлом строили большие царские корабли, огромные, но все они делались только из дерева.

— Это логично, — подтвердил император.

— Однако я видел твои глаза, Август, когда сказал тебе, что по этой воде будет плавать храм из мрамора.

Император посмотрел на него. Они были одного возраста, и вдруг оба рассмеялись, как после какой-то шутки. Евфимий продолжал ловко

чертить.

— Смотри, Август: такого ещё не было. Плавучая конструкция деревянная, приспособленная для движения по воде; она должна поддерживать жёсткие каменные строения, не выдерживающие колебаний, так как они разрушатся, как во время землетрясения.

Все смотрели на него, заглядывали в его кодекс, переводили взгляды на озеро.

— Кажется абсурдом, а?

Остальные столпились вокруг, чтобы разглядеть рисунок в кодексе. Они первые на земле видели рождение этого изобретения. Евфимий начертил в секции корпуса несколько вертикальных линий, как трубопровод. Это действительно станет гениальной находкой, никогда не виданной системой терракотовых труб, врезанных для амортизации давления каменных строений, твёрдых опор в гибкой деревянной конструкции.

— В корпусе, взгляни, я поставлю гибкую систему, которая погасит колебания, и храм Имхотепа не рухнет. Вода в озере почти всегда тихая, но если вдруг налетит сильный ветер... Мне поможет точный кораблестроительный расчёт со многими вычислениями, так как корабельные корпуса со всем приходящимся на них весом не

будут вытаскиваться на берег для ремонта. Мы обошьём корпус тонкими, хорошо спаянными свинцовыми листами. Нужно тщательно сделать деревянные пазы, металлические связки, защиту каждого гвоздя...

В его латыни был ощутим акцент Великой Греции[48] и отголоски древних италийских диалектов, она звучала легко и солнечно. А его партенопейская фантазия вызывала в памяти его родные края.

— Золотой корабль будет иметь форму храма Исиды в Помпеях — единственного храма, где землю не оскверняет кровь жертвенных животных, — сказал Евфимий.

— Изнутри мы покроем весь хем настоящими мозаиками. Я придам им священные цвета Исиды Пантеи: лунно-белый цвет духа, зелёный цвет жизни, красный цвет подземных царств, — добавил Имхотеп.

— Ни один храм не будет иметь таких украшений, какие мы увидим на этом озере, обещаю, — вдруг вмешался Трифиодор, наделённый богатым воображением александрийский декоратор. — Я сделаю двери и оконные переплёты из ред-

[48] Примечания: 48

Великая Греция (Magna Graecia) — так называли область древнегреческих колоний VIII-VII вв. до н. э. в Южной Италии и на Сицилии.

чайших древесных пород. Мрамор будет такой же, как выбрала Клеопатра для своего дворца в Александрии. Бронза, обивка, занавеси будут такие же, как применил для неё отец моего отца. Дверные петли, ручки, задвижки, вплоть до черепицы и заклёпок — все детали мы окунём в котёл с золотом. Это будет золотой корабль. На бортах я расположу ряд чудесных бронзовых скульптур, головы волков, пантер, чудовищ — символы подземного мира в культе Исиды. А на хеме, святилище, я установлю удивительную голову Медузы из позолоченной бронзы. Согласно астрологии, Медуза — хранительница волшебного знака Девы, под которым рождён ты, Август.

— В Мендесе, — сказал Имхотеп, — близ священного озера, на одной каменной стеле высечены правила ритуала, чтобы память не утратилась: как фар-хаоуи восходит на корабль, как управляет великим кормилом и направляет Ма-не-джет на свет. Но у корабля нет ни вёсел, ни паруса. Его толкают шестьдесят гребцов: такова воля человека, который ищет Абсолют.

— Для этой цели нужна мощная конструкция, — вмешался Евфимий, — балки большой толщины, чтобы выдерживать толчки. Смотри... — Он начал чертить. — Вдоль борта мы расположим

портик и прекраснейшие перила. Там будут находиться гребцы. А когда они начнут толкать или тянуть, два корабля вместе тронутся, и покажется, что по озеру движется одно огромное здание в сто девяносто шагов. Потому что на втором корабле тоже будут колонны из камня и дерева, коринфские и витые, и терракотовая черепица, покрытая золотом и медью. И балкон, и изящная бронзовая лестница с балюстрадой, и гигантские балки, резко выступающие с боков, и уключины для множества гребцов.

— Чтобы аккомпанировать ритуалу, — заявил Клавдий, поэт, посвящённый в египетские таинства, — из Египта привезут музыкальные инструменты, каких здесь ещё не слышали: серповидные арфы те-бу-ни, лютни на-бла, прямые флейты, обычные и двойные, ме-ме, и поперечные флейты се-би. Смешиваясь и перекликаясь, лаская ухо, их звуки льются прямо в твоё тело — ба, а потом касаются ума — ка. И тут, пока горят все светильники, пока симпулум[49] с длинной ручкой, оканчивающейся змеиной головой, разливает по кубкам пряное вино из конических позолоченных ритуальных ваз и пока курятся

---

[49] Примечания: 49
Ковш, черпак.

благовония, в воздухе поднимется звук бронзовых и серебряных музыкальных инструментов, а в руке фар-хаоуи зазвучит золотой систр — чистейший инструмент Исиды. Тогда всё это вместе обволочёт твой дух, потому что дух, живущий и после смерти, питается ароматами, звуками и светом. И тебе не захочется ни крови, ни жертвенных животных. Когда наверху, за краем холма, покажется полная луна, как в Саисе, великая статуя богини Исиды, матери мира и покоя, на своём каменном троне медленно выедет из хема и покажется на пустом носу корабля, как три тысячи лет назад на Джер-о, Большой реке, которую здесь называют Нилом.

— Статуя на каменном троне? — вмешался строитель Манлий. — И как вы хотите заставить её двигаться?

— Этого я не знаю. Все, кто это знал в Та-не-си, Любимой Земле, которую вы зовёте Египтом, уже умерли.

— Не беспокойся, — сказал Евфимий, — ты мне скажи лишь вес статуи и её размеры.

— Действуйте быстро, — велел император, и к нему вернулся нежный голос его юности. — Прошу вас.

Он чувствовал, что связывает своё имя с чем-то

ещё невиданным. Другие монархи строили мавзолеи, висячие сады, колоссов, триумфальные арки, и почти всегда грандиозные монументы строились за счёт богатств, завоёванных на какой-то войне. На этом же озере легко держащиеся на воде мраморные корабли будут говорить людям всех стран, что даже самая труднодостижимая мечта — мечта о долгом мире — может сбыться.

— Мы будем работать вместе, — заверил его Манлий, не посмев сказать, что идея о мраморном корабле его ошеломила. — Когда корпуса будут готовы, Евфимий, я буду там на следующий же день, чтобы заложить фундаменты. Колонны, черепица, мрамор будут уже уложены на берегу. Но ты, Имхотеп, должен как можно скорее дать мне чертежи и размеры. И ты тоже, Трифиодор, всю свою мебель, мозаики, двери... Всё это войдёт в уникальный проект. Мне придётся за всем следить. Никто не сможет сказать мне, что я ошибся и должен что-то переделать. Год, может быть меньше, Август, — и твои мраморные корабли поплывут по этому озеру на века...

Однако этого времени ему не было дано. И никто не написал, как оно было урезано. Но веками крестьяне и пастухи в этих горах продолжали рассказывать, что на дне этого озера лежит чудес-

ный корабль, а то и два, потому что сети рыбаков рвутся, задевая за что-то, и в них попадают странные и ценные обломки.

Что они были правы, выяснилось только в 1928 году, когда появилась оригинальная сложная техника, чтобы опустить на дно прибор и откачать воду в древний канал. Постепенно из грязи появился огромный ободранный, но чрезвычайно прочный деревянный остов длиной более семидесяти метров так называемого «первого корабля», и все с удивлением увидели на нём развалины каменного здания. Потом чуть поодаль обнаружили корпус «второго», такого же огромного и разрушенного. Но была видна жёсткая конструкция, превосходящая всякое воображение, построенная по таким передовым технологиям, что удивила историков кораблестроения и морских инженеров. Этот таинственный всплеск судостроительного искусства вызвал большой интерес, вокруг него поднялся шум, а потом обнаружилось, что первый корабль имел два огромных кормила, но у него не было ни вёсел, ни паруса. Второй же имел уключины и места для шестидесяти гребцов — на таком-то маленьком озере. Что же всё это означало? Кто построил эти корабли? И кто их потопил? Археологическая

загадка. История безосновательно хранит об этом полное молчание.

А потом на этих остатках нашли свинцовые части. Когда их отмыли от ила, на мягком металле проявилось чётко выдавленное клеймо строителя, которое легко читалось, и императорский знак: «Gajus Caesaris Aug Germanic...»

Легенда озера связалась с именем молодого императора. Но враждебная историография и художественные романы создали до безумия низменный образ Калигулы, и никому не пришла в голову честная и вообще-то простая мысль — серьёзно изучить его личность и цели, с которыми он хотел построить два таких необычайных, роскошных корабля, не имеющих аналогов в нашей культуре. Вместо этого было сделано глупое предположение, что корабли имели военное предназначение или готовились для безумных кутежей. Как будто археологические данные можно без разбору приспособить к двум столь разным целям.

Но в тот далёкий январский день Клавдий, мистический поэт, написал: «Священный корабль Ма-не-джет, медленно поворачивая вслед за луной на небе, представляет собой движение души. Знаешь молитву? “Tunc minor es, cum plena venis;

tunc plena resurges, cum minor es; crescis simper, cum deficis orbe...”»[50]

Божество подобно неторопливому, всегда одному и тому же лунному циклу на небе: на первый взгляд удаляется и исчезает, но всегда при молитве людей снова возвращается и появляется во всей красе. «Имя, которое мы даём этому божеству, не имеет значения. Исида, Луна, Церера, небожительница Юнона, Кибела, Диана, Дива Яна, Дивиана, Люцифера (несущая свет), Артемида. Древние доряне звали её Лимнатис (богиня озёр); её звали Делия (рождённая на Делосе), Иллиция, Урания, в Финикии — Астарта, в Вавилоне — Милитта, в Греции — Селена, в арабских пустынях — Альят, в Египте — небесная царица Исида... Допустимо звать её любым именем, вызывать любым ритуалом, в любом облике... И она отвечает всем: “Вот я. Я, одно лицо всех богов и богинь. В разных обличьях, разными ритуалами, под всевозможными именами всё человечество поклоняется божественному Единству”».

Через сто лет — во времена императора-восточника Адриана, когда культ Исиды освободился

---

[50] Примечания: 50

«Ты становишься меньше, когда достигаешь полноты, и вновь растёшь до полноты, когда становишься меньше; ты постоянно растёшь, когда не круглая...» Цитата из «Оды луне» некоего Клавдия.

от политического остракизма, — Луций Апулей, рождённый в Мадавре близ Карфагена, земли полемистов, философов и теологов, придумает для этой молитвы особый поэтический язык.

Но сейчас молодой император слушал слова поэта и спрашивал себя:

«Что такое религия? Попытка приблизиться к тому, чего нам никогда не понять?»

Но кто является природой всего этого, и где он находится? Бог? Может быть, божественно всё, что нас окружает? А что означает «божественно» ? Ох уж эти греческие философы! Какая сила или власть решила, что он проживёт эту тяжёлую и чудесную жизнь? А если кто-то властно решил всё это, до какой степени этот кто-то печётся о нём? Существует ли путь разумного бегства от тревог? Можно ли ожидать чего-то вроде справедливости? Или в несправедливости и насилии, слепых, как ветер или огонь, так же рьяно участвует и этот кто-то? Какое вообще значение имеют страдания одного человека? Служат ли они чему-либо? А если да, то чему?

Или всё, что знают люди, — это лишь маска, от страха наложенная на лицо неизвестности? Мы не знаем. Но хотим знать. А особенно хотим, чтобы наша жизнь стала не такой жестокой.

Тот жрец из Саиса говорил, что жизнь — это чистая энергия. Дать жизнь или забрать её — это как переливать воду: то она в одной чаше, то в другой. Чаша другого цвета, но вода-то одна и та же. «Ты не исчезаешь, — говорил он, — ты уходишь и возвращаешься». Тогда отец, которому жить оставалось считанные месяцы, спросил жреца, как будто зная это: «Но куда?»

Залевк же, неизвестно куда пропавший старый учитель, чей ум был забит древними философами, как-то раз сказал: «Идея божества не хватается за разумные доводы. Понимание его сущности вспыхивает в душе как молния...»

И то же самое через сто лет напишет Плутарх.

«В действительности, — думал император, — мы не знаем, откуда приходит смерть, как и не знаем, откуда приходит жизнь. И никто не может сказать, что знает это, или даже притвориться, что единственный это знает».

— Ты думаешь, то, что мы называем религией, может помочь нам когда-нибудь увидеть то, что сегодня непознаваемо? — вдруг спросил он Имхотепа.

Тот удивился.

— Наш дух должен завершить свой путь, — неуверенно сказал он. — Это путь во мраке и

растерянности, но он ведёт нас на другой берег... Вот это и символизирует корабль богини. Но возможно, идея выше, чем её могут выразить наши слова.

Молодой император печально проговорил:

— Благодарю тебя. Если бы всё было именно так, мне было бы много легче.

И тут Евфимий со смехом заявил:

— Мои люди будут без ума от такого проекта. Завтра же поеду в Мизены и скажу им: «Ребята, кто поедет на озеро строить два мраморных корабля?»

VI
ТАЙНАЯ КОМНАТА



Власть — это тигр...

ЛИХОРАДКА

— Я не для того рисковал жизнью перед Тиберием, чтобы теперь через египетских рабов просить аудиенции у этого мальчишки, — в бешенстве говорил Серторий Макрон своим самым доверенным солдатам.

День за днём он, мечтавший о высшей власти, такой, какую он отнял у Элия Сеяна, видел, как его влияние на императора стремительно ускользает, а сила шантажа преторианских когорт становится ненужной. А его жена Энния всё продолжала сетовать:

— После всего, что мы сделали, я больше ничего не значу для него.

Пока муж не заорал на неё:

— Императору нужна императрица, а не шлюха!

И добавил, что ей не удалось даже этого, поскольку император проходит мимо них, как мимо стены.

Ещё в большем раздражении — и это было видно — пребывал некогда влиятельнейший сенатор Юний Силан, почти десять месяцев бывший тестем императора. Он ежедневно чувствовал, как

превращается в чужого и обрастает насмешками противников. Всё чаще он, оставшийся уже единственным и бессильным представителем крайне обеспокоенных оптиматов, видел улыбки окружающих, когда император выслушивал его советы и отвечал:

— А мне пришлось решить иначе.

Со своей стороны император видел в нём старого союзника Тиберия, возможно, даже соучастника, и инстинктивно не любил его.

Неспокойные дни переживал и знатный род Пизонов, наследников Гнея Кальпурния Пизона. «Мастера отравлений», — шептались люди при виде них. И если бы этого не забыл только народ, ещё бы оставалась какая-то надежда, но об этом помнил император.

И потому, когда к концу первого чудесного года Гай Цезарь неожиданно заболел — впервые в жизни — лихорадкой, с которой врачи не могли справиться, все каждый час дожидались известий о его здоровье, так как в случае ухудшения вновь начались бы игры в борьбе за власть.

Но он оправился после лихорадки и, открыв глаза, увидел рядом побледневшую от тревоги свою любимую сестру Друзиллу, которая, избавившись от ненавистного брака с Кассием

Лонгином, вышла замуж по любви за одного из потомков Лепидов, рода триумвиров. Друзилла была хрупкой, ей ещё не исполнилось двадцати.

Гай сказал ей:

— Мне приснилось, что рядом со мной, как было принято у фар-хаоуи, ты в виде царицы Египта. И я даю тебе царственный у рей[51]...

Врачи уловили бессвязные слова, и кто-то вынес их за пределы комнаты. Император сказал, что хочет пить, долго пил, а потом уснул, и врачи заявили, что его спасли их лекарства, а fratres arvales[52] возблагодарили богов. Но произнесённые императором слова разошлись среди оптиматов и вскоре вызвали воспоминания о скандальных брачных традициях древних египетских монархов.

— Он мнит себя фараоном. Как Клеопатра, помните? Она была замужем за своим двенадцатилетним сводным братом Птолемеем.

На следующий день, пока народ Рима ликовал по поводу выздоровления императора, а группа заговорщиков замкнулась в горьком разочарова-

---

[51] Примечания: 51

Золотая диадема фараонов в виде поднявшейся кобры.

[52] Примечания: 52

«Арвальские братья» *(лат.)* — коллегия из двенадцати жрецов, ежегодно совершавших обход Рима, вознося молитвы об урожае.

нии, Каллист подошёл к ложу Гая и вполголоса спросил, хватит ли у него сил выслушать.

Тот удивился, но сказал, что хватит. И Каллист с безжалостной быстротой сообщил, что Юний Силан, «твой безутешный бывший тесть», вместе с внуком и наследником Кальпурния Пизона, «носящим то же мерзкое имя убийцы твоего отца и унаследовавшим его сенаторское кресло и богатства», узнавали каждый день о течении лихорадки, «но не радуются твоему выздоровлению». Император промолчал; его ясные глаза расширились на исхудавшем лице. Каллист прошептал, пока обеспокоенные врачи жались за дверью:

— Извини, что я так говорю с тобой. Но необходимо, чтобы ты знал. В эти дни...

Император задумался, сколько же дней прошло, потому что ничего не помнил, а ему ещё никто ничего не объяснил. А Каллист заявил:

— Пизон и Силан тайно встречались с Сертори-ем Макроном.

Он помолчал, желая убедиться, что его слова хорошо поняты.

Утопив голову в подушках, император молча выслушал его. Это казалось сплетней, но произнесённые вместе эти три имени поразили его,

как удар ножом, и он подумал: «Никогда Каллист не приносил мне счастливого известия». Тревога разрасталась в нём, в ушах всё громче раздавался шум. «И тем не менее он прав. Серторий Макрон — мастер интриг».

Но император сказал себе, что это абсурдные подозрения. Шум в ушах стих, но не совсем. Держа свои мысли при себе, император пробормотал, что хочет отдохнуть, и придворный врач демонстративно распахнул дверь, предлагая Каллисту удалиться.

Из-под прикрытых век, всё ещё очень слабый, император смотрел на уходящего Каллиста. Этот получивший свободу раб именно Серторию Макрону был обязан тем, что теперь бегал по палатам Августа и входил в комнату императора.

«Почему же он его обвиняет?»

Что произошло за чёрные дни его лихорадки? Чтобы успокоиться, Гай сказал себе, что непомерные притязания Каллиста не выносят соперников. Тем не менее тревога возрастала: Макрону он в буквальном смысле доверил свою жизнь. Эти мысли были невыносимы, и император отринул их. Соскальзывая в дремоту, он успел сказать себе, что для того, чтобы узнать правду, есть шпионы и осведомители. И он примет меры.

Короткие фразы Каллиста запали в уголок его сознания. Каллист больше не станет их повторять.

Император поправлялся с быстротой молодости. Несколько дней спустя, проверяя донесения из Александрии, Каллист подсунул ему свиток:

— Смотри, Август.

Это было тяжёлое обвинение против Арвилия Флакка, которому Тиберий пожаловал доходнейшую должность префекта Египта. Император не сместил его, потому что Юний Силан посоветовал не выгонять с излишней торопливостью людей Тиберия, оставить им двусмысленную надежду, чтобы они держались тихо.

— Всякий, кого ты удалишь, — сказал он, — станет тебе новым врагом и будет день и ночь думать, как бы нанести нам удар.

Арвилий вёл роскошную жизнь в городе, где раньше жила Клеопатра; январские восходы и закаты были ясными и тёплыми, как бывает только в Египте, но уже несколько месяцев он знал, что вот-вот в Риме кто-то попросит аудиенции у молодого императора. И в самом деле, Каллист быстро проговорил:

— Арвилий совершил бесстыдные растраты, спровоцировал беспорядки и сам же стал их подавлять с такой глупой жестокостью, что вызвал

настоящее восстание.

Он взял другой свиток и заметил:

— И твой преданный Ирод из Иудеи, смотри, всё подтверждает.

Со жгучей тревогой грек подождал ответа императора, его обычная бледность перешла в синеву.

Император спросил себя, что Каллист таит внутри себя, подумал о его неизвестном прошлом: какая злоба и какие обиды кроются в его душе, какие мести он втайне поклялся свершить? Потом вспомнились опустошения в Саисе, безработные крестьяне, бредущие по дорогам Александрии.

Каллист произнёс одну из своих коротких, но хорошо обдуманных фраз:

— На Капри я слышал, что правление Египтом было пожаловано Арвилию после приговора твоей матери.

Император никак не отреагировал. Он научился держать мысли в себе; удержал и эту — на весь день. А вечером сказал:

— Я ещё не использовал всех полномочий, данных мне сенатом.

Август сформулировал для себя — и пользовался с крайней осмотрительностью, но почти всегда втайне — тот крайне суровый закон, что

«ради безопасности империи» ему позволено арестовывать, судить, изменять уже вынесенные приговоры, предавать смерти. Тиберий использовал свои полномочия со всё возрастающей жестокостью, и Рим ненавидел его за это. С некоторой растерянностью молодой император сказал себе: «Взять на вооружение этот закон — шаг необратимый». Но в конце концов решил, что это необходимо, и приказал тайно доставить Арвилия Флакка в Рим. И стал ждать.

Арвилий Флакк прибыл, разбитый долгим путешествием по морю и по суше в качестве пленника, — так Агриппина и Нерон совершали свой путь на острова ссылки. Подобно землетрясению, в сенаторах пробудились старые воспоминания. Как в дни Тиберия, им показалось, что с часу на час их вызовут в верховный суд, и пока популяры злобно восклицали: «Наконец-то!» — оптиматы застыли в тревоге: в этом молодом императоре с зелёными глазами, ухоженными волосами и красивым голосом за безобидным обаянием юности зашевелилось нечто иное.

Императора в ночь перед процессом мучила бессонница. Он впадал в тяжёлую дремоту, вскоре просыпался в надежде, что уже день, и безрадостно видел всё ещё глубокую ночь. Гай

понимал, что хочет лишь увидеть лицо человека, виновного в смерти его матери.

Арвилий вошёл в торжественную, блещущую мрамором курию, полную замерших в ожидании сенаторов, и его появление приглушило даже шёпот дружественных послов и всерьёз напугало прочих. Но, увидев императора, он заколебался. А император после бессонной ночи увидел шестидесятилетнего лысеющего человека с нездоровой кожей, морщинами и бегающими глазами. «Берегись тех, кто при разговоре смотрит в сторону», — говорил отец. Сенаторы сидели в напряжённом молчании; это был первый процесс после смерти Тиберия. Пусть речь шла не о зловещем политическом преследовании, а подсудимый обвинялся в плохом управлении, приведшем к восстанию, тем не менее зал наполнили страшные воспоминания.

При первых же вопросах к обвиняемому император увидел, что этот безжалостный Арвилий подл, труслив и лжив. «И этот человек, — подумал он с бешенством, — держал в руках жизнь такой женщины!» Конечно, о том процессе Арвилий знал уж побольше, чем он.

Среди популяров разгорались мысли о реванше, в то время как среди оптиматов возрастал

страх, что Арвилий начнёт говорить о прошлом. И потому все единогласно как можно скорее завершили процедуры и признали его виновным. Некоторые хотели посоветоваться с императором о тяжести наказания, и он под влиянием какого-то импульса объявил:

— Я не хочу смертей.

Удивлённые сенаторы снова вспомнили о нечеловеческом равнодушии Тиберия к жизням других, но из жалости к осуждённому или из-за своего скрытого пособничества повиновались и приговорили Арвилия к конфискации имущества и ссылке на один из скалистых островов Киклад в Эгейском море, на печально известный Гиарос.

— О! — воскликнул Каллист. — Нам посчастливилось поймать змею, а вместо того, чтобы раздавить ей голову, мы отпускаем её в глубину сада.

Но Арвилий, услышав приговор, пришёл в отчаяние и неприлично расплакался на глазах у всех. Тогда Марк Эмилий Лепид — человек, за которого влюблённая Друзилла изъявила желание выйти замуж, внук того Марка Лепида, в чьём доме ужинал Юлий Цезарь накануне своего убийства, — помня суровость ссылок, неожиданно попросил императора отправить осуждённого

в какое-нибудь менее отдалённое и глухое место.

«Почему Лепид защищает его?» — подумал император, и на мгновение в нём вспыхнула подозрительность. Но потом он вспомнил, как трибун Кретик, верный товарищ отца в Сирии, отправлялся на Гиарос, чтобы там умереть, и приказал заменить отдалённый Гиарос на гораздо менее суровый Андрос. Сенаторы, восхитившись его милосердием, повиновались.

«Он легко поддаётся жалости», — подумали некоторые. А для сенатора Юния Силана, Пизонов и Сертория Макрона, напуганных раскрытием их едва зародившегося заговора и следивших за процессом, как за разливом реки в половодье, в страхе, что прорвёт дамбу, этот сентиментальный возврат к разумному решению, столь отличный от мрачной неумолимости Тиберия, показались щелью в глухой каменной стене.

Император же держал свои мысли в себе и сказал Каллисту лишь одно:

— Следи за ними, — прекрасно зная, какие тайные силы выпускает на волю в этом бледном греке.

Он как будто обо всём забыл, когда кораблестроитель Евфимий и египетский архитектор Имхотеп сообщили ему, что в бассейне импера-

торских садов плавают уменьшенные модели Ма-не-джета и Ма-се-кета, таинственных египетских кораблей, и, если он одобрит, на следующий день на берегу озера Неморенсис развернётся строительство.

— Хочу видеть их сейчас же, — ответил император и своей быстрой юношеской походкой отправился в сад.

Пожилой Имхотеп с тревожным волнением, а покрытый мизенским морским загаром Евфимий с лукавой улыбкой, словно приготовил шутку, поспешили за ним. В глубине аллеи, среди зелени, солнечные лучи касались чего-то, блестевшего золотом. По мере приближения императора сияние усиливалось: Евфимий хорошо выбрал время и место.

И вот, стоя перед бассейном с водяными цветами, привезёнными из Египта Августом, Евфимий проговорил с триумфальным жестом, словно указывая на завоёванный город:

— Август, смотри: два корабля с деревянным корпусом, неся на палубе мраморные здания, легко плывут по воде. Смотри.

Он двинул пальцем большое кормило на корме корабля без вёсел и паруса, и нос плавно повернулся к императору.

— Не хватает гребцов, приходится работать самому, — засмеялся Евфимий и ладонью толкнул второй корабль так, что носом тот упёрся в корму первого.

Одним движением два корабля превратились в единое здание, плывущее по воде, сверкая золотом.

— Никогда не представлял ничего подобного, — сказал император, и сердце подсказало ему, что вместо власти и славы человеку хватило бы одного такого творения, чтобы его запомнили в будущем.

— Благодарю вас, — проговорил он.

Ещё до наступления ночи весь Рим уже говорил о золотых кораблях в императорских садах. Но влиятельнейшая каста народных жрецов, высшая коллегия четырёх, авгуры, предсказывавшие будущее по полёту и пению птиц, священная коллегия квиндецемвиров[53], в критические моменты советовавшаяся с древнейшими Сивиллиными книгами, — все те, кто уже видел загадочный и представляющий серьёзную конкуренцию храм Исиды на Марсовом поле и не

[53] Примечания: 53

Священная коллегия квиндецемвиров, или комиссия пятнадцати, — одна из больших жреческих коллегий, ведавшая Сивиллиными книгами.

собирался терпеть подобного, сказали, что в Риме происходят странные вещи:

— Эти мраморные корабли держит на поверхности какая-то египетская магия.

Их тревога усиливалась, потому что молодой император не особенно интересовался римскими религиозными обрядами, в то время как Август в своё время, в отличие от него, устраивал грандиозные религиозные церемонии и богато одаривал римские традиционные храмы.

— Император подражает Юлию Цезарю, который сам не приносил жертв богам и другим не велел, — с упрёком проговорил один старый жрец. — Когда он вернулся из Египта после той истории с Клеопатрой, его ум опаснейшим образом переменился...

Вскоре всем стало известно, что на холмах за Арицией, на берегу озера, покоящегося на опасном заснувшем вулкане, развернулось таинственное масштабное строительство. Туда сходились плотники с окрестных гор, приезжали корабельные мастера из Мизен, из Тарента, даже из Александрии, там выгружали столетние стволы деревьев, огромные колонны, горы черепицы. К озеру никого не пускали, но, поднявшись на склон горы и прячась от часовых за деревьями,

можно было увидеть густо населённый лагерь этих странных людей. Они усердно работали с утра до ночи и разводили большие костры. Они уже возвели на берегу какое-то гигантское деревянное строение и продолжали работать.

Наконец как-то утром пастухи из Арициии и Ланувия прибежали с криками, что гигантское строение соскользнуло в воду и поплыло — это оказались два корабля. А этого партенопейца Евфимия, что приставал ко всем девушкам, видели в винных погребах, где он покупал вино для своих людей.

ПРИГЛАШЕНИЕ В ПАЛАТИНСКИЙ ДВОРЕЦ

Вскоре пятидесятилетний сенатор Кальпурний Пизон, «племянник отравителя», решил снова жениться — на молодой женщине, известной своими чудесными формами («её тело для многих не таит секретов», — похотливо шепнул Каллист), которая, со своей стороны, заканчивала поспешный развод.

Грандиозное состояние Пизонов, как повторял весь Рим, во времена старых процессов спасла Новерка. Поэтому свадьба прошла пышно, собрались все оптиматы, а популярам она показалась наглым политическим вызовом. Один из осведомителей донёс Каллисту, где Кальпурний Пизон встречается — по-прежнему весьма часто — с сенатором Юнием Силаном и рассерженным префектом Серторием Макроном для тайных бесед.

— Это невыносимо, — высокомерно говорил Кальпурний. — Приходится величать Августом двадцатисемилетнего мальчишку.

А другие намекали, что «мальчишка» не слишком осмотрителен:

— Он передвигается с лёгким эскортом, ему нравится скакать по полям...

Императору вспомнился дворец в Антиохии — как из внутренних комнат слышится голос отца и сенатор, большой друг Тиберия, тяжело поднимается по ступеням лестницы. Старая, ужасная история повторялась вновь. Из всего Рима в этой опасной интриге можно было положиться только на единственного человека — престарелую Антонию. Но Антонии не было. Однажды вечером она сказала:

— Судьба была добра ко мне. Предпочитаю, чтобы всё закончилось сейчас. Не хочу продолжать жизнь ценой страданий.

Её нашли утром: она сладко спала на своём аккуратном ложе и улыбалась. Её не решились окликнуть. Потом одна верная рабыня коснулась госпожи рукой и в замешательстве прошептала:

— Она совсем холодная...

Император испытал непомерную тоску, захватывающее дух ощущение одиночества, совершенно неодолимое желание отомстить. Но никак не отреагировал на ядовитый рассказ Каллиста, а подумал и в конце концов, одинаково удивив как популяров, так и оптиматов, пригласи Кальпурния Пизона с супругой в императорский

дворец. Знатность, могущество, опасность этой зловещей фамилии были таковы, что приглашение показалось знамением мира после старой трагедии, а возможно, выдавало тайный страх.

Соблазнительнейшую супругу звали Ливия Орестилла. И как только она ступила на порог императорского триклиния, сверкая драгоценностями на шёлковой коже, глаза всех самых влиятельных в Риме мужчин — с необычайным разнообразием тайных фантазий — обратились к ней. Вошёл император. Он прошёл мимо выстроившихся в два ряда приглашённых, приблизился к красавице и коротко вполголоса поговорил с ней: сказал, что её красота заслуживает государственной власти.

В республике патрициев, какой являлся Рим, эта женщина, вышедшая замуж за потомка Пизонов, в свою очередь была связана с родом Корнелиев — она приходилась внучкой древней, строгого нрава матроне, известной тем, что, когда её попросили показать свои драгоценности, она вывела на показ своё многочисленное потомство. Но, несмотря на суровую атавистическую память, Орестиллу взволновали императорские слова. Он посмотрел на знаменитый вырез её платья и, обыгрывая тот случай с её бабушкой, добавил, что

никакие драгоценности ей не нужны: они только скрывают то, что хочет увидеть каждый мужчина. Она рассмеялась, и её смех громко прозвенел во всём зале. Рассмеялись и стоявшие рядом, а Кальпурний Пизон никак не отреагировал, как будто ничего не видел.

Император пригласил молодую женщину сесть рядом, и гости быстро поняли, что происходит нечто непоправимое.

— Он перепил вина, — шушукались они.

Императора следовало отвлечь. Но император, похоже, и не пил, он всегда пил мало, однако его явно захватила красота женщины. А она на глазах у мужа и гостей не пыталась ничего скрывать.

Кальпурний Пизон, молча удалившись к группе своих друзей, не сводил с обоих бесстрастного взгляда. Каллист («этот слишком бледный грек», как говорили многие с неприязнью), смеясь, подошёл к мужчинам и, предложив выпить, доверительно сообщил, что эта женщина нравится императору.

— Да они все перепились, — шепнул кто-то.

Кальпурний Пизон ничего не ответил и издали посмотрел на императора неуверенным и малодушным взглядом: возможно, какое-то мгновение он оценивал развратника, бесконтрольно

захваченного его соблазнительной женой. Но прочие вспоминали, что в прошлом молодого императора (который тем временем на глазах у всех двумя пальцами медленно проводил по рвущимся наружу достоинствам Орестиллы) удручала страшная череда безжалостно убитых молодых людей. Гости видели, как Каллист — императорский вольноотпущенник и потому обладатель большой власти, и тем не менее человек, бывший раньше рабом, — с наглой шутливостью, хотя и на изысканном греческом, говорит с человеком, чья фамилия числится среди первых в Республике. А тот молча его выслушивает.

— Помнишь, — спрашивал Каллист, — как божественный Август положил глаз на законную и благородную жену сенатора Клавдия, божественную Ливию, и привёл её в дом уже беременную?

Стоящие рядом инстинктивно притворились, что не слышат, потому что много лет до смерти Тиберия произнесение подобных слов означало бы смерть.

— О той поспешной женитьбе Август посоветовался со жрецами. И они не нашли ничего, к чему можно было бы придраться, помнишь?

Каллист поиграл с чашей вина; его смех был пропитан злобой, и, сознавая свою безнаказан-

ность, он источал презрение.

— В конце концов, все трое поладили — Август, Ливия и сенатор Клавдий, которого даже пригласили на новое бракосочетание...

Кто-то, в истерике или просто от глупости, расхохотался.

Однако вскоре эти имена, названные вот так, в вульгарном разговоре, усилили тревогу, что это не вино заставляет Каллиста так говорить. В глубине зала у робкого Геликона перехватило дыхание от страха. Тем временем император при подобострастном невнимании придворных начал дозволенный женщиной обольстительный разговор близ самого её бюста, касаясь его дыханием, отчего она, не сдерживаясь, хохотала. Но за её ухоженными и надушенными волосами император видел Кальпурния Пизона, потомка рода, мечтавшего заполучить власть. Кальпурний совершенно неподвижно замер при оскорбительных словах бывшего раба: с расстояния двадцати лет в его голову тоже вернулось воспоминание о том отравлении в Сирии.

Эта мысль распространялась по залу, передаваясь из головы в голову, прерывая разговоры, заставляя отставить чаши с вином. И что самое тревожное, она вынудила напрячься августиан-

цев почётного караула, которые в своих лёгких парадных доспехах находились в глубине помещения. Начиналась смертельная игра, и всё это понимали.

Родственники мужа, группа сенаторов, осмотрительно промолчали, сомневаясь, реагировать ли, и если да, то как. Но выражение их лиц говорило, что катастрофой было доверить управление империей сыну убитого Германика. Как они могли поверить, что этот молодой человек станет податливым, неопытным проводником политики сенаторов? Поверить, в сущности, только потому, что кто-то, не подумавши, бросил: «Когда убили его отца, он был совсем маленьким»?

Праздник застыл; инструменты постепенно смолкли, танцоры бесшумно удалились. Серторий Макрон тяжело поднялся и, проскользнув вдоль стены, поговорил с несколькими своими офицерами.

Только глупая и бесстыдная прекрасная супруга сенатора смотрела на императора и, обезумев от счастья, завлекала его. Шёпотом, который был слышен всем, он расспрашивал у неё о том, чего она не может дождаться в постели от такого старика, как Кальпурний Пизон. Нет, ей нужен прекрасный юноша, смеялся Гай Цезарь.

— Казарменные шуточки, — пробормотал один сенатор из древней фамилии. — Видно, что воспитывался среди легионеров.

Но он быстро замолк, вспомнив, как Кальпурний Пизон иронично назвал императора «мальчишкой» и что из этого вышло.

Тем временем император обострил свою игру до предела, сказав Орестилле, что жаждет её немедленно, что без неё не сможет заснуть этой ночью. И хочет жениться на ней. Кальпурний Пизон инстинктивно поднялся и, медленно оправив одежду, снова опустился. Он ни на кого не смотрел. Сенатор Юний Силан, бывший тесть, ныне утративший власть, встал рядом и, не поворачивая головы, взял его за локоть.

Вошла процессия слуг, неся подносы с редкой дичью, разукрашенной перьями, словно живая. Каллист пошёл навстречу, вытащил из фазана длинное перо, сделал вид, что нюхает его, и со словами «яда нет» велел поднести это блюдо Кальпурнию Пизону.

Кальпурний смотрел на Каллиста, не обращая внимания на поставленное перед ним блюдо. Император с улыбкой встал и жестом предложил гостям оставаться на местах. Потом всё с той же улыбкой взял Ливию Орестиллу за пояс и увлёк

за собой. Она послушно пошла, не оглядываясь, и они вместе покинули зал.

На следующий день Каллист позаботился о том, чтобы весь Рим узнал, что «император увёл с собой женщину, принятую в знатное семейство Пизонов в качестве супруги, как какой-нибудь легионер выбирает шлюху из борделя в каструме, а она, — это особо подчёркивалось, — как истинная опытная проститутка, пошла за ним. И, ещё проходя через приёмный зал, начала с победоносным видом скидывать с плеч одежду, чтобы все увидели её великолепную грудь. Полуголую, император завёл её в одну из комнат и захлопнул дверь, уединившись от всех».

А некоторые историки добавили к этому рассказу ядовитое заключение: якобы через неделю император приказал женщине покинуть дворец и велел ей быть довольной тем, что она войдёт в историю не как вдова последнего из Пизонов, а как вторая жена императора, хотя и не удовлетворившая его, но со всеми вытекающими из этого положения выгодами.

Прекрасная Орестилла в слезах вернулась домой и поведала всем, что принесла себя в жертву скотской грубости императора ради спасения жизни Кальпурния Пизона. Муж ей поверил или,

как это ни постыдно, нашёл выгодным притвориться, что поверил, поскольку таким образом оба становились страдальцами.

Но другие историки отметили, что никто в Риме не возмутился этой насмешкой.

— Люди смеются, — серьёзно сообщил холодный Каллист. — Мои слуги собрали разговоры на площади. Смеются гладиаторы и солдаты, и ты можешь представить себе, Август, их шуточки. Мужчины тебе завидуют. А женщины на рынках говорят, что с такими, как она, иначе и нельзя.

На самом деле в памяти всех всплыла смерть Германика, и в связи с нелюбовью к Пизонам люди безжалостно смаковали эту вульгарную бескровную месть.

— Говорят, что интересно посмотреть, посмеют ли теперь Пизоны показаться на Форуме, — сообщил Каллист, но тут же, не меняя тона, заключил: — А кое-кто говорит, что теперь ты не сможешь оставить Кальпурния Пизона в живых.

На самом деле Кальпурний Пизон и его приспешники в эти семь дней — после унизительного ухода из императорского триклиния — не проявляли на людях своего гнева. Император грубо продемонстрировал, что ничего не забыто и что за его милой юношеской улыбкой скрывается

опаснейшая способность притворяться и строить долгосрочные планы. Они увидели, что на кону стоит их жизнь.

Вскоре Каллист смог доложить императору:

— Вот самое потрясающее известие, Август: Кальпурний Пизон и Юний Силан, твой безутешный бывший тесть, вместе с Серторием Макроном снова выудили этого дурачка Гемина, которого выживший из ума Тиберий упомянул в своём завещании.

— Этот паренёк глуп — о чём ему говорить с теми двумя? — вдруг возразил император, но сам же при этих своих словах подумал, что молоденький дурачок, однако же, приходится родным внуком Тиберию.

Мысль быстро расширилась и перешла в ощущение страшной тревоги. Сенаторское голосование, отменившее завещание Тиберия, было напрямую организовано Серторием Макроном, а теперь тот же Макрон разговаривал с Гемином, отвергнутым наследником.

— Юний Силан, — шептал Каллист, и его голос звучал точно так же, как в первый раз в портике на Капри, — старик Силан хочет использовать Гемина в качестве наживки, чтобы увлечь за ним оптиматов, как он устроил это для тебя по

соглашению с Макроном, когда ты женился на его дочери.

Император видел, что Каллист говорит с совершенной холодностью, как будто рассказывает отвлечённую историю. Но этим тоном грек обсуждал его жизнь.

«Макрон никому не может быть верным», — подумал Гай Цезарь.

Тревога возросла и перешла в предчувствие смерти.

В эти несколько секунд всё в его душе изменилось, словно какая-то лавина сошла с вершины горы. Неправда, что время страхов миновало: да, он может передвигаться, ходить, отдыхать, как любой другой свободный человек. Но его жизнь стала мишенью. Он ощутил прилив гнева, однако его заботила не своя физическая жизнь.

«Я собираюсь преобразить всю империю, а Макрон покупает женщин, пьянствует с офицерами и разъезжает верхом по Риму, зная, что все дрожат при виде его тени».

— Макрон тут, за дверью, — шепнул Каллист. — Просит принять его. Он заподозрил, о чём я тут говорю.

— Пусть войдёт, — велел император.

Уловив твёрдость в этой короткой фразе, Кал-

лист скользнул к двери.

Серторий Макрон вошёл и без вступления сердито заявил:

— Я же говорил, мы слишком затронули интересы сенаторов. Кальпурний Пизон, Силан и Гемин строят заговор...

Каллист побледнел от удивления, а император спросил себя, кто же сообщил Серторию Макрону о его тайных расследованиях. Но потом подумал, что ещё есть время узнать это. Сейчас было важно, что Макрон своим криком обвиняет других, демонстрируя свою непричастность к заговору. И потому император не обратил внимания на притворный гнев префекта, и ощущение предательства сменилось буйной радостью оттого, что заговор раскрыт. Он ответил:

— Возможно, ты прав. Постараемся успокоить сенаторов. А в отношении тех троих представь мне доказательства.

Доказательства нашлись быстро от осведомителей Каллиста. И немедленно последовал приказ об аресте заговорщиков.

— Но Силану, который уже стар, обеспечьте домашний арест.

Сенаторы послушно начали судебное разбирательство, а изумлённый Рим разделился,

обуреваемый противоречивыми чувствами. Но все (через несколько веков будут говорить: правые и левые) предсказывали, что заговорщикам надеяться не на что: с точки зрения римских законов их преступление слишком серьёзно.

Император, как сообщают историки, не пришёл в курию на суд. Фракция популяров воспользовалась случаем и не проявила жалости, а оптиматы в общей растерянности присоединились к обвинению с той же строгостью.

Гордый Юний Силан, как только понял, что партия проиграна и его власть кончена, не стал дожидаться вердикта и закрылся у себя в комнате. Его нашли через несколько часов после самоубийства; он действительно покончил с собой в полном молчании.

— Говорят, что, несмотря на возраст, он сумел сделать это одним движением... — доложил Каллист.

Императору вспомнилось, как Силан хвалил его за чистое греческое произношение, и это было тяжёлое воспоминание. Невозможно, старый сенатор слишком поспешил умереть, так как от мысли, что впервые придётся утвердить смертный приговор, император ощутил глубокую, неожиданную тоску и заявил:

— Сын Германика не платит смертью потомкам убийц своего отца...

И умилённые сенаторы приговорили Кальпурния Пизона к ссылке. Только молодой Гемин не вызвал снисхождения: в его жилах текла кровь Тиберия, эта наследственность, несомненно, сулила участие в последующих заговорах, и смертный приговор был вынесен единодушно.

— Его нельзя помиловать, он не может оставаться в живых, — пуще всех настаивал Серторий Макрон.

Но многие спрашивали себя, почему юноша так неуклюже защищался. Они не знали, что кое-кто приходил во мрак темницы к отчаявшемуся, перепуганному пленнику, замерзающему в этом подземелье, и принёс ему лучших фруктов и тёплое одеяло. А также шепнул, что постарается спасти его. И юноша упрямо молчал, пока клинок палача не опустился на его шею.

На следующий день Каллист закрыл за собой дверь и по секрету сообщил императору:

— Посмотри, Август.

С первого взгляда император узнал угловатый, тяжёлый почерк Сертория Макрона. Этот еле грамотный, но хитрый человек зачем-то отправил одному из своих офицеров письменный приказ:

«Посоветуй мальчишке молчать для его же блага». Офицер повиновался Макрону, но потом без лишних слов отнёс записку Каллисту.

— Видишь? — сказал грек, нагнувшись к императору так, что тот ощутил его дыхание. — Макрон послал молодого Гемина на смерть, чтобы этот дурачок не смог разгласить, что его поддержали бы преторианцы.

Как всегда, Каллист был прав. Но с его стороны это была виртуозная операция: молодой внук Тиберия был выведен из игры, опасный Макрон оставил против себя неопровержимые улики, а неизвестный офицер в будущем упрочит своё положение, но будет всю жизнь связан с Каллистом. Звали его Кассий Херея.

Император посмотрел на лист и поднял глаза. Грек, пользуясь произведённым эффектом, скромно отступил и заявил:

— Кто предал один раз, не удержится от случая предать снова...

Он неподвижно стоял перед императором с подобающим иерархическим почтением, но с торжеством думал, что император остался один и рядом с ним только он, Каллист. Грек оставил записку на столе.

Несколько дней император не возвращался

к этой теме. Записка лежала в шкафчике. Но к концу безмятежного месяца мая он велел позвать префекта Макрона и спросил его, любит ли тот Египет. Пока Макрон, которого и так уже не покидало беспокойство, колебался, император ласково объяснил, что собирается пожаловать ему богатую, завидную, но вполне заслуженную им должность префекта этой императорской провинции со столицей в великолепной Александрии.

— Хочу передать её в твои руки, — признался он. — Ты должен навести там порядок после погромов и воровства Арвилия.

И улыбнулся своей милой улыбкой без морщин. Крайне встревоженному Макрону показалось, что он чуть ли не тяготится этим; император как будто просил: «Сними с меня эту обузу».

В голове префекта мелькнуло воспоминание о Тиберии, который, чтобы сокрушить Сеяна, поручил ему сообщить об иллюзорном назначении того трибуном консуляром. По спине пробежали мурашки, но молодой император улыбался.

«Он всего лишь мальчишка», — рассудил Макрон, ослеплённый жаждой безграничной власти.

Император признался, что хочет разделить ко-

мандование когортами между двумя трибунами.

— Без тебя, — озабоченно сказал он, — было бы слишком рискованно доверить такую ответственность одному человеку. Я подумал о двух верных центурионах: Сабине и Кассии Херее. Оба прошли твою школу. И потом, — он улыбнулся, — Херея с его физической силой усмирит любого. Это правда, что однажды он голыми руками сломал шею быку?

— Правда, — рассмеялся Макрон. — Это было перед жертвенным алтарём. Бык взбунтовался и забодал жреца. У Хереи было одно мгновение. Я сам видел, как он схватил быка за рога и свернул ему голову, и тот, высунув язык, упал на камни.

Император тоже рассмеялся.

Макрон считал Сабина и Херею своими людьми, и сомнения покинули его. Он тут же сложил с себя полномочия и передал командование. Идущие в руки богатство и власть — эта должность, говорили в Риме, уподобляла человека древним египетским фараонам — заслонили от него взгляд геркулеса Кассия Хереи.

Император на несколько часов оставил бывшего префекта с его триумфальными иллюзиями, а потом, когда к Макрону ввалились друзья с поздравлениями, его дом, где он уже не держал

охраны, окружили вооружённые солдаты.

— Ты сохранишь ему жизнь? — спросил внимательный Каллист.

— Он солдат, — безжалостно объяснил император, и его голос звучал совсем не так, каким его слышали в другие времена. — Это не патриций, проводящий вечера в кутежах. Он нарушил присягу. Все легионы в империи знают: солдат-предатель не может остаться живым. Но мы ему позволим самому покончить с собой, если захочет.

Тем временем в доме Сертория Макрона его друзья и родственники пребывали в растерянности: ответственный за исполнение офицер вручил Макрону его измятую записку с каракулями и смертный приговор.

Макрон с первого взгляда узнал роковую записку, медленно — так же медленно, как писал, — прочёл приговор и сказал офицеру:

— Передай пославшему тебя, что своим худшим врагам он сохранил жизнь.

Офицер ничего не ответил. Он, несомненно, ненавидел Макрона, потому что холодно спросил, следует ли подождать и убедиться, что он покончил с собой, или позвать солдат, которые закуют его в цепи.

Макрон сел, расставив ноги, взял со всё ещё накрытого стола чашу вина и, держа её своей твёрдой мощной рукой, с иронией проговорил:

— Дай мне время осушить её.

Много лет назад, в Альбе Фуценции, боги пошутили с ним, когда, увидев мощную и грубую статую сидящего с чашей в руке Геракла, он велел перенести её в храм. Серторий Макрон сказал себе, что уже никогда не вернётся в неприступную крепость в Апеннинских горах, в свою любимую Альбу Фуценцию, в крепость, где когда-то мечтал построить самый чудесный амфитеатр и внёс необходимое золото на грандиозное строительство. Он подумал, что это величественное здание останется вечной памятью о нём, и у него не возникло ни малейшей мысли, что кто-то придёт и разрушит его. Залпом выпив вино, Серторий Макрон встал и сказал офицеру, что тому не придётся ждать долго.

ZOTHECULA[54]

Император закрылся в маленьком кабинете, принадлежавшем раньше Августу. Он облюбовал себе эту зотекулу с её мягким спокойным светом, со входом из большого колонного зала, куда можно было входить и выходить незаметно для чужих глаз. Стенные панели здесь были украшены изящной лепниной и спокойными фресками с лебедями, грифонами, цветами лотоса. Маленький вычурный столик, кресло, два-три табурета, сиденье вроде дивана, чтобы отдыхать и читать (такую моду ввёл Марк Туллий Цицерон).

Но все четыре стены, ниши и полочки были заставлены маленькими ценными безделушками. Побеждённые монархи, добивающиеся мира послы, местная знать, правители ненадёжных провинций завели обычай присылать дары: из золота и драгоценных камней, с эмалями или деревянные, из слоновой кости или мрамора, мозаики, стекло, камеи, картины — всё, что отвечало его уже ставшей знаменитой страсти к коллекционированию.

---

[54] Примечания: 54
Кабинетик *(лат.).*

Явился верный приказам офицер, которому поручили разобраться с Макроном, и, стоя среди этих драгоценностей, доложил: Макрон, как солдат, избрал самоубийство и совершил его быстро и без шума. После чего с циничной краткостью прочёл его предсмертное послание: «Другие враги остались живы». А под конец сообщил, что Энния, жена Макрона, тоже решила умереть вместе с мужем.

Император отпустил его без комментариев.

Но едва закрылась дверь, в голове закружились мысли. На столе лежала изящная камея в виде пряжки — крупная, оправленная золотом яшма, дар Подемона, царя-поэта. Император повертел её в руках. На камее были изображены семь телок, а на золотой оправе Полемон велел выгравировать свои стихи: «Тёлки, что смотрят на тебя, как живые. Возможно, они бы убежали. Но заключены в золотую ограду».

Что Полемон хотел этим сказать? Что заключение должно быть сладким, чтобы ты не замечал его? Или что золото и вправду лишает свободы всех и вся?

Да, солдатам Макрона, преторианцам, платили щедро, и они соблюдали дисциплину и почти совершенно безразличное молчание, как и в дни

Сеяна. Предусмотрительная жадность Августа и ненасытная, явная скупость Тиберия, возможно, родились из схожего опыта.

«Сенаторы разделены, и им не удаётся направлять власть, — с улыбкой сказал Тиберий (редкий случай, когда на его лице видели улыбку) и заключил: — Настоящий хозяин — деньги».

Император встал и начал шагать по комнате; через пять-шесть шагов он поворачивал обратно, подходил к какому-нибудь предмету, брал его в руки и ставил в ряд с другими.

Вот маленькая мемфисская ваза из стекла и рубиновой крошки, она в целости и сохранности перенесла тысячу триста лет; говорили, что она времён восемнадцатой династии фараонов. Вот огромный индийский изумруд, подарок Котиса. Вот лик бога Амона, сверкающий, как солнце, поскольку отлит из чистого золота, без примесей.

Император сказал себе, что продажное безразличие преторианцев к смерти Макрона весьма ему на руку, но само по себе страшно. «Тиберий окружил себя морем. А я здесь, и нужно создать неподкупную стражу».

Он продолжал шагать. Вот маленькие изящные керамические горшочки для мазей и бальзамов, золотые и стеклянные сосуды, в которые макали

костяные палочки, чтобы нанести благовония на кожу. Ирод говорил, что его бабка посылала их Клеопатре. Вот маленькая хризоэлефантина — статуэтка из золота и слоновой кости: орёл Зевса, похитивший Ганимеда. Когти втянуты, чтобы не поранить тело юноши, мощные лапы отрывают его от земли, а огромные крылья расправлены для полёта. Юноша, зная, что его похищает бог, не сопротивляется и даже рукой обхватил шею орла. Говорили, что это работа Леокара.

Маленькая бронзовая фигурка — голова сатира с заострёнными ушами. Сатир хохочет. Говорили, что этот пьяный смех на толстых губах собственноручно изваял скупой Лисипп, который за каждую проданную статуэтку бросал в амфору золотую монету, и когда умер, их там насчитали полторы тысячи.

Миниатюрная мраморная богиня, изящная Венера Вифинская, присевшая на корточки на берегу реки, нагая, оглядывающаяся назад. Говорили, что это была первая идея, над которой работал знаменитый Дойсал. «Красота не предаёт, не стремится захватить тебя. Она не думает, глядя на тебя, что в двадцать семь лет ты должен умереть».

Император взял в руки синий стеклянный

кубок из Тира с выгравированными фигурками пляшущих сатиров. Художник искусно вырезал их в стекле обратным рельефом, но они казались выпуклыми.

«Мой отец тоже собирался организовать особую личную охрану, но у него не хватило времени претворить в жизнь эту идею...»

Он понял, что хочет пить. В самой богатой, исключительной комнате императорских дворцов не было ни одного кувшина воды. Но император сказал себе, что не может открыть дверь. Он поставил кубок на место и вдруг подумал: «Германцы! Германские всадники, набранные во вспомогательные войска, что несли дозорную службу на Рейне. Германцы, вырванные из своей страны и знающие, что больше не смогут туда вернуться. Германцы, не понимающие ни слова по-латыни, ни с кем не знакомые во всём Риме, которому не желают добра. Верные инстинктивно и по необходимости. Germani corporis custodes — германские телохранители».

Потом вспомнился хриплый голос Эннии на Капри, её грубые пальцы с толстыми суставами, как они ерошили ему волосы в те несчастные дни. Под рукой Сертория Макрона Энния боролась по мере своих скудных сил. «Её сильной стороной

был опыт шлюхи и её дядя Фрасилл, что оглашал пророчества. Жалкие псы, рычащие, потому что цепь давит на шею. Однако же Фрасилл спас мне жизнь, предсказав Тиберию, что я никогда не приду к власти». В каких комнатах развернулся тот диалог между хитрым астрологом и раздираемым подозрениями старым императором, пока сам он, ничего не ведая, сидел в библиотеке? А Энния в конце концов проявила достоинство и мужество — большее, чем многие жёны сенаторов.

Это были первые смерти в его правление, первые умершие по его воле. Камни, упавшие на его пути. «Фрасилл больше ничего не может предсказать. Власть пришла, вот она. Это тигр».

ДРУЗИЛЛА

Хватило получаса, чтобы весь Рим узнал о падении Сертория Макрона и подробностях его смерти. Горожане, доносил Каллист, ошеломлённо замирали на улицах. Но поскольку живой Макрон внушал только страх и со времён Тиберия был связан с воспоминаниями о насилии, римляне восприняли его конец с облегчением. Перед Палатинским дворцом стихийно собралась толпа с радостными криками об исчезнувшей опасности и смерти предателя.

Но иные настроения царили среди магистратов, жрецов, оптиматов: они со страхом обнаружили, что молодой император — совсем не тот человек, о котором они рассказывали друг другу до последнего дня. Погруженный в книги юноша, неуверенно бродивший по лестницам виллы Тиберия, оказался скрытным и способным на тайные замыслы, умеющим притворяться и моментально принимать решения.

И пока он переживал эти первые смерти: «Произошло нечто, чего никто и никогда не сможет исправить», — в другом римском дворце Валерий Азиатик бормотал себе под нос:

— Полагая, что выбрали символ, мы наградили себя хозяином.

Он втайне встревожился, даже испугался, так как император самостоятельно раскрыл эти интриги и самостоятельно положил им конец. Решив, что популярность «этого мальчишки» пустила слишком крепкие корни, Валерий сказал себе:

— Если римляне сочтут, что мы действительно хотели его убить, никто из нас не сможет показаться на улице.

А после долгих размышлений пришёл к выводу:

— Нужно сказать римлянам, что ум императора порождает страхи на пустом месте, повсюду видит заговоры и призраки.

Испуганным коллегам он заявил:

— Это лихорадка повредила его ум. Император становится опасен для многих невинных. И завтра же Рим должен узнать об этом.

Но на следующий день император не вышел из императорского кабинета и никому не позволил войти к себе. Шёл десятый день июня во второй год его правления. На вилле в Байе умерла его сестра Друзилла — единственная душа из обескровленной семьи, которую он ещё мог любить.

Она жила на вилле с человеком, за которого вышла замуж по любви, и умерла в двадцатилетием возрасте от очень скоротечной нелепой лихорадки, с которой врачи не смогли справиться, и никто не счёл необходимым известить его об этой болезни. И только после смерти сестры императору, запинаясь, сказали, что эта лихорадка с невыносимыми, до обморока, головными болями напоминала ту, которая поразила и его, но от которой его спасли боги.

Император запер дверь.

«Остаться одному. В этих дворцах это труднее, чем помешать приговорённому покончить с собой».

Но и это было не истинное одиночество. За дверью, в которую они больше не смели стучать, толпа сенаторов, жрецов, магистратов, трибунов дожидалась, чтобы разворошить его неизмеримую боль ритуалами и словами. И они уже начинали побаиваться его отказа.

Его защищала только эта закрытая дверь.

«Когда ты один, тебе не удаётся по-настоящему заплакать. После нескольких всхлипов сразу перестаёшь».

Он обернулся проверить, надёжно ли заперта дверь.

«Выздоравливая, я открыл глаза и увидел её. Теперь такой ясный, нежный июньский день, а она его не видит. Но императору показать свои страдания — это всё равно что открыть ворота в осаждённом городе».

Несколько дней назад в тишине он слышал лёгкие шаги Друзиллы, когда она подбежала к этой двери. Никто так легко не отрывал от земли сандалии из мягкой, обёрнутой шёлком кожи. Запыхавшись, она постучала в дверь. Ни у одной женщины не было таких маленьких улыбчивых губ. Она тихо толкнула дверь. А он притворился спящим.

На последнем сосуде в самом низу стояла загадочная маленькая деревянная фигурка, вырезанная из нетленного ствола сикомора, которую жрец из Юнит-Тентора подарил Германику.

«Она представляет собой, дух, который никто не может убить».

Это было стилизованное тело птицы с огромными крыльями, покрытыми десятками блестящих кусочков бирюзы. Но из густых перьев прямо перед собой смотрело человеческое лицо со сжатыми губами.

Рядом стояло маленькое изображение молодой женщины с прикреплённой маленькой золотой

короной. И виднелась надпись демотическим письмом[55]: «Да сумеет твоя душа, Эйрена, воскреснуть близ божественной госпожи Аб-ду».

Какую неодолимую боль подавлял раб Геликон, годами тайно нося её в себе, чтобы, как маленький ребёнок, попросить римского императора сохранить фигурку в зотекуле, «надёжном месте»?

Но от Друзиллы не осталось изображений. Лишь одна совсем крохотная мраморная головка. Нужно поскорее сделать с неё копию, прежде чем время сотрёт память о сестре. Император решил, что найдёт для неё место в священном монументе, строящемся на берегу озера Неморенсис. Он представил детскую одухотворённую улыбку Друзиллы. Ту её часть, которая не может умереть.

В это время вошёл единственный человек во всей империи, кто смог открыть эту дверь, — бывший раб Федр, поэт.

— Majestas ducis[56], — проговорил он, чтобы отвлечь императора, пусть даже нарушая его

---

[55] Примечания: 55

Демотическое письмо — скорописная форма египетского письма, возникшая в VIII—VII вв. до н. э.

[56] Примечания: 56

Высокочтимый вождь *(лат.)*.

уединение.

Федру в то время было лет пятьдесят. Он родился в Пиерии, близ южной Македонии, и однажды каким-то образом попал в рабство — он не любил говорить об этом, как и бедняга Залевк, который сгинул без вести и никто ничего не знал о его судьбе. Когда Федра привезли в Рим и подарили Августу, тот, поражённый его искусством, даровал ему свободу. Федр научился латыни уже взрослым и, чтобы писать, выработал исключительно простой стиль, красочный, как сказка, и глубокий, как философия.

Но когда за знаменитую басню про волка и ягнёнка Элий Сеян посадил его в темницу и обрушил на него, столь же кроткого, как и его сочинения, суровейший закон о величестве, Федр плохо защищался, говоря, что всего лишь перевёл старую греческую сказку, басню Эзопа. Он остался жив, но больше не был свободен от леденящих воспоминаний о темнице, а его глаза покраснели от долгой темноты.

Император по памяти процитировал первую строку басни и заметил, что после долгих часов мрачного молчания губы Федра шевелятся.

Но он также заметил, что покрасневшие глаза его лихорадочно блестят, и это было опасно, так

как поэту ничего не стоило и упасть. Наконец император проговорил:

— Скажи мне, в конце концов, правду. Ты пишешь слишком хорошо — это был не перевод.

Федр ещё раз продекламировал ему на блестящем греческом таинственный эпизод, где Эзоп рассказывает, как богиня Исида, вновь пробудившая в его душе творческие способности, вернула звуки его устам. И объяснил:

— На самом деле мы, поэты, сами не знаем, как в нас рождается то, что мы говорим и пишем. Знаем только, что нечто нас принуждает.

Император попытался улыбнуться, ответил, что, возможно, в нём нашла убежище душа Эзопа, и порывисто обнял его. Федр почувствовал на своём тощем плече рыдания, сотрясавшие грудь императора. Однако Гай Цезарь быстро взял себя в руки и сказал, что велит вырезать гемму с двумя лицами, как у Януса, древнейшего италийского бога. Но с одной стороны у него будет варварское лицо фракийца Эзопа, жившего в суровом одиночестве, неухоженного, со спутанными волосами — ведь он тоже испытал жизнь раба, — «а с другой — задумчивое, напуганное заточением лицо моего дорогого друга, поэта Федра».

Дверь зотекулы осталась приоткрытой, и

все хлынули туда. Горе вызвало упадок сил, и император принял посетителей, на этот раз немногочисленных — сколько могла вместить комнатушка. Они уселись вокруг него на табуреты и подушки, и виночерпий время от времени усердно подносил на этот медицинский консилиум выдержанное красное вино, которое Манлий нацедил из одного многовекового бочонка в своих погребах, вырытых в склонах вулканической горы Артемизия.

И пока посетители разговаривали, император сказал себе, что поистине в этот благодатный месяц июнь никому нет дела до смерти несравненной Друзиллы. Даже тот, кого она любила, человек из знатной фамилии, Марк Эмилий Лепид — он только что вошёл — уже утешился. И казалось, что смерть жены вызвала в нём больше гнева, чем страдания, как будто он не потерял любимую, а у него что-то украли.

Но потом пришёл философ Луций Анней Сенека и прочёл по лицу императора, что его детские страдания, невосполнимые семейные утраты вдруг с шумом снова прорываются в душу. И как посторонний свидетель, не сопереживая, осудил их со скрытым презрением. По сути дела, его благородная душа была так же суха, ясна и горда,

как и его ум, и он относился к миру с рассудочной снисходительностью. Человеческое состояние, говорил он, посредственно и безнадёжно.

Не ища слов утешения, философ сказал, что именно суровость жизни научила его искусству писания.

— Потому что это и есть цель страданий — выстроить опыт.

Он видел, что император не слушает его, и это раздражало. С высокомерием Сенека проговорил, что, руководствуясь событиями и рассказами других, он берётся за труд, который будет писать медленно и разделит на много частей.

Император встал с чувством, будто задыхается, и сказал, что хочет отдохнуть. Тогда вмешался стоявший на пороге врач, который с тревогой следил за толпой беспокойных посетителей, и попросил всех удалиться. Уходя, Гай сказал себе, что больше никогда не вернётся в эту набитую сокровищами комнату, где все предметы несут на себе горькие воспоминания об утратах. Ему хотелось — так же, как на Капри хотелось Тиберию, — чтобы Манлий как можно скорее завершил строительство чудесных помещений в новом дворце, выходящих на форумы и не отягощённых старыми воспоминаниями.

ИМПЕРАТОРСКОЕ ЛОЖЕ

— Императорское ложе пусто, — объявил этим летом сенатор Валерий Азиатик, выбрав для этой задорной фразы по-отечески озабоченный тон. — Множество сенаторов готовы отдать ему, а некоторые уже отдали своих жён и дочерей, но никто ничего из этого не извлёк.

Он хотел сказать, что настоятельно необходимо посредством женитьбы дать кому-то из своих доступ к тайнам императорских апартаментов.

И вот Каллист, разговаривавший со всеми — а с ним никто не отмалчивался благодаря способности этого грека просочиться куда угодно, слушать, сочувствовать, ничем себя не компрометируя, и вызвать на откровенность, не перебивая, — пересказал императору слова сенатора Азиатика и, улучив момент, когда никого не было рядом, сообщил:

— Самые влиятельные сенаторы умоляют меня, чтобы ты взглянул на их четырнадцатилетних дочерей. Рим требует от тебя наследника.

Император с беспокойством и неприязнью подумал, что этот бывший раб обтяпывает свои дела за его счёт, и, пока Каллист ждал, терзаемый

тревогой и страхом, он в порыве своих молодых лет спросил бездумно:

— И которая из них красивее всех?

Говоря так, он тоже подумал, что его пустое ложе в императорских покоях действительно многим не даёт покоя. А последние годы Тиберия показали, сколь рискованно пробуждать алчность во вдохновлённых преемниках.

Но ответ, который Каллист держал в уме, пришёл не сразу. Император заметил, что близость к власти изменила его лицо. Худое, с лёгкими морщинами под глазами, оно говорило, что грек тоже мало спит, хотя, демонстративно рабски целуя ему край плаща, он повторял, что никогда не мечтал дожить до таких дней и бормотал:

— Это великое чудо.

Его слова всегда звучали умно и кстати, но он тут же притворно возвращался на своё скромное место.

— Я весь к твоим услугам, — с ледяной страстью говорил грек, и это всё, что удавалось от него услышать.

— Прошу выслушать меня, Август, — сладким голосом проговорил он теперь. — Это необходимо империи.

Прекрасно зная, что сенатор Азиатик уже вы-

брал за него, которую из знатных и опасных фамилий впустить во дворец, чтобы разделить с ней власть против всех остальных, Каллист боролся, чтобы не допустить этого.

— Рим просит тебя выбрать из высоких фамилий девушку, на которой женишься...

Гай Цезарь почувствовал приступ тошноты, вспомнив об инфантильной Юлии Клавдии и глупых, эгоистичных забавах с юными рабынями Антонии, и грубо заявил:

— Только не подсовывайте мне ребёнка. Августой будет женщина. И не выбирайте её по имени отца.

Каллист ничего не сказал. Император отошёл на несколько шагов, глядя с террасы своего нового дома на обширные мраморные форумы, на курию, на храмы, на древнюю Священную дорогу, на новый грандиозный подъём к Палатину.

Каллист всё молчал. Император сжал челюсти, словно их свело судорогой. Потом положил руки на парапет, оперся на них, и его лицо расслабилось. Каллист оставался чуть позади. Император обернулся к нему, и Каллист увидел, как блестят его светлые глаза. Это максимум того, что император может себе позволить, понял он, если ему действительно нужно поплакать. И подумал,

что он единственный, кто видит это. Решив, что настал момент разрушить интриги сенатора Азиатика, шепнул словно в шутку, что, по общему мнению, самую красивую девушку в империи зовут Павлина. Ещё её бабушка славилась красотой в годы своей неспокойной жизни.

Император, приняв шутку, спросил, где находится эта красавица и почему он никогда её не видел.

Каллист ответил:

— Ты знаком с её отцом: это Марк Лоллий Павлин, префект Галлии, проведший важную кампанию на Рейне, друг твоего отца.

Имя этого рода несло с собой влияние и союзников среди военных, а также ломало планы сенатора Азиатика. Каллист объявил, что блистательная Павлина возвращается в Рим, но не сказал, что пришлось предпринять для её развода с неким Габинием. Проводивший смотр претенденток на пустующее императорское ложе Азиатик презрительно сказал о ней:

— Неужели император выбрал бы разведённую?

Но впервые за свою карьеру Каллист тонко вынудил его замолкнуть, напомнив пример недоступного для критики Августа и божественной

Ливии.

Император ничего не говорил. После стольких месяцев неограниченной власти, в которой ни мгновения не принадлежало ему одному, в сердце вдруг проявилось желание утешительной близости с душой, связанной с ним без притворства, с которой можно было бы поговорить без гнетущего самоконтроля. В ту осень Лоллия Павлина, великолепная двадцатилетняя женщина из пиценского рода, происходящая из семьи плебейских трибунов, ненавистных оптиматам и крепко укоренившихся в сенате с популярами, дочь префекта, видевшего Гая Цезаря ещё маленьким, благодаря стратегии Каллиста и одиночеству императора неожиданно стала его третьей женой.

В давке пышной свадьбы император увидел трибуна Домиция Корбулона, а рядом с ним — мельком, как в тот раз на трибуне цирка — волну чёрных волос вокруг бледного гладкого лица, больших глаз и тяжёлых золотых серёг с бирюзой. Он тут же узнал эту женщину и на мгновение замер, словно его остановила чья-то рука. Но почти сразу двинулся дальше, забыв о ней.

А за его спиной эта черноволосая женщина с золотыми серьгами с бирюзой, проводив его

взглядом, подумала: «Я бы заключила его в объятия и ласкала всю ночь, чтобы он наконец заснул, прильнув ко мне».

Но боги не прислушались к её мыслям, и они опали, как листва, когда Милония пошла прочь.

ЗАМУРОВАННАЯ КОМНАТА

Однажды в ту зиму судьба дала о себе знать. Случилось так, что, когда выполнялись какие-то работы в покинутом доме Тиберия, в одном кабинете рядом с личной комнатой старого императора обвалилась штукатурка и за ней открылась пустота.

Это был чулан, неизвестно когда бережно скрытый за стеной опытными и преданными рабочими, словно Тиберий со своей невротической подозрительностью хотел там спрятать труп.

Принесли свет и заглянули внутрь. Оказалось, что все стены от пола до потолка были зачем-то покрыты полками, и на них в строгом порядке разложены десятки закрытых кодексов, запечатанных восковыми и свинцовыми печатями. Увидевшие эту массу документов в тайной комнате Тиберия, куда он не возвращался двенадцать лет, сразу поняли, что наткнулись на нечто страшное.

Стояло приятное римское утро, навевавшее мысли о праздности, и тут пришло это известие. Императору инстинктивно захотелось убежать, но он велел до его прихода ничего не трогать. Что-

бы не оставаться одному, он позвал Геликона и, пока юноша спешил по вызову, оделся. Но вдруг, через столько времени, живот свело спазмом.

Император направился в дом Тиберия пешком, неторопливо ступая, — до сих пор он избегал таких прогулок. С трудом поднявшись к никогда не виданной комнате, он вошёл туда, то есть проник в лабиринт ума старого императора. Все смотрели на него, пряча схожие мысли, а он подошёл к комнате бывшего императора, где увидел августианскую стражу, куски штукатурки на полу и едва видный проём. Тут Гай Цезарь остановился и велел расширить проход. Всем он казался очень спокойным.

Но его душа кричала, что лучше ничего не знать. Между тем люди осторожно разбили тонкие, плотно пригнанные кирпичи и подобрали куски штукатурки. Императору подумалось, что Тиберий не возвращался в Рим много лет, а следовательно, это были древние документы, возможно, времён отравления Германика. Он похолодел и ощутил дрожь.

Гай Цезарь принял власть и добивался неискреннего спокойствия, говоря себе и другим, что больше ничего не хочет знать о прошлом, и его слова встречали с энтузиазмом. Но он обманывал

себя и слушавших его. Император приказал принести ещё света, всех отпустил, кивком оставив при себе лишь Геликона, и вошёл в пролом. Он взял в руки первый попавшийся кодекс в тёмном кожаном переплёте, какие всю жизнь любил Тиберий. Посветив, император увидел печать Тиберия, поставленную с обычной маниакальной аккуратностью. Ни к чему не прикасаясь, он подумал: «Неужели Тиберий забыл обо всём этом? Или припрятал подальше, как смертельный яд?»

Гай вышел оттуда с кодексом в руке.

— Подожди, — попросил он Геликона, подойдя к окну.

Он ощущал опасную добычу, как охотничья собака, и дрожал, как дрожат некоторые псы, почуяв кабана в ежевичных кустах. И всё же сломал печать.

Кодекс открылся. Это была масса аккуратно пригнанных листов различной величины, исписанных разным почерком. Император закрыл кодекс и подумал, что созданное им равновесие вот-вот нарушится.

— Не нужно, не смотри, — посоветовал Геликон.

Ничего не ответив, император пошёл туда, где привык сидеть Тиберий. Опустился на сиденье с

кодексом в руке. Через несколько мгновений от ненависти пересохло в горле и запеклись губы. Он попросил Геликона принести воды, велел вытереть от пыли длинный стол. И стал молча ждать.

Молодой император не мог двинуться с места до вечера. Это была история, творимая изнутри: осведомители, анонимные доносы, незарегистрированные свидетельства, тайные голосования, секретные совещания, личные беседы императора, приказы трибунам и префектам — история долгих, продуманных преследований, погубивших его семью и всех преданных ей друзей.

Тиберий с леденящей точностью лично собрал все. Виновные представали десятками со времён мучений Юлии и убийства Гракха до страшных дней в Антиохии; здесь были имена и заявления обвинителей; тексты лжесвидетельств с подписями в низу листа; списки сенаторов, вынесших приговоры. Доклады, писавшиеся день за днём с бесчеловечной доскональностью, о тюремщиках, видевших, как его мать искала смерти из-за садистского обращения на острове Пандатария. Нерон, старший из братьев, страстно любивший жизнь, который поднимал его в воздух и швырял себе на плечи на бегу, был вынужден

покончить с собой, когда увидел инструменты для зверских пыток — клещи, плети, железные пруты для накаливания, — всё это с улыбкой показывал ему посланный Тиберием палач. А Друз, писавший свой дневник, умер от голода в подвале этого самого дворца; одинокий узник, в течение девяти дней он, борясь за жизнь, жевал солому своей подстилки. Девять дней отчаянно звал на помощь, умолял проклятого Тиберия, и охранявший пленника центурион по имени Аттий усмирял его слабеющие протесты ударами хлыста. А шпионы Тиберия отмечали каждое слово, каждый вскрик, каждое бессвязное бормотание в ожидании неизвестно каких секретов. Но Друз никого так и не назвал.

Здесь молодой император подумал, что кто-то, наверное, молча улыбнулся, когда он объявил в своей программной речи: «Все эти бумаги сожжены». Официальные документы были лишь саркофагом, а не действительным ужасом, заключённым внутри.

Тяжело дыша, с Тибра явился Каллист.

— Я узнал... — Он бросил тревожный взгляд на пролом в стене и прошептал: — Кто бы сказал...

Император был измучен; к боли в животе добавилась тошнота. Он встал на ноги и глубоко

вздохнул у открытого окна. И тут увидел, что уже глубокая ночь. Глаза Каллиста тем временем жадно бегали по аккуратно переплетённым кодексам, воскрешающим неумолимые приказы Тиберия и чуть ли не вызывающим к жизни его самого. Но грек не посмел подойти к ним.

Император обернулся, взял открытую рукопись и протянул ему, ничего не объясняя. Это был реестр «добровольных» показаний против Нерона и Агриппины, и на эти показания опиралось предварительное следствие. Здесь были запечатлёны имена магистратов, высоких жрецов, сенаторов, консулов.

— Это всё меняет, — пробормотал Каллист.

Он весь побелел, как мраморные косяки, косяки из безжизненного, чуть желтоватого мрамора, который Тиберий так любил в своих интерьерах.

— И все они ещё живы.

Благодаря этим людям власть сенаторов и власть императора теперь физически столкнулись. Каллист мгновенно оценил в уме, что враги в подавляющем большинстве.

Снаружи, в старом атрии дома Тиберия, беспокойно столпились чиновники и вельможи, так как разнёсся неясный слух о раскрытии каких-то тайн времён Тиберия. Каллист провёл худыми

руками по листам.

Император сказал:

— Это не Тиберий приговорил мою семью. Её приговорили голоса сенаторов, оптиматов, которые, как только он умер, сами же назвали его чудовищем и единодушно избрали меня.

Каллист подошёл посмотреть на пролом в стене, заглянул внутрь и обернулся.

— Тиберия не было здесь, когда умирали твои братья, как и в дни суда над твоей матерью. Он был на Капри и больше не вернулся. Кто же спрятал всё это здесь?

Он был прав. В те дни Тиберия не было в Риме, он уже никогда сюда не возвращался. Каллист задумался.

— Мне помнится, Макрон что-то говорил незадолго до твоего избрания. Он беспокоился и ругался: «Там, внутри, могут натворить что угодно». Они и натворили. И не уничтожили, а спрятали.

Он помолчал, а потом прошептал:

— Но кто же это?.. — чуть ли не восхищаясь тонким умом, выбравшим самое невероятное место — покинутые комнаты старого императора, где наверняка никто не будет спать ещё несколько десятилетий.

Возможно, догадался грек, таков был давний приказ самого Тиберия. Каллист задумался, а потом со вздохом сказал:

— У кого эти документы, тот держит в руках сенаторов...

Его холодные мысли бежали всё дальше, и каменная бледность проходила. Грек взглянул на императора и вдруг выпалил:

— Эти документы — огромная удача, Август. Отныне сенаторы у тебя в руках.

Император ничего не ответил. Он закрыл глаза и хотел обдумать всё сам, принять для себя решения без чужого вмешательства.

— Опубликуй документы, огласи все, — посоветовал Каллист с ледяной жестокостью. — Это змеиное гнездо в твоём доме. Ты не можешь не раздавить их. С тобой преторианцы, легионы, весь народ Рима. Если ты заговоришь, те, кто теперь каждый день придумывают тебе по новой проблеме, — он сжал кодекс с их именами, — завтра не смогут даже выйти на улицу.

Как и в помещениях Пандатарии, императору хотелось закричать. Судил не император, а он, человек, невыносимо страдающий, так как после всех этих лет узнал в мельчайших подробностях, что последние дни его братьев и матери в

действительности были страшнее, чем он мог себе представить. Он пытался вырваться из этого клубка и спрашивал себя, что бы сделали Август или Тиберий в подобной ситуации. Что лучше — объявить виновных или выносить месть, не дав врагам догадаться о ней?

— Быстро объяви об этих документах, — коварно настаивал Каллист, — а потом, когда правда об их подлости разнесётся по всей империи, объяви, что прощаешь их. Мы не можем поразить всех сразу. Но если ты предашь огласке эту историю, если весь Рим узнает о ней, с их публичной жизнью будет покончено.

И император решился. Его непоправимое решение войдёт в исторические книги одной отчаянно наивной фразой: «Oderint dum metuant» — «Пусть ненавидят, лишь бы боялись»[57].

Он собрал сенаторов. Подождал, пока все после его прибытия и ритуального приветствия рассядутся по местам. Все держались тихо-тихо, и было видно, что из уст в уста переходили самые странные слухи. И, наконец в курию вошёл бывший раб по имени Протоген, ныне принятый на службу в императорскую канцелярию.

---

[57] Примечания: 57
Слова из трагедии Акция «Атрей».

— Ещё один из этих греко-египетских выдвиженцев Клеопатры, — шепнул кто-то, припомнив его историю.

Протоген, напрягая силы, принёс на чём-то вроде подноса кучу рукописей, как жертвенные дары. Сенаторы гадали, как держаться; один знатный старик вздрогнул, вроде бы узнав тёмную кожу, в которую Тиберий складывал свои бумаги, и шепнул об этом сидевшим рядом.

Император поднял руку, желая произнести речь, и все взгляды устремились на него. Он начал медленно, ясным голосом:

— Я собрал вас здесь, потому что в комнатах Тиберия были обнаружены документы, о которых невозможно молчать.

Он говорил размеренно, делая промежутки между словами, и голос его казался каким-то чужим. Император остановился, сделав паузу, и весь зал замер в молчании.

— Хорошо бы прочесть их здесь, публично, перед всеми вами... отцы.

Благородное обращение к сенаторам было добавлено после паузы — означало ли оно уважение, иронию или что-то ещё?

Каллист встал, взял первую рукопись, открыл и начал читать сухим и холодным голосом.

Молнией по всему пространству курии вновь материализовались обвинения, доводы защиты, свидетельства, приговоры, которые почти все сенаторы слышали в оригинале. Каллист читал быстро, переходя без промедления от одного документа к следующему, написанному другим почерком, он ни разу не запнулся, не замешкался. Историки напишут, что шестьсот сенаторов за время чтения не вымолвили ни слова.

Замешательство популяров перешло в немой негодующий триумф. Оптиматы же, когда Каллист читал их имена, вставали среди молчащих товарищей по партии, смертельно побледнев, не в силах вздохнуть или вымолвить слово. А потом садились, дрожа, в то время как Каллист откладывал рукопись и с той же торжественностью брал новую, и сидевшие вблизи, знавшие об этих фактах больше, чем говорилось в документах, смотрели, выпучив глаза в ожидании своей очереди. В паузах все смотрели на тонкие папирусные листы, которые Каллист постепенно откладывал, и на множество ещё не прочитанных, которые держал в руках. В тишине раздавалось следующее имя, и очередной сенатор вздрагивал и сжимался в своей тоге, вцепившись в подлокотники кресла. По курии разливалось

озеро ненависти.

Император слушал с пересохшим ртом, не в силах сглотнуть. Его руки похолодели. Но верно говорил древний поэт: «Ни одно удовольствие не сравнится с местью». Каллист ровным голосом дочитал до конца.

После долгого и мучительного чтения популяры посмотрели на императора, ожидая знака, что же он решил: его акция была необратимой и ужасной, она превосходила даже их ненависть. Среди оптиматов никто не посмел подать голос первым. Император дал всем прочувствовать это молчание, потом встал, и многие восприняли это с облегчением. Он сказал, что установил, и не остаётся никаких сомнений, что и среди этого почтенного собрания затаились многие, кто выдвигал заведомо ложные обвинения, и, возможно, Тиберий поверил им; а многие сознательно лжесвидетельствовали и приговаривали невинных. Он говорил медленно, ледяным тоном, сначала с трудом подбирая слова, но постепенно повышая голос, и его речь превращалась в страстное обличение.

— Все, кто почитал Тиберия и служил ему при его жизни, были орудиями, соучастниками и, возможно, вдохновителями его преступлений.

А сегодня все вы здесь согласны, что это были действительно преступления. Когда Тиберий умер, вы радовались, что избавились от тирана, и проклинали память о нём. Неужели один Тиберий был виновен? Но если он был таким чудовищем, почему же вы воздавали ему почести, а не восстали? И как Рим может верить вашим словам сегодня?

Но оптиматы не обращали внимания на его пафос — они видели лишь обрушившуюся на многих непредвиденную опасность. Поведение молодого императора за несколько часов страшно изменилось. Его горькая и опрометчивая прямота напугала их, так как единым словом он мог применить свою огромную военную власть — стоящие у ворот преторианские когорты, легионы во всех провинциях и буйную, неуправляемую любовь народа.

В страхе за свою шкуру некоторые стали малодушно бормотать, якобы они ничего не знали. Популяры разразились воплями и заглушили эти испуганные голоса. Но потом словно прорвало плотину: обвиняемые, будто потерпевшие кораблекрушение, стали хвататься друг за друга, выгораживать один другого, умолять, приводить взаимные свидетельства, бросились к креслу им-

ператора и окружили его, ужасаясь при мысли, что огромная бронзовая дверь сейчас распахнётся и ворвутся преторианцы. А из сектора популяров, где все встали и заполнили партер, сыпался град оскорблений.

Валерий Азиатик в тоге с безупречными торжественными складками с самого начала заседания неподвижно наблюдал со своего места. Он не был замешан ни в одной из отвратительных интриг, и в голове у него было достаточно ясно, чтобы понять, что древний, грозный и гордый римский сенат больше никогда не станет тем, чем был многие века.

Между тем император смотрел на перепуганные лица сенаторов, от страха исказившиеся до неузнаваемости. На мгновение он обменялся страшной улыбкой с Каллистом. Неправда, что месть — самое сильное из удовольствий. Гай Цезарь молча встал и попытался удалиться от окружавших его людей, они хватали его за край тоги, и ему пришлось жестом подозвать германский эскорт. Германцы тут же обступили его, заставив сенаторов в беспорядке ретироваться. Выпрямившись, он укрылся за этой стеной. Император направился из Рима по Аппиевой дороге и после нескольких часов беспокойной скачки при

свете факелов без передышки и смены лошадей, пока ночь ещё покрывала окрестности, уединился на своей любимой вилле на озере Неморенсис.

ОРАТОРЫ

Пока охваченные паникой оптиматы спорили, Валерий Азиатик молчал. Он один в этот момент нашёл в себе силы холодно восстановить в уме весь этот ужасный день. Представив, что случилось бы не так давно, попади документы подобной тяжести в руки Августа или Тиберия, Азиатик заключил про себя: «Я бы никогда не увидел того, что мне довелось увидеть сегодня. Император один. И у него неловкие или плохие советчики».

За этим последовала мысль, что, несмотря на германцев и легионы, молодой император очень уязвим. Потом вспомнилось, что он сохранил жизнь и смягчил изгнание Арвилию Флакку, вору, а сверх того ещё и одному из самых жестоких судей его матери. С вернувшейся на губы улыбкой Валерий Азиатик присоединился к группе коллег и сказал:

— Если будет позволено посоветовать вам один шаг, который нужно предпринять немедленно...

Все замолкли и, увидев его улыбку, замерли в ожидании, как в храмах ждут ответа оракула. А он объяснил, роняя благодушные слова:

— Выберите среди себя пять человек, которые умеют говорить с волнением и кому не приходилось участвовать в тех процессах, потому что в тот день были больны. И пошлите поскорее к нему, пусть бросятся в ноги и жалобно умоляют помиловать других, которые не смеют даже показаться ему на глаза...

Уже светало после ночи, в которую никто не сомкнул глаз, и с балкона виллы, неуклюже построенной Юлием Цезарем для Клеопатры, но теперь ставшей величественной в окружении пышных садов, император устало и безрадостно созерцал чудесные корабли — эти мраморные храмы, неподвижно застывшие на тёмных водах. Евфимий, Имхотеп и Манлий, как и обещали, заканчивали строительство. Уже были возведены колонны, на берегу лежала золочёная черепица. Но начинался дождь, строительство приостановилось, рабочие в бараках готовили пищу.

Несмотря на дождь, делегация сенаторов, избранных из самых убедительных ораторов, взобралась наверх и, добравшись до охраняемых германской стражей ворот, с облегчением узнала, что император согласен их принять. В действительности и он почти с таким же облегчением услышал об их прибытии. Сенаторы объяснили

ему, в каком непрестанном страхе пребывали они в правление Тиберия, как невозможно было укрыться от него и как теперь они благодарят богов, что живут под его, Гая Цезаря, милостивой властью. И под конец кто-то тонко добавил, что это они единодушно избрали его... И клянутся в абсолютной верности. Ради этих несчастных, пребывающих в тревожном ожидании в Риме, делегаты умоляют императора проявить милосердие, потому что, как известно со времён Гомера, милосердие — самая светлая добродетель сильных душ.

А поскольку он продолжал молчать, одному из сенаторов пришло в голову процитировать взволнованным голосом несколько прекрасных строк из «Илиады» о прощении врагов. Судя по поведению императора, им удалось убедить его, и на следующий день, хмурым утром, он не спеша вернулся в Рим. Инцитат уловил настроение хозяина и повиновался его рукам и шенкелям даже без лёгкого подрагивания мощных мышц. Великолепная грива, отяжелевшая в сыром воздухе, ниспадала по обеим сторонам шеи.

Но в Риме Каллист первым делом предостерёг:

— Нельзя никому верить. Ты должен защитить себя.

Единственной поистине надёжной защитой был испытанный в своё время Тиберием зловещий закон о покушении на величество — неограниченное средство насилия, которое молодой император в своё время с восторгом упразднил. А теперь, менее чем через три года, возникла необходимость восстановить его ради спасения своей жизни. И он восстановил старый закон.

При объявлении об этом сенаторы зашептались:

— Он сам с таким шумом отменил его, а теперь если примет снова, то уж наверняка, чтобы воспользоваться.

И к ним вернулся страх как во времена Тиберия, который осмотрительно и безжалостно избавлялся от противников при помощи монотонно повторявшихся судебных процессов.

Валерий Азиатик впервые без улыбки проговорил:

— Имена, которые он дал прочесть этому греку, просочились из сената и гуляют по Риму. Цериал и Бетилен вчера ходили на форум Августа, и им пришлось уйти оттуда, скрыться от толпы. Если император их арестует по самому абсурдному обвинению и прикажет бить плетьми и распять на кресте, народ скажет, что так им и надо. А если

кто-то возмутится, ему стоит хлопнуть в ладоши, и на площадь выйдут преторианцы. Вы видели, чем кончил Серторий Макрон?

Сенаторы пугали друг друга и уже видели, как возвращаются вольноотпущенники с поручением провести тайное расследование, безымянные чиновники, занимающиеся случаями всяческих проявлений враждебности и заговоров, в атмосфере общего страха получившие прозвание cognitionibus, то есть «сборщики сведений». Видели, как воскресают страшные слова: заявление, судебный заявитель. Но на этот раз началась не охота на разрозненных популяров, отбившихся от стада ослабевших кабанов, как во времена Тиберия, — за горло взяли самых могущественных людей в Риме.

Кто-то заметил, что под Тиберием было невозможно сопротивляться, так как он уединился в своей крепости на Капри и даже по случаю смерти матери не вернулся в Рим. Он сам распространил выдумку об оракуле, не советовавшем ему возвращаться. «А этот живёт в Риме, появляется на людях, ездит по дорогам...» Но другие отвечали, что народное возмущение, как это было во времена Юлия Цезаря, закончится резнёй с использованием сильной германской охраны.

«Тиберий выбрал себе скалу и не выезжал оттуда, а этот оградил себя мечами и ходит, куда захочет».

А ещё кто-то предположил, что приблизиться к императору можно через окружающих его людей в тихой роскоши императорских палат.

МИЛОНИЯ

От поспешного и необдуманного брака с Лоллией Павлиной почти сразу император ощутил раздражение из-за этой женщины, которая, хотя он быстро начал пренебрегать ею, была официально приближена к нему и рассматривалась как неотъемлемая его часть, как госпожа Рима.

У неё хватило глупости возомнить, будто она обладает собственными достоинствами, хотя это я дал их ей.

И в довершение всего, при всей её яркой красоте, эта несносная неспособность понять, как подобает двигаться, ходить, смотреть — а особенно молчать — императрице, Августе.

Под конец одного официального пиршества, на котором она проявила свою неуклюжесть, император возмутился.

— Ты никогда не знала мою мать, верно? — спросил он жену.

Конечно, это было невозможно, судя по её возрасту, но память об Агриппине уже стала легендой. И потому Лоллия только посмотрела на него широко раскрытыми глазами и больше ничего не сказала.

Как-то раз в те дни вторая сестра императора, которую он в своё время освободил от драчливого мужа («незаслуженно названная Агриппиной, именем матери», — шептались в Риме), сидя в безмятежности императорских садов, сказала ему голосом, словно бы даже не своим — столько в нём было глупой злобы:

— Меня много раз спрашивали, почему ты выбрал своей наследницей Друзиллу. Не понимаю, чем она лучше меня.

Назначать наследника было династической обязанностью, и его неприятно удивил этот вопрос. Но сестра говорила медленно, с глуповатым видом, и у него хватило времени понять её обиду.

— По соображениям возраста, — беспечно ответил Гай и рассмеялся.

Она ничего не сказала, но эта ер фраза оборвала остававшиеся семейные привязанности, и император начал строить в уме лабиринты подозрений.

Тем временем — как разливается грязь в реке после зимних дождей — по Риму расползлась ужасная история о найденных в комнате Тиберия документах. Вскоре уже ничего не осталось прежним. Для народа император наконец сорвал

маску с сенаторов и задушил их клику. Когда он появлялся на людях, раздавались аплодисменты, и даже слышались крики:

— Перебей их!

— Мудрость простого народа, — комментировали популяры, которые охотно так и поступили бы, имей они такую возможность.

Но среди оптиматов уже распространилась и казалась неоспоримой мысль, что им с императором не ужиться в Риме. А поскольку их было несколько сотен, а он один, самый грубый подсчёт вероятности и выгоды начал подталкивать некоторых из тех, кого император считал близкими себе людьми, немножко отдалиться от него, попытаться переждать, пока ситуация не изменится. И это искусство тоже с веками разовьётся.

Так, император заметил, что Лепид, недавний муж Друзиллы, а теперь вдовец, слишком часто появляется в обществе его второй сестры, и та смотрит на него с большим вниманием. Однажды ночью — к императору вернулась бессонница, и к утру его разбивала усталость — он понял, что эти двое действительно собираются создать новую царственную пару. И ему стало тошно.

«Это всё родилось в голове Лепида, — решил Гай Цезарь, — и он день за днём вдалбливает эту

мысль в её бедную голову».

Ночью, в тишине, в этой огромной комнате и прочих огромных пространствах его нового дворца было жутко. Слышались отдалённые тяжёлые шаги германской стражи по мрамору, когда через точные интервалы она сменялась у его недоступных апартаментов. Его одиночество было защищённым и бесчеловечным. Император сказал себе, что ему двадцать восемь лет и в его жизни были случаи настоящей сентиментальной любви: была поразительная красота его матери, которую он видел плачущей лишь один раз; была милая Антония с седыми волосами, которая баюкала его с лаской, перенятой от рабынь Клеопатры; сестра Друзилла, приходящая во сне.

Утром, проходя в окружении своих германцев обычным скорым шагом по крытой галерее за залом Исиды, он заметил замешавшуюся среди придворных дочь трибуна Домиция Корбулона Милонию. Ему вспомнились её волосы. И её молчание. И глаза. И руки.

Он замедлил шаг, потом остановился и обернулся, как в тот раз на трибуне Большого цирка. И улыбнулся ей. Мгновенно решившись, сказал, что хотел бы показать ей корабли, которые он построил на озере Неморенсис.

Домиций Корбулон услышал это, услышали и придворные, и все удивились.

Милония была так переполнена восхищением, что его слова показались ей невероятными.

— О... — выдохнула она, приложив руку к губам.

Следующая ночь была двадцать первой ночью марта. Ночное небо без ветра и облаков светло отражалось в озере меж крутых лесистых берегов. На берегу император расставил молчаливым кольцом германскую стражу. Их командиру это окружённое дремучим лесом неподвижное озеро напомнило обрядовые места его далёких богов на правом берегу Рейна, и он передавал приказы своим людям с некоторой священной торжественностью, а они повиновались, охваченные тем же таинственным чувством.

У пустынного и тёмного причала стоял Мане-джет. Луна ещё не показалась из-за ресниц кратера, но освещала небо. Огромный золотой корабль ловил отблески светила на кормиле, перилах, фигурах зверей, гладкой поверхности колонн, барельефах и статуях. Его очертания постепенно вырисовывались в саду виллы, словно он торжественно появлялся из воды.

— Смотри, — сказал император Милонии, — как

будто сама богиня создаёт его из золота.

Он прошёл к пристани, жестом удалив эскорт и требуя одиночества, и наконец, поистине свободный, каким не был много лет, вдруг взял Милонию за руку. Ответившие на пожатие пальцы передали упоительное ощущение. Он сказал:

— Завтра вечером полнолуние, как в Саисе.

Властно сжав ей руку, император пересёк пристань и провёл женщину на палубу.

Она шагала в лёгких сандалиях, не глядя, куда они ступают. Милония подняла лицо, так как была Гаю по плечо, и смотрела на него как заворожённая, не отрывая глаз.

Золотой корабль, как было предусмотрено Евфимием, замер неподвижно; неощутимое подрагивание воды умирало вокруг его корпуса. Между теней колонн они проникли в портик.

Гай чувствовал её руку и плечо, мелкие торопливые шаги и подумал, что никто никогда не был ему так нежно близок.

— Ещё ни одна женщина не ступала сюда, — сказал он.

Толкнув дверь хема, император прошёл мимо огромной Медузы из позолоченной бронзы и обернулся, чтобы закрыть дверь. Потом приблизился к Милонии и прижал её к себе. Она

затрепетала в его руках. Он развязал ей пояс и сказал:

— Я хочу любви на корабле богини.

— О, я люблю тебя, — наконец прошептала она в темноте. — Люблю, люблю. Ты можешь убить меня прямо сейчас, и я этого не замечу.

Эти слова, тихие, как дыхание, когда не хватает воздуха, проникли в императора подобно клинку в беззащитное тело. Милония, казавшаяся такой робкой, подняла руки и с чувственной нежностью стала гладить его щёки, брови, губы. Он подумал, что никогда не ощущал на коже столь робких ласк, душевных и телесных, но впервые это была любовь, настоящая любовь женщины. Её губы в волнении прижались к его губам, и он тихо стянул тунику с её плеч, удерживая руками, и при этом движении подумал, что мгновение это неповторимо и время должно остановиться.

Он обнажил ей грудь и долго ласкал её с лёгким, почти духовным наслаждением, потом положил руки на изгибы талии, дав ткани упасть, почувствовал, что Милония задрожала и поддалась его ласкам. Она была мягкой и податливой в его руках, и всё же это совсем не напоминало искусное соблазнение, в котором он был опытен и от которого уже устал. Он хотел живого тепла этой

кожи, из пор которой исходил аромат лаванды и тёплого мёда, женственно влажной, влекущей с неодолимой силой. Её руки, обнажённые тонкие запястья в браслетах, запавшие в память, снова окружали его, привлекали к себе. Он видел её глаза, чувствовал аромат, ощущал губы.

Тысячи лет в религиозных магических ритуалах во фригийских храмах в Пессинунте, на берегу реки, жрицы, одетые в одни драгоценности, вот так же ласкали и обнимали перед зачарованной толпой молящихся мощные статуи своих древних богов Папаса, Сабация, Мена.

И Милония, словно касаясь статуи бога, повторяла:

— Я люблю тебя... Можешь делать со мной, что хочешь; мне на всю жизнь хватит этой ночи. Я верю, что и через шесть тысяч лет кто-нибудь на этом озере услышит то, что я тебе сказала: «Я люблю тебя».

Она ласкала его, словно молила, словно боготворила, и медленно снимала с него тунику греческого покроя, так возмущавшую Аннея Сенеку. Она баюкала его в объятиях, прижимала к себе, и всё её тело стремилось к его телу.

— Я прошу, прошу тебя, — проговорила она, — войди и живи во мне. Прошу тебя.

Это была древняя мольба, рождённая самыми давними религиями: бог, передающийся в тёмной, плодородной глубине женского лона.

Он был заворожён ласками, обволакивающими его тело. На мгновение ему померещилось колдовство. Позвякивали драгоценности. Она поцеловала его, как фригийские жрицы целовали статуи богов. Император закрыл глаза.

РИТУАЛ ИСИДЫ

Несмотря на железную германскую стражу, несмотря на непроницаемую темноту ночи, в могущественных жреческих кланах Рима на следующий день распространился слух, что на этом золотом корабле, посвящённом зловредному иноземному божеству, одна жрица, приехавшая из дальних стран, выполнила над императором неописуемый тёмный колдовской обряд, сделавший его неуязвимым.

А через несколько дней все узнали, что в ночь мартовского полнолуния по новой мраморной дороге вокруг озера проследовала — возможно, силой магии того божества, что погребено между Нилом и песками, или могучими заклинаниями из подземных царств — длинная, как змея, процессия чужеземцев в белых льняных одеждах. С лампами и факелами они шагали по ковру из цветов под музыку странных инструментов, с песнопениями, кадилами и благовониями. Медленно-медленно эта толпа поднялась на золотой корабль с мраморным храмом, магическим образом двигавшийся без вёсел и парусов. И мраморный корабль не утонул.

Появился император в одеждах, сверкающих драгоценностями и золотым шитьём, столь непохожий на себя, что его узнали лишь потому, что кому-то удалось заглянуть ему в лицо. Рядом с ним шла та иноземная жрица с волосами цвета ночи, о которой уже говорил весь Рим. Император положил руку на огромное кормило (равного которому не видел ни один моряк), и, как только вёсла второго корабля погрузились в воду, нос золотого корабля повернулся к восходящей луне.

В это великолепное мартовское полнолуние-сенатор Луций Вителлий, владелец грандиозной виллы на ближнем Альбанском холме, оказался свидетелем первого ритуала Исиды на священных кораблях на озере Неморенсис. А на следующий день осмелился спросить у императора о значении этой церемонии.

Император улыбнулся.

— Впервые был выполнен ритуал без невинных жертв и крови.

А поскольку именно это таинство вызвало во многих мрачные подозрения и беспокойство, Вителлий спросил:

— Ритуал, посвящённый какому богу?

Император на мгновение задумался и ответил:

— Я бы хотел привести пример. Посмотри на

этот лунный свет: мы не знаем, что это, но он светит всем одинаково.

Вителлий посмотрел на луну, не понимая, и его почтительная улыбка сменилась ироничной гримасой.

А император продолжал:

— Мой отец как-то сказал: «Наши глаза не видят дальше чего-то, уши не слышат, но наш ум идёт гораздо дальше. И люди, которые столь неистово борются между собой, спорят и молятся совершенно непохожими словами, сами не знают, что все они одинаковым образом ищут в своей душе то, чего их глаза не могут увидеть».

Вителлий слушал его с мрачным видом; обуреваемый страшной жаждой власти, он подумал, как водится, что империя оказалась в руках странного философа, но, возможно, это позволит избавиться от него, не устраивая народных волнений. В общем-то, грань между философией и безумием ему казалась очень тонкой. Он промолчал.

А император продолжил:

— Это озеро — памятник мечте, за которую мой отец отдал жизнь: трудному миру между людьми. И ты сам видишь, что сегодня во всех уголках нашей страны царит мир.

Это была правда. В дни его правления от рейнских пределов до дунайских, на берегах Эвксинского Понта и в набатейских пустынях, на крайнем юге Египта и в Мавритании не вспыхнуло ни одной войны. Но Вителлий сказал себе, что мысли о славе и о мире совместимы так же, как волк и ягнёнок в одном загоне. И по возвращении в Рим кратко изложил свои умозаключения, рассказав, что император в странной форме «беседовал с луной».

ГОНЕЦ, УПАВШИЙ В ПРОПАСТЬ

— Случилось так, — своим металлическим голосом говорил в Риме Каллист сенатору Аннию Виницианy, — что он решил развестись. Письменно, как Марк Антоний с сестрой Августа: «Tuas res tibi agito» — «Возьми своё имущество». И кажется невероятным, что самой красивой женщине в империи велят покинуть дворец, как какой-то служанке. Как той другой, что была три года назад.

Амбициозный сенатор Виниций был втайне замешан в заговор Сертория Макрона, но постоянно сдерживал, предостерегал, останавливал, отговаривал соучастников с таким тонким искусством, что в случае их победы получилось бы, что он был их главой, а в случае провала оказался бы спасителем императора. Ему лучше было бы помалкивать, а он спросил, как баба на рынке:

— Но ведь есть серьёзное препятствие? Это правда, что она беременна?

Этот вопрос не был пустой сплетней, потому что у него тоже была молодая дочка, и, несмотря на всё, он бы с радостью изменил свои политические взгляды, если бы император положил

глаз на неё.

— Они оба ничего не говорят, — улыбнулся Каллист. — Как египетские крестьяне боятся, что дух из головы шакала похитит первенца. Но с виду, — заключил он, зная, что необратимо разочарует гордого сенатора, — полагаю, что ждать осталось недолго...

Виниций удалился, полный злобы, что ненавистной фамилии Юлиев суждено продолжиться.

И на рассвете через несколько дней — в час, когда император после бессонницы вызывал своих самых верных людей, — осведомитель, один из безымянных лазутчиков, которые лишали покоя многих могущественных людей Рима, прошёл через неприметный служебный проход и в сопровождении двух молчаливых германских телохранителей попросил аудиенции.

Император теперь выслушивал своих осведомителей лично и не хотел свидетелей.

Человек вошёл незаметно для чужих глаз и был счастлив продемонстрировать, что недаром получает деньги: он заявил, что принёс обрывочные, но тревожные известия об одном заговоре, лютом плане убийства.

— Это не просто слухи, Август, — сказал посети-

тель. — Есть два письменных документа, улики. В наши руки попала нелепая и неосторожная переписка между одним трибуном, служащим на Рейне, в Могонтиаке[58], и некоторыми людьми в Риме. Мы видели, как гонец поспешно покидал Могонтиак, и довольно странным образом. Мы следили за ним издали: он упал с коня в пустынном месте, на альпийском перевале.

На лице шпиона проявилась холодная улыбка.

Император слушал его, и каждое слово усиливало тревогу. Человек, написавший послание и доверивший его тому неосторожному гонцу, опасно внедрился в легионы и командовал тысячами солдат. Шпион развернул лист и положил, как драгоценность, на стол. Император прочёл — это было недвусмысленное обещание пойти на Рим и, как только тиран будет убит, подкрепить голоса сената силой легионов. Чтобы придать больше веса своему участию, автор перечислял имена своих сообщников — ещё пятерых трибунов. Внизу стояла огромная подпись: «Лентул Гетулик, дукс легионов на рейнской границе». У пределов империи. Теоретически его военная власть была огромна.

---

[58] Примечания: 58
Нынешний Майнц.

Император испытал физическое потрясение, словно стол содрогнулся.

«Презренный изменник! — подумал он в бешенстве. — Фамилия, выжившая после заговоров времён Катилины. Какой-то предатель предупредил, что я собираюсь его сместить, и он замышляет государственный переворот при помощи этих плохо управляемых легионов».

Гай Цезарь посмотрел на подпись этого человека, посмотрел на имена пятерых трибунов — как будто на столе лежали уже отрубленные головы.

Шпион подождал, пока император оценит письмо, и продолжил:

— Мы не знаем, кому гонец должен был вручить послание в Риме. Адрес был только у него в голове. Но нам повезло, — улыбнулся он. — Гетулик, возможно желая подтвердить, что писал именно он, послал в ответ вместе с этим посланием — смотри, Август! — также и письмо, полученное им из Рима.

Он протянул тонкий, изящный лист папируса.

— Мы не знаем, кто его написал, оно не подписано. На нём стоят лишь инициалы. Возможно, ты сам сможешь выяснить, кто это.

Император взял лист, но тут же сложил его, чтобы прочесть после: это римское имя должно

остаться в тайне для всех. Он спокойно похвалил осведомителя за работу, и тот заверил его:

— Гонец и его конь упали в глубочайшую пропасть.

Инстинкт подсказал императору заплатить шпиону лично из своего фонда, и он ощутил некоторую неловкость, так как уже больше трёх лет не держал в руках денег.

Потом безупречный шпион тихо выскользнул из комнаты, и император закрылся там один. Он сел и снова взял этот анонимный мятый листок, который из Рима добрался до Могонтиака, а потом вернулся в Рим в некотором роде не по воле своего автора. Император улыбнулся: «Сейчас ты просыпаешься и ждёшь прибытия гонца».

Пока он с улыбкой разглаживал лист, его взгляд упал на подпись под последней строчкой: сложный росчерк вокруг письменной буквы «L», такой вычурный, что увидевший его вряд ли забудет. И он уже видел его на брачном договоре между своей умершей сестрой Друзиллой и этим ленивым патрицием, которого она любила, — Эмилием Лепидом. Его мысли замерли.

Закрыв глаза, император глубоко вздохнул. Его ум медленно прояснялся после этого долгого вздоха. Гнездо нелепого заговора находилось внутри

семьи. Вдовец Лепид, чтобы узаконить своё положение, собирался жениться на подлой сестре умершей, сестре по имени Агриппина, которая горевала о наследстве. Поскольку, несмотря ни на что, в её жилах текла толика крови Августа, тщеславный Лепид думал найти сообщников.

«Школа Сертория Макрона: каждый патриций, имеющий известных в истории предков, думает, что власть — нечто вроде охотничьей добычи», — сказал себе император со злобным сарказмом.

Но к горлу подкатывали позывы тошноты. Потом мысли упорядочились: в Риме, находящемся под контролем преторианцев и германской охраны, никто не мог и рыпнуться; единственная реальная опасность, буря гражданской войны, могла зародиться только там, среди вооружённых солдат на границах.

Всё утро император не желал никого видеть. Из-за закрытой двери он велел, чтобы ему оставили немного еды в соседнем зале. Но не смог даже притронуться к ней и вернулся к себе за стол. Ему с явственным страхом представлялось, что означало бы для всей империи узнать о подобном семейном предательстве. В голову пришли невольные ассоциации с Августом, который, наверное, переживал в одиночестве подобные

моменты. Потом император сказал себе: «Замысел родился не в этих трёх головах».

Выли тайные вдохновители, тонко выбравшие исполнителей: чем бы заговор ни кончился, по его репутации будет нанесён серьёзный удар.

«Даже сестра и зять желают ему смерти...» — будут смеяться враги.

Он ходил взад-вперёд, от стола к двери и обратно, вызывал в уме образы трибунов, командовавших восемью легионами на севере, и истории про них. Вдруг увидел, словно тот вошёл в комнату, лицо Сервия Талибы и в это мгновение испытал огромное облегчение, впервые за эти мучительные часы. Он молниеносно принял решение. Отправиться к изменникам, сокрушить их, прежде чем они двинутся, и передать легионы в руки Галибы.

Тем временем обеспокоенный Каллист попросил его впустить. Инстинкт подсказывал не принимать его. Вместо него с чувством железной уверенности император подумал о военном трибуне Домиции Корбулоне — брате Милонии — и среди ночи тайно вызвал его к себе. Хватило нескольких слов, и тот пообещал:

— Я удержу для тебя Рим.

Император оставил ему записку для встре-

воженной Милонии и, пока писал, понял, что по-настоящему её любит. При первых лучах солнца, когда Рим ещё не проснулся, он вышел из комнаты, позвал командира августианцев и объявил, что немедленно отправляется к священному истоку Клитумна в Умбрии. Он любил путешествовать и делал это часто и неожиданно. На вилле в Умбрии, близ древнего святилища на прекраснейшем роднике среди ив, он по нескольку дней отдыхал каждый год, и эта его поездка никого не могла встревожить.

Император велел Лепиду отправиться с ним, а сестре наказал не торопясь следовать за ними с основным эскортом. Ошеломлённые, но ничего не заподозрившие, они повиновались. Вскоре император выехал с лёгким бутафорским эскортом своих августианцев. Однако никто не заметил, что незадолго до этого, среди ночи, он отправил по той же дороге изрядное число мощных германских всадников.

Молодой император предпринял быстрый конный марш с одними германцами, в то время как немногочисленные августианцы рассеялись по дороге позади. Он тащил за собой Лепида, который поначалу растерялся при виде окружавших его ужасных германцев. Но потом до него посте-

пенно стало доходить, куда они направляются — не в благодатную Умбрию, а куда-то на север, через страшные, покрытые льдами горы. Он всё больше выбивался из сил и наполнялся страхом, осознавая, что находится под конвоем и не имеет возможности с кем-либо общаться.

По пути император приказывал на каждой сигнальной башне не передавать сообщений о его передвижении — под предлогом тайной проверки — и оставлял там охрану. Император нагрянул в Могонтиак совершенно неожиданно. Был полдень. Гетулик лениво разговаривал со своими трибунами, когда, ошеломив вялых и рассеянных часовых, в южные ворота каструма с шумом ворвался конный отряд германцев. Через несколько мгновений на бешеном галопе, разбрасывая в стороны всех, кто попадался на пути, всадники заполнили площадь перед преторием. Едва Гетулик успел обернуться, как множество конных варваров рассыпались веером, и среди высоко поднятых значков появился император.

Гетулик ошеломлённо смотрел на него, как на явление бога. Но то, что он увидел через мгновение, парализовало его страхом. На площадь выехал один германский всадник, слева от себя он тянул за повод вторую лошадь, на которой

неловко держался в седле человек, одетый как римлянин. Германец мощным рывком правой руки поднял своего коня на дыбы, вторая лошадь резко остановилась, римлянин кубарем скатился вниз и, ударившись о землю, с трудом попытался встать. Гетулик увидел, что руки у него связаны, и узнал в этом испачканном в грязи, перепуганном человеке в измятых одеждах Луция Вителлин, своего сообщника. Император, не слезая со взмыленного коня, с жестокой прямотой велел своим германцам арестовать Гетулика и пятерых трибунов, названных в письме.

Германцы слепо повиновались и моментально выполнили приказ. С чувством торжества он увидел, что при этом трагическом приказе никто из офицеров и легионеров не выказал возмущения — все неподвижно застыли, выстроившись безупречными шеренгами. Трибуны и центурионы смотрели императору в глаза, ожидая дальнейших приказов. А он прямо на плацу передал командование восемью легионами пятидесятилетнему военному трибуну с грубыми простыми манерами по имени Сервий Гальба, образ которого возник у него в голове в ту ночь.

Солнце, ветер и усталость высекли на лице Гальбы глубокие морщины — такую внешность

передают его изображения. Архаично коротко, по-спартански остриженные волосы[59] говорили о несгибаемом упорстве. И император увидел, что стоило Гальбе выкрикнуть свой первый приказ, как войско застыло смирно.

Тем временем неосмотрительный и недалёкий Лепид не мог прийти в себя. После молниеносного военного суда перед глазами виновных выложили два злосчастных письма.

— Никогда, — проговорил председательствующий Гальба, — никто не видел более преступных и в то же время глупых документов.

Лепид, Гетулик и те пять трибунов были признаны виновными в покушении на величество римского народа. И страшный закон, принятый Августом, показался молодому императору мудрым и целесообразным.

— Никому из этих предателей, — велел он, — не давать возможности покончить с собой, потому что никто из них никогда не сражался за Рим.

И сказал бесстрастно молчавшему рядом Галибе:

— Впрочем, никто из этих отщепенцев и не просит об этом.

---

[59] Примечания: 59

Вообще-то, согласно Плутарху и прочим источникам, спартанцы славились длинными ухоженными волосами.

В знак презрения император приказал привести казнь в исполнение своим германцам.

Те выволокли всех семерых, сорвали с них знаки различия, оголили шею и со связанными за спиной руками и связанными ногами, как у стреноженных диких жеребят, поставили рядом на колени на равном расстоянии друг от друга. Никто из них — ни исполнители, ни осуждённые — за время этой медлительной операции не вымолвил ни звука. Пришёл палач, широкоплечий, выше всех остальных, с длинными светлыми волосами, которые, сливаясь с бородой, казались шлемом. Он посмотрел на императора, дождался его молчаливого сигнала и медленно подошёл к Лепиду. Когда-то этот человек был женат на сестре императора, а теперь, весь дрожа, стоял на коленях на мощённой камнями площади, и палач остановился рядом.

Потом палач медленно поднял двумя руками свой тяжёлый варварский меч и — с ужасным напряжением всех мускулов тела, от пяток до плеч — молниеносно опустил. Клинок сверкнул на солнце, и голова покатилась по земле, а тело упало на бок. Сила удара была такова, что кровь хлынула лишь через несколько мгновений.

С тем же устрашающим спокойствием палач

подошёл к следующему приговорённому, которым оказался Гетулик. Император увидел, что тот закрыл глаза. Потом были пятеро остальных; палач с чёткостью и силой повторял одни и те же движения. Ни для кого не потребовалось второго удара. Когда все семь голов оказались на земле, он обернулся к императору и отсалютовал окровавленным клинком. За это время никто из тысяч присутствующих не издал ни звука. И император заметил, что убийство — как раньше у Августа и Тиберия — лишь на мгновение вызывает у него леденящее всепоглощающее чувство.

МУСКУЛЫ (ОСАДНЫЕ МАШИНЫ)

Вечером император сидел за ужином в претории. В мышцах не чувствовалось тяжести после поездки, и он констатировал, что пока испытывает лишь облегчение и никакого волнения.

Сидевший слева от него Сервий Гальба, новый командующий фронтом на Рейне, почтительно поднял кубок с вином.

— Твой отец поступил бы так же, как ты, — коротко сказал он. — Но наездник ты, может быть, даже лучше его. Только ты мог покрыть все эти мили за столько дней.

— Меня посадил в седло трибун Гай Силий, — вспомнил император, и это имя взволновало обоих.

Историки напишут, что за немногие годы своего правления Гай Цезарь проехал миль больше, чем многие правившие за гораздо более длительный срок. Он не поддавался усталости поездок, скачки, плавания по неспокойному морю, встречал в пути солнце Сицилии и зиму на Рейне. Так,свободно разъезжая, неожиданно появляясь там и тут, как его учил Германик, он узнавал реальное положение вещей, не замаскированное

официальной помпой. Его наезды некоторых пугали, а у многих вызывали восторг. Император заботился, чтобы имперские дороги способствовали быстрому движению, и, если находил пыль и грязь, страшно гневался на чиновников, следящих за содержанием дорог, которые больше других избегали контроля над расходуемыми средствами. Одному небрежному квестору, который не следил за римскими улицами, по его приказу солдаты заляпали тогу грязью[60]. Этот случай разнёсся по легионам, которым приходилось месить много грязи.

Среди рейнских легионов запахи, голоса, отдалённые звуки буцин (боевых труб, означавшие смену часовых в ночном дозоре), приказы, передававшиеся по обширному каструму трубой или сигнальным рожком, возвращали его в знакомый мир — и конечно, здесь он спал хорошо.

— Хорошо, что ты здесь, — сказал Гальба. — Это слабый фланг империи. Ты успокоил границу на Евфрате, но на этой границе никогда ничто не успокаивается. Если когда-нибудь, дет через четыреста, враги, даже названия которых мы сегодня не представляем, прорвут рубеж, пределы

[60] Примечания: 60

Этот случай вошёл в историю, потому что этим небрежным квестором (или эдилом) был будущий император Веспасиан.

империи, очерченные Августом, и пойдут на Рим, им не придётся переправляться через Евфрат или Дунай — на их пути будет Рейн.

Император рассказал ему, что в годы, проведённые на Капри, у него было время читать и размышлять над «Кратким изложением военного дела» великого Вегеция, в котором перечислялись строжайшие наставления не допускать неповиновения и расхлябанности среди легионеров, как это сделал Гетулик, допустивший здесь полный разброд.

— За исключением моего легиона, — серьёзно добавил Гальба, известный своей железной рукой. — За остальных возьмёмся завтра утром. Центурионы и декурионы будут досконально следить за соблюдением всех уставов и исполнением наказаний. Проведём серию учений. Самое полезное упражнение — заставить войско идти по лесам в боевом порядке, спать в походном лагере, рыть оборонительные рвы. Когда велишь им прекратить, они будут тебе благодарны.

Он заявил, что имеет на примете список офицеров, которых на следующее утро, когда они появятся в президиуме, он без лишних церемоний тут же уволит: пора собирать вещи. Есть кого поставить на их место. Гальба заверил им-

ператора, что легионы, снова приведённые в порядок, очистят берега Рейна от просочившихся германцев.

Тем временем амбициозная сестра императора, которую тихим ходом везли в крытой повозке, с ужасом увидела, что её не эскортируют с подобающим её рангу почётом, а стерегут, как пленницу, два ряда германских стражников. Они проезжали без остановки постоялые дворы, варили суп из солонины, кое-как мылись в ручьях, пили своё хмельное пойло из ячменя и солода, ночевали в лесах, а ей с её служанками приходилось спать в повозке.

Она пыталась протестовать, спрашивала, в чём дело, умоляла, но, как и предвидел император, германцы не понимали ни слова. И не придавали этим бессмысленным звукам значения. Растерянная сестра приехала, когда после суда и казней прошло уже несколько дней.

Император лишь мельком взглянул на неё: она была вся в пыли, растрёпанная, напуганная до неузнаваемости.

— Сейчас не время плакать, — сказал он, и она, мечтавшая о власти после его убийства, задрожала от смертельного страха.

Но он, с зародившейся в глубине души реши-

тельностью, почти насильно заставил её взять урну с прахом Лепида и с этим багажом под охраной немедленно отправил назад в изнурительную поездку.

— Я сошлю тебя не далеко, — проговорил он, не глядя на сестру. — Достаточно какого-нибудь острова, как для нашей матери.

Но она недолго пробудет вдали от империи. Поскольку её звали Агриппина, как умершую мать, историки назовут её Агриппиной Младшей. Она была честолюбива и цинична; судьба сделала её матерью — от первого грубого и жестокого мужа у неё родился ребёнок, нежеланный и нелюбимый. Этот малыш станет править империей под именем Нерон.

В тот вечер Гальба сказал императору:

— Мои спекуляторы советуют мне присматривать за бриттами — их вооружённые банды пришли в движение.

Британия была неукрощённым островом, как и Германия, она так никогда и не окажется под полным римским контролем. И легионы — «эти сухопутные люди, в отличие от Мизенских военных частей» — не любили покидать надёжные приветливые провинции ради этого незнакомого острова посреди великого северного моря, где над

поверхностью дуют ледяные ветры, а в пучинах вод полно чудовищ.

— Всё равно придётся туда тащиться, — заявил Гальба с полным хладнокровием профессионала.

Но император ответил:

— Мне бы не хотелось бросать людей в то море. С моим отцом однажды такое случилось, и это была трагедия.

Молодой император не сказал, что мысль связать своё имя с новой войной вызвала в нём тревожный протест: во многих его снах последним непотопляемым островом был успех в сохранении мира.

— Возможно, — сказал он, — достаточно будет продемонстрировать бриттам нашу мощь. Они давно нас не видели и испугаются.

На берегах Oceanus Britannicus, в самом узком месте (которое нынче мы называем Ла-Манш), император, словно готовясь к вторжению, собрал три легиона с боевыми и осадными машинами, называемыми со времён Юлия Цезаря мускулами. На острове получили известие, что он собирается высадиться, и там, на песчаном берегу, уже ждали высадки легионов. Проснулись страхи, что спокойные дни прошли. Но он не развязывал никаких войн. Мечта императора

— или утопия — не сдавалась. Однако эта пауза была непродолжительной: через несколько лет, когда Рим наметит новые планы по расширению империи, войны начнутся снова.

Тем временем в Риме, патрулируемом, как во времена Тиберия, преторианцами и контролируемом Домицием Корбулоном, никто точно не знал, куда отправился император. И известие о молниеносно подавленном заговоре явилось внезапно, как ураган. Что вмешательство императора было невероятно стремительным, подтверждалось считанными днями с его отъезда из Рима до торжественных обрядов, выполненных арвальскими братьями в благодарность богам за спасение его жизни.

— Он сам её спас, — уточнял хладнокровный Каллист.

Впервые он был ошеломлён — и озабочен, — что ничего обо всём этом не знал. Но принял участие в публичном обряде с демонстративным волнением.

Сенатор Валерий Азиатик, уже искусно манипулировавший сотнями голосов в сенате, проходя по галереям курии, говорил своим сторонникам:

— Эти олухи погубили себя собственными руками. Как они могли подумать, что легионеры,

рискуя жизнью, пойдут за такими людьми, как Лепид и Гетулик?

И добавлял со злобным сарказмом:

— На некоторую дичь охотятся в чистом поле, со стрелами и собаками. Для другой, — он покачал головой, — нужно развести дым у входа в логово.

Милония тоже всё знала. И хотя она была беременна, а Альпы уже побелели, она сказала своему брату, что если вскоре ей не удастся добраться до императора, то лучше умереть. И Домицию Корбулону ничего не оставалось, как только сообщить императору, что опа едет в Лугдун. И вот Гай Цезарь, стоя у высокого дворца над рекой, увидел, как она вышла из тяжёлой галльской повозки для путешествий и взволнованно и осторожно, с некоторой неуверенностью ступила на землю. Он, как обычно окружённый трибунами и магистратами, побежал ей навстречу и обнял в том же приливе нежности, какую в детстве видел у своего отца по отношению к матери. Он сказал ей, что не может без неё, как его отец Германик не мог без Агриппины.

— Хочу, чтобы мы были рядом с тобой, — сказала она, употребив слово «мы».

У него перехватило дыхание.

На следующий день, на рассвете, он с каким-то

новым чувством посмотрел на Милонию, которая спала, утопив голову в подушки. Он не погладил её и не попытался разбудить, а только провёл двумя пальцами по пряди совершенно чёрных волос. Но она тут же проснулась, и он сказал:

— Пора вставать. Потому что сегодня я на тебе женюсь.

Известие о том, что четвёртая жена императора, мать наследника, — это сестра знаменитого военного трибуна Домиция Корбулона, к тому же происходящего из плебейского рода, а не дочь какого-нибудь влиятельного, но ненавистного сенатора, вызвало восторг во всех двадцати пяти легионах империи.

Так в Галлии, в Лугдуне, который потом мы назовём Лионом, родилась первая дочь императора, та, что была зачата, как в ритуале давних религий, на водах священного озера. Отец назвал её Юлия Друзилла, именем умершей сестры. Когда малышка появлялась на свет, он дрожал всем телом и ушёл далеко, ожидая и давая обеты, как какой-нибудь суеверный египетский крестьянин. Ему не удавалось прогнать из головы мысли о том, что случилось в Анции. Но на этот раз всё закончилось быстро и благополучно, и император почему-то решил послать на озеро

Неморенсис богатые дары Исиде, Богине-Матери, и её малышке, детской богине Бастит, священный символ которой — кошка с выгнутой спиной.

Северные горы и долины заволокло тучами, ехать было невозможно. Император, Милония и девочка провели в Лугдуне прекрасную зиму со спокойными ночами и искрящимся по утрам на солнце снегом. Император понял — хотя не мог никому сказать, — почему Тиберий считал жизнь в Риме до того ужасной, что не возвращался туда двенадцать лет.

Но боги хотели его возвращения. Оно состоялось к концу зимы, когда Альпы очистились от снега, и в Риме все заметили, что число следовавших с императором германских стражников удвоилось.

С первой же ночи в Риме на спинке кровати из золота и слоновой кости снова примостился бледный бог бессонницы.

— Я решил, — с наступлением дня сказал Милонии император, — позвать Манлия, который скоро приедет сюда. Хочу построить себе личную резиденцию, где не крутятся те, кого я не хочу видеть, а ты сможешь ходить куда захочешь по саду, где Юлия Друзилла будет свободно бегать, как все дети...

— О да, — вздрогнув, ответила Милония, обняла его, и он прижал её к себе.

— Мечтаю о часах, полностью принадлежащих мне, — сказал он ей, — как были у нас в Лугдуне.

— Да, там было прекрасно, — прошептала она, но её голос затих, так как сердце подсказало ей, что те дни уже не вернутся.

— Мне подумалось о вилле, которую Меценат подарил Августу. Манлий быстро приведёт её в порядок. Меценат был коллекционером, и внутри его виллы огромные пространства. Мне нравятся залы, где я мог бы развесить на стенах с подобающим освещением мои любимые картины. И, проходя мимо, я буду любоваться ими.

Так философ Филон Иудейский из Александрии, давно желавший встретиться с императором, наконец явился туда и был изумлён, увидев, что тот лично следит за отделочными работами. Рабочие устанавливали разделённые на квадратные ячейки окна, каких Филон никогда не видел: на них были не заделанные алебастром рамы, а лёгкие пластинки из «прозрачных кристаллов», то есть из редчайшего материала — стекла, которое изготавливали в печах Тира и привозили в Рим. В тот же день философ вошёл в залы с небом, солнцем, садами. Потом император быст-

ро перешёл в смежный павильон, где собирали картинную галерею. Для молодого императора, коллекционировавшего всевозможные произведения искусства, из разных городов империи и сопредельных царств присылали чудесные дары, стремясь угодить его вкусу.

Многие сенаторы уже пребывали в беспокойстве. Они боялись легионов Домиция Корбулона и столь щедро оплачиваемых преторианцев, которые могли мгновенно окружить курию. Однако некоторые настаивали, что на Юлия Цезаря напали именно в древней курии Помпея и ударили сзади, когда он стоял в окружении высоких особ, притворявшихся, что молят о снисхождении к одному изгнаннику. Никто из сторонников не пришёл Цезарю на помощь. Но другие сенаторы отвечали, что Август сурово отомстил за это убийство, уничтожив не только зачинщиков, но даже память о месте, где оно было совершено. Древняя курия была закрыта, и рядом Август специально построил величайшие в Риме общественные уборные.

Память о смерти Юлия Цезаря укоренилась и в Тиберии, который пожелал сделать себе в курии отдельное от всех кресло на возвышении. И Гай Цезарь решил, что ему следует сделать то же

самое. А поскольку сенаторы испытывали страх перед этими грозными, неподкупными, необщительными германцами-телохранителями, он начал злорадно окружать себя ими также и во время заседаний.

— Смотрите, — сказал сенатор Валерий Азиатик, с демонстративным отвращением выходя из курии, — в Риме уже не понять, кто тут враги — варвары или сенаторы.

С такими речами он пересёк широкий Римский Форум в сопровождении своих сторонников и клиентов, словно не замечая враждебного настроения толпы, которая медленно расступалась перед его слугами, чуть ли не задевая их в недружелюбном пренебрежении и давая проход лишь в последний момент, только потому, что приходилось. Но внимательные глаза Азиатика видели, что в этом опасном молчании достаточно одного призыва, одного крика, чтобы — при попустительстве преторианских когорт и бесстрастной неподвижности германцев — никому из тех, кто, подобно ему, носил на тоге почётную пурпурную сенаторскую кайму, не удалось бы живым перейти площадь.

НОЧИ В ВАТИКАНСКИХ САДАХ

Император уже не мог отказаться от спекуляторов, шпионов. Раньше он полагал, что они его защищают, но теперь обнаружил, что они стали для него самым безысходным мучением, какое только он мог применить к себе. Привыкшие к излишней активности со времён Тиберия, они с явной радостью протягивали ему какую-нибудь записку или шептали на ухо известия, от которых он бледнел. И однажды на стол ему попал точный и страшный донос: что сенатор Папинии и один юноша из знатной фамилии по имени Аниций Цериал затевают новый заговор.

«Сенаторская курия, — говорил Тиберий, — это заросшее крапивой поле: можешь выпалывать его, пока не сожжёшь руки, но среди травы крапива вырастет снова».

Как трава питала крапиву Тиберия, так физический страх, утрата привилегий и амбиции подпитывали интриги. И император — повзрослевший на три года с тех пор, как принял власть, — с холодной уверенностью приобретённого опыта велел тайно арестовать обоих обвиняемых, когда они были вдали от Рима. Под угрозой

пыток они, а особенно молодой Цериал, сломались, прежде чем за них действительно взялись.

— Это правда, — всхлипывая, признался он, — мы искали способ убить императора.

И, продолжая плакать, заявил, что оказался завлечён в эту подлую компанию по глупости.

— Я хотел убежать, — говорил Цериал, — но мне угрожали смертью. Защитите меня, — попросил он.

При этих словах юноша обнаружил, что стал для следователей неуязвимым и драгоценным. Ему пообещали не наказывать его, и он пошёл по пути, которым в последующие века с тем же корыстным рвением пойдут многие другие. На все вопросы он отвечал то, чего от него ожидали, предугадывая желания допрашивающих.

— Молодой Цериал, — сообщил старший из дознавателей, — перечислил по памяти имена шестидесяти шести человек. Это потрясающе, писцы устали записывать за ним.

Но было трудно — как будет трудно и в будущем — отделить истинные сведения от выдумок. Цериал войдёт в историю как один из самых губительных предателей ещё и потому, что в число обвинённых включил собственного отца, видного сенатора, к которому испытывал тайную

ненависть за неравные браки и неразделённое наследство.

— Это не просто заговорщики, это целое тайное общество, — сказал Домиций Корбулон, единственный, которого император посвятил в это дело.

И Гай Цезарь инстинктивно ответил:

— Полагаю, что многие из них просто много болтали, слишком много выпив.

Вскоре стало понятно, что молодой Цериал с ядовитой тонкостью назвал некоторых, чья очевидная невиновность вызвала сомнения и в виновности прочих.

Когда следователи потерпели фиаско, спекуляторы, оскорблённые в своём профессионализме, продемонстрировали, что знают своё дело. Они принесли неопровержимые улики против четверых или пятерых из обвинённых, и среди них против отца раскаявшегося юноши, а также против одного магистрата высшего ранга — квестора.

— Вот истинная суть всей истории, — рассудил Домиций Корбулон, глядя на предъявленные имена. — Остальное — дым. Он не дурак, этот молодой Цериал.

Император ничего не сказал. Он не чувствовал

никакого беспокойства, его душа состарилась. Он думал лишь, что достаточно одного его жеста, чтобы раздавить этих пятерых.

«Жалость, благоразумие, поиски согласия, терпимость здесь неуместны», — подумал он. И сказал дознавателям:

— Благодарю за службу.

Они смотрели на него, ожидая решения.

— Нужно какое-то время поразмыслить, — спокойным голосом проговорил император.

Когда они в смутном разочаровании уходили, ему на ум пришла одна фраза из древней истории — кто же её написал? — «Если обладаешь властью, ты должен сам защищать её». Потом, без всякой логики подумав о Милонии и малышке, Гай Цезарь ощутил, как отчаянно хочет жить. Ночью, оставшись наедине с самим собой, он решил заняться тем абсолютным аспектом жизни и смерти, который на Капри вызвал у него тошноту, когда тот садист-вольноотпущенник демонстрировал ему скалы на дне пропасти, куда Тиберий бросал приговорённых к смерти.

Император приказал глубокой ночью арестовать пятерых, привести их, какими найдут, полуодетыми, за реку, в сады нового Ватиканского цирка, туда, где много лет назад арестовали его

мать. Выбор этого места, столь неподходящего для суда, многим тем не менее показался мрачной данью памяти о том аресте. Собралась группа негодующих сенаторов, и, едва их головы прояснились ото сна, они увидели подходящий случай разогреть давнюю злобу и все вместе образовали нечто вроде стихийного суда.

— Допросите их, — велел император, — и осудите по римским законам.

Сам он удалился в сад, а сенаторы передали осуждённых в руки неумолимых германцев, быстро допросили всё ещё не пришедших в себя после ареста людей и устроили им очную ставку с обвинителями. Самым драматичным была встреча отца с сыном, которого отец считал всё ещё находящимся в Сицилии; оба много лет ненавидели друг друга. Всех приказали пытать и бичевать, а пуще остальных того, кого сообщники назвали главарём.

— Это квестор Бетилен Басс, — с удовлетворением сообщили императору.

Пока в ночи происходило всё это, император в одиночестве ходил по аллеям столь любимого когда-то парка. Он искал темноты, хотя и знал, что в этой темноте невидимо бдят десятки не ведающих усталости германцев. Он чувствовал,

как его обволакивает тоскливая безопасность, и вместе с тем ощущал, что некуда спрятать лицо. В тусклом свете факелов император подошёл к экседре и прошёл меж пустых скамеек.

В юности, вспоминая смерть отца, он испытывал такое опустошительное горе, что сказал себе: «Убийцы не представляют себе всей безмерности человеческих страданий, которые оставляют за собой их действия».

Тогда его душу переполняли светлые и мирные мечты, возвышенное желание облегчить страдания другим. Но теперь, извлёкши уроки из первых лет своего правления, он пришёл к убеждению, что никому нет дела до чужих страданий. Кого толкает демон власти, тот возвышенно и гордо остаётся глух к страданиям как одной беззащитной жертвы, так и сотен тысяч обречённых на смерть от голода при осаде какого-нибудь города. Бездны жестокости невообразимы. «Власть — это тигр».

Но теперь ему показалось, что голоса звучат слишком громко. Действительно, среди глухой римской ночи время от времени раздавался крик, смешиваясь с журчанием реки, поднявшейся от прошедших в верховьях дождей.

Кто-то кричал, и сначала ему показалось, что

этот кто-то хочет, чтобы его выслушали.

— Все тебя ненавидят, тебя и твоих близких, в трёх поколениях, проклятых!..

Но потом последовали вопли, и среди воплей как будто назывались какие-то имена. Император отошёл подальше.

А дознаватели не отступали:

— Говори!

Несчастный кричал от нестерпимой боли, и императору показалось, что он произнёс:

— Каллист...

Гай Цезарь замер от этого названного на допросе имени. Но дальше слышались одни лишь стоны.

Дознаватели, словно сами не желая, продолжали требовать:

— Имена, имена, все!

Человек хрипел, угрожал, просил:

— Помогите мне...

Просил или обвинял? Дознаватели не отставали, безразличные к державшему его палачу. Ноги несчастного сжали надёжными клещами. Человек кричал, рыдал, блевал.

— Имена, повтори все имена, — не отставали мучители.

Он корчился и кричал:

— Помоги мне, вырви меня отсюда... мы говорили целыми днями, а теперь я не вижу тебя здесь...

Император с леденящим чувством спросил себя, не притворяются ли дознаватели, что не понимают. Послышался громкий и отчётливый голос одного из сенаторов:

— Ещё.

Вопль жертвы долго не затихал, и, когда кончилось дыхание, несчастный взмолился:

— Убейте меня...

— Больше они ничего не знают, — заявил опытный палач, — больше ничего.

Но сам не знал, кого спасает своими словами.

— Казнить, — объявили приговор судьи и пошли вглубь экседры, где в темноте ждал император.

Он спросил, не различая лиц:

— Вы совершили суд?

Их голоса ответили утвердительно. Один из германских стражников поднял факел. Лица сенаторов были бледны, у одного на тоге виднелись следы крови. Император подумал, что в такие моменты Тиберий запирался в своих комнатах на вилле Юпитера и, возможно, не видел подобного. Крики вдали затихли. Сенатор в запачканной

тоге велел:

— Привести в исполнение немедленно.

Издали донёсся голос:

— Ты вспомнишь нас, когда придёт твой черёд!

— И тела не выдавать родственникам, — велел сенатор, — а бросить в реку.

Император как будто не слушал, и остальные притворились тоже. Но он чувствовал, как в душе лопнула злоба, словцо прорвало плотину. Сенека как-то сказал: «Человек сам не знает, что в нём таится, пока не придёт случай».

Никто не знал, где и каким образом проводил эту ночь двуличный Каллист. Со временем он обнаружит, что эти приговорённые к смерти были ему ближе, чем он думал. Но ещё до рассвета всем отрубили головы и их истерзанные трупы были с позором брошены в реку, туда, где быстро и бесследно всё поглотил водоворот. Вода бежала, кто-то ненадолго застрял в зарослях камыша, задержался под мостом, но потом мощное течение увлекло всех и унесло далеко, к мутному песчаному устью на Тирренском море. И больше не было риска, что кто-то заговорит.

Солдат подвёл императору Инцитата. Жеребец нервничал в темноте, и император с облегчени-

ем провёл рукой по его шее, чувствуя верность животного. Вскоре его окружили германцы на своих конях, высоких в холке, с мощными крупами и тяжёлыми копытами — стена, прибывшая с задунайских равнин. Среди них император проехал через реку по новому мосту, перекинувшемуся четырьмя пролётами от сердца Рима к грандиозному Ватиканскому цирку, и с горькой самоиронией подумал, что после торжественного открытия снова едет по нему в такую ночь.

За чёрными очертаниями римских пиний небо начало светлеть. Люди рядом с императором хранили бесстрастность — они прибыли из далёких земель, но не могли вернуться туда, где родились, потому что избрали путь войны против своих соплеменников. Самые безжалостные, преданные и сильные видели всё не так, как он, и теперь, хотя не понимали ни слова по-латыни, гордились тем, как закончилась эта ночь.

Они поднялись на Палатинский холм, и император подумал, как это ужасно — окружить себя среди собственного народа вооружёнными чужеземцами. Это и есть власть?

Он прошёл через зал с дожидавшимися его вольноотпущенниками и рабами, а также придворными и августианцами, изнурёнными

тревожным бдением, и даже не взглянул на Геликона, застывшего в углу атрия. Император вошёл в свою комнату и отпустил всех. Впервые Милония прошла к нему, когда её не звали, и закрылась с ним.

ЦЕЛЛА, ОДЕТАЯ ЗОЛОТОМ

Император скинул одежду, словно она была вся в грязи, но ему хотелось скинуть с себя и собственную кожу. Он бросился на кровать ничком, пряча глаза от света. Милония скользнула к нему и молча стала гладить по плечам и шее. Он надеялся скрыть, что вот-вот расплачется.

Тем временем в комнату проникли лучи величественного рассвета, а по городу разнеслось известие о казни со всеми подробностями безжалостных зверств. В нескольких знатных домах двери поспешно заперли в знак постыдного траура без похорон; с улицы на улицу переходили рассказы об ужасном ночном суде. Другие сенаторы, внезапно проснувшись, собирались испуганными кучками у ближайших друзей. Но пустая курия была заперта, пустынно было и обширное пространство форумов со всё ещё наполненными тенью портиками. На мощёных проходах между закрытыми дворцами раздавались тяжёлые шаги когорт Хереи и Сабина, что патрулировали город. Те, кто уже вышел на улицу, прятались у дверей и быстро шмыгали прочь, как в дни Тиберия. У всех входов в Палатинский

дворец стояли вооружённые германцы, бесчувственные и неподвижные, замкнувшиеся в своём чужеземном молчании.

Император чувствовал, как в окна проникает невыносимое молчание Рима. Лаская его, руки Милонии пытались согнать с кожи жуткие ощущения ночи; к боку прильнуло тепло её нежного тела. Гай Цезарь подумал: «Женщины не знают, как важны для мужчины их руки...»

Он хотел сказать ей это как молитву, но промолчал. И ощущал эти ласки, одну за другой, как единственное оставшееся ему физическое человеческое отношение.

И вдруг сказал себе, что публичное чтение тайных документов Тиберия было непоправимой ошибкой. Эта мысль вторглась в мозг с непоколебимой ясностью.

«Нужно было скрыть их и взять виновных по одному, тихо. Искусство, которым Тиберий сокрушил популяров».

Но через мгновение он сказал себе, что не смог бы, потому что сенаторы подавляющим большинством голосовали за эти узаконенные убийства.

«Кого же я должен был убить, а кого помиловать?»

Ласки начали мешать. И почти тут же Гай Це-

зарь почувствовал, как Милония убрала руки и накрыла его лёгкой простыней. Он не шелохнулся. Всё равно ошибку не исправить. Кто в тот день услышал собственное имя, никогда не успокоится.

«Неустранимая ошибка, рождённая молодостью: я верил, что мои страдания, моё чувство справедливости, моё глупое прощение увлекут сенаторов за мной. Но чужие страдания рождают только страх мести или неловкое чувство, что нужно вмешаться». Ошибки, которые неизвестно где проявятся, как морские волны, что бьют наугад. После того сорванного заговора в Галлии Гальба сказал:

— Глупцы сами себя уничтожают.

Но пока он смеялся, оставшиеся в живых тихо заменили павших. Как в мифе о Гидре: головы вырастали вновь быстрее, чем их рубил меч. Сенат был мягким, испуганным, оцепеневшим телом какого-то невиданного коварного животного, которое каждое утро шло, чтобы притаиться в курии, и время от времени, неудовлетворённое, смертельно кусалось.

Даже сообразительнейший Каллист впал в это заблуждение.

«Но действительно ли это была с его стороны

ошибка?»

С того момента Каллист, по сути дела, стал всемогущим — и единственным во всей империи — посредником между испуганными, молящими о прощении виновниками и разгневанным императором.

«А как справлялись с властью бывшие до меня — Юлий Цезарь, Август, Марк Антоний, Тиберий и та единственная женщина, львица среди тигров, Клеопатра?»

Августу удавалось успокаивать шестисотголовую гидру более сорока лет. Он построил вокруг себя невидимую крепость: законы, приказы, соглашения, запреты, союзы, гарантии, надзор. Всё, что станет через века высшей школой правления. И никто в истории так не олицетворял трансцендентную, духовную неизбежность власти, как его совершенно спокойные, мирные изображения, в которых ни с одной точки не удаётся поймать его истинный взгляд. Кого он звал к себе в советники? Этих немногих личных друзей, не имевших власти, которых в Риме звали «группой двадцати»?[61] Но за всю его жизнь, до смерти, у него было только двое советников — Марк Агриппа и

[61] Примечания: 61

В совет при Августе входили двадцать сенаторов по жребию — по-видимому, речь идёт о них.

ужасная Ливия.

У Юлия Цезаря не было никого, и его убили прямо в курии, на глазах у всех. За столько лет, проведённых здесь, просыпался ли он каждое утро с мыслью о смерти? И всё же судьба : посылала ему предупреждения: однажды у него вызвала подозрение хмурая бледность Кассия.

«Ты верил, что тебя убьют: тебя не любили. Отношения между тобой, имеющим власть, и всеми остальными не были человеческими отношениями».

Какой-то древний тиран ходил по улицам и тавернам переодетый, чтобы узнать, что люди на самом деле думают о нём. Гай Цезарь зарылся лицом в подушку. «Власть — это тигр, — в отчаянии сказал он себе, — но тигр, укрывшийся на скале среди лая окруживших его псов».

С закрытыми глазами он стал искать ту далёкую-далёкую темноту, где когда-то исчезла тень его отца. Отец говорил с ним или ему казалось, что его мысли встречаются с чем-то по ту сторону смерти.

«Сколько времени ты держал в себе это предзнаменование? Ты это имел в виду, когда говорил со мной и взял за руку?»

«В храме Аб-ду в центре огромного некрополя,

— говорил саисский жрец, — есть одна подземная целла внизу не знаю которой лестницы, потому что храм, где мы ходили, был построен на фундаментах шести более древних храмов, один на другом. Лестница спускается до самого дна, до первоначального храма, построенного, когда люди ещё не знали письменности. Там, внизу, находится крохотная целла, вся покрытая изнутри золотом, как саркофаг одного из фар-хаоуи, но без надписей, потому что мёртвые уже не могут читать. И там ты должен зажечь свою тусклую лампу, после чего целла вдруг начёт отбрасывать свет — на пол, на стены, тебе на голову. И ты бросишь в лампу, чтобы сгорели зёрна благовония, состав которого знает только фар-хаоуи. И умершие, которых ты любишь, явятся, — обещал жрец, — оттуда, где они сейчас, они пройдут сквозь стены, потому что любят свет и вожделеют этого запаха. Но ты никогда не сможешь их увидеть, а сможешь лишь услышать их дыхание вокруг, когда они будут пить свет и страстно вдыхать аромат благовония. Тогда ты сможешь задать им вопросы, но очень тихо. И вопросы должны быть короткими, потому что мёртвые пришли издалека и устали. Но ты никогда не услышишь их голоса. Их ответы — только любовные вздохи,

которые касаются твоего уха и вдруг проникают в твой ум, как будто это твои собственные мысли.

Не поддавайся этим чарам, потому что если, к несчастью, ты задержишься там до прихода дня, мёртвые в отчаянии пропадут и у тебя не останется надежды кого-либо вызвать. В определённое время ты сам узнаешь, что должен попрощаться с ними, хотя это и разрывает тебе сердце. Дай сгореть последнему кусочку благовония, а потом возьми лампу и лёгким дуновением погаси её. Потом в темноте, с погашенной лампой, остывающей у тебя в руках, найди на ощупь дверь и выйди, и поднимись по ста двадцати ступеням первой лестницы, пока утренняя заря не осветила пески».

Но действительно ли старый жрец говорил всё это? Или воспоминания смешались с его тревожными снами?

Император ворочался в постели, думая, что он один, а уже давно настал день, и на него, склонившись, смотрела Милония.

Он взволнованно начал говорить:

— Мы вдвоём... — но прервался, потому что она вдруг обняла его и прижалась к его груди.

Он чувствовал кожей её лицо, и Милония казалась маленькой и такой нежной, что он погладил

её по голове и тоже прижал к себе. Она в самом деле маленькая, подумал он, эта единственная душа, действительно любящая его, и так крепко.

Милония подняла глаза под копной ещё не причёсанных волос и в полной тишине, всегда царящей в императорских дворцах, когда все думают, что императору удалось уснуть, прошептала:

— Ты сказал «мы»... ты и я...

Он с нежностью посмотрел на неё и не смог понять, что это местоимение было для неё головокружительным, было признанием, что, отдаваясь ему столь горячо и полностью, она проникла в него и укоренилась там.

Но Милония никогда не разговаривала — за неё говорили её глаза, волосы и руки. Император обнял её и прижал к себе так, что она вскрикнула и чуть не задохнулась. А он повторил в утренней тишине:

— Я и ты, мы вдвоём, поедем в Египет...

— О... — выдохнула Милония.

— Я сейчас думал. Я не спал. От этой тишины, что поддерживается вокруг, никакого толку.

Он не признался, что эта мысль: «Подальше от Рима», — проникла ему в голову, как в темнице узнику приходит идея о бегстве, а вместо этого

сказал:

— В Египте помнят моего отца, и то, что он сделал, и как расстался с жизнью.

И пообещал:

— Мы поедем туда, куда ездили Марк Антоний с Клеопатрой. В Юнит-Тентор.

Он не сказал трепетавшей в его объятиях женщине, о чём были его долгие и печальные мысли. А ночью спрашивал себя, что останется от потока идей, рождённых в эти годы. Говорил себе, что приходится постоянно бросать камни на страшные чаши весов, но он остаётся один, а чаши — неподвижными.

Под конец своего первого года правления, открыв, что власти нужны когти, он сказал себе: «Нужно писать. Но письмена хрупки: одно движение — и они в огне».

Стояла весна, и в последние часы ночи пел соловей. Гай слушал с закрытыми глазами, пока тот не замолк. Он думал, что, возможно, Август запечатлел свою историю в бронзе и мраморе после таких вот мыслей, и пообещал себе: «Я оставлю письмена на камне храмов, как древние фар-хаоуи».

В ту ночь родился его грандиозный египетский проект. И, как он догадывался, ни один историк

никогда не расскажет о нём — только камень.

Погладив женщину по голове, император сказал:

— Я видел храм Юнит-Тентор с моим отцом.

Германик тогда прошептал: «Это целая библиотека из камня...» На обширных гранитных поверхностях — на стенах, потолках, капителях с изображением богини Хатор, створках и проёмах дверей — были высечены вся история, наука, египетские таинства, головокружительная череда образов без единого промежутка хотя бы с ладонь.

Император продолжал:

— Я видел вокруг хема ниши, где когда-то хранились ритуальные принадлежности: золото, электр, благовония, музыкальные инструменты, священные одежды. Но эти ниши обвалились и опустели, там осталась только память — высеченные на стенах письмена. Жрецы открыли для нас каменные люки, и мы спустились в подземелье и увидели там надписи пятнадцативековой давности. Нам сказали, что внутри огромных пилонов высечены маленькие углубления, покрытые другими тайными письменами, такими древними, что в некоторых упоминается имя фар-хаоуи Мерири. Во время вторжения Августа

их замуровал и, и больше никто не знает, где их найти. Однако они там. Жрецы говорили, что их найдут через много-много веков.

Милония слушала, и в голове у неё билась одна мысль: «Уехать с ним из Рима, подальше от этих дворцов с тысячами дверей, где на каждом шагу встречаешь перешептывающихся сенаторов и их женщин, которые колют тебя ненавидящими взглядами».

Император вспомнил, как жрец из Юнит-Тентора посоветовал Германику: «Оставайся здесь», — и не понял, было ли это предложением или предостережением.

В душу Гая Цезаря запало это воспоминание, и он сказал Милонии:

— Я велел установить в Юнит-Тенторе памятник моему отцу — огромный зал с двадцатью четырьмя колоннами, подпирающими потолок. И велел, чтобы там высекли на века историю Юлия Цезаря и Клеопатры, а также их сына, предательски убитого Августом. А теперь мы вдвоём вернёмся туда.

Милония едва заметно дрожала, и император, прижав к себе всё её тело, спросил, не замёрзла ли она. Она отрицательно покачала головой и не сказала, что, если чувства её не обманывают, в

Юнит-Тенторе может родиться второй ребёнок римского императора.

— Мы поднимемся вверх по Нилу, — мечтал император, помня про Юлия Цезаря, спросившего Клеопатру, сколько источников питают эту реку и где рождается с начала времён бесконечное течение её вод, потому что ничто и никогда не вызывало у него такого страстного желания узнать ответ. — Мы высадимся на острове Фи-лак, — пообещал он. — Храм Исиды кажется каменным кораблём на реке под сверкающим небом. А вокруг два гранитных берега и пустыня, рыжая, как лев. Но портик, куда ты ступишь, сойдя на берег, не достроен, и я велел его достроить. И велел высечь там моё имя.

VII
ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ ДЕНЬ ЯНВАРЯ В ЗАЛЕ ИСИДЫ



Власть — это тигр, спрятавшийся на скале.

ТОНКОЕ ИСКУССТВО ДЕЗИНФОРМАЦИИ

«Как мы ошиблись в тот мартовский день, — думал сенатор Валерий Азиатик, глядя на своих возбуждённо спорящих друзей. — Мы поверили слову этого грубияна и пьяницы Сертория Макрона, что манипулировать “мальчишкой” будет легко. За этот просчёт Макрон поплатился жизнью, а если так пойдёт и дальше, то поплатимся и мы».

Он сидел отдельно от других и со злобной ясностью, как напишет один историк, анализировал про себя действия императора, области его активности, многообразие его интересов.

«Поездка в Галлию, чтобы уничтожить Гетулика... Германские охранники — живая крепость... Злосчастные документы Тиберия, оглашённые таким образом: некоторые из нас настолько ненавистны в народе, что прибывают в курию, закрывшись в лектике плотной занавеской, потому что больше не смеют показываться на форумах, а другие схоронились в деревне. А он разъезжает верхом, как варвар, и за свои четыре года проехал

больше, чем иные за двадцать. Проскакал верхом по всему побережью от Рима до Регия. Запугал знать и чиновников хуже Тиберия. Разослал послов за все границы — и хвастает, что мы нигде не воюем, ни одной войны от Рейнадо Евфрата... За четыре года, всего четыре... Его ум — кошмарная мастерская. Он начал все коварные реформы, которых популяры просили двадцать лет... Этот фригийский колпак, отчеканенный на монетах, — он опьянил римлян, дав им возможность голосовать. А когда умер один сенатор — а все мы не молоды, — его место заняла варварская морда, еле говорящая на латыни. Он изменил моду в одежде. Свёл с ума молодёжь — она вся за него».

При каждом воспоминании возвращалась глубокая боль. «Ему всего двадцать девять...» И с тихим страхом Азиатик заключил: «Если империя станет такой, как он хочет, от того, что мы имеем сегодня, не останется ничего».

Но его ясный ум понимал, что нападение на молодого императора всё ещё заключает в себе неприемлемый риск.

Сенатор встал и присоединился к группе других.

— Мы теряем время, — заявил он, и голос его, как удар топора, прекратил бессвязные и нере-

алистичные рассуждения его сторонников. — Римляне любят своего императора; это глупая и опасная любовь невежественной черни.

Как настоящий садист, он на время оставил слушателей в удручённом молчании, после чего сказал:

— Пожалуйста, обратите внимание на мои слова. Его истинная защита — не германцы, а римский народ.

Все смотрели на Валерия Азиатика, понимая, что сказанное им — правда, и их охватил страх. Но он улыбнулся, и его деморализованные сторонники поняли, что эта улыбка предвещает новую, незнакомую стратегию.

И действительно, Азиатик сказал:

— Нам нужно дать понять римлянам, что он не тот человек, каким они представляют его в своей простоте. Приведу вам пример. — Он оглядел всех, как учитель непонятливых учеников. — Вечернее заседание, обсуждение этого его закона о контроле над общественными расходами. Я не присутствовал. Но вы вышли из курии разъярёнными. Что он сказал там в точности?

Каждый день всё более подозрительный и утомлённый напряжением император заявлял, что, если произвести в сенаторы его коня Инцитата,

в оценке проблем тот превзойдёт иных знатных отцов. Острота, от которой хохотала чернь. Сенаторы же были возмущены этим оскорблением, потому что какие-то конюхи в насмешку возложили на круп императорского коня сенаторские знаки отличия. Но Азиатик вкрадчиво сказал:

— Он сказал, что его прекрасный конь... Превосходно. Объясним римлянам, что они зря смеются. Скажем, что тут не до шуток. Рим в опасности. «Мальчишка» в Палатинском дворце временами впадает в безумие: он действительно хочет возвести в сенаторы своего коня.

Все посмотрели на него в глубоком изумлении, а он, как всегда по-отечески, посоветовал:

— Попробуйте, попробуйте...

Так и сделали. Когда один из них вышел с притворным беспокойством в портики Форума, чтобы рассказать, что ум императора после той известной лихорадки всё больше помрачается и уже находится в опасном состоянии — до того, что он действительно хочет избрать в сенаторы коня, — то обнаружил, что многие поражённо его слушают. Азиатик превосходно знал, что самые невероятные выдумки имеют свойство тут же вызывать доверие. Но никто в те дни — даже Азиатик, автор этой выдумки, — не ожидал, что

она попадёт в исторические тексты.

Успех рассказа разбудил фантазию.

— Высмеивать противника — древнее искусство, — терпеливо вдалбливал в головы сенаторов Азиатик. — Вместо того чтобы горевать, перечитайте Аристофана, сходите в театр, посмотрите сатирические постановки.

К этому искусству будет прибегать в веках бесконечный ряд подражателей.

Так, кто-то припомнил, что император женился на Милонии в Лугдуне, когда она была уже на большом сроке беременности. При рождении ребёнка он говорил, что счастлив, а поскольку не мог удержаться от шуток, на поздравления отвечал, что сделал эту чудесную девочку за три месяца.

— Вот и подтверждение, — усмехнулся Азиатик в группе сторонников. — Его ум помрачился: он заявляет, что творит чудеса, считает себя чуть ли не богом.

А поскольку Рим был — и, возможно, останется ещё на какое-то время — городом не граждан, а подданных, где конструктивным дискуссиям предпочитают бессмысленные сплетни, история разошлась по всем дорогам.

— И потом, эта его жена...

Милония была дочерью трибуна Домиция Корбулона, и многие с трудом выносили это опасное родство.

— Сами видите, она не так уж красива, и на три года его старше. Она завлекла его, опоила приворотными зельями.

И после этих разговоров разошёлся страшный слух, что — по известному определению Цицерона — во дворце живёт могущественнейшая ведьма.

Секстий Сатурнин, имевший знакомства с женщинами из императорских апартаментов, заявил, что ведьма, похоже, снова забеременела. И все обратили на это особое внимание, так как беременность означала, что проклятый род производит наследника власти.

— Это не точно; женщины говорят, что ведьма ещё ничего не сказала даже ему...

И вот, понимая, что, если попытка переворота удастся, у ненавистной фамилии не должно остаться наследников, в термах и других местах про рождённую в галльском Лугдуне девочку начали рассказывать:

— Похожа на него! И тот же лютый характер: рабыни говорят, что, играя с другими детьми, она царапает их и норовит ткнуть пальцами в глаза.

Но девочка, которой в своё время размозжат голову о стену, родилась зимой 39 года по нашему календарю, и, когда её убили в 41-м, ей было от силы тринадцать месяцев. Спрашивается, кого и как она могла поцарапать? Тем не менее легенда, направленная на то, чтобы убить в народе жалость, и подхваченная Светонием, пустила корни.

Анний Виниций — великий соперник Азиатика, которому недавно с завистью уступил верховенство среди оптиматов, — предложил:

— Давайте поговорим о серьёзных вещах. Римляне ходят по новому четырёхпролётному мосту, построенному императором, и видят трибуны нового Ватиканского цирка, возведённого по его воле; стоят, задрав голову, перед обелиском, воздвигнутым им, гуляют по портикам Исиды, спроектированным им. Учёные толпятся в библиотеках, и люди говорят, что дороги никогда не были так чисты и так хорошо вымощены. Римляне с великой гордостью поднимаются по новому пандусу с форумов к Палатинскому дворцу и говорят, что в Риме за эти три года построено больше, чем за двадцать три при Тиберии.

А поскольку благородные дела врага вызывают большую ненависть, чем кровавые злодейства,

Виниций злобно заключил:

— Чем ответить на это?

Азиатик, слушавший Виниция с терпением давней неприязни, вздохнул:

— Скажи, что всеми этими безответственными безумствами он опустошил казну и теперь денег не хватает даже на закупку зерна.

Все одобрили такое предложение, а он продолжил:

— Помните государственные расходы на мост через залив в Путеолах?

Поскольку важнейший торговый порт в Путеолах заносило песком, императорские инженеры построили новый мол невиданной формы: они опустили в море опалубки и корпуса старых кораблей, заполненные песком с путеоланской пылью — смесью, которая быстро схватывается в воде, — и установили мощные быки, разбивающие волны, в то время как промежутки позволяли вымывать песок в море. А на быках установили грубый настил, сделав нечто вроде длинного моста.

— «Мальчишка» торжественно открыл его, проехав по нему верхом. Народ смотрел, разинув рот, а он шутил над старым пророчеством Фрасилла. Помните? Фрасилл сказал Тиберию, что

этот «мальчишка» скорее переедет верхом через залив из Путеол в Байю, чем станет императором. Так вот: объясним, что он велел сделать из кораблей мост, уничтожив половину флота, чтобы продемонстрировать верность пророчества.

— А особенно напомним про поход в Британию, — продолжал Азиатик. — «Мальчишка» послал три легиона к северному морю, а потом отвёл назад без единого сражения. Никогда с римскими легионами не случалось такого позора.

Все посмотрели на него в замешательстве, потому что после кровавых и не приведших к окончательному результату походов Юлия Цезаря, Августа и Тиберия мир на опасном острове, населённом бриттами, воспринимался с явным облегчением. Некоторые заговорщики пробормотали:

— Этого лучше не касаться.

Но Азиатик заявил:

— Этот мир порождён нашей трусостью. Это продукт слабоумия, и народ должен это понять. «Мальчишка» сказал, что собрал на побережье мускулы, наши самые мощные осадные машины, которые за три дня разрушают город, как будто собирался вторгнуться в Британию, верно? Но не забывайте, что на нашем славном языке ракушки

называются так же.

Он рассмеялся.

Слушавшие его были сбиты с толку, но он сказал правду. Musculi специальный термин, употребляемый военными писателями Вегецием, Гелием, даже Юлием Цезарем на блестящей латыни в его «Записках о Галльской войне», — совпадал со словом musculi, означающим «вкусные моллюски в раковинах».

Азиатик всё смеялся.

— Скажите людям, что они не поняли: «мальчишка» послал легионы собирать на пляже ракушки. — Он изобразил серьёзную озабоченность. — Его рассудок разрушается.

И все рассмеялись.

НОЧИ ПОСЛЕДНЕЙ ЗИМЫ

Стояла зима. С тёмного неба на крыши неспокойного города быстро опускалась темнота. А императору казалось, что все глаза в Риме уставились на окна и лоджии его поначалу крепко полюбившегося, а теперь невыносимого дворца, подсматривая за светом, гадая, что там происходит. Из всех окружающих холмов Палатин выделялся ориентиром, а для многих он стал зримым объектом ненависти.

— Ночью слишком долго царит темнота, — прошептал Геликон.

Он тосковал по небу Египта, считал месяцы, отделявшие Рим от ясных, благоуханных весенних ночей.

Но император, несмотря на травяные настои и таинственные хмельные напитки своих врачей, вечер за вечером всё больше мучился от стойкой неспособности уснуть. С наступлением темноты начинался страшный внутренний диалог; как звери, скопившиеся в загоне, толпились все погибшие за последние месяцы, неуловимые враги, тревога о будущем. Как наваждение, рядом, в нескольких шагах, был проклятый дом Новер-

ки. Оскорбительно уже само то, что он так и не разрушил его.

Личные покои императора всё больше превращались в остров одиночества. За дверью постоянно дежурили германцы и преторианцы Хереи. Император приходил и, прежде чем попытаться заснуть, накрепко запирал дверь. Он ждал восхода ленивого зимнего солнца, в одиночестве лёжа на кровати. Но иногда среди ночи вставал и вдруг направлялся, будя стражу и рабов, в комнаты Милонии, которая не смела нарушать его одиночества и вошла в императорские покои единственный раз — в ту страшную ночь после Ватиканских садов.

Император заходил в её комнату, где дверь была всегда приоткрыта и в углу коптила тусклая лампа, падал на её постель и обнимал её, как когда-то обнимал мать. И чувствовал, что щёки её мокры от слёз. Он ласкал её, прижимался к ней всем телом и шептал:

— Дай мне моего маленького императора.

И она отдавалась ему с податливой девственной невинностью.

В другие ночи этой зимы он накидывал плащ и выходил в темноту лоджии. Император знал, что Геликон спит, забившись в какой-нибудь

угол за дверью, и находил его там — так рядом с хозяином проводит ночь верная собака. Он смотрел на египтянина, стараясь не нарушить его тяжёлый сон, потом возвращался и бросался на своё безнадёжно пустое ложе.

Но вечером следующего дня, как только молчаливые слуги начинали мельтешить в его чудесных залах, зажигая канделябры, лампы, светильники, он тревожно гадал, что будет делать в тёмные часы. И с безнадёжной неясной улыбкой спрашивал:

— Какие у вас идеи на эту ночь?

Он знал, что десятки людей, мужчин и женщин, порочно красивых и испорченных, ждут момента, чтобы предложить ему всё новые зрелища и игры, разнузданные и бесстыдные. Греховное забытьё продолжалось несколько часов, и он бросался в него, как субурские рабы предавались пьянству на празднике Дианы.

Потом, как освобождение, приходил проблеск света в окне, и император велел распахнуть его, чтобы впустить прохладу и погасить светильники. Он глубоко вдыхал, глядя на рассвет, а полуголые женщины и мальчики, хихикая, дрожали среди подушек. И пока он из задымлённого зала смотрел на утешительный свет утра, его че-

ресчур искушённые компаньоны наблюдали за ним, видели его набрякшие веки, его колебания, уйти или остаться, его нежелание отвечать на вопросы...

Он смотрел на восход, как узник, перед которым открыли дверь. Свет нёс в себе часы созидания, важные встречи с преданными сторонниками, бодрые послания из провинций, послов из дружественных стран, людей, захваченных его юношескими мечтами, с которыми он строил будущий мир. Друзья, приезжавшие из дальних земель, видели в нём своего бога, благосклонного к их надеждам, — воздух Рима не отравил их. Наоборот, они испытывали почтение к ужасному Риму, были безоружны и простодушны. Они не замечали сенаторских интриг, которые поздним утром разворачивались вокруг курии. Своими восторженными глазами они видели власть только в императоре.

Но он уже знал, что внутри пуст, как бронзовые статуи Тиберия. Он ощущал осаду этих шестисот умов, знал, что может рассчитывать на очень немногих, чувствовал, что кое-кто из его смертельных врагов сумел заслать своих людей в сокровенный круг обитателей его дома.

Но когда он однажды в отчаянии заговорил об

этом с Каллистом, рассудительный грек спокойно заметил:

— Такое случается всегда. Такова цена славы. — И было непонятно, то ли он говорит это из злобы, то ли для развлечения, то ли тут кроется какая-то давняя месть. — Посмотри на Египет, Август. Клео, наша величайшая царица, для Рима была всего лишь шлюшкой. Наш таинственный Геликон говорит (я-то сам не придаю этому значения), что сокол Гор, и Сфинкс, и змей Урей — это духовные идеи, такие высокие, что слов здесь не хватает. Но греческие философы и римские сенаторы сказали, что Египет поклоняется зверям и что это варварская страна. А почему они так сказали? Потому что Риму было стыдно разорять древнюю культуру этой земли. Теперь мишенью стали мы — ты, Август. Как-то вечером ты поцеловал в шею эту красавицу Нимфидию и в шутку сказал ей: «Подумать только, как легко её сломать...», а они разнесли это как угрозу, якобы ты запугиваешь гостей.

Император ничего не ответил, и Каллист, зная, что ранил его, вернулся к Геликону.

— Не существует поступка, который бы не извратили словами. Есть такая шутка: если враг говорит, что сейчас ночь, нужно тут же возразить.

Но другие замечают, что сейчас действительно ночь. Тогда ты отвечаешь, что враг сказал это слишком рано, или слишком поздно, или слишком громко и напугал тебя, или слишком тихо, и ты не расслышал. Если и это звучит неправдоподобно, ты всегда можешь доказать, что враг сказал это в каких-то своих тайных целях — чтобы назначить свидание некой женщине или чтобы напомнить какому-нибудь наёмному убийце, что в темноте нужно кого-то зарезать. В любом случае под конец твой враг будет не прав и покажется чудовищем. Слова, что сейчас ночь, банальны; история же о том, что этими словами твой противник хотел злодейски убить какого-то сенатора, впечатлит всех. Судьи и историки предпочтут вторую версию, а не первую.

И со смехом он удалился.

Император никак не отреагировал на это. Ему вспомнился тот день на террасе на Капри, когда Каллист, ныне такой влиятельный, прошёл перед ним в наряде презренного раба, неся вазу. Навалилась страшная усталость. Власть утекала из рук, как вода.

Геликон, который день ото дня казался всё более испуганным и растерянным, шепнул ему:

— Страшно подумать, что напишут о нас через

триста лет.

Эти слова говорил Друз в один из последних вечеров, закрывая свой дневник. Кажется, бедный Залевк как-то сказал, цитируя философа, что, когда ум полон воспоминаниями, это знак близкой смерти?

Между тем Геликон инфантильно заговорил совсем о другом. Что напишут, сказал он, о кремах, придающих шелковистость женской коже или мягкую, как свет, волнистость их волосам, когда у самих историков никогда не было подобных женщин? Что напишут о сложнейших соусах великого Апиция, вызывающих ненасытное чревоугодие, когда самим не дано их попробовать? Или о нескольких каплях талого снега, будящих чашу старого вина среди летней сонливости? А о мягкой неге сирийских постелей? Как они опишут изящество в одежде?

Император слушал с улыбкой, говоря себе, что для Геликона все чудеса жизни заключаются в этих маленьких примерах. Он просто ребёнок, этот Геликон.

Но тот, наконец, спросил:

— А что напишут о твоём плане установления мира?

И императора охватила тревога: их новый мир

был хрупок, он мог раствориться, вытечь без боли, как кровь из разрезанной вены. Они сами и память о них были в руках неизвестных, возможно, ещё не рождённых людей.

— Я боюсь писателей, — сказал Геликон, словно поймав его мысли. — Они слушают свидетельства о действительных событиях, но потом складывают все вместе по своему вкусу: одно замолчат, о другом наговорят лишнего. Потом придут другие писатели, прочтут всё написанное первыми, снова все перетолкуют и перепишут по-своему. И так далее, и так далее. Греки и римляне столько всякого написали про Египет, но я видел, что они превратили всё в небылицы.

— Ты прав, — ответил император. — Посмотри.

На столике у него торчали из футляров лёгкие папирусные свитки — самые первые копии знаменитых трудов Криспа Саллюстия: «Югурта», «Катилина», «Истории»...

Саллюстий был родом из Амитерна, в Риме у него была роскошная резиденция, грандиозный музей редчайших скульптур, названный Horti Sallustiani, Сады Саллюстия. Но все говорили, что ему удалось собрать такую красоту только потому, что, будучи правителем провинции Африка, он с крайним цинизмом награбил себе добра.

Но он был также несравненным писателем и большим другом Августа. В честь завоевания Египта — и чтобы покрасоваться перед Августом — Саллюстий построил невиданную балюстраду из редкого восточного мрамора с египетскими сфинксами и гирляндами из листьев акантуса, предвосхитив за восемнадцать веков наполеоновский стиль Retour d'Egypte[62].

— И всё же, — проговорил император, — во всех его прекрасных писаниях не найдёшь ни слова, повторяю, ни слова об опустошительных грабежах по всему Нилу, о множестве истощённых людей, которые, как я видел с отцом, в мучениях умирали в портиках Александрии.

Стало быть, откуда взяться правде в писаниях какого-нибудь историка? Сколько сознательной или бессознательной лжи бесконтрольно попадало — как чернила на лист папируса — в отобранные им слова?

---

[62] Примечания: 62
Возвращение из Египта *(фр.)*.

DAMNATIO MEMORIAE

В последние дни ноября было холодно.

Валерий Азиатик думал со всё возрастающей тревогой: «Ему нет и тридцати. Сколько ещё нам его терпеть? Он не стар, как Тиберий, а мы каждый день ждём известия о его смерти. Он с каждым днём набирается опыта, его ум действует. Через несколько лет, а то и месяцев уже никто не сможет его свалить, а от сената, от древних фамилий ничего не останется».

Эти тревоги то обострялись, то успокаивались в зависимости от известий о каких-то колдовских императорских ночах.

«Там и правда происходит нечто неописуемое... — подумал Азиатик, но сведения были смутными, фантастичными, неточными, и он твёрдо решил. — Момент настал. Сейчас или никогда».

Сенатор осторожно собрал у себя на загородной вилле немногих верных сторонников, объявив обед с изысканной дичью. Но на скромной вилле бродило лишь несколько старых, преданных и глуховатых семейных рабов, а руководила ими неподкупная кормилица Азиатика. И вот, когда появилось деревенское блюдо с куропатками

в соусе и обычное минтурнское вино, горячий, только что из печи хлеб, первые оливки и домашние пастушьи сыры, двери триклиния закрылись, и гости пришли к выводу, что обслуживать себя придётся самим. Все напряглись, по спине забегали мурашки, так как то, что раньше только ожидалось, теперь становилось явью: неумолимое свидание со смертью.

Но тема была такой страшной и опасной, что несколько мгновений никто не смел её коснуться, и все шёпотом обменивались банальностями да бросали косые взгляды друг на друга, разделывая жирных куропаток, доставленных с холмов Корфиния. Все думали об этом молодом человеке, оставшемся в одиночестве в императорских покоях, вокруг которого уже кружила смерть, как выпущенный на ночь в сад волкодав.

Наконец Валерий Азиатик объявил, застав всех врасплох:

— Скоро настанет очень важный момент. Потому я вас и созвал.

Тихий, бесстрашный и твёрдый голос ножом вошёл в их мысли. Азиатик посмотрел, как все жуют с набитыми ртами, и проговорил:

— Не будем строить иллюзий: у нас нет времени пировать.

Все оторвались от тарелок, поспешно глотая. А он предрёк:

— В эти первые часы популяры будут оглушены внезапностью. Над нами не будет никакой власти, никто не сможет нам помешать. Мы скоро снова соберёмся. И не успеет остыть его тело, как мы вынесем приговор damnatio.

Damnatio memoriae — осуждение, отмена памяти о человеке и его делах в истории на будущие века — было для римского сената самым мстительным и необратимым, почти магическим политическим оружием после физической смерти.

Куропатки остались на тарелках. Азиатик приказал:

— Скоро во всём Риме должен воцариться страх. Ваши слуги, клиенты, субурский сброд выйдут на улицы, станут колотить статуи, разбивать мемориальные доски. От него не должно остаться ничего, абсолютно ничего. Действуйте быстро, пока люди не поняли, пока кто-нибудь не придёт и не скажет: «Ладно, хватит!»

Все в едином порыве согласились.

— Никому не дадим времени, — с напором заверил Сатурнин. — Рим должен забыть, как один человек, бесстыдно поставив на колени

сенаторов у своих ног, смог сделать то, что сделал. Запретим его имя, надписи, статуи. Как будто он и не рождался.

Сатурнин что-то записал в маленьком кодексе, бросил взгляд на прочих и, поскольку уже успел выпить, заорал:

— Начнём с его дворца! С зала, где звучит эта проклятая музыка, кузница чар. Закроем его, замуруем, похороним, построим на его месте что-нибудь другое!

Заговорщики посмотрели на него в нерешительности, некоторые даже сочли его буйным и опасным экстремистом. Но Азиатик подумал, что не стоит его сдерживать. В ситуациях, подобных зарождающейся, слепое буйство убедительнее разговоров.

А Сатурнин продолжал перечислять:

— Криптопортик с этой картой империи, переделанной на его манер, заполним обломками и мусором, а потом этот обелиск в Ватиканском цирке — повалим его, стащим верёвками...

В своё время римляне в изумлении судачили о долгом пути, совершенном этим огромным монументом, спустившимся по Нилу, пересёкшим Средиземное море и поднявшимся по Тибру до подножия Ватиканского холма. У многотысяч-

ной толпы захватило дух, когда мокрые канаты медленно натянулись и устремили в небо гигантскую стелу со шпилем из электра. Писатель Кливий Руф, тогда следивший за этим зрелищем с учащённо бьющимся сердцем, спросил:

— А почему обелиск?

— Интересно, почему ты спрашиваешь? — обернулся к нему уже накачавшийся вином Сатурнин, размахивая своим кодексом. — Кого ты собираешься защищать? Кто твои тайные друзья?

Кто был рядом, увидели, что кроме памятников в его книжечке перечислены имена: это было не только уничтожение прошлого, но ещё и чистка. Все испугались, и никто не посмел возразить.

Но неожиданно вмешался Азиатик:

— Обелиск не надо. Пусть остаётся. Это символ подавления Египетского бунта. И Август тоже, помните, установил памятник. Но поменьше...

Сатурнина обескуражила твёрдость Азиатика, но он быстро нашёл другую цель:

— Баржа, на которой привезли этот обелиск из Египта, не может оставаться близ Рима, Это колдовство. Наполним её камнями, потопим!

Словно бросая собаке кость, Азиатик не стал возражать:

— Потопим.

Но он согласился так поспешно, поскольку ему пришло на ум, что эта длиннющая баржа может послужить кое-чему, чего пока никто не предвидел.

Потом её оттащат в новый порт в Остии — будущий порт Клавдий — и там утопят, чтобы укрепить мол. В тех краях Азиатик владел землями, которые от нового порта значительно повысились в цене.

Сатурнин продолжал бушевать, размахивая своим кодексом.

— Этот египетский храм, эта отрава в сердце Рима! Когда прохожу мимо, я содрогаюсь. Бросим всё в реку!.. В дни Юлия Цезаря тоже был храм Исиды, и какой страх он сеял среди римлян! Помните, как консулу Эмилию Павлу пришлось самому взобраться на крышу и собственными руками рубить её топором, пока снизу кричали, что египетские маги вызовут молнию, чтобы поразить его?

Он ещё выпил и закричал:

— Но крыша рухнула. А этот, — никто из них не называл императора, — этот построил храм впятеро больше. И мы разрушим его до последнего камня. Римляне проснутся и ничего не найдут на том месте, где видели его раньше.

Его разрушительная ярость заражала других. Азиатик предвидел, что разорение храма Исиды в сердце Рима толкнёт римский плебс в водоворот бесчинств, вызванных нетерпимостью и предрассудками, — то есть на весьма полезные дела. И с благодушной улыбкой выразил согласие.

Люди действительно начали жечь древние папирусы, опустошать залы, опрокидывать статуи, сбрасывать в реку трупы жрецов вместе с культовыми принадлежностями.

А Сатурнин сказал:

— Помещение, где египетские жрецы дымили своими ядовитыми благовониями, этот алтарь из бронзы и золота с мудрёными знаками, — всё это ужасная магия. Нужно скорее взять его, разбить на мелкие кусочки, расплавить в печи, пока кто-нибудь не припрятал...

Он пил и посматривал в свои записи.

— Эта его несчастная речь в первый день, которой все вы даже аплодировали, и мы по глупости выставили её на плите на Капитолии...

Азиатик успокоил его:

— Пошлём туда четырёх рабочих с кувалдами. Они быстро превратят эту плиту в пыль.

Тут вмешался интриган Анний Виниций, который после крушения неуклюжего заговора в

Галлии скрывал своё злобное разочарование:

— Главное, не нужно забывать про записи, дневники, книги. Заберём их из библиотек, изымем из лавок вроде той, что близ храма Мира. И всё нужно сжечь.

Азиатик горячо одобрил его слова:

— Это важнее, чем сбросить плиты.

Он поискал глазами писателя Кливия Руфа и сладким голосом сказал ему:

— А ты, Кливий, любишь писать, и у тебя есть время на это, так, пожалуйста, напиши. Через несколько лет не останется никого, кто бы рассказал, как мы натерпелись от его злоупотреблений и произвола. А если, как говорит Сенека, в какой-нибудь библиотеке найдут твоё повествование, будущие историки скажут: «Это настоящий свидетель, он сам находился там в эти дни». И все узнают, как мы спасли Рим.

Тут Сатурнин оторвался от своих записей и закричал заплетающимся от вина языком:

— А эти его огромные корабли на озере Неморенсис, эти колдовские строения, что двигаются без вёсел и парусов, памятник разрушения империи!..

Азиатик без колебаний согласился:

— Пошлём туда охрану. Никто не сможет при-

близиться. И всё быстро выбросим — статуи, культовые принадлежности, утопим жрецов, заполним корпуса камнями, сделаем пробоины: пусть идёт ко дну.

Этот сенатор Азиатик умел говорить немногословно, но выразительно, и все заметили, как на сей раз он в злобе опустился до подробностей.

— Этого архитектора скоро выгонят из Мизен, а там посмотрим, что с ним делать.

Азиатик дальновидно предполагал, что крепкие корабли ца воде — это не только памятник: они также поддерживали мечту. Пока он говорил, перед ним показался сенатор Марк Ваниций, который сам вынашивал схожие проекты, — умный союзник в стремлении к власти, грозный противник в её дележе.

Ваниций с присущим ему высокомерием вмешался:

— Ты говоришь, как очистить дом, но мы забываем закрыть двери.

Его сторонники засмеялись, и сенатор Азиатик подумал, что зря они смеются, так как этим выдают себя. Но это были проблемы будущего, а пока Марк Ваниций продолжал:

— Восточные границы империи были разорваны в клочья, а мы не занимаемся этим...

Азиатик спокойно ответил:

— Советую вам, учитывая, что мы объединились, сейчас же решить, кого пошлём с приказом. Предлагаю Луция Марса. Я долго разговаривал с ним. Это железный человек, он из марсиканских горцев, двадцать пять лет в легионах. Предлагаю отправить его тайно сейчас же. А когда настанет момент, все обнаружат, что он уже в Антиохии.

Толпа выслушала его, и предложение тут же приняли. Кое-кто подумал об идущих в руки должностях, о возвращении земель и огромной, неподотчётной власти.

Азиатик сказал:

— Вот что сделаем: этому Полемону, литератору, которого сейчас зовут понтийским царём, позволим выбрать самому, куда отправиться в изгнание, чтобы в тишине писать стихи.

Все засмеялись, и, постепенно расслабившись, один за другим, люди развалились на ложах в триклинии, стали есть куропаток с оливками и пить вино. Но на изысканном обеде не слышалось болтовни — здесь принимались суровые стратегические решения.

Полемон, царь-стихотворец, действительно будет изгнан за границу. О себе он оставит эпиграмму, скрытую меж страниц «Палатинской

антологии»: «Смотри, этот череп был высочайшей крепостью души, оболочкой ума, который убили. Он говорит тебе: пей, веселись, укрась себя цветами. Потому, что ты тоже станешь пустой оболочкой, и очень скоро».

Валерий Азиатик поднял кубок.

— Этим набатейским арабам, что один за другим берут себе имя Харифат, царям тех мест, — хватит им давить на наши границы, всех выгоним обратно в пустыню. Там, в пустыне, много места.

Все рассмеялись. Вскоре легионы в самом деле займут Петру чудесный город, вырытый в скалах из порфира и песчаника, — и выгонят последнего набатейского царя в северные пустыни, а Набатейское царство станет провинцией Аравия.

Один проект влёк за собой другой.

— И все эти царьки в Коммагене, Армении, Эмесе, Эдессе...

— Успокойся, разберёмся с ними по одному, — спокойно пообещал Азиатик. — Это будет нетрудно. У них нет военной силы, одна болтовня.

Мелкие безоружные царьки действительно в тревоге соберутся в Тиверии, чтобы решить, что делать. Но легат Сирии — а им станет тот самый

Луций Марс — объявит, что у Рима нет времени присутствовать на династических сборищах, и пошлёт всех по домам.

Тут Азиатик посоветовал:

— Ирода Агриппу Иудейского пока не трогайте, — а на протесты Марка Ваниция улыбнулся: — Его подданные помешались на независимости. А нам пока нет нужды разжигать там войну.

Он снова улыбнулся:

— Мне сказали, что он болен...

Ирод Агриппа — как в предзнаменование — укрепит Иерусалим, начнёт строить вокруг третье кольцо стен. Но не закончит, потому что Азиатик был верно осведомлён о его здоровье. Вскоре его настигнет смерть, в цезарейском театре во время визита нового императора. Иудея станет римской провинцией. Двадцать пять лет спустя последует страшная осада Иерусалима и побоища Тита. Но это в далёком будущем, а пока заговорщики видели, как после стольких тревог, неясности и страха в руки идёт власть. Так караван после перехода через бескрайнюю пустыню видит над песками зелёные очертания пальм.

— Остаётся открытой единственная часть, и она не закроется никогда — на реке Евфрат, где живут парфяне. Не будем строить иллюзий

только потому, что их царь пересёк реку, чтобы поприветствовать наших послов. Там будут говорить исключительно легионы.

Все выразили согласие, а Марк Ваниций встал и сказал с властной твёрдостью:

— Тот, кто поднимется в Палатинский дворец, попадёт туда потому, что так захотели мы. И должен помнить это. Он должен притормозить и отменить все эти безумные законы и земельные реформы. В первый же день, всё сразу. Чтобы никто не успел ничего сказать.

Его голос звучал громко и нагло, и Азиатик решил, что это опасный союзник. А когда все встали и стали расправлять торжественные складки на тогах, он задержал их и тихим голосом сказал, что вообще они говорили всё правильно, вот только не обсудили, как лишить жизни этого человека, а ведь пока он дышит, все их разговоры остаются мечтами.

БОГАТСТВО КАЛЛИСТА

В ту зиму Каллист уже считал себя могущественным и относил это на счёт своего гениального ума. Он, некогда выставленный на знаменитом рынке рабов на острове Делос и купленный, как лошадь, теперь распоряжался и внушал страх людям, чьи предки разрушили Карфаген.

За несколько лет, защищённый доверием императора, он сумел собрать неизмеримые богатства. Это сомнительное богатство родилось из бесконтрольного административного грабежа, из купленных приговоров, выкупов за военные поставки и общественные работы, за ремонт дорог и акведуков, даже за восстановление городов, опустошённых землетрясениями или наводнениями. Однако этот долгий грабёж начал выходить за рамки имперских финансов, и его скандальное богатство вызывало алчность других придворных. А когда его могущество зашаталось, он ещё не понял, что любой может легко нанести ему смертельный удар.

Однажды утром в начале декабря под нежарким солнцем сенатор Валерий Азиатик, сидя в

тиши своего перистиля[63], у фонтана с драгоценнейшим лазуритовым дном, сказал:

— Этот грек мнит себя неуязвимым, так как весь покрыт золотом.

Перед ним, пониже, как слуга, сидел историк Кливий Руф, которому было рекомендовано описать эти дни. Оторвав зелёный лист, он уронил его в фонтан и ответил:

— Этот грек не понимает, что, если бросить в фонтан лист, он поплывёт, видишь? Но если бросить золотую монету, — он бросил, — она утонет.

Монета лежала на дне фонтана среди лениво плавающих вокруг рыбок.

— Может быть, ты смог бы с ним поговорить, Кливий. Для начала скажи, что тревожишься о нём, а до тебя дошли слухи...

Могущественный Каллист, выслушав скромного писателя Кливия Руфа, будто провалился в преисподнюю. После ночи терзаний и мучительных дум ему стало ясно, что предупреждение было сделано не из братской любви. Он понял, что нужно срочно найти новых сильных покровителей, готовых не замечать его прошлого, если взамен он сможет дать им то, чего они попросят.

---

[63] Примечания: 63
Перистиль — двор, окружённый колоннадой.

Между тем Азиатик понял из слов смущённого Руфа, что Каллист никак не отреагировал на угрозу. И это был явный знак, что человека, столь близкого к императору, можно пошантажировать.

— Богатство — опасное искушение для тех, кто не родится в роскоши или, по крайней мере, не имеет к ней привычки, — проговорил Азиатик, вызвав взрыв недоброго смеха у своих наиболее верных сторонников. — Жажда золота ослепляет.

Кливий Руф снова нанёс визит Каллисту и с сочувствием дал ему понять, что некоторые враги ищут улик, касающихся сомнительных способов получения им денег. Грек побледнел под цвет желтоватого мрамора, как в своё время, когда открыл документы Тиберия, однако осторожно спросил:

— Зачем ты мне это говоришь?

Ошеломлённый Кливий растерялся.

— Палач, что пытал Бетилена Басса, — продолжал Каллист, — признался мне, что Бетилен в ту ночь в Ватиканских садах назвал многие имена. Палач не знал, кто эти люди, и другие свидетели могли не понять, о ком он говорит.

Кливий Руф передал Азиатику странный, по его

мнению, ответ Каллиста, но Азиатик, выбравший этого неопытного посланника, чтобы его чистосердечие казалось убедительнее, уловил в этом ответе яд. Он знал, что той ночью в Ватиканских садах было много свидетелей, и не сегодня, так завтра они вновь обретут память.

— Предупреди этого грека, — злобно прошептал он, — что небезопасно жить, нося за спиной секреты.

Поскольку Каллист посылал большие суммы денег в далёкие от Рима места, сенатор посоветовал:

— Скажи ему, что золото можно спрятать под землёй, но сам он не спрячется.

Тогда Каллист — бывшего жалкого раба угроза лишиться богатств пугала сильнее, чем угроза для жизни, — ответил, что благодарит сенатора за его заботу. И добавил те же слова, что за несколько лет до того передал на Капри молодому Гаю Цезарю:

— Прошу вспомнить обо мне, когда настанет момент.

Так Каллист и Валерий Азиатик оказались связаны неразрывной цепью. Оба знали, что союзник втайне готов послать его насмерть, и смерть ужасную — такую, какую принял Бетилен

Басс. Но поскольку оба хранили свои секреты в надёжных местах, теперь ничто не могло их разделить. И обоим спасёт жизнь смерть императора.

Тиберий был прав и дальновиден, опасаясь Каллиста, тогда молодого и безоружного. «Гадина ещё только вылупляется из яйца», — говорил он. А теперь этот грек стал искать сообщников в семье Цезарей, то есть среди людей, ежедневно бывающих в императорских дворцах. В конечном итоге он искал тех, кто сможет ослабить охрану императора.

В своё время, при избрании Гая Цезаря, работая вместе с Серторием Макроном, он хорошо узнал эти механизмы и теперь осторожно проверял одного из двух префектов преторианских когорт, Корнелия Сабина, бывшего гладиатора, которого император лично приблизил к себе. Несмотря на огромный долг признательности, тот не испугался и не возмутился, догадавшись об очередном заговоре. Уже все видели, сколь многие решения императора сделали многих его врагами, так что победа последних была вполне вероятна.

И Сабин выразил свои интересы теми же словами, что и Серторий Макрон во времена Тиберия:

— Если император умрёт, мне достанется в

лучшем случае несколько легионов на границе с Парфией, если вообще останусь в живых.

Но грек был гораздо хитрее его, и Сабин, своими словами выдавший себя, оказался неразрывно связанным с ним. Каллист милостиво пообещал ему признание как надёжному человеку, с которым они захватят власть.

Такого же надёжного и признательного человека Каллист увидел в пожилом Клавдии, дяде императора, латинисте и этрускологе, всю жизнь не вылезавшем из библиотеки. Слегка прихрамывающий, он также пользовался славой безобидного дурачка. Клавдий придумал три новые буквы для латинского алфавита, которые все нашли совершенно излишними. Он также написал труды об Этрурии, Карфагене и первых веках Рима. Дядя императора был катастрофически беззащитен перед женскими чарами и имел за свою жизнь двух или трёх красивых и сварливых жён. Все смеялись над его неловкостью, с которой он неизменно приставал к молодым иноземным рабыням и изумлённым супругам своих самых близких друзей. Именно этот человек не доставит проблем — на сей раз гарантированно — сенаторам и, как символ никчёмности и лёгкой управляемости, предоставит власть на откуп

двум постоянным фракциям, на которые сенат делился уже почти сто лет.

Будущее докажет правильность расчётов Каллиста. Он накрепко привязал к себе старого Клавдия в тот день, когда шепнул ему, словно в приливе доверия:

— Твоего племянника Гая Цезаря уже одолевают подозрения ко всем. Даже к тебе. Он думает отравить тебя.

Грек подождал, пока старик прочувствует весь ужас своего положения, а потом вселил в него чудесную надежду, сказав, что «если кому-нибудь удастся освободить Рим от этого чудовища», единственный, кто сможет стать императором, — это он, Клавдий, благородный и ничем не запятнанный потомок славной фамилии.

— Но обещай мне, что ты ни вздохом не выдашь всего этого. Одно твоё слово — и все мы погибли.

Старик пообещал. И Каллисту удалось сохранить этот договор в абсолютной тайне, чтобы иметь эту карту про запас.

Но самой грубой и жестокой частью замысла — которую нужно было не только выполнить, но подготовить незаметно и осуществить с беспощадной быстротой — было физическое устранение императора. Поистине страшно вооб-

разить, что будет с ними всеми, если император спасётся или успеет позвать своих верных и безжалостных германцев.

— Риск велик, — холодно сказал товарищам Валерий Азиатик. — Помните историю Бетилена: слишком долгое ожидание приводит к нарушению тайны.

Решили поспешить, и Каллист неожиданно нашёл подходящего исполнителя в лице первого префекта преторианских когорт, самого старого и самого верного офицера, следящего за самыми деликатными функциями охраны и потому способного справиться с задачей лучше любого другого. Его звали Кассий Херея — тот самый, что тремя годами раньше вручил Каллисту роковую записку Сертория Макрона.

Херея был человеком решительным, старой закалки, мужественным, физически крепким и очень сильным; он не поддерживал, а, скорее всего, просто не понимал придворных сплетен и шуток. Утончённо хитрый Каллист смеялся над ним, придумывал каламбуры с его именем, а когда тот злился, говорил ему, что не стоит горячиться, так как это оскорбительное прозвище придумал сам император. В результате человек, в своё время доказавший императору свою полную

собачью верность, почувствовал себя обиженным и слепо вступил в заговор. А Каллист про себя смеялся над бесполезными предосторожностями императора, разделившего между двумя людьми такую власть и исключительно важную обязанность.

ЖРЕЦ ИЗ ХРАМА ИСИДЫ В ЮНИТ-ТЕНТОРЕ

В те январские дни, несмотря на зимнее море, в порту Остии высадился человек, тайно посланный с тревожным известием из храма в Юнит-Тенторе, где молодой император велел расписать огромные плиты магической астрономией. Этого человека звали Аполлоний, и он был жрецом. Но Каллист догадался перехватить этот спешный визит, и именно ему — человеку, известному на всю империю своей постоянной близостью к императору, — жрец Аполлоний доверил тревожное пророчество, прочитанное в расположении звёзд.

— Смерть ходит совсем рядом с императором, — заявил он с горестной уверенностью. — Ему нужно остерегаться человека по имени Кассий.

Тревога жреца была столь велика, что достигла и других ушей. Каллисту не удалось устроить так, чтобы это известие не попало на уже печально известный личный стол императора. Император прочёл его ранним январским вечером, в то время как Каллист молча стоял перед ним.

Заговорщики в залах дворца трепетали. Иные могли бы поверить в истинность пророчеств, но эти люди не сомневались в шпионском доносе.

В атмосфере панического страха Валерий Азиатик решил:

— Больше ждать нельзя.

Жизнь им спас Каллист, который, видя, что молчание вызывает яростные подозрения в голове императора, вмешался:

— Мне пришла в голову мысль.

Император посмотрел на него, и тот выдержал взгляд светлых глаз.

— Мысль, кто может быть этот предатель.

Император всё смотрел на него, и Каллист, прекрасно знавший все шестерёнки власти, с мгновенной фантазией предположил, что объектом этого пророчества является человек, наделённый большими полномочиями, — легат в Азии.

— Его зовут Гай Кассий. В его жилах течёт кровь того Кассия Лонгина, который заколол Юлия Цезаря. У них фамильная традиция участвовать в заговорах и лютая ненависть к вашей династии.

Он говорил с убедительной твёрдостью, ледяным голосом, покрывшись желтоватой бледностью. И добавил, словно обвиняя себя в

небрежности:

— Прежде всего нужно сместить его. Нужно послать людей, чтобы его арестовали и привезли в Рим в цепях.

Тут же, холодной январской ночью, с молниеносной скоростью императорских посланий был отдан приказ арестовать этого ничего не ведающего невинного человека.

Анний Виниций шепнул с жестокой иронией:

— Кони могут скакать быстро, корабли могут поймать попутный ветер, но расстояние велико: боги дают нам время на завершение замысла.

Азиатик предсказал со своей обычной улыбкой:

— Самым счастливым человеком в мире при известии, что «мальчишка» убит, будет этот Кассий, доставленный в Рим в цепях.

И никто не напомнил, что в тесном пространстве императорских дворцов обитает первый префект преторианцев, для которого все двери открыты днём и ночью, и что имя его Кассий Херея. А боги притупили память императора.

Наступило время праздника — в императорских дворцах устраивали Палатинские игры. В зале, который мы назовём залом Исиды, перед двором и друзьями императора давались изящ-

ные представления с танцами и мимами. Во дворце царила радостная суета.

Заговорщики сбились тесным кружком.

— Апартаменты полны людей, мы можем свободно передвигаться, — заметил Сатурнин.

И все единодушно решили войти внутрь.

— Никто в городе ничего не узнает, пока мы сами не скажем... А если придётся разгонять толпу, есть хорошо защищённое место.

Но удобный момент ещё не наступил, а празднования заканчивались на следующий день — двадцать четвёртого января.

В этот последний вечер измученный бессонницей император отдыхал в своих покоях, когда к нему пришёл молодой Геликон, бледный, несмотря на оливковую смуглость щёк. Припав на одно колено, он поцеловал императору руку и прошептал:

— Мне нечего сказать тебе, Август...

Император чувствовал его губы у себя на коже.

— Но я слышал, что из Юнит-Тентора приехал человек. В Юнит-Тенторе говорят боги. — Он поднял глаза. — Не бойся чересчур, Август. Он не утверждает, что ты должен умереть. Он только сказал, что смерть ходит рядом. Ходит, понимаешь? То есть он объявил, что мы можем её

остановить...

Геликон, не вставая с колена, судорожно сжимал руку Гая Цезаря.

— Понятно, — сказал император, сам не ведая, почему так ответил. — Я привёл в готовность моих германцев, предупредил Херею.

Он встал и высвободил руку.

— Как только закончатся эти праздники, мы снова все увидимся.

Гай Цезарь быстро повернулся, и Геликон, всё ещё стоя на колене, смотрел, как он уходит широкими шагами в тесном и уже постоянном окружении непреодолимого эскорта слепо преданных ему германцев. Подумав, что император под надёжной охраной, юноша попытался отогнать навязчивые мысли.

Почти в этот же самый момент среди заговорщиков вдруг появился молодой племянник сенатора Валерия Азиатика и, торжествуя, с горящими глазами объявил, что трибун Домиций Корбулон, «брат этой проклятой ведьмы Милонии, сделавшийся хозяином Рима за её постельные заслуги», неожиданно отправился в Мизены. Как в своё время Германик в Антиохии, император остался один.

ЯНВАРСКОЕ УТРО

Он проснулся ещё затемно — на ночь он оставил щёлочку в ставнях и не до конца задвинул шторы, — один в комнате, в хрупкой тишине, полной пугающих теней. Император никого не позвал, не издал ни звука, а просто лежал с закрытыми глазами. Тишина ничем не нарушалась, и он поднял веки.

Начинался день. Всё так же один, не позвав слуг, император встал и нашёл Геликона, примостившегося на тюфяке сразу за дверью. Юноша резко проснулся и стал вставать. Император погладил его по голове, по коротко остриженным блестящим волосам, как собачонку по спине.

Геликон схватил его руку, приложил к щеке и с любовью поцеловал.

— Этот человек из Юнит-Тентора... — прошептал он. — Мне страшно.

Император улыбнулся ему:

— Приходи ко мне под вечер с этими проектами по Египту, обсудим...

Спускаясь по лестнице, он вдруг решил зайти к Милонии и маленькой дочурке Друзилле, в комнаты своей новой семьи, обретённой после

того, как старую листок за листком всю ощипала смерть до полного одиночества на Капри. Семья, островок его абсолютно личной жизни, пристанище свободных человеческих чувств, без помех, без тревог, без лицемерия, — закрытый от всех чудесный садик. На новой вилле в самом деле появился такой садик. «Пардес», как говорили персы. А мы будем говорить «парадиз».

Девочка узнала его, засмеялась и попросилась на руки. И это тоже была абсолютная любовь. Пока он играл с дочкой, за спиной появилась Милония, удивлённая и обрадованная его приходом, так как он не появлялся уже два дня. Обняв его, она прошептала:

— Мне сказали, что будет мальчик, это написано в звёздах... Он родится под знаком Девы, как ты.

Гай Цезарь резко обернулся и посмотрел на неё, затаив дыхание, так как ещё ничего не знал. Но ей казалось, что она уже много сказала, и она замолчала. Он подумал, что это самое полное счастье, доступное ему в данный момент во всей империи. Счастье, которого не было ни у Августа, ни у Тиберия, — наследник власти.

Но Милония, пока он в порыве чувств обнимал её, после своего счастливого молчания прошеп-

тала:

— Прошу тебя подумать об имени. Мне сказали, что имя долго искали среди звёзд, но ничего не смогли прочесть...

Внезапно ощутив холод, он разжал объятия и пообещал: — Скажу тебе завтра.

А выйдя из комнаты, позвал Каллиста.

— Хочу сейчас же встретиться со жрецом из Юнит-Тентора.

Но Каллист, мгновенно посуровев, посоветовал ему не нарушать тревожным разговором безмятежность праздника и не посылать гонца в Рим из-за каких-то слухов. И император, поколебавшись, решил:

— Поговорю с ним завтра.

Он не заметил, как бледные губы Каллиста тронула едва заметная улыбка.

ЗАЛ ИСИДЫ

— Ах! — с безумной радостью воскликнул молоденький мим Мнестер, очаровательный любимец публики.

Исполняя в новом зале Исиды бесконечно чувственный танец, он то изгибал, то резко выпрямлял своё стройное тело, словно натягивая гибкий лук со стрелой.

— Это место задумано богами, чтобы пустить меня в танец!

Тяжёлые канделябры вдоль стен и свисавшие с потолка бронзовые светильники с десятками ламп освещали мягким светом позолоту стен, апсиды и свод чудесного зала, который мы — найдя через две тысячи лет — назовём залом Исиды.

С египетской мудростью посвящённый музыке и танцам, зал был весь покрыт фресками таких цветов, что следовали один за другим и мягко сливались в гармонии, как аккорды арфы: изумрудный персик, розовый рассвет, сероватый жемчуг, жёлтые цветы дрока. Ни одного мазка, нарушавшего совершенство агрессивным оттенком, как хлопнувшая дверь среди музыки. На потолке ни одной прямой линии: все черты

имели форму длинных лент, переплетающихся с эллинским изяществом, — цвета и формы, которые барочное искусство вновь повторит через девятнадцать веков. На стенах, разделённых на квадраты, были изображены бескрайние пейзажи, уходящие к самому горизонту под ярким светом, где виднелись мифические символы ритуала Исиды с маленькими тонкими фигурками, как позвякивание золотых систров под звуки флейт.

В зале не было ничего, кроме сидений для приглашённых и приподнятой сцены напротив апсиды, и он был задуман так, чтобы охватывать звуки и возвращать их слушателям посеребрёнными, с примесью лёгкой вибрации. Уравновешенные размеры пространства, смешение цветов, гармоничные звуки инструментов и голосов, тела танцоров, ароматы, освещение заставляли душу скользить в блаженном состоянии сна, отчего сенатор Сатурнин и заорал: «Там, внутри, творят ворожбу!»

Запыхавшиеся надзиратели предупредили Мнестера, что сейчас прибудет император со свитой, и мим тут же, набросив на голые плечи плащ, с лёгким вскриком юркнул в дверь в глубине зала.

В этот январский день император для начала выбрал «Laureolus»[64] — сочинение знаменитого мимографа Валерия Катулла. Под дикую звукоподражательную музыку появились знаменитые мимы, переодетые разбойниками, царями, зверями, чтобы поведать историю о злом разбойнике, жадном к богатству, который кончил свою жизнь, отданный на съедение диким зверям. Представление было наполовину детским, наполовину жутким: мимы нарядились медведями, пантерами и тиграми, которые, притворяясь, что кусаются и царапаются, танцевали вокруг голого, беззащитного, трепещущего тела приговорённого.

Император любил аллегорическую фантазию пантомимических спектаклей, которые выражали всевозможные чувства через одни, движения тела, и всем казалось, что он в весёлом настроении, без злых мыслей, хотя по дворцу расползалась история посланника из Юнит-Тентора. В перерыве император встал, поприветствовал друзей и раздал подарки (его дары были всегда утончённо оригинальны, придуманы с безотчётным стремлением вызывать любовь) — редких

---

[64] Примечания: 64
Имя мифического разбойника Лавреола.

птиц из провинции Азия в маленьких клетках, сплетённых из тонких золотых прутьев, потом предложил креплённые вином соки экзотических фруктов, только что привезённых по морю из провинции Африка.

— Вернулся верный Ирод Иудейский, — насмешливо прошептал Азиатик. — Такое впечатление, что он царствует в Риме, а не у себя в стране.

Между тем Ирод приблизился к императору с чашей в руке, и все решили, что сейчас последует здравица. Но вместо этого он прошептал:

— Что удалось узнать насчёт этого послания из Юнит-Тентора?

На шее он упрямо носил знаменитую золотую цепь.

Император оглянулся на окружавших его гостей и улыбнулся.

— Ты говорил, что тоже знаешь: власть — это тигр...

— Власть — это ты, — страстно ответил Ирод.

— Тигр, загнанный на скалу, — проговорил император и снова оглядел гостей, которые улыбались ему и обменивались улыбками между собой. — А вокруг лают псы.

Он отпил глоток и продолжил, видя, как по

лицу Ирода разлился страх:

— А вдали верхом приближаются охотники. — Он передал чашу слуге. — Давай присядем.

Он ласкал взглядом свою дочь, которая смеялась на руках у кормилицы.

На втором представлении из глубины сцены появился Мнестер, босой, обнажённый, в одной узенькой набедренной повязке из золотистой ткани. Его чувственная, бесстыдная красота волновала самых суровых матрон, а у сенаторов и магистратов учащалось дыхание от желания и зависти. Рим был полон смутных слухов о балах, на которых эти танцы выходили за пределы мыслимого, о причудливой любви за огромные деньги, о разрывах, отчаянии и ярости.

Мнестер выбежал на середину зала и остановился. От искусного освещения лучи скользили по его коже, как вода, грудь вздымалась взволнованным дыханием, узкая набедренная повязка словно сползала с гладких бёдер. Но император, пока все смотрели на танцора, вдруг отвернулся, словно сзади его кто-то позвал. На самом деле зов послышался лишь в его мыслях, но трудно понять предостережения богов. Он бросил взгляд на Каллиста, и тот вздрогнул. Император заметил, как побледнел грек, — так же побледнел Брут

под взглядом Юлия Цезаря, но это не вызвало у императора никаких догадок. Глаза его ума были слепы.

Мнестер танцевал. Мелькали тонкие смуглые лодыжки, пятки били по настилу, как призыв. Руки с растопыренными пальцами скользили по коже, сладострастно лаская тело; затаив дыхание, сенаторы, магистраты, чиновники смотрели на беспокойные пальцы, ныряющие под набедренную повязку. А танцор, никого не видя, зажмурившись, приоткрыв губы, отдался демону своего солипсического восторга. Он тряс головой, чёрные волосы, длинные и блестящие, выбились из-под ленты и разметались по плечам.

По бокам от него в полумраке двигались танцоры с окрашенными в зеленоватый цвет волосами и руками, волнообразные движения их тел и кисейных одежд напоминали качающийся под ветром лес, а позади стояли музыканты, приехавшие из Внутренней Азии. Звуки, коллективные движения, тревожное и отчаянно чувственное подрагивание тела Мнестера представляли собой колдовство желания, от которого танцор не мог избавиться, и погружали публику в гипнотическую атмосферу.

Музыка ускорялась и становилась громче,

дёрганье становилось всё более настойчивым и двусмысленным, тело Мнестера изгибалось в мучительном наслаждении. Наконец, пока его прекрасные нервные руки терзали набедренную повязку, он ничком упал на ковёр, дёргаясь. Перед ним, согласно обычаям того времени, поднялся лёгкий шёлковый занавес, расписанный фигурами нимф, и показалось, что нимфы поднимают его на руки.

Зрители замерли на своих местах и сумели зааплодировать только через несколько мгновений.

Но в эту паузу император ощутил приступы боли в животе.

— Фрукты с вином... — прошептал он.

Боль обострилась. Император встал и жестом велел друзьям оставаться на местах, но Милония всё равно встала. Он шепнул ей, чтобы села и не тревожила гостей, и она молча повиновалась, как девочка, хотя в душе была не согласна. Выходя, он видел, как её тёмные глаза продолжают следить за ним, и подумал, что говорил с ней слишком сурово. На миг у него возникло чувство вины. А Милония подумала: «Я ничего не могу. Но если так, верю, что хотела бы умереть».

Император пересёк свой любимый зал, и тут

же, как обычно, его окружила германская стража. На ходу бросив взгляд вокруг, он подумал: «В этом зале мне удалось заточить свет. Люди будут видеть его через века после меня».

Каллист тоже встал и скользнул к императору.

— Не следовало мне пить, — тихо сказал ему Гай Цезарь. — Теперь нужно лечь в тёплую ванну и что-нибудь съесть.

Таковы были советы врачей. Каллист тревожно смотрел на него, слушал и ничего не говорил. Чувствуя неослабевающую боль, император поднял руку в знакомом жесте, которым пользовался, когда хотел всех отпустить и уйти в сопровождении охраны. Каллист остался сзади. Некоторые испугались этого ухода, предположив, что император решил встретиться с Аполлонием из Юнит-Тентора. Кассий Херея и Корнелий Сабин — два префекта, командовавшие преторианскими когортами, — один за другим двинулись из зала. Никто не обратил на это внимания, поскольку их обязанностью было надзирать за всем. По одному через выход в глубине зала удалились и некоторые другие важные персоны, всадники и сенаторы.

Тут император вспомнил, что в спектакле уже без его присутствия должны показать танцы

юношей из далёкой Вифинии, и сказал:

— Наш умиротворённый Восток. Они заслужили, чтобы с ними хотя бы поздоровались.

Впервые велев германскому эскорту подождать снаружи, император свернул в длинный криптопортик — построенную Манлием изящную галерею с каменной картой империи, — чтобы встретиться с теми молодыми артистами.

Кассий Херея и Сабин, издали следившие за его передвижениями, видели, как он зашёл в слабо освещённое помещение, а также с удивлением констатировали, что германская охрана не последовала за ним. Император остался в полном одиночестве. А для заговорщиков это был последний день.

— Сейчас! — прошипел Херея. — Момент настал. Сейчас!

Но ещё мгновение они пребывали в нерешительности, чуть не задыхаясь от того, что предстояло совершить. Тем временем в атрии появились сановники, незаметно покинувшие представление, и кто-то тихо спросил:

— Где Каллист?

Всего мгновение назад Каллист шёл рядом с императором, а теперь исчез — это смахивало на предательство. В порыве отчаянной решимости

Кассий Херея двинулся вперёд и исчез в галерее.

Остальные видели, что император на ходу обернулся и посмотрел назад. Все затаили дыхание. Император узнал префекта и продолжал спокойно шагать. Херея шёл следом, но между ними оставалась большая дистанция.

В приливе тревоги кто-то спросил:

— Где же германцы?

Ему шёпотом ответили:

— Он сам оставил их снаружи...

Между тем Херея шёл за императором всё более поспешными шагами. Заговорщикам казалось, что его подошвы производят нестерпимый шум. Император тоже, как всегда, шёл быстро и больше не оборачивался. Подсматривающие затаили дыхание. Мощная тень Хереи бесшумно, как зверь, с занесённой рукой метнулась к императору и по рукоять вонзила нож в спину. Император потерял равновесие и явно зашатался. В головах заговорщиков молнией мелькнула мысль: «Он ранил его, теперь нужно добить!»

Но император удержался на ногах и обернулся. Безмолвная тень Кассия Хереи снова подняла руку, но молодой император быстро уклонился. Послышалось, как он пытается закричать. Гай Цезарь попятился, и донёсся его сдавленный голос:

— Что ты делаешь?

Херея умел убивать, он в жизни не делал ничего другого, но префект был тяжеловесной громадиной, а император был молод, и ему требовалось всего лишь добраться до конца галереи.

— Зарежь, зарежь его скорее! — пыхтел Азиатик.

Неожиданно император с силой оттолкнул Херею, так что тот ударился о стену, и второй его удар поразил воздух.

— Он промахнулся, — простонал кто-то. — Уходим.

Все видели, как император метнулся к выходу из галереи, а оттуда навстречу бросился какой-то офицер. Все в ужасе окаменели, но тут же увидели, что офицер бросился не на помощь, а чтобы добить его: он направлял на него свой нож. И на таком близком расстоянии императора уже ничто не могло защитить.

Наконец двое нападавших сблизились, и он оказался зажат между ними.

— Не убежит, — сквозь зубы проговорил Азиатик.

Теперь двое убийц двигались осмотрительно, с беспощадной уверенностью, что жертва попалась; так ведут себя при охоте на медведей и

кабанов.

Луч света упал на лицо второго из нападавших — это оказался лютый Юлий Луп; он улыбался, держа клинок. Император руками попытался отодвинуть его, чтобы проскочить в атрий, но у него не оставалось надежды — там тоже никого не было. Клинок Юлия Лупа вошёл горизонтально, по-предательски, не как на войне, а как в драке, на уровне живота. Император согнулся, а сзади Херея нанёс ещё один удар, со зверской силой, так что его колени подогнулись. И Гай Цезарь, третий римский император, упал на колени, а потом рухнул ничком на пол.

Его больше не трогали. Его руки распластались. При падении кольцо-печатка соскользнуло на мраморный пол, и подвижная оправа с оком Гора повредилась. Внезапно изо рта императора потоком хлынула кровь и растеклась по полу. Двое убийц неподвижно смотрели на свою жертву.

Херея профессиональным тоном тихо проговорил:

— Готов.

А в атрии Валерий Азиатик с грозной твёрдостью негромко скомандовал:

— Все уходим.

Все молча повиновались и спешно рассеялись.

Больше голосов не слышалось. Никто не появлялся.

Но тут раздался вопль Милонии:

— Я люблю тебя! — и этот звук эхом отразился от стен.

Стремительно вбежав, она бросилась на колени над лежащим телом, обняла его и, увидев кровь, схватилась за голову.

— Я всегда тебя любила, даже когда ты меня не видел, слышишь?.. Я уйду с тобой.

Она гладила его волосы и пыталась заглянуть в лицо.

Херея замер, растерянно глядя на это зрелище, потом приказал Юлию Лупу поскорее зарезать ведьму, опаснейшую жену убитого императора. Её ударили в плечо, но она не заметила и, стоя на коленях, продолжая разговаривать только с ним, ласкала его окровавленными руками.

— Я люблю тебя и буду любить даже через шесть тысяч лет...

Херея заорал, что она спятила.

— Да заткни же её!

Юлий Луп нагнулся над женщиной, схватил левой рукой спутанные волосы и, со всей силы потянув, запрокинул ей голову и обнажил горло. И когда из глубины последнего вздоха она снова

простонала: «Я люблю тебя», он хладнокровно, по самую рукоять, вонзил сику — короткий кинжал убийцы — под левое ухо, а потом молниеносно провёл острым, как бритва, клинком до правого. Голос перешёл в бульканье, хлынула кровь. Кинжал ткнулся в кость нижней челюсти под ухом, и Луп лёгким, чуть ли не изящным движением вытащил окровавленный клинок, одновременно сильной левой рукой швырнув труп на пол.

Убийцы смотрели на последнее подрагивание рук, полуоткрытые губы, закатившиеся глаза, на кровь, растекавшуюся огромной лужей по блестящему мрамору.

— Ещё остался маленький ублюдок, — вдруг проговорил Херея, словно они забыли нечто важное.

Юлий Луп вытер клинок о шёлк кресла, вложил его в ножны и, не глядя в лицо Хереи, ответил с наглым спокойствием подчинённого, демонстрирующего большую предусмотрительность, чем начальник:

— Уже распорядился.

Действительно, через мгновение появился исполнитель и доложил:

— Ей размозжили голову о стену. Лягушонок. Голова раскололась, как яйцо. Все мозги на стене...

Херея прервал его:

— Пошли! Он мёртв. Сюда идёт народ. Уходим.

Обернувшись, он увидел бегущего к ним с вытянутыми руками молодого Геликона и процедил сквозь зубы:

— Египетская собачонка.

Другие видели, как он выходит, и раз в руке у него был нож, смерть жертв не вызывала сомнений. Херея подождал, пока Геликон подбежит, но тот не смотрел на него, а видел только императорские одежды на полу и тело в них, и лужу тёмной крови на мраморных плитах. Херею оставалось лишь твёрдо протянуть навстречу клинок, и юноша, раскинув руки, без звука сам напоролся на вошедший по рукоять нож.

Префект с силой дёрнул нож вверх, расширяя рану, и тело юноши покатилось на пол. Юлий Луп неподвижно смотрел.

— Ну, теперь действительно уходим, — сказал Херея, и атрий опустел.

Снаружи собирался народ, сбегалась германская стража. Найдя императора мёртвым на полу в луже крови, они стали искать убийц и свирепо убивать всех, кто попадался на пути, потому что заговорщики уже скрылись в отдалённых помещениях дворца. Им удалось убить трёх сенаторов,

действительно замешанных в заговоре, потом пришёл приказ остановиться, и все дисциплинированно повиновались. Германцы не знали, что, несмотря на повиновение, их отправят на отдалённые рабские рынки или заставят биться на арене. Но этот приказ отдал префект Корнелий Сабин, бывший гладиатор, человек, которому Гай Цезарь доверял до последнего дня. Увидев, что германцы остановились, он крикнул солдатам из преторианских когорт:

— Очистить дворец от этих египетских ублюдков! Чтобы не осталось ни одного.

— Конь! — крикнул Анний Виниций. — Этот конь!

Трое или четверо преторианцев побежали на конюшню и вышибли двери.

— Что вы делаете? — закричали молодые конюхи, усердно чистившие скребницей лоснящуюся шёлковую конскую шкуру.

Преторианцы расчистили себе дорогу, слепо нанося удары направо и налево мечами плашмя, выгнали конюхов на улицу. Первый удар ранил Инцитата в левое колено. Гордое животное припало на задние ноги, мощно вскинулось на дыбы, раздувая ноздри, подняло голову, тряся гривой, и с болезненным ржанием упало назад. Конь

оглянулся посмотреть, кто его ранил, и, пока его вытаращенные глаза искали обидчика, преторианец нанёс ему удар мечом меж рёбер на уровне сердца. Из конских ноздрей хлынула кровь и забрызгала ясли из слоновой кости. Инцитат опрокинулся на бок и вытянул ноги — кроме той, где было рассечено коленное сухожилие.

ИСКУССТВО НАВОДИТЬ ПОРЯДОК

— Императора зарезали!

Этот крик разнёсся по Риму, как вспышка молнии в полуденном небе. Толпа замерла парализованная, а через мгновение охваченные мятежным отчаянием, стремлением к настоящему перевороту, из каждого городского квартала, зовя друг друга за собой, вдруг высыпали на улицы люди. Других крик «Его убили!» выгнал из таверн, домов, мастерских, рынков, и все инстинктивно, как неуправляемые табуны, бросились на Форум, к курии, ко дворцу Гая. Они опрокидывали повозки на улицах, переворачивали прилавки и скамьи. Вигилов поглотил вздымающийся вопящий вал, ряды захваченных врасплох преторианских когорт распались. За несколько минут разъярённая толпа заполнила Форум и окружила курию.

Преторианцы в отчаянии выстроились стеной. Азиатик попытался передать приказ не отвечать силой:

— Чтобы не было ни крови, ни убитых! — потому что через мгновение ярость могла вылиться в восстание.

А кто-то уже бросал камни или размахивал попавшимся под руку оружием — палками, железными прутьями и прочим.

В этой толпе конные воины Сабина не находили промежутка, кони шарахались, пятились назад. Между тем толпа уже не умещалась на Форуме, разрасталась, люди запрудили улицы, залезали на колонны, лестницы, балюстрады, статуи. Никогда в истории Рима не случалось такого народного возмущения после смерти императора — что должно бы натолкнуть историков на некоторые размышления.

Консулы и сенаторы, надеявшиеся на буйное ликование, перепугались. Престарелый Клавдий, вовлечённый в заговор Каллистом, от страха спрятался в чулан, но и там не чувствуя себя в безопасности, выбежал на террасу и забился в угол под крышей какого-то подсобного помещения.

Сенаторы в панике собрались на вершине Капитолия, очевидно лучше защищённого, чем курия на Форуме. Никогда ещё по знаменитой, но весьма крутой Священной дороге не поднимались так быстро. Однако их спасло не позорное бегство, а тайные договорённости предусмотрительного Каллиста, в результате чего вокруг Капитолия быстро выстроились четыре когорты для защиты

новой власти, призывая к порядку словом, которое будет с успехом использоваться почти во всех последующих переворотах, — Libertas, «свобода».

Тут Азиатик объявил, что нужно выйти к толпе и поговорить. В отчаянии на верху храмовой лестницы появились два-три смельчака под охраной преторианцев. Между ними блистал красноречием сенатор Сатурнин, и его зычный голос возвышался над оскорбительными выкриками.

— В Риме голод! — заявил он, отчего горлопаны в первом ряду окаменели. — Запасы зерна на исходе, потому что этот «мальчишка» своими глупыми тратами опустошил казну и склады.

Толпа пришла в замешательство и заколебалась, поскольку бесплатные раздачи хлеба римской черни за эти годы уже стали доброй привычкой. Сатурнин властно заявил, что сенаторы приняли меры: вот-вот прибудет караван кораблей из Египта, и будут розданы горы зерна. И заключил обычной лживой уловкой будущих правительств, оказавшихся в трудном положении: что также будут снижены налоги.

Толпа заколыхалась, на площадь ворвались конные отряды и проделали проход меж людей, поспешивших спастись от копыт. За всадниками вышли оказавшиеся в блокаде преторианские

когорты. И с высоты Капитолия осаждённые сенаторы увидели, как народ, подобно морскому отливу, отхлынул и разбежался по улицам. Всадники преследовали их и оттесняли к Субуре.

— Дело сделано, — проговорил Валерий Азиатик и крепко выругался, забыв про свою возвышенную латынь.

И действительно, вскоре императорское сердце Рима уже патрулировали преторианцы и вигилы, а от мятежа остались лишь кучи мусора и камней.

— Нужно только пережить ночь, — сказал коллегам Валерий Азиатик и предложил на всякий случай никому не уходить с Капитолия.

А тела убитых так и лежали на полу в атрии дворца Гая, и никому до них не было дела.

Наступила ночь, и один человек во всём Риме, друг, присутствовавший при трагедии, так как находился в зале Исиды, — Ирод Агриппа, царь иудейский, носивший на шее золотую цепь весом с его старые железные оковы, — нашёл в себе мужество подняться на Капитолий и на холодном январском ветру попросил у сенаторов разрешения присутствовать на их собрании. Его просьбу удовлетворили. Взывая к древнему закону Республики, Ирод попросил выдать ему тела убитых

для захоронения. Ему ответили, что он может пойти и забрать их. Он пошёл со своими слугами в сопровождении молчаливых преторианцев и увидел, что тела попросту обворованы, а тело императора покрыто жуткими ранами, по большей части нанесёнными уже после смерти, поскольку они оставались открытыми и без крови. Золотое кольцо-печатка с правого безымянного пальца было украдено.

— Чтобы убить тебя, не было нужды в тридцати двух ударах, — прошептал Ирод. — Те, кто при твоей жизни не смел даже говорить с тобой, после смерти набрались великого мужества.

Он отвернулся, чтобы никто не видел, и заплакал.

Ирод не знал, что несколько ударов ножом, самых непристойных, нанёс один головорез из дома Пизонов. Слуги взяли тело Милонии в изодранных одеждах, увидели округлившийся живот и накрыли труп.

— Она была беременна, — сказал Ирод.

Потом нашли девочку с окровавленными волосами, как у раздавленного зверька. Никто в тот момент не обращал внимания на разбросанные по атрию пять или шесть трупов, оставленных разъярёнными германцами, как и на тело Гели-

кона, египетской собачонки, — дворцовые рабы выволокут их наследующий день и из вёдер ополоснут мраморные плиты.

Ирод прислонился к стене криптопортика, где была изображена теперь уже никому не нужная карта империи. Слуги подумали, что при его слабом сердце ему стало плохо от увиденного, и подошли, но он в ответ покачал головой. Ирод говорил с тем, кого слуги положили наносилки и накрыли простыней.

— Как молоды мы были тогда... — прошептал он, и его губы тронули карту на стене, то место, которого так часто касался палец императора. — Только молодым доступно придумывать такие мечты.

Его лоб упёрся в камень. Ирод ясно понимал, что эти мечты превратились в ничто: теперь их понимал он один, а миллионы людей вообще так и не узнали о них. И вдруг возникла страшная боль, словно сердце сжали железные пальцы. Левое плечо онемело, Ирод замер, не дыша. Боль отступила, и он, не поворачиваясь, сказал:

— Пошли.

И вот человек, при Тиберии попавший в темницу за выражение надежды увидеть царствование Гая Цезаря, человек, считавшийся пьяницей,

безответственным шалопаем и жуиром, не побоялся показать, что остался единственным другом погибшего императора. Ночью он перенёс тела в Ватиканские сады, к обелиску, уложил все три на погребальный костёр и молча дежурил там всю ветреную январскую ночь.

— Власть — это тигр, загнанный на скалу... — подумал вслух Ирод, глядя на огонь.

На ветру костёр горел быстро, вокруг разлетались искры.

В ту же тёмную ночь когорты заняли и очистили курию; при первом свете нового дня сенаторы воссели на свои места, и в очередной раз встретились две старые фракции.

Сенатор Сатурнин превозносил Кассия Херею как нового Брута, и его товарищи тут же провозгласили его «восстановителем свободы». Пока Херея в упоении наслаждался моментами своей славы, Сатурнин предложил сенату снова, как в старые времена, взять власть в свои руки, возродить республику и предать смерти всех оставшихся представителей фамилии Юлиев — Клавдиев.

— Память о них должна исчезнуть и в камне! — кричал он.

При этом крике, которому в будущем будут

подражать многие, некоторые начали с усердием разбивать статуи и разорять храмы и строения. Но на удивление прочим заговорщикам Марк Ваниций и сам могущественный Валерий Азиатик, вместо того чтобы петь осанну свободе, вдруг объявили, что свобода без направляющей силы ведёт к анархии и гражданской войне.

Азиатик заговорил о прежних несчастьях:

— Вспомните Помпея, Марка Антония, их войска на улицах Рима...

А Марк Ваниций с бесстыдной поспешностью выдвинул собственную кандидатуру в императоры.

Перепуганные популяры оказались в трудном положении и всё же, торопливо посовещавшись, смогли найти достойного кандидата — это был старый солдат Сервий Сульпиций Гальба, в те дни находившийся в Риме.

Когда за несколько месяцев до того молодой император встречался с ним на берегах Рейна, никто не мог ни прочесть в небесном гороскопе, ни услышать оракул в каком-нибудь храме, что император будет вскоре убит, а сенаторы, чтобы добиться благосклонности легионов, предложат императорскую власть Сервию Гальбе.

Но Гальба отказался от столь подлого захвата

власти.

— Римом не правят убийцы, — ответил он.

И действительно, он был слишком, невыносимо честен и прям для грядущих дней. Ему предложат власть вторично во время анархии, последовавшей за смертью Нерона, и тогда он даст роковое согласие. Через несколько месяцев за его спартанскую твёрдость его тоже убьют на улицах Рима.

Шестьсот сенаторов, как и многие собрания будущих веков, два дня не могли прийти к согласию, и тогда, следуя тайным договорённостям Каллиста, в дело вмешались преторианцы. Их нетерпеливые командиры, уже готовые к военному перевороту, объявили, что никогда не примут императора, навязанного другими. Они хотели избрать его сами, «учитывая, что мы рискуем жизнью ради защиты империи».

И когда такое вмешательство всех достаточно встревожило («Рим у них в руках», — шептались сенаторы с той же тревогой, как и после смерти Тиберия), вольноотпущенник Каллист сделал молниеносный тактический ход — швырнул на стол имя Клавдия, этого напуганного пожилого человека, принадлежавшего к императорской фамилии, но не обладавшего характером своих

предков и, стало быть, способного вызвать общее согласие благодаря своей доказанной посредственности.

Валерий Азиатик, увидев этот последний и уже непоправимый бросок костей, выразительно проговорил:

— Потомок императоров успокоит популяров, а недоумок удовлетворит оптиматов.

Он произнёс это в цицероновском стиле: человек, ничтожный в моральном смысле, и не обладающий энергией, — то есть именно тот, что нужно.

Говоря так, он не знал, что через несколько лет другой такой же подлый заговор приговорит к смерти его самого. Ему предоставят возможность выбрать способ самоубийства, и, невзирая на советы родственников и друзей, которые в слезах будут предлагать безболезненную долгую смерть от голода, он со своей обычной ясностью, «поскольку в Риме нет невидимых богов, запрещающих людям распоряжаться если не собственной жизнью, то хотя бы собственной смертью», предпочтёт вскрыть себе вены. И с такой безмятежностью, что перед этим своим последним поступком сходит в сад осмотреть погребальный костёр. И велит перенести его, чтобы

дым не причинил вреда прекрасным деревьям.

Но пока что смешанная делегация от большинства и оппозиции отправилась разыскивать Клавдия. Однако старик хорошо спрятался, и время уходило с риском, что собрание может ещё передумать. Крайне взволнованный Каллист велел преторианцам обыскать все общественные залы, галереи, комнаты, термы, подвалы императорских дворцов. Солдаты бросились на поиски, понимая, что потеряют, если не найдут Клавдия. И судьбу Римской империи решил один вояка, который, с руганью шаря в подсобном помещении на террасе старого дома Тиберия, увидел торчащую из-под занавески пару башмаков.

Спрятавшийся за занавеской старик подумал, что пришли его убивать, и трясущимися губами стал просить пощады, так что его поимщику пришлось объяснить несчастному, что того ждёт императорская власть. Сбежавшиеся солдаты увели Клавдия, и вскоре преторианцы дружно провозгласили его императором.

Клавдий по совету сообразительного Каллиста решительно купил их любовь, раздав каждому невообразимую сумму в наличных из имперской казны, якобы, по словам Сатурнина, опустошённой Гаем Цезарем. Сенат сдался и послушно

избрал Клавдия, поднятого на щитах преторианцев.

— Этим торгашеством и кончилась война, — смиренно сказал один сенатор. — Но уж лучше так, чем силой оружия, — утешал он остальных.

Кто-то более рассудительный заметил:

— Мы всё проиграли.

И действительно, со времён Юлия Цезаря эта война между властью сенаторов и властью императора длилась почти целый век, и путём преступлений, мятежей, репрессий и заговоров Рим превратился из суровой республики в великолепную имперскую монархию. Власть стала наследственной и опиралась на войска, сенат превратился в консультативный орган, в академий, где бесполезно заседали некогда важные патриции.

— Я сдержал обещания, — заявил Каллист тоном, словно выплатил долг.

И действительно, на всё время правления Клавдия он сохранил в целости свои богатства и влияние. Никому не хотелось напоминать о старом союзе в деле убийства Гая Цезаря. Ему даже удалось ускользнуть от упоминания в исторических книгах — историки обходили молчанием его недостойную биографию, поскольку было во

всех смыслах постыдно, что римский император обязан своей властью бывшему рабу.

Но власть, которой сурово служили опытные прагматичные исполнители, с предусмотрительным цинизмом решила, что, если оставить в живых убийц императора, это даст худший пример на будущее. А поскольку (несмотря на многочисленные кровавые бойни в римской истории) такого ещё не видывали, чтобы в священных апартаментах Августа и при пособничестве благородного сената перерезали горло беременной женщине и зверски убили тринадцатимесячную девочку, — Кассий Херея, Юлий Луп и прочие, прославлявшиеся накануне как восстановители свободы, на следующий же день по всей суровости римских законов были приговорены за убийство августейшей особы к бичеванию и распятию на кресте.

В то время как их сообщники были потрясены лютым приговором, Херея не проявил никаких чувств, как не проявлял их десятки раз, отдавая приказы на убийство. Офицера, ответственного за приведение приговора в исполнение, который опытным глазом уже прикидывал технические трудности, как поднять такое тяжёлое тело с привязанными к кресту запястьями, он прямо

попросил поторопиться.

— Нечего жалеть, — сказал Херея. — Мне противно жить под властью этих новых хозяев.

Палач удовлетворил его просьбу, насколько это возможно в такой страшной смерти. И Херея умер, не издав ни звука.

Клавдий с внезапно проснувшимся достоинством запретил праздник в этот кровавый день двадцать четвёртого января. В остальном же он полностью подчинился оптиматам и с лёгким сердцем велел разрушить всё, что могло потревожить новый режим и неприятно напомнить о старом.

— Я позабочусь о Египте, — сурово заявил Секстий Сатурнин и с энтузиазмом составил список строек, которым надлежало сгинуть в песках пустыни.

Тщетно за семь лет до того египетские жрецы надеялись, что через двадцать веков Феникс восстанет из пепла.

И в Риме тоже густая пыль покрыла новые руины. Храм Исиды вместе со всеми украшениями из бирюзы и слоновой кости, кварцевыми, гранитными и диоритовыми статуями, хрупкими папирусами был яростно сожжён вопящей тёмной толпой. Стоя перед портиком, Валерий

Азиатик тогда заметил с едкой неприязнью:

— Разрушать памятники врагу, должно быть, приятнее, чем купить девственницу в Вифинии. Но я слишком стар, чтобы осмелиться сравнивать.

В первый год своего правления молодой Гай Цезарь опрометчиво сказал: «Люди горюют из-за незначительных материальных затруднений, но ради новой мечты, особенно если она кажется неосуществимой, они могут дойти до края земли».

Победители запомнили это, и мраморные корабли, что легко плавали на тихих водах озера Неморенсис, были вдруг атакованы двумя преторианскими когортами, неожиданно вооружившимися рабочими инструментами.

— Покончить с ними засветло, — крикнул с высоты своего коня командовавший этим мероприятием трибун, — чтобы ничего не осталось!

Со своей обычной боевой яростью преторианцы запрыгнули на корабли. Несколько человек из окружных деревень, увидев, как к озеру спускается шумная группа всадников, в страхе остановились посмотреть. Преторианцы набросились на ошеломлённых, спрятавшихся в хеме жрецов, не знавших, то ли умолять о пощаде,

то ли пытаться защищаться. Их выволокли на палубу, зарезали и бросили в воду мёртвых или ещё бьющихся в агонии. Пока трупы в белых одеждах ещё плавали, в озеро стали вперемежку швырять вазы, арфы, систры, статуи, и всё это быстро поглотила вода.

Зрители убежали и рассеялись по лесу, гадая, к чему бы такое разорение.

— Они убили императора! — заявил кто-то.

Преторианцы обрубили якоря и за канаты подтянули корабли к берегу, а там разграбили, взяв всё, что могли, вплоть до бронзовой черепицы.

В лихорадочной ярости, смешанной с суеверным страхом, трибун крикнул:

— А теперь утопите эти колдовские каркасы, пустите ко дну! Чтобы на плаву не осталось ни щепки. Приказ императора!

Солдаты спешили больше его. Задыхаясь от усталости, одолеваемые зловещими мыслями, они с яростью опрокидывали в трюмы телеги камней и песка, отдирали доски и выбивали дно топорами, а под конец бросили в воду свои осквернённые злодейством инструменты и с облегчением спрыгнули на берег.

Спрятавшиеся в кустах на склонах холмов вокруг озера крестьяне, которые пронесут эти

воспоминания через поколения, молча наблюдали. Несмотря на пробоины, прошло немало времени, прежде чем вода заполнила прочные корпуса, рождённые фантазией Евфимия. Корабли с изящной неторопливостью начали тонуть только к вечеру, в то время как самого Евфимия в цепях увели с мизенских верфей на глазах у потрясённых подручных.

Ме-се-кет с мощными бимсами и длинными вёслами погружался ровно, и было видно, как он с лёгким всплеском скрылся в глубине, превратившись в темнеющую в воде тень.

Ма-не-джет, когда вода начала заполнять его палубу, оставшуюся без вёсел и парусов, задрожал своими золочёными постройками, хем с выбитыми дверями рухнул, превратившись в массу обломков, и золотой корабль ушёл носом в глубину.

На берег нахлынула волна, и над кораблями императора сомкнулись тихие воды и грязь — на тысячу девятьсот лет.

ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

I CASTRA STATIVA НА БЕРЕГАХ РЕЙНА

Калига. Обувь, которую носили сотни тысяч завоевателей на самых отдалённых окраинах империи, воспроизведена на множестве барельефов и триумфальных статуй. Эта обувь, вдохновившая легионеров Рейнского рубежа придумать маленькому Гаю Цезарю ласковое шутливое прозвище Калигула, то есть «сапожок», была действительно очень прочной. Один её экземпляр, потерянный каким-то легионером в римской Галлии, можно увидеть в Музее средневековья города Клюни. Другие экземпляры находили даже в Британии.

Серебряные чаши трибуна Гая Силия. Через девятнадцать веков после того дня, когда Силий послал эти чаши в подарок далёкому другу, их нашли, раскопав могилу древнего воина по имени Хоби на отдалённом датском острове; это две драгоценные серебряные чаши, на которых по-гречески выгравировано имя художника: «Хиризоп» — и намечена удивительная дарственная

надпись римского трибуна: «Гай Силий». Этот символ трудного перемирия варвар Хоби пожелал взять с собой в могилу.

Остров Планазия. На крохотном островке, ныне называемом Пианоза, куда был сослан шестнадцатилетний Агриппа Постум и где он был убит, обнаружились остатки виллы императорской фамилии. Но некоторые надписи показывают, что она была быстро переделана в печальное место ссылки. Потом много веков на острове находилась жуткая темница.

II ПРОВИНЦИЯ АЗИЯ. ПРОВИНЦИЯ ЕГИПЕТ

Ника Самофракийская. В 1863 году кто-то высадился на покинутом острове, долго исследовал заброшенные развалины города с колоссальными чёрными стенами и обнаружил чудесную статую, ту самую Нику Самофракийскую, которую не удалось увидеть Германику. Археология была тогда в значительной мере деятельностью отрывочной и беспорядочной, с беспрепятственным присвоением найденных предметов, и Ника с большими мраморными крыльями оказалась в Лувре.

Портрет Сократа. Дом в Эфесе и штукатурка, на которую была нанесена фреска с портретом

Сократа, были очень прочными, и потому через двадцать веков их удалось найти, хотя и с обычными повреждениями. Наши глаза всё ещё могут видеть на этой стене загадочную улыбку философа, задумавшегося о своей смерти.

Священные озёра в песках Египта и таинственные корабли Исиды. Через тысячелетия запустения рядом с Саисским храмом, где старый жрец открыл Гаю Цезарю древние таинства, в результате археологических раскопок была обнаружена обширная круглая впадина, засыпанная песком, а вокруг — мощёный причал. То же случилось рядом с большим храмом в Карнаке и в грандиозных руинах Бузириса — древней Мемфисской державы, где обнаружили священный корабль из камня. А в Бехбит-эль-Хагаре близ Дамиеттского Нила[65] то, что представлялось холмом, оказалось великолепным зданием изрозового и серого гранита площадью четыреста на триста шестьдесят метров, храмом Исиды в Пи-Хебите. Там нашли барельеф с изображением ритуального корабля, образ богини Исиды и, наконец, помещения со священными кораблями у кромки озера.

---

[65] Примечания: 65

В дельте Нил разделяется на две основные протоки, и на одной из них стоял большой порт под названием Дамиетта; эту протоку называли Дамиеттским Нилом.

Такие же реликвии лежали под грудой обломков в дельте, на месте древнего озера Пи-Бастит. Перед храмами в Аб-ду обнаружились очертания двух священных озёр и остатки кораблей Исиды. То же у подножия пирамид и в других местах. Но нужно ещё долго изучать все эти находки, чтобы понять, что означают таинственные нильские озёра, и получить более ясное и глубокое представление об этом древнем культе.

Статуи, погребённые в море близ Александрии. Во время тщательных исследований в Александрийском порту были найдены оставшиеся в неприкосновенности богатейшие здания, и в них — огромная гранитная голова, изображавшая Марка Антония, а на основании статуи сохранилась различимая надпись: «Несравненному любовнику». Что касается юного сына Юлия Цезаря и Клеопатры Птолемея Цезаря (предательски убитого Августом), то из моря в Александрийском порту, ныне грязного, возможно, было поднято именно его изображение — лицо с правильными чертами, нежное, несколько беззащитное, очень молодое. Если это он, то в последние недели своей жизни.

Самоубийство Клеопатры (картину которого Август пожелал показать на праздновании своей

победы) в течение веков возбуждало фантазию историков, драматургов и романистов. Десятки никогда не видевших Клеопатру художников и скульпторов пытались воспроизвести это событие. Лежащая с закрытыми глазами Клеопатра крепко сжимает в пальцах рептилию — так её через семнадцать веков изобразила Артемизия Джентилески. Усталая Клеопатра с обнажённой мягкой грудью сидит на белом мраморе на картине Уилмора Уэтмора, что в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Небрежно одетая Клеопатра, как всегда с великолепной грудью, приказывающая служанке принести корзину фруктов, в которой свернулась египетская кобра, в те же годы посетила воображение художника Анри Дежюсье, чья работа находится в музее города Шалон-сюр-Сон. Реджинальд Артур представил себе, как царица, раскинувшись на ложе, с отвращением отворачивает голову от разинувшей пасть змеи, которую прижимает к неизменно прекрасной груди. Жан Андре Риксен изобразил отяжелевшее тело уже мёртвой Женщины, от былого изящества Клеопатры осталась только прекрасная рука на краю ложа (эта картина сейчас находится в музее Тулузы).

Однако подлинных изображений, избежавших

разрушения, немного, и историки спорят, каким на самом деле было её лицо. Есть одна голова в Ватикане, другая — в музее Альтес в Берлине, третья — в Британском музее в Лондоне. Чудесную мраморную статую нашли на большой разорённой вилле Квинтилиев в древней Аппии — очевидно, кто-то нарушил приказ уничтожить её. Эта весьма необычная по своей позе прекраснейшая фигура из чёрного базальта изображена в царственной наготе — единственным украшением является священный урей на длинных причёсанных локонах, роскошная диадема фараонов в виде кобры. Сейчас эта скульптура в Нью-Йорке.

Голод в Александрии и указ Германика. Только в 1910 году в Египте обнаружили, отреставрировали и расшифровали древнейший папирус с замечательным указом Германика в защиту населения Александрии, — указом, за который он поплатился жизнью.

III РИМ

Храм Исиды в Беневенте. Храм Исиды в городе, где Агриппина после убийства Германика увидела во сне свет, в годы Гая Цезаря был осыпан дарами. Позже он был погребён под христианским собором. В средние века о нём ходили

мрачные легенды. Только через столетия десятки статуй и пышные предметы обстановки, до того скрытые под землёй, были найдены и обрели покой в музее.

Мавзолей Августа. Мавзолей, куда Агриппина в окружении шумной возбуждённой толпы поместила прах Германика, веками влачил жалкое существование. Империя рухнула, и до собранных здесь знаменитых мертвецов никому не было дела. Первое разграбление в октябре 410 года совершил Аларих Балта, грозный вождь вестготов. О том, что случилось потом среди ещё более кровавых и всеобщих несчастий, никто не оставил записей. Около 950 года на вершине монумента — неизвестно когда в эти годы законченной колоссальной статуи Августа — была построена церквушка, которую неверная народная память прозвала Сант Анджело Агосто. В средние века могущественное семейство Колонна перестроило эту громаду в мощную крепость. Позже, как и многие другие имперские постройки, она превратилась в место добычи дешёвого мрамора и кирпича, а на её стене примостились дома и хижины. В эпоху Возрождения на огромной постройке разбили сад. После чего обширное круглое внутреннее пространство стало ареной

битв и даже местом, где устраивали незамысловатые бои быков, к неудовольствию Папы. В конце концов там сделали театр и ставили знаменитые французские оперетты. Имперские строения вернулись на свет только через тысячу девятьсот лет, да и то не целиком.

Любовь и ненависть к убитому Германику оставила о себе археологические свидетельства. В 1963 году в Амелии (Умбрия) среди древних обломков нашли бронзовую статую высотой около двух метров, но страшно разбитую. Тщательно собранная, она воссоздала внешность Германика с копьём в левой руке, со сложенным плащом на сгибе локтя, в военных сапогах, правая рука поднята к голове, словно военачальник начинает речь к своим солдатам. Лицо его спокойно и умеренно. И возможно, возрождает тот день, когда примером собственной верности он успокоил восемь легионов на Рейне, собиравшихся идти на Рим. На Германике лёгкая парадная лорика искуснейшей работы с красивой насечкой. Но этот панцирь несёт на себе не изображения войны, а сцену древней подлости: Ахилл в доспехах, со щитом, схватив за волосы юно го и неопытного безоружного Троила, стаскивает его с коня и убивает. Возможно, из-за этого своего сильного

обвинительного значения статуя недолго простояла на пьедестале. Ещё новую её разбили на мелкие куски, явно преднамеренно, поскольку она была из твёрдой бронзы. Но металл не переплавили. Статуя была выброшена и зарыта и потому сохранилась до наших дней.

Суд над Юлией, дочерью Августа. Безжалостная кампания по политической дезинформации вокруг дела Юлии, дочери Августа, — одна из первых и самых удачных в классической истории — создаст миф на многие века. Писать историю не слишком хлопотное занятие, так же как передавать давние легенды, цитаты и копии. К тому же этим занимаются мужчины, а голоса другой половины человечества презрительно замалчиваются. Десятки важных строгих историков остаются слепыми к фактическим несоответствиям, описывая эту извращённую, состряпанную режимом трагедию как должное наказание «развратной» дочери благородным отцом.

Вилла на острове Пандатария. Обнаружилось, что для постройки порта на острове, ныне называемом Вентотене, где была заключена и умерла Агриппина, её отец Агриппа, великий моряк, выдолбил шестьдесят тысяч кубометров скалы и опустился на три метра ниже уровня моря. На

возвышенности, ныне называемой пиком Эоло, видны остатки монументальной лестницы и мозаик, обломки цветного мрамора, а также ниши, где стояли садовые статуи. Позже обнаружили портик, развалины терм и живописного нимфея. Виллу разоряли много веков, её разрушали землетрясения. Понемногу почти всё обрушилось в море. Неаполитанские Бурбоны построили там смотровую башню и использовали огромный резервуар как прочнейшую тюрьму; она сохранила название Грота узников. Окончательно завершил опустошение сэр Гамильтон за тридцать пять лет своей службы в Неаполе в качестве британского посла. Но его нагруженный бронзовыми и мраморными статуями корабль затонул где-то в Тирренском море. А уцелевшие предметы нашли причал в Британском музее.

Вилла Сперлонга. Вилла и пещера были заброшены и опустошены на исходе IV века. В укромном месте на берегу ютился один христианский отшельник. А поскольку Тацит, говоря об этом месте, с поспешным презрением называет его «естественным гротом», о нём даже не осталось памяти и никто не пытался его найти. Это сооружение, дающее богатый материал для психоаналитика, вновь увидело свет лишь в

1957 году, на глазах у ошеломлённых инженеров, строивших на побережье скоростную автостраду. После чего сюда устремились археологи. И стало очевидно, насколько сведения историков, в том числе знаменитых, были неполными или ложными. На песке собрали семь тысяч осколков, на которые кто-то с истерической жестокостью разбил титаническую скульптурную группу Сциллы. Когда её тщательно и терпеливо восстановили, оказалось, что это самая большая из римских древностей. При взгляде на неё вблизи до сих пор захватывает дух.

Преторианцы. Militi praetoriani, преторианские солдаты, учреждённые Элием Сеяном, вскоре приобрели опасную славу своей склонностью к переворотам и заговорам и просуществовали как формирование три века. Их распустил только Константин, но лишь затем, чтобы заменить войсками, преданными ему и зарождающейся новой власти. До нас дошло несколько их мраморных изображений. Преторианский шлем так сильно надвигался на лоб, что оставлял морщины и придавал лицу выражение суровой хмурости. Нащёчники и ремень были широки и тяжелы и напускали на лицо постоянную непроницаемую строгость, как религиозный обет. Знаком отли-

чия преторианцев Тиберий выбрал африканского скорпиона с длинным изогнутым жалом, полного роковой решимости умереть, но смертельно ужалить врага.

Резиденция на Ватиканском холме. После ареста Агриппины резиденция пустовала. Там недолго жил, расширив её, последний император из династии Юлиев — Клавдиев, названный Нероном. Страшные средневековые легенды об императоре, люто уничтожавшем христиан, покончившем с собой и обречённом на вечные муки блуждать не знающим покоя призраком, оставили вокруг этого места ауру страха. Позже место использовалось для множества христианских построек на Ватиканском холме. И в конце концов остатки виллы — торжественный криптопортик, разрозненные мозаики в некоторых подвалах, монастырская колоннада в лечебнице Святого Духа — пропали под другими строениями. В наши дни были обнаружены великолепные фрески, среди которых изображение победоносного морского сражения при Эгадах: Август стоит на берегу в пурпурном плаще, а его солдаты тащат от кораблей пленника. Видна и его дочь Юлия, а у неё за спиной — мощная фигура победителя Агриппы. Говорят, что другая часть

резиденции была уничтожена в конце второго тысячелетия, чтобы расчистить место под обширную автостоянку. Среди мусора находили фрагменты мрамора, древние кирпичи, частицы фресок...

Res gestae dive Agusti (Деяния божественного Августа). Бронзовые и мраморные плиты, в которых Август хотел увековечить свою историю, воспроизведённые по его приказу во всех провинциях, почти все были разграблены в последующие века. Первой была разбита на куски и, скорее всего, отправлена в печь на переплавку огромная римская плита, от которой осталось несколько фрагментов. Но к счастью, сохранилась её прочная каменная копия в городе Анкира в Галатии (ныне Анкара). Забытую на тысячу пятьсот лет, её обнаружил образованный и любопытный немецкий посол, аккредитованный в Оттоманской империи. Вторая копия нашлась ровно через девятнадцать веков после создания в древней Аполлонии, в турецкой Анатолии. И наконец, третья — в Антиохии Писидийской. Все они были сильно повреждены, но при сопоставлении удалось собрать поразительную надпись. Обнаружилось коварное различие. Анкирский текст высокомерно гласит: «post id teinpus,

dignitate omnibus prestiti» — «с этого момента стал над всеми по достоинству». В Антиохийском же тексте изменено одно слово: вместо dignitate там написано auctoritate, то есть «стал над всеми по власти», что является железной формулировкой могущества. И спрашивается: какое слово использовал сам Август?

Forma Imperii. Эту знаменитую географическую карту, высеченную в мраморе, первую в западном мире, мы можем представить только по описанию греческого географа Страбона, который успел увидеть её целой и невредимой. Но около 1480 года аугсбургский антиквар Конрад Пойтингер обнаружил у себя в руках копию, использовавшуюся неизвестным римским полководцем в последние дни империи, и отпечатал её. И это всё, что осталось. Без особой фантазии мы называем её Tabula Peutingeriana — Карта Пойтингера.

Театр Сертория Макрона в Альбе Фуценции. Мы знаем удивительные художественные начинания этого грубого марса по мемориальной доске, вделанной в портал. А через три века, в дни, когда император Феодосий издал закон, запрещавший все нехристианские культы, кто-то тщетно веривший в лучшие дни стащил тяжеленную

статую Геракла с пьедестала и, чтобы спасти, закопал в храмовом закоулке, где она и лежала невредимой, пока один удачливый археолог не догадался там поискать.

IV ОСТРОВ КАПРИ

Вилла Юпитера на Капри. Её размеры были поистине императорскими. Этажи здания последовательно поднимались до экседры на высоту шестидесяти метров. Дорожка для ежедневной прогулки императора была в длину девяносто два метра, одну шестнадцатую часть от римской мили, и соответствовала гигиеническим предписаниям, основанным на точном расчёте физической нагрузки. Но с того дня, когда умирающий Тиберий покинул Капри, блистательная и ненавистная вилла Юпитера погрузилась в запустение. Через восемнадцать веков, в 1793 году, Фердинанд Бурбон санкционировал «раскопки». Ненасытные копатели разграбили, опустошили и распродали всё, что удалось собрать. Они даже отрывали грандиозные мозаичные плиты на полу, и неаполитанский король покупал на метры драгоценнейшие инкрустации для своего дворца в Каподимонте. В 1860 году убогие руины — гнездо чувственной немощности Тиберия, согласно

пикантным рассказам таких знаменитостей, как Светоний и Дион Кассий, с порнографической страстью переданным их последователями, — были в качестве искупления отданы в распоряжение местному отшельнику.

Вилла девочки-супруги в Анции. Её руины были обнаружены через много веков — фрагменты колонн, затонувший маленький портик, бассейн с морской водой. С капризным изяществом длинный мост соединял виллу с искусственным островком, насыпанным, чтобы построить на нём восхитительный триклиний, окружённый морем. Но в средние века на фундаменте этого маленького эротического парадиза появилась башня для защиты берега и содержания узников. Её последние дни придут ещё до того, как на рыночной площади в Неаполе обезглавят семнадцатилетнего Конрадина Гогенштауфена[66].

Вилла в Мизенах и Байский залив. Господствующая над заливом воздушная вилла, в которую молодой Гай поднялся, ощутив близость власти, позже принимала Нерона и Адриана, но потом разрушилась в общем маразме упадка. Она возродилась как крепость при правлении Арагонского

---

[66] Примечания: 66
Видимо, имеется в виду Конрадин, герцог швабский (1252-1268).

дома, но потребовалось ещё пять веков, чтобы она наконец превратилась в поистине волшебный Тирренский музей.

Авернское озеро. Сила легенды, окружавшей это зловещее озеро, была такова, что одиннадцать веков спустя один верующий, Гервазий из Тилбери, профессор канонического права и великий путешественник, увидев его, написал, что «на дне этих ядовитых вод» смутно просматривается бронзовая дверь в преисподнюю. Однако позже в результате подробных геологических исследований вокруг обнаружилось ещё шестьдесят маленьких заснувших кратеров, круглых, как глаза циклопа. Между тем тектонические подвижки понемногу стряхнули в море Байское озеро и огромное количество вилл. Грандиозная резиденция Пизонов, стоявшая на месте, которое сегодня мы называем Эпитаффио, погрузилась в море. А её живописный грот нимф нынче дарит чудесные приключения подводным археологам.

Портреты. О юных годах, что так круто повернули жизнь Гая Цезаря — позже названного враждебными историками Калигулой, — нам говорят разбросанные по музеям разнообразные изображения. Портрет основоположника династии Юлия Цезаря, возможно в своём наиболее

правдивом образе высеченный из мягчайшего мрамора, можно найти в музее Пио Клементино. Цезарю здесь ещё нет и пятидесяти? Или он уже встретился с Клеопатрой? Его щёки впали, словно от тягот войны, знаменитой лысины почти не видно. Проступают крепкие челюсти, но плотно сжатые губы хорошо очерчены, они живые и чувственные. Кажется, он смотрит на кого-то чуть пониже себя — быть может, на семнадцатилетнюю Клеопатру, которая, чтобы попасть к нему, спряталась в свёрнутом ковре и неожиданно появилась растрёпанная и в измятой одежде? Действительно, в этом мраморном изображении есть необъяснимая смесь чувственности и властности.

Антония есть в Национальном Римском музее: волнистые волосы собраны, заплетены и уложены вокруг головы наподобие диадемы. Непроницаемая улыбка смягчает мраморную твёрдость сжатых губ; небольшой наклон головы, словно она слушает кого-то, кто говорит с ней, поднявшись на цыпочки. Другой милый мраморный портрет находится сегодня в Британском музее, на нём тоже её голова чуть наклонена, а волосы причёсаны на прямой пробор. Дальше мы видим юношу с вьющимися мягкими волосами

и глубоко посаженными глазами: он напоминает изображение императора Гая Цезаря в Неаполитанском музее. Можно предположить, что это один из его убитых братьев.

Опять же в Неаполе, в Археологическом музее, есть изображение Октавии, легендарной сестры Августа, которая приняла у себя египетских сирот Клеопатры и Антония. Ещё здесь есть сидящая Агриппина, уже не такая молодая — это говорит, что она изваяна по приказу её сына-императора уже после своей смерти от голода. И есть другие портреты, все они прибыли из Рима с бесчисленной коллекцией принцев Фарнезе.

Долгий и странный путь совершила эта коллекция. Потомки Павла III — двести двадцать второго Папы, который отлучил от церкви Генриха VIII Английского, утвердил орден иезуитов, организовал инквизицию и умер в 1544 году, — собрали в Риме и на своих многочисленных виллах самые известные шедевры греко-римского искусства, выкопанные и найденные в заброшенных руинах имперской эпохи. Последняя из рода Фарнезе, Елизавета, на которой династия угасла, вышла замуж за неаполитанского Бурбона. И в 1787 году, накануне Французской революции, чудесная коллекция отправилась в Неаполь и

была размещена без особого ухода в огромном здании, которое раньше служило королевскими конюшнями, потом было расширено и перестроено в университет и наконец стало музеем. И до сих пор Октавия и Агриппина, Тиберий и Гай Цезарь продолжают рассказывать нам оттуда свою историю.

В Риме же, в Капитолийских музеях, мы встречаем Августа, величественнейшего, ещё довольно молодого, увенчанного миртом. Чудесная работа из идеально отполированного мрамора выражает преднамеренную, расчётливую снисходительность. Его рот закрыт, но губы не сжаты; твёрдость видна только в подчёркнутой складке на подбородке. Позируя, он, видимо, над чем-то задумался, и художник ощутил в этом отстранённость императора. В его высоко поднятой голове чувствуется недоверчивая и высокомерная сдержанность человека, строившего дальновидные и для своего времени глобальные планы. Морщины меж бровей выражают сосредоточенность, и под кожей видно постоянное напряжение мускулов.

От безжалостной и долго прожившей Ливии, Новерки, которая расчистила путь к власти своему сыну Тиберию, осталось изображение заострённого лица со сжатыми губами, с некра-

сивой, жёсткой, плотной причёской. Её глаза смотрят невидящим взглядом, как будто она погружена в какие-то размышления.

Но потом мы снова встречаемся с лицом Агриппины, необыкновенно прекрасным. Она причёсана не так, как все известные женщины этой фамилии: спереди её волосы мягко разделены на две пряди, прикрывающие высокий, почти мужской лоб. У неё прямые ресницы и глубоко посаженные глаза, как и у её сына Гая Цезаря; на боках и на затылке вьющиеся волосы мягко уложены, а некоторые пряди волнами ниспадают на плечи. Напряжённый рот хорошо очерчен, и его можно было бы назвать страстным, если бы не сильная, волевая линия подбородка. Она кажется ещё молодой, но, возможно, не имеет возраста после смерти, потому что сквозь мрамор просвечивает усталость в морщинках на щеках. Она подалась вперёд и смотрит так, будто после стольких лет, забыв ненависть, всё же что-то обличает.

О тех днях, когда многие из описанных здесь событий ещё не наступили, о днях победоносной славы напоминают мраморные панели Ara Pacis Augustae (памятник Августовскому миру) в Риме: в ритуальной процессии, одновременно

семейной и разнородной, идут Август и Ливия, сенаторы и жрецы, ещё юный Германик и флотоводец Агриппа, который вскоре умрёт. Его маленький сын Луций, которому суждено умереть в устье Родана (ныне эта река называется Роной), ухватился за тогу, в то время как Антония гладит его по голове. А дальше с улыбкой следует ещё юная Юлия. За спиной у неё шествует Тиберий, такой же, как на портретах времён своего императорства. Все чинно идут с одной плиты на другую в мягкой белизне мрамора.

V IMPERIUM NOVUM. НОВАЯ ИМПЕРИЯ

Память о матери. Молодой император, собственноручно принёсший в Рим прах матери, возбудил в народе сильнейшие эмоции. Археология — мемориальные доски, надписи, монеты — даёт более беспристрастные свидетельства, чем историки: многие города воздвигли преследуемому семейству кенотафы и монументы, такие, как найденный в Бергоме (ныне Бергамо) мемориал Друза или кенотаф с великолепными мраморными скульптурными портретами, возведённый на острове Пантеллерия, где позже кто-то спас его от разрушения, спрятав под керамические плиты. Или прекрасная статуя Агриппины,

которую нашла в древней Веллее близ Пьяченцы и поместила в свой музей Мария Луиза Австрийская, жена Наполеона.

Но самые сильные чувства в связи с этой историей вызывает археологическая находка, представляющая собой пустой внутри мраморный куб. Он принадлежал погребальному памятнику Агриппины, и в нём содержалась урна с её прахом, о чём была сделана надпись, несомненно продиктованная сыном-императором. Наверху чрезмерно крупно, что придаёт особый драматизм, высечено одно слово «КОСТИ» — то есть всё, что осталось от перенёсшей несправедливые страдания и умершей от голода женщины, а дальше упоминаются все её императорские родственные связи, включая сына, который прижимал этот груз к груди: «Агриппины, дочери Агриппы, внучки божественного Августа, жены Германика, матери принцепса Гая Цезаря Августа Германика». Ничего больше ни о приговоре, ни об убийстве, ни о том, как она умерла. Половина внутреннего пространства урны оставалась пустой. Через века, когда мавзолей был разграблен и опустошён, этот мраморный контейнер с необычной надписью надолго переехал в Рим. В XIV веке его внутреннее пространство расширили и ис-

пользовали как меру для зерна на рынке. Никто уже не понимал древней надписи, и никому до неё не было дела: все постепенно забывали и латынь, и историю. В конце концов эта мраморная урна нашла своё место в Капитолийском музее.

Имперские монеты. Перечень имперских монет, отчеканенных Гаем Цезарем Августом Германиком за четыре года, гораздо длиннее, чем отчеканенных Тиберием за двадцать три. И не будь археологических находок с памятными надписями, о правлении Калигулы до нас дошли бы только ядовитые сплетни его клеветников и мы бы ничего не знали о множестве его либеральных гражданских законов, предвосхищавших будущее. Монеты говорят нам также, что его никогда не покидали наваждения семейной привязанности. В Британском музее хранится первая, редчайшая монета из его многочисленных эмиссий — в память о том дне, когда он забрал с Пандатарии прах своей матери. Ряд аккуратных надписей на ней посвящён жертвам Тиберия: Германику, Агриппине и двум братьям — Нерону и Друзу. Ещё есть монета с богиней благочестия Пиэтас, символом привязанности к семье и родине. На другой маленькой бронзовой монетке изображены женщины семьи: на лице-

вой стороне мать, сидящая с покрытой головой, а на обратной три сестры — в центре любимая Друзилла, а по бокам профили двух других. Монеты с разлучёнными родителями и другие, с двумя убитыми братьями, привезены из Дессау. Коэн насчитывает более сорока монет с изображением Германика.

Моды. Только после 1896 года, когда Альбер Гайе открыл на берегу Нила погребённый город Антинополь с десятью тысячами нетронутых могил в песке, мы смогли получить смутное представление о модах, опьянявших римлян в дни молодого императора Гая Цезаря. Представление смутное и, вероятно, ограниченное, поскольку ткани из Антинополя относятся в подавляющем большинстве к времени упадка. Отдельные свидетельства приходят к нам с мраморными скульптурными портретами, теми немногими, что не были в своё время разбиты вдребезги. Очаровательная скульптура, ныне находящаяся в римском музее «Вилла Альбани», позволяет оценить строгие одеяния верховного понтифика. Но ткань, ритуально покрывающая голову, как мы видим по драпировкам, очень лёгкая и мягкая, она явно отличается от тех шерстяных тканей, что представлены на статуях других

императоров того времени. Широкая складка на голове, спадающая сбоку вдоль щеки на грудь, рассчитана внимательной портновской рукой — она не задевает и не скрывает лица. Потом ткань, ниспадая с головы, поднимается с точно рассчитанным натяжением до левой ключицы, где круглая драгоценная пряжка мягко соединяет её с задним краем. Под этим плащом видна тщательно уложенная в складки туника, застёгнутая у шеи, и больше ничего. На другом бюсте, ныне находящемся в Новой глиптотеке Карлсберга, показаны наплечники, бахрома, золотые нити на великолепно выделанном императорском панцире. А голова с неизменно аккуратно подстриженными волосами, зачёсанными на лоб и виски и уложенными щипцами для завивки, украшена диадемой из ленты ювелирной работы, сделанной в древние, ещё почти варварские времена.

Обелиск в Ватиканском цирке. Привезённый из Египта огромный монолит был возведён там, где пожелал император. В 1586 году его перенесли чуть дальше, чтобы он вздымался к небу на месте нынешней площади Святого Петра. Но через века память о той культуре, жившей в песках Нила, была так глубоко погребена, что только вече-

ром 20 октября 1883 года учёный Орацио Макки сумел расшифровать на обелиске имя Рамзеса II, фараона, жившего за тридцать пять веков до того, и таким образом распахнул перед ошеломлёнными и упрямо не желавшими верить своим глазам римлянами головокружительную дверь в прошлое. А ещё через несколько дней, подойдя к знаменитой колоннаде Бернини и рассмотрев гигантскую стелу, люди поняли, как и зачем двадцать веков назад, преодолев Средиземное море, она из Египта оказалась в Риме. Когда во время одного из разливов Тибра рухнул четырёхпролётный мост, его заменил другой, величественный, что сегодня ведёт к площади Святого Петра. И однажды при летнем спаде воды под ним обнаружились основания опор «моста Калигулы».

Палатин. Когда сегодня пробегаешь по грандиозным и страшно разорённым руинам Палатинского холма, где молодой император останавливался, чтобы представить свой новый Рим, почти невозможно поверить, что некогда здесь возвышались мощные многоэтажные здания, необозримые колоннады, обширные до головокружения залы. Ещё в VI веке остгот Теодорих мог с комфортом жить там. Дом Гая, императорский дворец Гая Цезаря, ещё вполне пригодный для

жилья, избирали своей резиденцией даже папы мрачных VII и VIII веков, и с высоты Палатина это подтверждало их временную власть над Римом.

Но вскоре пришли годы средневековья с идеологической ненавистью и разрушительным разграблением камней, кирпичей и плиток. От великолепных августовских строений мало что осталось бы, если бы не описания историков и не кропотливые восстановительные работы археологов. Из пятидесяти древних герм из чёрного мрамора, что украшали святилище Аполлона, например, откопали три. Сейчас они выставлены в унизительном полумраке в маленьком зале неподалёку от этого места вместе с другими убогими остатками. От гигантской статуи бога остались лишь уложенные в кучу мраморные фрагменты, ожидающие возможного восстановления. Громада дворца Тиберия, лишённая всего мрамора, колонн, стен на верхних этажах, много веков оставалась в запустении под беспорядочной массой деревьев и кустов. На развалинах построили множество монастырей и церквушек. В эпоху Возрождения наступили дни псевдоархеологических изысканий, а по сути расхищений. В погребённых под завалами и зарослями ежевики стенах стали проделывать варварские проломы,

чтобы проникнуть в огромный подземный лабиринт сообщающихся между собой дворцов. И долгое время администрация понтифика продавала «спасённые строительные материалы». В XVI веке Папа Павел III Фарнезе снёс часть дворца Тиберия и построил там виллу с парком, который в честь своей фамилии назвал Horti Farnesiani (сады Фарнезе), а в 1731 году они по брачному наследству перешли к неаполитанским Бурбонам. Бурбоны же не нашли ни времени, ни желания заниматься виллой и парком, и те окончательно пришли в упадок. В 1861 году Наполеон III купил себе вершину Палатина за скромную цену в 50 000 скудо. Только в 1870 году молодое итальянское государство после терпеливых конфискаций и покупок парка, монастырей и разных вилл смогло начать на императорских холмах первые неуверенные попытки археологических раскопок.

Озеро Неморенсис (Неми). В 1840 году английский художник Джон Тёрнер спустился по узкой извилистой тропе к озеру и с романтической сентиментальностью написал развалины огромной пещеры, одеон и полузадушенные зарослями ежевики скульптуры. Изучение таинственных руин затруднялось, кроме прочего, ещё и фантастической легендой, которой английский адвокат

Джеймс Фрейзер со страстью этнолога и мифолога посвятил много страниц. Там говорилось, что в древние времена беглый раб мог найти спасение в этой роще, окружавшей озеро, если бы, отломив золотую ветвь священного дерева, принял кровавый поединок с местным жрецом и вышел победителем. Это казалось бессмысленной и грубой сказкой. Но деревенская сказка о поединке, возможно, скрывала историю о каких-то древних отчаянных восстаниях рабов.

Однако вокруг озера во времена упадка империи и в средние века сохранялась запутанная народная память о двух затонувших кораблях. Самой истории никто не знал, знали только, что внизу лежат реликты, потому что рыбацкие сети не раз вытаскивали на поверхность балки, обломки плит и мрамора.

В эпоху Возрождения к загадочному озеру пробудилось внимание учёных. После веков глухого пренебрежения они начали понимать, что всё рассказанное о величии имперского Рима древними книгами — ничто по сравнению с действительностью, погребённой под землёй: руинами, колоннами, статуями, могилами, драгоценностями. И многие с остервенением стали выискивать корабли и строить планы, как их

поднять. Ни у кого ничего не вышло. Собрали только несколько разрозненных, хотя и прекрасных фрагментов мебели.

В XIX веке начались изыскания не обременённых предрассудками антикваров и авантюристов-водолазов. Из воды достали бронзовые изделия искуснейшей работы, оконечности брёвен и кольца кормил, статуи и неразрешимо загадочные предметы, которые в конце концов оказались в музеях Лондона, Ноттингема, Парижа, Берлина и даже в России, в Эрмитаже. Кое-что после споров осталось в Римском Национальном музее. С остатков кораблей крюками и верёвками содрали большое количество прекрасной резной древесины, и вся она впоследствии попала в ватиканские музеи, Киркерианский музей в Сант-Игнацио и во дворец одного представителя семейства Торлонья, сделавшего из этой древесины мебель. А поскольку многие тяжёлые брёвна остались гнить на берегу под солнцем и дождём, кто-нибудь наверняка воспользовался ими как дровами.

Императорские корабли. Когда в 1930 году уровень озера значительно понизился, появившиеся из воды корабли вытащили на берег и поместили в новый музей. Эта операция из-за технических

трудностей и всяких перипетий заняла пять лет и на мировом уровне была воспринята как восхитительная авантюра. Никто не представлял, что весной 1944 года, в последние недели военных действий в Кастелли-Романи, беспричинный и дикий пожар дотла спалит то, что не удалось разрушить векам. И материалами, свидетельствующими об одной из самых неповторимых археологических авантюр, остались лишь немногочисленные находки.

На палубе первого поднятого корабля начиная с шестьдесят второго шпангоута, то есть с шестьдесят второй огромной поперечной балки, похоже, находился блок исключительной толщины из крепчайшего раствора — смеси извести каменно-известнякового обжига и пуццолана. На этом основании нашли массу керамических блоков, керамические кирпичи разной формы, строительную керамику, куски мраморного покрытия. И это подтвердило, что на деревянном корабле действительно было построено каменное здание. Кто-то написал, что строение напоминало храм: «маленький храм с нишей». Большинство учёных не обратили на это внимания. Но когда в наши дни построили уменьшенную копию священного корабля Ма-не-джета по найденным фрагментам,

всех поразило его сходство с храмом, найденным под лавой Помпеи. Поистине был построен храм на воде.

Кроме прочего, была сделана поворотная платформа для статуи богини. На первом корабле нашли грубую деревянную платформу почти метрового диаметра с выемками с внутренней стороны. В каждой укреплённой металлом выемке располагался маленький бронзовый шарик — в те дни такого ещё не видели. И даже эти невидимые шарики — как и многие другие скрытые части чудесного корабля — были позолочены путём погружения в чан с золотом. Видно, что углубления и шарики не изношены — ими пользовались в лучшем случае несколько раз.

Корабли были построены, чтобы пережить века. Однако 20 мая 1930 года, когда воды озера опустились ещё на четырнадцать метров, на илистом дне понемногу проступили два больших якоря. И все увидели, что вопреки всякой логике они находятся почти в тридцати метрах от кораблей.

Потом появились и якорные канаты, которых не поглотили века нахождения под водой, и стало видно, что они перерублены ударом топора, как делают в море, когда нужно быстро сняться с яко-

ря. Также нашёлся швартов: его тоже обрубили, и он был вдали от кораблей. За много веков в них сильно въелась грязь, и, став чрезвычайно хрупкими, они раскрошились на солнце.

Потом из глубины появилась маленькая лодочка, до предела набитая награбленным добром: терракотовыми вазами, остатками мебели, кучей грубых плиток. И тогда стало ясно, что кто-то в страшной спешке перерубил швартовы и якорные канаты и оттянул корабли, обречённые больше никогда не плавать, туда, где берег пологий и доступен для повозок, чтобы в беспорядке и наспех их разграбить. Позже выяснилось, что оставшиеся на корабле вещи и монеты принадлежат эпохе императора Гая Цезаря. Из последующих эпох там ничего не было. Корабли затонули в озере вскоре после его смерти. И наконец было установлено, что в трюмы насыпан тяжёлый балласт — масса песка и камней. А в корпусах были проделаны топором пробоины, чтобы корабли быстро и наверняка пошли ко дну.

Следовательно, их потопление было не случайным, не слепым и грубым актом вандализма и не тлетворным действием веков. Приказ на разрушение отдал кто-то, имевший власть и технические средства для выполнения такой

сложной операции. Возможно также, что и грубо прерванные работы в храме, в театре, в одеоне каким-то образом связаны с потоплением кораблей. То есть сработала чья-то мощная политическая воля. Но с какой целью? Много лет никто и не думал этого выяснять.

VI ТАЙНАЯ КОМНАТА

Восхитительная статуя Друзиллы, умершей, не дожив до двадцати лет. Однажды из вод озера Неморенсис выловили ряд бронзовых статуэток — процессию, которая нынче хранится в Британском музее. Высокая и изысканная Друзилла — сестра императора, умершая в молодом возрасте. На ней ритуальная туника, из-под которой виднеется одна сандалия и стройная лодыжка. Под молодой грудью завязана лента; верхнее платье со скромным вырезом грациозно облегает плечи и бока. На шее и хрупких запястьях ожерелье и ритуальные гибкие браслеты из золотых звеньев. Короткие, аккуратно причёсанные волосы, капризно надутые губы, прямые брови. В руках она держала какие-то предметы, относящиеся к культу Исиды, но они были разбиты.

Женщина, ставшая матерью Нерона. От неверной сестры императора осталась одна статуя,

ныне хранящаяся в Латеранском музее Рима. Должно быть, она была не совсем юной, когда позировала, учитывая полноту груди и талии. Возможно, не было также психологического и интеллектуального соответствия с изображавшим её художником, потому что лицо невыразительно, а разные слои ткани висят на туловище, небрежно сбившись. Однако инстинктивно ощущается телесная крепость, возможно, даже значительная физическая сила. Руки тоже очень мощные. Угадывается энергия, с которой через несколько лет она будет отчаянно сопротивляться, когда её сын Нерон прикажет её убить.

Ритуальные принадлежности культа Богини-Матери Исиды и маленькой Бастит. В Лугдуне родилась дочка императора, и на плите в лесном храме был высечен на вечную память перечень пышных культовых принадлежностей: ожерелье, браслеты, шёлковые одежды, систры, курительные благовония. Через много веков его восстановили, но его происхождение до сих пор непонятно.

Неизвестные египетские постройки. Мечта императора о поездке в Египет оставила археологические следы. Примерно в 1830 году учёный Джироламо Сегато отправился в Верхний Египет

и наткнулся на храм, который греки называли Тентирис, а мы называем Дендера, однако на самом деле он носил таинственное название Юнит-Тентор. Внешние стены его были покрыты огромными барельефами. Сотни лет там сохранялся образ Клеопатры, последней царицы, с сыном Птолемеем Цезарем. Рядом с ней неожиданно возникает изображение римского императора, несущего на себе, однако, древние регалии фараонов: священную кобру и солнечный диск в качестве диадемы, скипетр с головой собаки, тонкий кнутик, а за поясом хопеш с кривым клинком. Нарядившись так, император предлагает богине с тысячью имён, Исиде Мириониме, священный корабль. Но барельеф не закончен, лицо неузнаваемо, имя римского императора не подписано.

Джироламо Сегато блуждал по необозримым развалинам. Напольные плиты, лестницы, основания пилястров и колонн покрывал песок, у стен и в портиках образовались песчаные наносы. Страшная высота храма словно давила, но и длина была колоссальной. В Древнем Египте, если к существующей постройке добавлялся храм, вестибюль, зал, портик — из преданности или в благодарность за победу, — его всегда воздвигали

сбоку от входа. Увязая в песке, Джироламо Сегато вошёл в первое помещение и вскоре увидел обширнейший зал с двумя рядами по двенадцать колонн, подпирающих потолок. Это потрясло его, так как в египетских строениях не делали пилястров: это были колонны эпохи имперского Рима. Значит, какой-то неизвестный римский император не только был изображён на барельефах, но и пристроил к храму большой вестибюль, новый хонт. Кто же мог сюда приехать? Императоры II века, особенно Адриан, оставили по себе монументальные памятники, но их Джироламо Сегато знал, о них упоминали как о славных деяниях в императорских биографиях. А об этом хранили молчание.

В одном углу, куда ветер нанёс не слишком много песка, виднелись основания двадцати четырёх колонн. Сегато поднял глаза и прикинул, что высота их около двадцати четырёх метров. Потом увидел мощный каменный потолок, разделённый на гигантские квадраты. Внизу поразительно яркими для иссушенной пустыни красками был нарисован колоссальный круг образов. Это был таинственный текст астрономической магии — тридцать шесть участков неба и тридцать шесть декад египетского года,

божественные имена тридцати дней каждого месяца и пять безымянных дней, начинающих год, четыре основные точки и созвездия, а потом двенадцать сверкающих лодок двенадцати светлых часов и тёмные лодки двенадцати ночных, четырнадцать дней растущей луны и столько же убывающей. Но потом следовал римский знак зодиака, которых в Египте не знали. Стало быть, эта чудесная роспись, как и само здание, была сделана по воле римского императора.

Однако о строителе этого грандиозного сооружения, которое восходило от архитектуры к философии, ни один историк не написал нам ни слова. Наконец, однажды в дальнем углу гранитного потолка кто-то разглядел высеченное в камне и заключённое в овал, как имя фараона, имя римского императора Гая Цезаря Августа Германика, которого мы по недоразумению называем Калигулой. Оно располагалось в точке, где Исида Тихэ прикрывала созвездие Девы, «время его рождения». Только тогда кто-то задался вопросом, почему там написано это имя.

Потом на острове Филы обнаружили грандиозный портик римской эпохи на тридцати двух огромных колоннах, он протянулся вдоль всей западной стороны до входа в древний храм богини

Исиды. Но на восточной стороне гигантское сооружение осталось недостроенным — огромные гранитные блоки много веков так и пролежали на земле. Кто-то, однако, высек на камне имя строителя — молодого императора Гая Цезаря Августа Германика, и никто не добрался до этого отдалённого острова, чтобы, повинуясь приговору сенаторов, заключить нарушителя в темницу. «Приветствую тебя, Исида, приветствую царицу...» — говорилось там.

На пять веков после смерти Гая Цезаря древнейший культ Исиды найдёт в этом отдалённом храме последнее убежище. Блеммы, чёрные воины из Нубии, будут отчаянно защищаться от нетерпимых преследований новой религии, которая от Александрии поднялась в долину Нила. В 544 году император Юстиниан в Константинополе приговорит к забвению древнюю мысль, убеждённый, что ему это удастся; он также закроет во всей империи общественные бани, подготовив начало средневековья даже с гигиенической точки зрения, и распустит Афинскую школу, где когда-то преподавал Платон. Храм на острове Филы он преобразует в церковь и пошлёт епископа занять его. В те дни последняя жрица Исиды Хатор будет изгнана из храма, с неё

сорвут жреческие одежды, подвергнут всяческим оскорблениям и изнасилуют в бесчисленных дворах, а под конец распнут голую на скале. А внизу забросают камнями и похоронят под грудой булыжников последнего языческого демона. Восемьдесят лет спустя по всему Египту распространится ислам.

VII ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ ДЕНЬ ЯНВАРЯ В ЗАЛЕ ИСИДЫ

Damnatio memoriae (приговор памяти). В одном римском музее сохранился барельеф I века с изображением молодого императора в ритуальных одеждах и с принадлежностями культа Исиды. Но мы смотрим и не знаем, кто это. Фигура цела, но лицо сбито зубилом, имя стёрто.

Лишь в наши дни открыли изысканный зал Исиды, таинственный шедевр императора, прозванного Калигулой, и был установлен возмутительный факт, что, ещё совсем новое, это здание варварски использовалось в качестве фундамента для более поздних строений. С наглым пренебрежением к его утончённым украшениям там даже установили резервуар с водой.

Также мы узнали размеры баржи, на которой доставили в Рим обелиск, что стоял на площади

Святого Петра. Чтобы затопить судно и погубить память о нём, его заполнили раствором, который, затвердев под водой, сохранил его гигантскую форму.

Огромный же храм Исиды в Риме снова появлялся разрозненно и беспорядочно в разные века, когда откапывали фундаменты дворцов, церкви и монастыри на неком размытом пространстве, где-то между современной площадью Сант-Игнацио, улицей дель Семинарио до церкви Санто Стефано с одной стороны, а с другой — от площади Колледжио-Романо до площади Минервы и, возможно, ещё дальше.

В середине XV века один садовник, сажая дерево, нашёл гигантскую мраморную голову, а поскольку ему досаждали любопытствующие, засыпал её землёй. Потом нашли массивную бронзовую шишку, её принесли в один из безымянных ватиканских дворов, который с тех пор носит название Кортиле делла Пинья (двор Сосновой шишки). Около 1515 года нашли две огромные лежащие статуи — аллегорических Нила и Тибра. Нил перенесли в Ватикан, а Тибр находится в парижском Лувре.

В другой раз были найдены два мощных льва из чёрного базальта, и их поставили украшать

фонтаны у основания Капитолийской парадной лестницы. Никто не понял значения всего этого. Площадь, где обнаруживались находки, была обширной, как нынешняя площадь Святого Петра.

Рядом с церковью Санта Мария над Минервой был найден ряд священных животных, привезённых из Египта, с иероглифическими надписями и именами древних фараонов, которые никто не смог прочесть. В их числе: большой сидящий лев со смиренно скрещёнными лапами; мощный сфинкс из диорита; ещё один сфинкс, из красного гранита с серыми прожилками из Верхнего Египта, в конце улицы Сант-Игнацио; гранитный павиан, символ Тота, бога философии; две собакоголовые фигуры, которые сидят, положив ладони на колени, — символы медитации. Ещё была обнаружена мраморная мужская ступня колоссальных размеров — от статуи больше ничего не осталось, — и её оставили там же на пьедестале, и этот переулок сегодня называется Пье-ди-Мармо (Мраморная стопа).

Потом как-то нашли женское туловище из белого мрамора в одеждах, драпированных в соответствии с египетским ритуалом, возможно статую богини. Её вытащили и, ничего не поняв, поставили в нишу сбоку от Палаццо Венеция,

рядом с церковью Сан Марко. Статуя прекрасна, величественна и таинственна и не имеет имени. В Риме её называют Госпожа Лукреция.

Далее земля вернула погребённые обелиски. Один из них прибыл со священного Сансского озера. И сегодня, после достижений искусства барокко, этот обелиск можно увидеть на спине слоника на площади Минервы. Второй нашли около площади Сан-Макуто, и иероглифы на нём говорят, что его высек великий Рамзес II. Этот обелиск перетащили к Пантеону Агриппы, который к тому времени превратился в церковь.

Другие обелиски ещё долго лежали под землёй. А когда их нашли, один отвезли для украшения садов у железнодорожной станции, другой на виллу Челимонтана, третий во Флоренцию, где установили в саду Боболи, а ещё два в конце концов попали в Урбино.

Встаёт вопрос: как комплекс гигантских зданий мог исчезнуть, так что на поверхности земли ничего не осталось? Не нужно списывать это на вторжения варваров, наводнения и землетрясения. Вместо этого нужно учесть, что в течение всего средневековья эти здания, как и весь Древний Рим, превратились в карьер отличнейшего мрамора в виде статуй и фризов, которые еже-

дневно швыряли в печь для получения извести. Портики, залы, колоннады обрушились не сами: их сознательно уничтожали кусок за куском, чтобы добыть готовые к использованию стройматериалы. К началу просвещённого XVI века, например, приметили один большой портик с поваленными колоннами и использовали его для каких-то работ в соборе Святого Петра. И даже в 1597 году ещё оставалось много камней, которые помогли восстановить неф Клементина в соборе Святого Иоанна в Латерано.

Около 1650 года Атанасиус Кирхер, иезуит из Фульды, обладавший энциклопедическими знаниями и высокой культурой, изучил развалины храма и, потрясённый его грандиозностью, срисовал всё, что в те дни можно было рассмотреть. А через несколько веков обнаружились также остатки арок, огромных стен и мощные блоки из травертина.

Только когда перебрали и изучили огромный план Рима, высеченный на камне императором Септимием Севером, стало понятно, что на этом усеянном руинами пространстве в середине I века стоял грандиозный храм Исиды. Сегодня его бессмысленно разбросанные реликвии стали маршрутом по самым удивительным достопри-

мечательностям Рима.

Алтарь Исиды. Сенатор Сатурнин хотел уничтожить магический алтарь, но, очевидно, ему это не удалось, поскольку в 1527 году — в то время, когда римские дворцы и церкви на глазах у Папы разграблялись ландскнехтами во главе с Карлом Бурбоном, знать убежала в свои замки в сельской местности, а сокровища искусства, драгоценности, серебро, статуи нахально распродавались солдатнёй на дорожном рынке, — обнаружился странный бронзовый стол, длинный жертвенник со сверкающими серебряными и золотыми инкрустациями.

Неизвестно, из какого дворца или подвала его достали. Это был не грязный, запущенный предмет — его втайне бережно хранили. Сколько веков? И где? Грабители выставили его на продажу, и один кузнец (по имени Бруно) как специалист был очарован его необычностью. Он купил его, отчистил, и под грязью проступила насечка в виде квадратов из настоящего серебра и золота — люди в невиданных одеждах, в необъяснимых позах, казавшихся ритуальными, в окружении знаков, похожих на надписи, которые никто не мог расшифровать. В центре, на троне, восседала таинственная фигура — неизвестное

божество в лунной короне со змеёй у ног.

В надежде получить объяснение кузнец показал этот жертвенник известнейшему в те дни знатоку и коллекционеру произведений искусства, венецианскому монсеньору Пьетро Бембо, гуманисту, аристократу, жуиру, послу Венецианской Республики, бывшему секретарю утончённейшего Папы Льва X и будущему кардиналу. Монсеньор рассмотрел этот стол, ничего не объяснил, так как сам ничего не понял, но изъявил желание его купить и, заплатив затребованную цену, выставил непонятную штуковину в своём зале в Палаццо Венеция.

Так счастливым образом через столько веков вновь появился на свет этот загадочный алтарь, открыв окно в не имеющий названия мир. Приближалось Возрождение со своей страстью к мистике. Странные фигуры — это причудливые фантазии древнего художника или они имеют связный смысл? В таком случае что изображают эти рисунки? Какую-то страницу истории? Древний, тысячелетний миф? Религиозный обряд? Возможно, этот бронзовый стол — культовая принадлежность? Или непонятным для непосвящённых образом эти рисунки представляют церемонию инициации какого-то культа? Указы-

вают путь новопосвящённого в тайное общество от самого нижнего, немого уровня ученика до самого высокого, эзотерического и исключительного уровня великого жреца? Не отсюда ли родились божественные магические карты таро?

На несколько веков жертвенник останется загадкой и будет переходить из рук в руки, пока в конце концов не окажется в Египетском музее в Турине. Только в XIX веке удастся открыть, что это предмет римской работы I века, дней правления Гая Цезаря. Он был выполнен с большим искусством в египетском стиле, чтобы проиллюстрировать фазы тайного ритуала культа Исиды.

Каллист. Внимание историков напрасно прошло мимо этого персонажа. Светоний, проявив свои лучшие таланты в пересказе сплетен, говорит лишь, что заговор сформировался «non sine conscientia potentissium libertorum» — «не без того, чтобы некоторые влиятельнейшие вольноотпущенники знали о нём». Каллист был не чем иным, как необходимым орудием скрытой от глаз, но смертельной борьбы между властью сенаторов и властью императора. Она могла продолжаться долго, оставляя опустошительные следы в хрониках династии Юлиев — Клавдиев и бросая прославляющий, почти агиографический

свет в последующие поколения. Из этих хроник более поздние историки построят каркас своих работ. Например, Светоний посвятит десятки страниц пикантным слухам из преданий о Тиберии, Гае Цезаре и Нероне, а рассказывая про лютую осаду Иерусалима Титом, уделит всего полторы строчки миллиону погибших.

И всё будет подавлять цензура. Исчезли или были серьёзно искажены самые объективные свидетельства современников: Валерия Мессалы, Агриппы, Цильния Мецената, Тразеи, Эльвидия, фундаментальные «Воспоминания» Августа, Тиберия, Агриппины, молодого Друза. Недостаёт или вообще нет свидетельств Тита Лабиена, историка, чьи труды были сожжены по указанию сената. Нет свидетельств изгнанного Августом язвительного Кассия Севера, а также Кремуцйя Корда, уморившего себя голодом из-за того, что Тиберий уничтожил его труд. Нет записей Помпея Трогона, которого мы знаем только по его кратким изложениям Юбы и Марка Юстина. Нет свидетельств Авфидия Басса, делавшего записи о каждом дне до 49 года. И наконец, нет писаний Плиния Гая Секунда, «Старца», погибшего при извержении Везувия, как гласит история. В книге Тацита тоже ничего не рассказывается о молодом

императоре, как будто чья-то рука стёрла все записи. Все эти имена для нас — торжественный ряд опустошённых стеллажей. Предвзятые, пристрастные свидетельства пережили века, незыблемо остались высеченными на камне, но и они дошли до нас в копиях не первых копий, бесконтрольно урезанных или плохо переведённых в тёмные средние века в византийских библиотеках или западных монастырях, когда память о древней империи потонула в злобе.

Чтобы верно рассказать древнюю историю, слишком часто приходится бороться с некомпетентностью или предвзятостью письменных свидетельств. Зато археологические открытия — здания, надписи, монеты, могилы, черепки, мраморные и бронзовые скульптуры, фрески, драгоценности, ткани, монументы и прочие предметы — вещают из прошлого, как голоса неподкупных свидетелей.

Мария Грация Сильто



Одна из самых загадочных личностей в мировой истории – римский император Гай Цезарь Германик по прозвищу Калигула. Кто он – безумец или хитрец, тиран или жертва, самозванец или единственный законный наследник великого Августа? Мальчик, родившийся в военном лагере, рано осиротел и возмужал в неволе. Все его близкие и родные были убиты по приказу императора Тиберия. Когда же он сам стал императором, он познал интриги и коварство сенаторов, предательство и жадность преторианцев, непонимание народа. Утешением молодого императора остаются лишь любовь и мечты...



ISBN 978-5-699-30480-6

Калигула